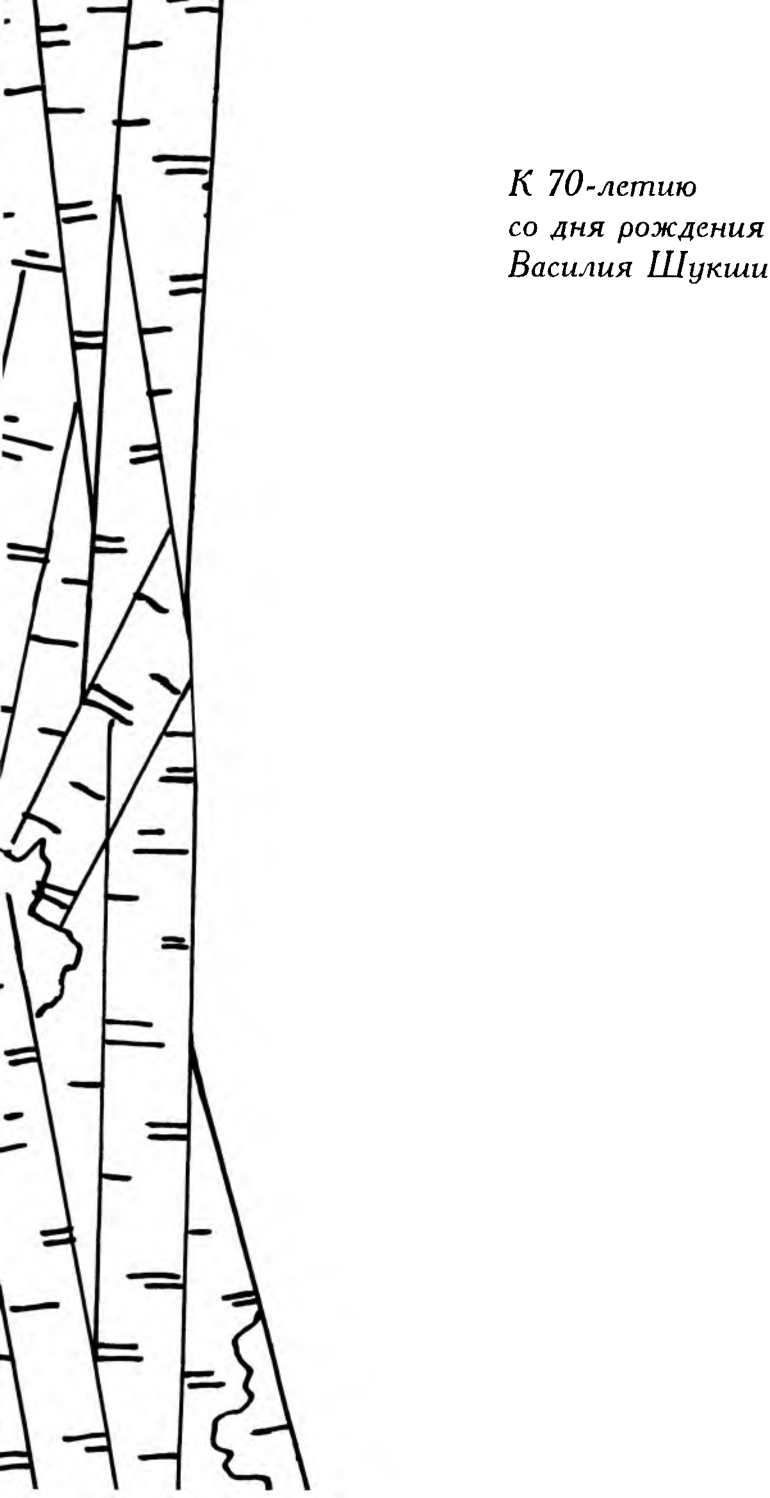
ВАСИЛИЙ
ШУКШИН









К 70-летию
со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах



книга

Я пришел дать вам волю

Роман



Москва
«Надежда-1»
1998

ББК 84 Р7
Ш 95

Шукшин В. М.

Ш 95 Собрание сочинений в 6-ти книгах. Книга шестая. Я пришел дать вам волю. М.: Изд-во «Надежда-1», 1998. — 512 с.

В шестую книгу наиболее полного собрания сочинений Василия Шукшина вошел роман «Я пришел дать вам волю», публицистика, посвященная роману и долгожданному, но так и не появившемуся на свет фильму о Степане Разине, раздел «Из рабочих записей».

В раздел «Непросто говорить о Шукшине...» вошли воспоминания коллег о подготовке, а скорее даже о мытарствах Василия Макаровича, связанных с постановкой фильма.

«Фе Ли Ни» — это блестящее эссе писательницы Галины Щербаковой о жене писателя.

Ш $\frac{4702010200 — 050}{В72 (03) — 98}$

ISBN 5-86150-050-8

Я пришел дать вам волю

Роман

книга шестая. Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ
роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЛЬНЫЕ КАЗАКИ

Каждый год, в первую неделю великого поста, православная церковь на разные голоса кляла:

«Вор и изменник, и крестопреступник, и душегубец Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево коварству не пристали, побил, потом и сам вскоре исчезе, и со единомышленники своими да будет проклят! Яко и прокляты новые еретики: архимандрит Кассиан, Ивашка Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноглев, Гришка Отрепьев, изменник и вор Тимошка Акиндинов, бывший протопоп Аввакум...»

Тяжко бухали по морозцу стылые колокола. Вздрагивала, качалась тишина; пугались воробьи на дорогах. Над полями белыми, над сугробами плыли торжественные скорбные звуки, ниспосланные людям людьми же. Голоса в храмах божьих рассказывали притихшим — нечто ужасное, дерзкое:

«...Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменивший, церковь святую возмутивший и обругавший, и к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великая и Малыя и Белыя Россия самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Над холмами терпеливыми, над жильем гудела литая медная музыка, столь же прекрасная, тревожная, сколь и

привычная. И слушали русские люди, и крестились. Но иди пойми душу — что там: беда и ужас или потаенная гордость и боль за «презревшего час смертный»? Молчали.

«...Народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший, отцы на сыны, и сыны на отцы, браты на браты возмутивший, души купно с телесы бесчисленного множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, с наставники и зломышленники такового зла, с перво своими советники, его волею и злодейству его приставшими, лукавое начинание его ведущими пособники, яко Дафан и Авирон, да будут прокляты. Анафема!»

Такую-то — величально-смертную — грянули державные голоса с подголосками атаману Разину, живому еще, еще до того, как московский топор изрубил его на площади, принародно.

1

Золотыми днями, в августе 1669 года, Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров.

Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию — позади. Разинцы приползли чуть живые; не они первые, не они последние «сбегали на Хволынь», но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за «зипуны» остались казачьи жизни, и много. И самая, может быть, дорогая — Сереги Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которое молодцы «наторговали» у «косоглазых» саблей, мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек (без пленных). Надо теперь набраться сил — отдохнуть, наесться... И казаки снова было взялись за оружие, но оно не понадобилось. Вчера налетели на учуг митрополита астраханского Иосифа — побрали рыбу соленую, икру, ви-

зигу, хлеб, сколько было... А было — мало. Взяли также лодки, невода, котлы, топоры, багры. Оружие потому не понадобилось, что работные люди с учуга все почти разбежались, а те, что остались, не думали сопротивляться. И атаман не велел никого трогать. Он еще оставил на учуге разную церковную утварь, иконы в дорогих окладах — чтоб в Астрахани наперед знали его доброту и склонность к миру. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам.

Два пути домой: Волгой через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там — государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после — припугнуть и распустить по домам, и не такой оравой сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться... Да и почему отдавать-то?! Все добыто кровью, лишениями вон какими... И — все отдать?

2

...Круг шумел.

С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс.

— Ты что, в гости к куму собрался?! — кричали ему. — Дак и то не кажный кум дармовшинников-то любит, другой угостит, чем ворота запирают.

— Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня — не ухват! — гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. — Сам могу кого хошь угостить.

— Он у нас казак ухватистый: как ухватит бабу за титьки, так кричит: «Чур на одного!» Ох и жадный же!

Кругом засмеялись.

— Кондрат, а Кондрат!.. — вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. — Ты чего это разоряешься, што воевода тебе не кум? Как это проверить?

— Проверить-то? — оживился Кондрат. — А давай вытянем твой язык: еслив он будет короче твово же носа, — воевода мне кум. Руби мне тада голову. Но я же не дурак, штоб голову свою занапраслину подставлять: я знаю, што язык у тебя три раза с половиной вокруг шеи оборачивает-

ся, а нос, еслив его подрубить с одной стороны, только до затылка...

— Будет зубоскалить! — Кондрата спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный.

— Браты! — начал он; вокруг притихли. — Горло драть — голова не болит. Давай думать, как быть. Две дороги домой: Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим: где легче? В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, две очереди годовальщиков-стрельцов собралось: новые пришли, и старых на нас держут. Тыщ с пять, а то и больше. Нас — тыща с небольшим. Да хворых вон сколь! Это — одно. Терки — там тоже стрельцы...

Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним — кто стоял, кто сидел — есаулы, сотники: Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно; казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось — не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил:

— Как сам-то думаешь, Федор?

— На Терки, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем без толку, не пройдем. А Терки, даст бог, возьмем, зазимуем... Есть куда приткнуться.

— Тьфу! — взорвался опять сухой жилистый старик Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь (руль). — Ты, Федор, вроде и казаком сроду не был! Там не пройдем, здесь не пустют... А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили: «Идите, казачки, пошáрпайте нас!» Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу...

— Не путайся, Стырь, — жестко сказал серьезный есаул.

— Ты мне рот не затыкай! — обозлился и Стырь.

— Чего хочешь-то?

— Ничего. А сдается мне, кое-кто тут зря саблюку себе навесил.

— Дак вить это — кому как, Стырь, — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. — Доведись до тебя, она те вовсе без надобности: ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся — шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а? — Кондрат

изобразил на лице серьезное любопытство. — А то болтают, што он у тя не простой, а вроде на ем шерсть...

— Язык — это што! — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. — Я лучше тебе вот эту ляльку покажу...

— Хватит! — зыкнул Черноярец, первый есаул. — Кобели. Обои языкастые. Дело говорить, а они тут...

— Но у его все равно длинней, — ввернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика.

— Говори, Федор, — велел Степан. — Говори, чего начал-то.

— К Теркам надо, братцы! Верное дело. Пропадем мы тут. А уж там...

— Добро-то куда там деваем?! — спросили громко.

— Перезимуем, а по весне...

— Не надо! — закричали многие. — Два года дома не были!

— Я уж забыл, как баба пахнет.

— Молоком, как...

Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю.

— Сами вы бабы все тут! — сказал зло и горестно.

— К Яику пошли! — раздавались голоса. — Отымем Яик — с ногаями торговлишку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет.

— Домо-ой!! — орало множество. Шумно стало.

— Да как домой-то?! Ка-ак? Верхом на палочке?!

— Мы войско али — так себе?! Пробьемся! А не пробьемся — сгинем, невелика жаль. Мы первые, што ль?

— Не взять нам теперь Яика! — надрывался Федор. — Ослабли мы! Дай бог Терки одолеть!.. — но ему было не перекричать.

— Братцы! — на бочонок, рядом с Федором, взобрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. — Пошлем к царю с топором и плахой — казни али милуй. Помилует! Ермака царь Иван миловал же...

— Царь помилует! Догонит да ишо раз помилует!

— А я думаю...

— Пробиваться!! — стояли упорные, вроде Стыря. — Какого тут дьявола думать! Дьяки думные нашлись...

Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на кудлатого... То ли хотел запомнить, кто первый выскочил «с топором и плахой», какой умник.

— Батька, скажи ради Христа, — повернулся Иван Черноярец к Степану. — А то до вечера галдеть будем.

Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой крепкой походкой. Ноги — чуть враскорячку. Шаг неподатливый. Но, видно, стоек мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана — надменность, не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.

Поутихли. Смолкли вовсе.

Степан подошел к бочонку... С бочонка спрыгнули Федор и кудлатый казак.

— Стырь! — позвал Степан. — Иди ко мне. Любо слушать мне твои речи, казак. Иди, хочу послушать.

Стырь подобрал саблю и затараторил сразу, еще не доходя до бочонка:

— Тимофеич! Рассуди сам: допустим, мы бы с твоим отцом, царство ему небесное, стали тада в Воронеже думать да гадать: ийтить нам на Дон али нет? — не видать бы нам Дона как своих ушей. Нет же! Стали, стряхнулись — и пошли. И стали казаками! И казаков породили. А тут я не вижу ни одного казака — бабы! Да то ли мы воевать разучились? То ли мясников-стрельцов испужались? Пошто сперло-то нас? Казаки...

— Хорошо говоришь, — похвалил Степан. Сшиб на бок бочонок, указал старику: — Ну-ка — с него, чтоб слышней было.

Стырь не понял.

— Как это?

— Лезь на бочонок, говори. Но так же складно.

— Неспособно... Зачем свалил-то?

— Спробуй так. Выйдет?

Стырь в неописуемых персидских шароварах, с кривой турецкой сабелькой полез на крутобокий пороховой бочонок. Под смех и выкрики взобрался с грехом пополам, посмотрел на атамана...

— Говори, — велел тот. Непонятно, что он затеял.

— А я и говорю, пошто я не вижу здесь казаков? — сплошные какие-то...

Бочонок крутнулся; Стырь затанцевал на нем, замахал руками.

— Говори! — велел Степан, сам тоже улыбаясь. — Говори, старый!

— Да не могу!.. Он крутится, как эта... как жана виноватая...

— Вприсядку, Стырь! — кричали с круга.

— Не подкачай, ядрена мать! Языком упирайся!..

Стырь не удержался, спрыгнул с бочонка.

— Не можешь? — громко — нарочно громко — спросил Степан.

— Давай я поставлю его на попа...

— Вот, Стырь, ты и говорить мастак, а не можешь — не крепко под тобой. Я не хочу так...

Степан поставил бочонок на попа, поднялся на него.

— Мне тоже домой охота! Только домой прийтить надо хозяевами, а не псами битыми, — атаман говорил короткими, лающими фразами — насколько хватало воздуха на раз: помолчав, опять кидал резкое, емкое слово. Получалось напористо, непререкаемо. Много тут — в манере держаться и говорить перед кру́гом — тоже исходило от силы Степана, истинно властной, мощной, но много тут было искусства, опыта. Он знал, ка́к надо говорить, даже если не всегда знал, что́ надо говорить.

— Чтоб не крутились мы на Дону, как Стырь на бочке. Надо пройтить, как есть — с оружием и добром. Пробиваться — сила невелика, браты, мало нас, пристали. Хворых много. А и пробьемся — не дадут больше подняться. Доконают. Сила наша там, на Дону, мы ее соберем. Но прийтить надо целыми. Будем пока стоять здесь — отдохнем. Наедимся вволю. Тем временем проведаем, какие пироги пекут в Астрахани. Разболокайтесь, добудьте рыбы... Здесь в ямах ее много. Дозору — глядеть!

Круг стал расходиться. Разболокались, разворачивали невода. Летело на землю дорогое персидское платье... Ходили по нему. Сладостно жмурились, подставляя ласковому родному солнышку исхудалые бока. Па́рами забредали в воду, растягивая невода. Охали, ахали, весело матерились. Там и здесь запылали костры; подвешивали на треногах большие артельные котлы.

Больных снесли со стругов на бережок, поклали рядком. Они тоже радовались солнышку, праздничной суматохе, какая началась на острове. Пленных тоже свели на берег, они

разбрелись по острову, помогали казакам: собирали дрова, носили воду, разводили костры.

Атаману растянули шелковый шатер. Туда к нему собрались есаулы: что-то недоговаривал атаман, казалось, таил что-то. Им хотелось бы понять, что́ он таит.

Степан терпеливо, но опять не до конца и неопределенно говорил и злился, что много говорит. Он ничего не таил, он не знал, что делать.

— С царем ругаться нам не с руки, — говорил он, стараясь не глядеть на есаулов. — Несдобруем. Куда!.. Вы подумайте своей головой!

— Как же пройдем-то? Кого ждать будем? Пока воеводы придут?

— Их обмануть надо. Ходил раньше Ванька Кондырев к шаху за зипунами — пропустили. И мы так же: был грех, теперь смирные, домой хочем — вот и все.

— Не оказались бы они хитрей нас — пропустют, а в Астрахани побьют, — заметил осторожный, опытный Фрол Минаев.

— Не посмеют — Дон подымется. И с гетманом у царя неладно. Нет, не побьют. Только самим на рожон теперь негоже лезть. Приспичит — станицу к царю пошлем: повинную голову меч не секет. Будем торчать, как бельмо на глазу, силу, какая есть, сберегем. А сунемся — побьют, — Степан посмотрел на есаулов. — Понятно говорю? Я сам не знаю, чего делать. Надо подождать.

Помолчали есаулы в раздумье. Они, правда, не знали, что делать. Но догадывались, что Степан что-то приберегает, что-то он знает, не хочет сказать пока.

— Держать нас у себя за спиной — это только дурак додумается, — взялся опять за слово Степан. — Я не слыхал, что воеводы астраханские такие же лопоухие. А с князем Львовым у нас уговор: выручать друг дружку на случай беды...

— Откуда у вас дружба такая повелась? — с любопытством спросил Ларька Тимофеев, умный и жестокий есаул с неожиданно синими ласковыми глазами. — Не побратим ли?

Он весь какой-то — вечно на усмешечке, этот Ларька, на подковырках, но Степана любит, как бабу, ревнует и не хочет этого показать, и злится всерьез, и требует от Степана, чтобы он всегда знал, куда идти и что делать и чтобы посту-

пал немилосердно. Случается — атамана затрясет неудержимая ярость, — Ларька тут как тут: готов подсказать и показать, на кого обрушить атаману свой гнев. Но зато первый же и прячется, когда атаман отойдет и мается. Степан не любит его за это, но ценит за преданность.

Степан ответил не сразу, с неохотой... Не хотел разглашать лишний раз свой тайный сговор со Львовым, вторым астраханским воеводой, но что-то, видно, надо говорить, как-то надо успокоить... Несколько подумал, поднял глаза на Ларьку.

— А кто нас тогда через Астрахань на Яик пропустил? Дева непорочная? Она в этих делах не помощница. Случись теперь беда с нами, я выдам Львова, он знает. Что он, сам себе лиходей?

— Как же он тебе теперь поможет?

Степан, как видно, и про это думал один.

— Будет петь в уши Прозоровскому: «Пропусти Стеньку, ну его к черту! Он будет день ото дня силу копить здесь — нам неспокойно». По-другому ему нельзя. Надо с им только как-нибудь стренуться...

— А ну-ка царь им велит? — допрашивал Ларька. — Тогда как? Што же он, поперек царской воли пойдет?

— Мы с царем пока не цапались — зачем ему? И говорю вам: с Украйной у их плохие дела. Иван Серко всегда придет на подмогу нам. А сойдись мы с Сериком, хитрый Дорошенко к нам качнется. Он всегда себе дружков искал — кто посильней. Царь повыше нас сидит — на престоле, должен это видеть. Он и видит — не дурак, правда что... — Степан помолчал опять, посмотрел на Черноярца. — Иван, пошли на Дон двух-трех побашковитей, пускай с Паншина вниз пройдут, скажут: плохо нам. Кто полегче на ногу, пускай собираются да идут к нам — Волгой ли, через Терки ли — как способней. К гребенским тоже пошли — тоже пускай идут, кому охота. А как подвалют со всех сторон... я не знаю, как запоют тогда воеводы. Вот. Я им подпою. Посылай, Иван. Придут, не придут — пусть шум будет: мы без шуму не собираемся. А шумом-то и этих, — Степан кивнул в сторону Астрахани, — припужнем: небось сговорчивей будут.

— К гребенским послал, — откликнулся Иван.

— Ну, добре. Прибери на Дон теперь. Пойдем, Фрол, сторожевых глянем, — Степан вышагнул из шатра. Надоело говорить. И говорить надоело, и в душу опять лезут, дергают.

— На кой черт столько митрополиту отвалил на учуге? — недовольно спросил Фрол, шагая несколько сзади Степана.

— Надо, — коротко ответил тот, думая о чем-то своем. Помолчал и добавил: — Молиться за нас, грешных, будет.

— А ясырь-то зачем? — пытал Фрол.

— Хитрый ты, Фрол. А скупой. Церква, она как курва добрая: дашь ей — хороший, не дашь — сам хуже курвы станешь. С ей спорить — легче на коне по болоту ехать.

Степан остановился над затончиком, засмотрелся в ясную ласковую воду... Плюнул, пошел дальше. Бездействие томило самого атамана.

— Тоска, Фрол. Долго тут тоже не надо — прокиснем.

Некоторое время шли молчком.

Давно они дружили с Фролом, давно и странно. Нравилась Степану рассудительность Фрола, степенность его, которая, впрочем, умела просто и неожиданно оборваться: Фрол мог отмочить такое, что, например, головорезу Сереге Кривому и в лоб бы никогда не влетело (лет пять тому назад Фрол заехал в церковь верхом на коне и спросил у людей: «Как на Киев проехать?»). Эта изобретательность Фрола, от которой, случалось, сам Фрол жестоко страдал, тоже очень нравилась Степану. Фрол казался старше атамана, хоть они были годки. Степан нет-нет, а оглядывался на Фрола, слушал, но не показывал, что слушает, а иной раз зачем-то даже поперек шел — назло, что ли, только сам Степан не смог бы, наверно, объяснить (да он как-то и не думал об этом): зачем ему надо назло Фролу делать? Фрол был хитрый, терпеливый. Сделает Степан наперекор ему, глянет — проверить — как? Фрол — как так и надо, молчит и делает, как велено, но чуял Степан, что делает больно другу, чуял, и поэтому иногда нарочно показывал всем, как они крепко дружат с Фролом.

В прибрежных кустах, неподалеку, послышались женские голоса, плеск воды — купались.

— Кто эт? — заинтересовался Фрол.

— Тише... Давай напужаем, — Степан чуть пригнулся, пошел сторожким, неслышным шагом. Крался всерьез, как

на охоте, даже строго оглянулся на Фрола, чтоб и тот не шумел тоже.

— А-а... — догадался Фрол. И тоже пригнулся и старался ступать тихо.

Вот — налетел миг, атаман весь преобразился, собрался в крепкий комок... Тут он весь. И в бою он такой же. В такой миг он все видел и все понимал хорошо и ясно. Чуть вздрагивали ноздри его крупного прямого носа, и голос — спокойный — маленько слабел: говорил мало, дельно. Мгновенно соображал, решал сразу много — только б закипело дело, только б неслись, окружали, валили валом — только бы одолеть или спастись. Видно, то и были желанные мгновения, каких искала его беспокойная натура. Но и это еще не все. К сорока годам жизнь научила атамана и хитрости, и свирепому воинскому искусству, и думать он умел, и в людях вроде разбирался. Но — весь он, крутой, гордый, даже самонадеянный, несговорчивый, порой жестокий, — в таком-то, жила в нем мягкая, добрая душа, которая могла жалеть и страдать. Это непостижимо, но вся жизнь его, и раньше, и после — поступки и дела его — тому свидетельство. Как только где натыкалась эта добрая душа на подлость и злость людскую, так Степана точно срывало с места. Прямо и просто решалось тогда: обидел — получи сам, Тогда-то он и свирепел, бывал жесток. Но эту-то добрую, справедливую душу чуяли в нем люди и тянулись к нему, и надеялись, потому что с обидой человеку надо куда-нибудь идти, кому-то сказать, чтобы знали. И хоть порой томило Степана это повальное к нему влечение, он не мог отпихивать людей — тут бы и случилась самая его жестокая жестокость, на какую он не помышлял. Он бы и не нашел ее в себе, такую-то, но он и не искал. Он только мучился и злился, везде хотел успеть заступиться, но то опаздывал, то не умел, то сильней его находились... И сердце его постоянно сжималось жалостью и злостью. Жалость свою он прятал и от этого только больше сердился. Он берег и любил друзей, но видел, кто чего стоит. Он шумно братался, но сам все почти про всех понимал, особо не сожалел и не горевал, но уставал от своей трезвости и ясности. Порой он спохватывался подумать про свою жизнь — куда его тащит, зачем? — и бросал: не то что не по силам, а... Тогда уж сиди на берегу, без конца думай и думай — тоже вытерпеть надо. Это-то как раз

и не по силам — долго сидеть. Посидит-посидит, подумает — надо что-нибудь делать. Есть такие люди: не могут усидеть. Есть мужики: присядет на лавку, а уж чего-то ему не хватает, заоглядывался... Выйдет во двор — хоть кол надо пошатать, полешко расколоть. Такие неуемные.

...Купалась дочь астаринского Мамед-хана с нянькой. Персиянки уединились и все на свете забыли — радовались теплу и воде. И было это у них смешно и беззащитно, как у детей.

Казаки подошли совсем близко... Степан выпрямился и гаркнул. Шахиня села от страха, даже не прикрыла стыд свой; нянька вскрикнула и обхватила сзади девушку.

Степан смеялся беззвучно; Фрол, улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое тело шахини.

— Сладкая девка, в святителя мать, — промолвил он с нежностью. — Сердце обжигает, змея.

— Ну, одевай ее!.. — сказал Степан няньке. — Или вон — в воду. Чего расшиперилась, как наседка!

Старуха не понимала; обе со страхом глядели на мужчин.

— В воду! — повторил Степан. Показал рукой.

Молодая и старая плюхнулись в воду по горло.

— Зря согнал, — пожалел Фрол. — Хоть поглядеть...

— Глазами сыт не будешь.

— Нехристи, а туда же — совестно.

— У их бабы к стыду больше наших приучены. Грех.

— Такая наведет на грех... Ослепну, не гляди!

Женщины глядели на них, ждали, когда они уйдут.

— Что? — непонятно, с ухмылкой спросил Фрол. — Попалась бы ты мне одному где-нибудь, я бы тебя приголубил... Охота, поди, к тятьке-то? А?

Старуха-нянька что-то сказала на своем языке сердито.

— Во-во, — «согласился» Фрол, — тятька-то ее — бяка: бросил доченьку — и драла...

— Будет тебе, — сказал Степан. — Купайтесь! Пошли.

Два дозорных казака на бугре, в камнях, тоже забыли про все на свете: резались в карты. На кону между ними лежали золотые кольца, ожерелья, перстни... Даже шаль какая-то дивная лежала.

Игроки — старый, седой и совсем еще молодой, почти малолеток, — увлекшись игрой, не услышали, как подошел Степан с Минаевым.

— Сукины дети! — закричал над ними Степан. — В дозоре-то?

— Да кто ж это так делает, а?! — подал голос и Фрол.

Молодой казачок вскочил и отбежал в сторону... Старик, понурив голову, остался сидеть. Весь он был черный от солнца, только борода пегая да голова седая. Он пригладил черной сухой рукой волосы на голове.

— Чей? — спросил Степан молодого.

— Федоров.

— Зовут?

— Макся.

— Знаешь, что за это бывает? В дозоре картежничать...

— Знаю.

— А пошто побежал? От меня, что ли, убежать хочешь?

— Прости, батька.

— Иди суда!

Казачок медлил.

— Ну, я за тобой гоняться не буду, на кой ты мне нужен. Снимай штаны, старый, тебе придется ввалить, раз молодой убежал. Раз ему не совестно...

— Эхе-хе, — вздохнул старый и стал снимать штаны. — Смолоду бит не был, дак хоть на старости плеть узнаю. Не шибко старайся, Степан Тимофеич, а то у тебя рука-то...

Степан краем глаза наблюдал за молодым.

Тот подумал-подумал и вернулся, распоясываясь на ходу.

— Напаскудил и в бег? — сказал Степан. — Плохо, казак. От своих не бегают. Чтоб ты это крепко запомнил, — вложь ему, Микифор, полста горячих. А с тобой как-нибудь сквитаемся.

— Ложись, Максимка, всыплю тебе, поганец, чтоб старых людей не дурачил, — обрадовался Микифор.

— Обыграл? — полюбопытствовал Степан.

— Всего обчистил, стервец!

— Молодец! Не хлопай ушами тоже.

— Да он мухлюет, наверно! — воскликнул старый казак, как-то — и возмущаясь, и жалуясь — сразу.

— Кто, я мухлюю?! — возмутился и Макся. — Чего зрято, дядя Микифор... Карта везучая шла. Я сам вчера Миньке Хохлачу чепь золотую продул — карта плохая шла.

— Ложись, ложись, — поторопил его старый.

Макся спустил штаны.

— А хоть и мухлюет — глядеть надо, на то глаза, — вмешался Фрол за-ради справедливости.

— За ими углядишь! Они вьются, как черти на огню... Зарок давал — не играть, нет, раззудил, бесенок...

Макся лег лицом вниз, закусил зубами мякоть ладони.

Степан с Фролом направились к другим дозорам.

— Сам щитай — сколько: я только до двух десятков умею, — сказал Микифор.

— Я скажу «хватит», а ты не поверишь, скажешь, обманываю... — Макся отпустил ладонь — хотел было поговорить, даже и голову приподнял — тут его обожгла боль, он ойкнул, впился зубами в ладонь, не выпуская ее, крикнул: — Сам-то не злись, сатана!

— Я по спине увижу, когда хватит, — сказал старый. — А это тебе — за «сатану» — от меня, — старик еще раз больно стегнул парня. Потом еще раз, и еще раз, и еще — с сердцем, вволю... Скоро натешился — раз семь огрел — и велел: — Надевай штаны, будем дальше играть. Но станешь опять мухлевать!..

— Да я с тобой вовсе играть не стану!

— Не станешь, опять ложись: все полста отдам те.

Макся скривился, зло сплюнул и присел бочком на камень — опять играть.

Степан с Фролом остановились на возвышении.

Внизу шумел, копошился, бурлил лагерь.

Разноцветье, пестрота одежды и товаров, шум, гам и суетня — все смахивало скорей на ярмарку, нежели на стоянку войска.

Степан долго молчал, глядя вниз. Сказал сокровенно:

— Нет, Фрол, с таким табором — не война, горе: рухлядь камнем на шее повиснет. Куда они гожи, такие?.. Только торговлишку и затевать.

— Вот и надо скорей сбыть ее.

— Куда? Кому?..

— Терки-то возьмем!

— Терки-то? — в раздумье, но с явным протестом повторил Степан. — А на кой они мне... Терки-то? Мне Дон надо.

По-разному использовали уставшие, наголодавшиеся, истомившиеся под нещадным морским солнцем люди желанный отдых. Отдых вблизи родной земли, по которой они стосковались.

Вот усатый пожилой хохол, мастер молоть языком, удобно устроившись на куче тряпья, брешет молодым казакам:

— Шов мужик з поля, пидходе до своей хаты, зирк в викно, а у хати москаль... гм... цюлуе його жинку...

Хохол, правда, мастер: встал, «показал», как шел себе мужик домой, ничего не подозревая, как глянул в окно — и увидел... И все — сдержанно, не торопясь, с удовольствием.

— Да. Мужик мерщий у хату, а москаль примитыв мужика, да мерщий на покутя, вкрывся, сучий сын, — не бы то спыть. Мужик шасть у хату и баче, що москаль спыть, а жинка пораеця биля пички. «Хиба ж то я нычого и не бачив!» — кажэ мужик. «А що ты там бачив?» — пыта його жинка. «Як що, бисова дочка!». — «За що ты лаешься, вражий сыну?» — «Як за що, хиба ж я не бачив, як тоби москаль цюлував». — «Колы?» — «Як колы?!.»

Молодые, затаив дыхание, ждут, что будет дальше, хотя слышали, наверно, эту историю.

А вот бандурист... Настроил свой инструмент, лениво перебирает струны. И так же неторопко, даже как будто нехотя — упросили — похаживает по кругу, поигрывает плечами какой-то новгородский «перс». Он и не поет, и не пляшет — это нечто спокойное, бесконечное, со своей ухваткой, ужимками, «шагом» — все выверено. Это можно смотреть и слушать долго. И можно думать свои думы. Что-то родное, напевно-складное:

Гуси-лебеди летели,
В чисто поле залетели,
В поле банюшку доспели.
Воробей дрова колол,
Таракан баню топил,
Мышка водушку носила,
Вошка парилася,

Пришумарилася.
Бела гнидка подхватила,
На рогожку повалила;
Тонку ножку подломила, —
Вошку вынесли...

А здесь свое, кровное — воинское: подбрасывают вверх камышинки и рубят их на лету шашками — кто сколько раз перерубит. Здесь — другая способность. Тонко посвистывают сверкающие круги, легко, «вкусно» сечет хищная сталь сочные камышинки. И тут свой мастер. Дед. Силу и крепость руки утратил он в бесконечных походах, намахался за свою жизнь вдосталь, знает «ремесло» в совершенстве. Учит молодых.

— Торописся... Не торопись.

— Охота ишо разок достать.

— Достанешь, еслив не будешь блох ловить. Отпускай не на всю руку... Не на всю — а штоб она у тебя вкруг руки сама ходила, не от собак отбиваисся. Во — глянь...

Полоска холодной стали до изумления послушна руке деда, вроде и не убивать он учит, а играет дорогой светлой игрушкой. Сам на себя любуется, ощерил порченые зубы, приговаривает:

— От-тя, от-тя...

— Ну?.. — скосоротился малолеток вроде Макси.

— Хрен гну! Вишь, у меня локоть-то не ходит.

— Зато удар слабый.

— А тебе крепость тут не нужна, тебе скоро надо. А када крепость, тада на всю руку — и на себя. От-теньки!.. — секир башка! Тут — вкладывай, сколь хватит силенки, и — маленько на себя, на себя...

Полсотни ребят у воды машут саблями. Загорелые, потные тела играют мускулами... Красиво.

Степан, спустившись с высотки, засмотрелся со стороны на эту милую его сердцу картину. К нему подошли Иван Черноярец, Иван Аверкиев, Сукнин, Ларька Тимофеев...

— С камышом-то вы ловкие! Вы — друг с дружкой! — не выдержал Степан.

Перестали махать.

— Ну-ка, кто порезвей? — атаман вынул саблю, ждал. Он любил молодых, но если бы кто-нибудь из них вздумал потягаться с ним в искусстве владеть саблей, то схватился бы он

с тем резвачом смертно. — Нет, что ли, никого? Ну и казаки!.. Куда смотришь, дед? Они у тебя только с камышом хороши. Наши молодцы — кто больше съест, тот и молодец? Эх... — атаман шутил. Но и всегда — и серьезно — учил: «Губошлепа никто не любит, даже самая худая баба. Но смерть губошлепа любит». Он самолично карал за неловкость, за нерасторопность и ротозейство. Но теперь он шутил. Ему любо было, что молодые не тратят зря время, а постигают главное в их опасной жизни. — Ну, молодцы?.. Кто? Правда, охота.

Рубака-дед громко высморкался, вытерся заморским платком необыкновенной работы, опять заткнул его за пояс.

— Што-то я не расслышал, — обратился он к молодым, — кто-то здесь, однако, выхваляется? А?

Молодые улыбались, смотрели на атамана. Они тоже любили его. И как он рубится, знали.

— Я выхваляюсь! Я! — сказал Степан.

— Эге!.. Атаман? — удивился дед. — Легче шуткуй, батька. А то уж я хотел подмигнуть тут кой-кому, штоб пообтесали язык... А глядь — атаман. Ну, счастье твое — глаза ишо видют, а то б...

— А есть такие? Пообтешут?

— Имеются, — скромно ответил дед. — Могут.

— Да где ж?

— А вот же ж! Перед тобой. Ты не гляди, што у нас ишо молоко на губах не обсохло, — мы и воевать могем.

— Кто? Вот эти самые?

— Ага. Они самые.

Степан поморщился, бросил саблю в ножны.

— Ну, таких-то телят...

— Ойе! — сказал дед и поднял кверху палец. — То про нас, сынки! Он думает, мы только девок приступом брать умеем. Ничего не сделаешь, придется поучить атамана. Ну, мы легонько — на память. Смотрите не забывайтесь, хлопцы, все же атаман. Што ж ты саблюку запрятал, батька?..

Тут сверху от дозоров, зашумели:

— Стругá!

Это был гром среди ясного неба. Этого никто не ждал. Слишком уж покойно было вокруг, по-родному грело солнышко, и слишком уж мирно настроились казаки...

Лагерь притих. Смотрели вверх, в сторону дозорных. Не верилось.

— Откуда?!

— От Астрахани!

— Много?! — крикнул Черноярец.

Дозорные, видно, считали — не ответили.

— Много?! — закричали им с разных сторон. — Какого там?!.

— С тридцать! — поспешил крикнуть молодой дозорный, но его поправили:

— Полста! Большие!..

Есаулы повернулись к Степану. И все, кто был близко, смотрели теперь на него.

Степан смятенно думал.

Весь огромный лагерь замер.

— В гребь! — зло сказал Степан.

Вот — наступила ясность: надо уходить. Полста астраханских больших стругов со стрельцами — это много. Накроют.

— В гребь!! — покатилось от конца в конец лагеря; весь он зашевелился; замелькали, перемешались краски. Не страх охватил этих людей, а досада, что надо уходить. Очень уж нелепо.

3

Из единственного прохода в тучных камышах выгребались в большую воду.

— В гребь — не в гроб: можно постараться. Наляжь, братцы!

— Их ты!.. Рраз! Ма-рье в глаз!

— Уйдем не уйдем, а побежали шибко.

Скрипели уключины, шумно путался под веслами камыш, ломался, плескалась вода... Казаки, переговариваясь в стружках, перекрикиваясь, не скрывали злой досады и нелепости этого бега. Матерились негромко.

— Уйде-ом, куда денемся!

— Шшарбицы не успел хлебнуть, — сокрушался большой казак, налегая на весло. — Оно б веселей дело-то пошло.

— Ишь ты, на шшарбу-то — губа титькой.

— Не горюй, Кузьма! Всыпет вот воевода по одному месту — без шшарбы весело будет.

— А куда бежать-то будем? Опять к шаху? Он, поди-ка, осерчал на нас...

— Это пусть батька с им разговоры ведет... Они дружки.

— А пошто бежим-то? — громко спросил молодой казачок, всерьез озабоченный этим вопросом.

Рядом с ним засмеялись.

— А кто бежит, Федотушка? Мы рази бежим?

— А чего ж мы?..

Опять грохнули.

— Мы в догонялки играем, дурачок! С воеводой.

— Пошел ты! — обиделся казачок. — Ему дырку на боку вертют, а он хаханьки!

Головные струги вышли в открытое море. Было безветренно. Наладились в путь дальний, неведомый. А чтоб дружнее греблось, с переднего струга, где был Иван Черноярец, голосистый казак громко, привычно повел:

— Эхх!..

— Слушай! — скомандовал Черноярец.

> Не великой там огонюшек горит...

Разом дружный удар веслами; почти легли вдоль бортов.

> То-то в поле кипарисный гроб стоит...

Еще гребок. Все струги подстроились махать к головным.

> Во гробу лежит удалый молодец, —

ведет голос; грустный смысл напева никого не печалит. Гребут умело, податливо: маленько все-таки отдохнули.

> Во резвых ногах-то уж и чуден крест,
> У буйной-то головы душа добрый конь.
> Как и долго ли в ногах-то мне стоять,
> Как и долго ли желты пески глотать?
> Конь мой, конь, товарищ верный мой!..

Степан сидел на корме последнего струга. Мрачный. Часто оборачивался, смотрел назад.

Далеко сзади косым строем растянулись тяжелые струги астраханцев. Гребцы на них не так дружны — намахались от Астрахани.

Эх-х!..
Ты беги, мой конь, к моему двору,
Ты беги, конь мой, все не стежкою,
Ты не стежкою, не дорожкою;
Ты беги, мой конь, все тропинкою,
Ты тропинкою, все звериною...

— Бегим, диду?! — с нехорошей веселостью, громко спросил Степан деда, который учил молодых казаков владеть саблей.

— Бегим, батька! — откликнулся дед-рубака. — Ничего! Не казнись: бег не красен, да здоров.

Степан опять оглянулся, всматриваясь вдаль, прищурил по обыкновению левый глаз... Нет, погано на душе. Муторно.

Прибеги ж, конь, к моему ты ко двору.
Вдарь копытом у вереички.
Выдет, выдет к тебе старая вдова,
Вдова старая, родная мать моя... —

причитал голос на переднем струге.

— Бегим, в гробину их!.. Радуются — казаков гонют. А, Стырь? Смеется воевода! — мучился Степан, накаляя себя злобой. От дома почти, от родимой Волги — гонят куда-то!

Стырь, чутьем угадавший муки атамана, неопределенно качнул головой. Сказал:

— Тебе видней, батька. У меня — нос да язык, у тебя — голова.

Вдова старая, родная мать моя,
И про сына станет спрашивати:
Не убил, не утопил ли ты его?

Ты скажи: твой сын жениться захотел,
В чистом поле положил-то я его,
Обнимает поле чистое теперь...

Степан встал на корме... Посмотрел на свое войско. Потом опять оглянулся. Видно, в душе его шла мучительная борьба.

— Не догнать им, — успокоил дед-рубака. — Они намахались от Астрахани-то.

Степан промолчал. Сел.

— А не развернуться ли нам, батька?! — вдруг воскликнул воинственный Стырь, видя, что атаман и сам вроде склонен к бою. — Шибко уж в груде погано — не с руки казакам бегать.

— Батька! — поддержали Стыря с разных сторон. — Что ж мы сразу салазки смазали?!

— Попытаем?!

Степан не сразу ответил. Ответил, обращаясь к одному Стырю: другим, кто близко сидел, не хотелось в глаза смотреть — тяжело. Но Стырю сказал нарочно громко, чтоб другие тоже слышали:

— Нет, Стырь, не хочу тебя здесь оставить.

— Наше дело, батька: где-нигде — оставаться.

— Не торопись.

— Дума твоя, Степан Тимофеич, дюже верная, — заговорил молчавший до того Федор Сукнин. Подождал, когда обратят на него внимание. — Отмотаться надо сперва от этих... — показал глазами на астраханскую флотилию. — Потом уж судить. Бывало же: к царю с плахой ходили. Ермак ходил...

— Ермак не ходил, — возразил Степан. — Ходил Ивашка Кольцов.

— От его же!

— От его, да не сам, — упрямо сказал Степан. — Нам царя тешить нечем. И бегать к ему каждый раз за милостью — тоже невелика радость.

— Сам сказал даве...

— Я сказал!.. — повысил голос Степан. — А ты лоб разлысил: готовый на карачках до Москвы ийтить! — гнев Разина вскипал разом. И нехорош он бывал в те минуты; неотступным, цепенящим взором впивался в человека, бледнел и трудно находил слова... Мог не совладать с собой — случалось.

Он встал.

— На!.. Отнеси заодно мою пистоль! — вырвал из-за пояса пистоль, бросил в лицо Федору, тот едва увернулся. — Бери Стеньку голой рукой! — сорвался с места, прошел к носу, вернулся. — Шумни там: нет больше вольного Дона! Пускай идут! Все боярство пускай идет — пускай мытарют нас!.. Казаки им будут сапоги лизать!

Федор сидел ни жив ни мертв: черт дернул вякнуть про царя! Знал же, побежали от царева войска, — не миновать грозы: над чьей-нибудь головой она громыхнет.

— Батька, чего ты взъелся на меня? Я хотел...

— В Москву захотел? Я посылаю: иди! А мы грамоту тебе сочиним: «Пошел-де от нас Федор с поклоном: мы теперь смирные. А в дар великому дому посылаем от себя... одну штуку в золотой оправе — казакам, мол, теперь ни к чему: перевелись. А вам-де сгодится: для умножения царского рода».

— Батька, тада и меня посылай, — сказал Стырь. — Я свой добавлю.

* * *

На переднем струге астраханской флотилии стояли, глядя вперед, князь Семен Львов, стрелецкие сотники, Никита Скрипицын.

— Уйдут, — сказал князь Семен негромко. Без особого, впрочем, выражения сказал — лиса, жадный, как черт, и хитрый. — Отдохнули, собаки!

— Куда ж они теперь денутся? — озадачило стрелецкого сотника.

— В Терки уйдут... Городок возьмут, тада их оттуда не выковырнешь. Перезимуют и Кумой на Дон уволокутся.

— А не то к шаху опять — воровать, — подали сзади голос.

— Им теперь не до шаха — домой пришли, — задумчиво сказал князь Семен. — У их от рухляди струги ломаются. А в Терки-то их отпускать не надо бы... Не надо бы. А, Микита?

— Не надо бы, — согласился простодушный Никита Скрипицын, служилый человек приказа Галицкой чети.

— Не надо бы, — повторил князь Семен, а сам в это время мучительно решал: как быть? Ясно, казаков теперь не догнать. Как быть? Выгнать их подальше в море и стать в устье Волги заслоном? Но тогда переговоры с Разиным поведутся через его голову — это не в интересах князя. Князю хотелось первым увидеться с Разиным, с тем он и напросился в поход: если удастся, то накрыть ослабевших казаков, от-

нять у них добро и под конвоем проводить в Астрахань, не удастся, то припереть где-нибудь, вступить самому с Разиным в переговоры, слупить с него побольше и без боя — что лучше — доставить в Астрахань же. Но — в том и другом случае — хорошо попользоваться от казачьего добра. В прошлый раз, под видом глупой своей доверчивости, он пропустил Разина на Яик «торговать» и славно поживился от него. Разин сдуру хотел даже от него бумагу получить впрок, что вот-де князь Львов, второй воевода астраханский, принял от него, от походного атамана, от Степана Тимофеича... Князь Семен велел посыльщикам передать атаману: пусть не блажит! И велел еще сказать: уговор дороже денег, и никаких бумаг!

Так было в прошлый раз.

Теперь же так складывалось, что не взять с Разина — грех и глупость. У разбойников — правда что! — струги ломятся от добра всякого, а на руках у князя «прощальная» царская грамота: год назад царь Алексей Михайлович писал к Разину, что, если он уймется от разбоя и уйдет домой, на Дон, царь простит ему свои караваны, пущенные на Волге ко дну, простит стрельцов и десятников стрелецких, вздернутых на щегле, простит монахов, которым Степан Тимофеич сам, на бою ломал руки через колено (забыл Степан, рассуждая с Фролом Минаевым про церковь, забыл про этих монахов). Князь Львов подсказал князю Прозоровскому, первому воеводе, воспользоваться этой грамоткой теперь и не заводить с донцами свары, ибо стрельцы в Астрахани ненадежны, а Разин богат и в славе: купит и соблазнит стрельцов.

— А ведь не угрести нам за ними, — молвил наконец князь Семен. — Нет, не угрести. Микита, бери кого-нибудь — догоняйте налегке. Отдай грамоту, только — упаси бог! — ничего не сули. Не надо. Пускай в Волгу зайдут — там способней разговаривать.

— Спросют ведь: как, что? Не поверют...

— В грамоте, мол, все писано: «Царь вам вины ваши отдает — идите». Все. С богом, Микита: пусть в Волгу зайдут, там видно будет.

Через некоторое время из-за переднего струга астраханцев вылетела резвая лодочка и замахала в сторону разинцев. С княжьего судна бухнула тяжелая пушка. Флотилия стала.

* * *

Степан, услышав пушечный выстрел, вскочил.

— Лодка! — крикнул рулевой. — Те стали, а лодка вдогон идет!

— Ну-ка, обожди! — велел Степан. — К нам ли?

— Послы, чай? — гадали казаки.

— К нам, что ли?! — крикнул Степан в нетерпении. Послы — это уже не бой. Не ему теперь, слабому, увешанному добром, как гирями, желать боя. Послы — это хорошо. — Ну-ка, кто поглазастей — гляди хорошенько!

Все смотрели на далекую лодочку.

— К нам! — заверили, кто поглазастей. — Прямиком суда машет. Легкая, без набоев.

Через минуту Степан уже распоряжался:

— Пальни, из какой громче! Сенька, дуй к Черноярцу — пускай кучней сплывутся. Сам пусть ко мне идет. Одеться всем!

В разинской флотилии начались приготовления к встрече с послами. Тявкнула пушка. Передние струги развернулись и шли к атаману. Казаки одевались: на каспийской вечерней воде зацвели самые неожиданные яркие краски. Заблестело у поясов драгоценное оружие — сабли, пистоли. У Степана на боку очутился золотой пернач, гнутый красавец пистоль.

— Веселей гляди! — слышался бодрый голос Степана. — Хворых назад!

Огромный плоский диск солнца коснулся линии горизонта и стал медленно погружаться в воду. А в небе, в той стороне, пошел разгораться нежаркий соломенный пожар.

Лодочка с послами все скользила и скользила по воде. Торопилась. Солнце было как раз между лодочкой и стругами Стеньки. И оно медленно катилось вниз. А лодочка все торопилась.

И вот солнце закатилось совсем; на воде остался широкий кровяной след. Лодочка заскользила по этому следу. Пересекла, подступила к атаманову стругу. Несколько рук протянулось с баграми — придержали лодочку. Послов подняли на высокий борт.

Тихо на море. Только чайки кружат и кричат ущемленными кошками.

Ровное, гладкое море. Скоро ночь. Покой.

— «...Чтоб шли вы с моря на Дон, — читал Никита Скрипицын Разину и его есаулам. — И чтоб вы, домой идучи, нигде никаких людей с собой не подговаривали. А которые люди и без вашего подговору учнут к вам приставать, и вы б их не принимали и за то опалы на себя не наводили...»

Степан покосился на есаулов. Есаулы внимательно слушали.

— «И чтоб вы за вины свои служили, и вины свои заслуживали...»

— Читай ладом! — обозлился Степан. — Задолбил одно: «служили да заслуживали»!

— Здесь так писано! — воскликнул Никита и показал Степану.

Тот оттолкнул грамоту.

— Чти!

— «А что взяли понизовых людей и животы многие, и то все б у вас взять и отдать в Астрахани...»

* * *

Князь Семен Львов, пока послы его раздражали Разина, продумывал простой и надежный план. Что разинцы остановились для переговоров, сулило выгоду. Теперь, как видно, не упустить бы момент.

Князь Семен беседовал с сотниками.

— Дума у меня такая, ребятушки, — тянул, по обыкновению, хитрый Львов. — Стеньке деваться некуда: шаху насолил, в Терках стрельцы, в Астрахани стрельцы... А на бой идти ему неохота. Ему домой надо — разгрузиться. Во-от... А как зайдут в Волгу — тут мы их запрем, отрежем от моря. Он сразу сговорчивый станет. В Волгу его зазвать, в Волгу... Отымем барахлишко, тогда уж и приведем в Астрахань. А?

* * *

Милостивая царская грамота прочитана.

Казаки думают. Послы ждут.

Степан ходил по стружку взад-вперед. У него созрел свой план, не такой простой, как у князя Львова, и чуть, может, более рискованный. Дело в том, что он не поверил ни грамоте, ни словам Львова (он решил, что грамота фальшивая), но в действиях астраханцев он уловил некую неуверенность и поставил на нее. На нее и на свою смекалку и расторопность.

— Иван! — позвал он Черноярца.

— Ну! — откликнулся тот.

— Так сделаем: мы в десять стругов останемся тут, ты в двенадцать, с ясырем, с бусáми, пойдешь в Волгу. А мы остров с той стороны обойдем, станем. Если они какой подвох затеяли — мы у их со спины окажемся. Взял? Ишь, они обмануть нас задумали...

— Ты хитрый, Стень... Степан Тимофеич, — заговорил Никита Скрипицын, — а и там не гольные дураки: там-то знают, вы не в двенадцать стругов шли, а в двадцать два. Сметют.

— Знамо, сметют. Иван, зайдете в Волгу, метай кого-нибудь в лодку — и к князю Львову. Скажете: вышел у нас здесь раздор: одни на милость пошли, другие со Стенькой в Терки отвалили. Послы с нами побудут. Окажется подвох — с их начнем: своими руками обоих задавлю. Подбирай людей, Иван. Поменьше бери — только гребцов. Ларька, Федор, Фрол — со мной. Расскажите казакам, чтобы все знали. Чтоб наизготовке были. Берегите послов. Айда!

Разинская флотилия пришла в движение.

Там и здесь вспыхивали факелы; казаки менялись местами. Двенадцать стругов отряжалось с Черноярцем, остальные должны были быть со Степаном — в засаде.

Никита Скрипицын затосковал. Посольство могло выйти ему боком. Потемый князь Семен додумается: сообразит казакам ловушку. Тогда атаман исполнит слово — задавит, в этом можно не сомневаться. Не думал только Скрипицын, что атаман сам хочет выставить его, Скрипицына, в качестве грамоты, но не фальшивой, как думал атаман про ту, что ему вычли, а истинной: если дать Скрипицыну удрать, то он

и сообщит Львову, что казаки не верят и наладили свою ловушку. Это и надо было Степану: он упорно не хотел боя. Когда станет понятно, что казаки не дали себя обмануть, астраханцы должны будут открыть карты. Может, грамота и не фальшивая, черт ее разберет так-то.

— Пропали, Кузьма, — негромко сказал Скрипицын своему товарищу.

— Чую, — откликнулся тот.

— Что делать? Ну-ка, да там возьмут да кинутся на эти двенадцать стружков? Подумают, все прошли, и кинутся. Пресвятая богородица, отведи напасть. Пропадем...

— Перехитрил, черт дошлый!

— Обманешь их! С малых лет на воровстве. Черта вокруг пальца обведут, — Скрипицын невольно прислушивался к сборам казаков, прикидывая в уме, сколько они еще прособираются и сколько пройдет времени, пока казаки подойдут к Волге, а князь Львов отрежет их с моря, — успеет рассветать или нет? Что Львов пойдет на вероломство и вымогательство, в том Скрипицын не сомневался — пойдет. Если бы к тому времени хоть рассвело, хитрость казачья обнаружилась бы, и Львов опомнился бы...

— Чего Львов задумал-то? — спросил его Кузьма.

— Откуда мне знать? Ты знаешь?

— Я знаю... Вы там все шепчетесь-то, все выгадываете... Кинется он на этих, как думаешь?

Скрипицын помолчал и сказал зло и отчаянно:

— А то ты не знаешь!

Двенадцать стругов под командой Черноярца с множеством факелов двинулись в сторону Волги. Десять с Разиным осталось.

— Огни в воду! — донесся голос Разина. — В гребь! И тихо надо! Смочите кольшки, весла... — голос атамана приближался во тьме. Коренастая его фигура вдруг оказалась уже на струге, где были послы, на корме. — В гребь! Но — тихо, — повторил он. Повернулся к рулевому: — Будешь держать за ими пока, — показал в сторону удаляющихся огоньков. — Остров замаячит, свалишь в левую руку. Стырь, иди ко мне, накажу вам одно дело важное, — позвал он.

Стырь прошел на корму.

— Как совсем стемнеет, — заговорил Степан на ухо старику, — я велю перевести послов на другой струг. Пристав-

ными пошлю вас с дедом. В ихной лодке. Надо, чтоб они утекли от нас. Дайте им...

— Как? — не понял Стырь. Он тоже говорил шепотом.

— Дайте им сбежать.

— А мы как? — все не мог понять Стырь.

— Не знаю. Можа, с собой возьмут.

— Хм... А можа, стукнут бабайкой да в воду?

— Не знаю. Иди скажи деду. Оборони бог, чтоб послы чего-нибудь зачуяли... Себя пожалеете, я вас не пожалею. Сделайте, чтоб убежали.

Стырь подумал. Встал. Он понял.

— Убегут. А на худой конец — дай чмокну тебя. Я хошь не шахова девка, а люблю тебя... — поцеловались. Стырь еще сказал: — Батьке твоему поклон передам.

— Раньше время-то не умирай.

— А кто ведает? Они вон быки какие.

— Иди к деду, расскажи ему все, — поторопил Степан.

— Не поминай лихом, Тимофеич.

Степан некоторое время смотрел в темноту. Потом сказал гребцам:

— Не торопитесь. Поспеем. Гребите тише.

Долго плыли в полной тишине. Только чуть слышно вскипала вода под веслами, шипела. Струги с Черноярцем были уже далеко; плясали, путались во тьме и качались длинные огоньки их факелов.

Слева замаячил остров, надвигался смутной длинной тенью.

— Остров, батька, — подали голос с носа струга.

— Вали влево. Как остров обогнем... Стырь! И ты, дед Любим! Проводите послов на последний струг, к Федору. А то они развесили тут ухи-то — много знать будут, — нарочно громко сказал Степан. — Уберите их отсудова!

— Пошли, голуби! — скомандовал Стырь. — Вязать будем, Любим?

— Шевелитесь! — прикрикнул Степан нетерпеливо.

— В лодке свяжем, — решил дед Любим. — Шагайте.

Гребцы притабанили струг; четверо с правого борта слезли в лодку. Молчали.

Струг тотчас отвалил влево, к острову, и сразу пропал в темноте, точно его не было. И задних не слышно пока, тоже тихо крадутся.

— Побудем здесь. Федор подойдет, мы ему шумнем, — сказал Стырь. — Давай-ка, браток, рученьки твои белые, я их ремешком схвачу, — Стырь склонился к Никите Скрипицыну.

Никита слегка ошалел от нежданного поворота, протянул было руки... Но его товарищ сгреб уже деда Любима и ломал под собой, затыкая ему рот. В то же мгновение и Стырь оказался на дне лодки, и большая ладонь служилого плотно запечатала ему рот. Ремешки, которые взяты были для послов, туго стянули руки приставных. Послы схватились за весла и налегли на них; лодка очумело полетела в темноту.

— Мм!.. — замычал Стырь и засучил ногами.

Никита склонился, покрепче затолкал подол кафтана ему в рот... Захватил в узластую лапу седую бороденку старика, пару раз крепко посунул его голову — туда-сюда — по днищу лодки.

— Будешь колотиться, дам веслом по башке и в воду, — сказал негромко и весело.

Стырь притих. Дед Любим тоже лежал смирно: видно, товарищ Никиты перестарался, помял Любима от души. Или — прирожденный воин — Любим хитрил и, не в пример Стырю, не скреб понапрасну на свой хребет.

— Пресвятая матерь божья, — шептал набравшийся смертного страха Никита Скрипицын, — спаси-пронеси, свечей в храме наставлю. Пособи только, господи.

* * *

Князь Семен до боли в глазах, до слезы всматривался с высокого стружьего носа в сумрак ночи. Огоньки факелов на стругах Черноярца плясали поодаль, качались...

— Прошли, что ль? — ни черта не разберу...

— Прошли. Больше нету.

— Сколь нащитал-то?

— По огонькам — вроде много... Они мельтешат как...

— Ну, сколь? Чертова голова...

— С двадцать, — неуверенно отвечал молодой стрелец. — А можа, боле. Они мельтешат, как... Можа, боле, не поймешь.

— Откуда их боле-то? Их сэстоль и есть. Во-от... Гасите-ка огни! Пошли. Зря не шумите. С богом! Пушкари — готовься. Как отрежем, так лодку к им: «Складай оружье — окруженные». Мы их седня прижмем... В Волге, там с ими поговорим покруче. Взвозятся, открываем пальбу... Но, я думаю, они умней — не взвозятся. Во-от. Топить-то их не надо бы... Не надо бы — у их добра много. Не топить! Так договоримся.

Князь Семен был доволен.

* * *

— Добре! Стой! — распорядился Иван Черноярец. — Так и есть — окружают, собаки: огни в воду пометали. Сучья порода... Ну-ка, кто? — до батьки! Отрезают с моря, мол. К воеводе я сам отправлюсь. Ах, вертучая душа: медом не корми, дай обмануть, — забыл первый есаул, совсем как-то забыл, что сами они первые раскинули стрельцам сеть. — Батьке скажи, чтоб не торопился палить: можеть, я их счас принужну там. Можеть, миром решим, когда узнают. Спину-то они нам подставили, а не мы им...

— А затеется бой, — ты как же?

— Ну, как? Как есть... Не затеется, я их припужну счас. Давай лодку!

* * *

В астраханской флотилии произошло какое-то движение, послышались голоса... Похоже, кто-то прибыл, что ли.

— Какова дьявола там?! — зашипел князь Семен. — Оглоеды... Опупели?

Голоса приближались. Да, кто-то прибыл со стороны.

— Тиха! — прикрикнули с воеводского струга.

— Никита вернулся, — сказали с воды. — Ну-к, прими! Спусти конец... Да куда ты багром-то?! Дай конец!

— Никита? — изумился князь. Он так увлекся своими хитросплетениями, так с головой влез в азарт продуманной игры, что забыл про своих послов. — Давай суда его. А чего они? Чего, Никита?

— Беда, князь! — заговорил Никита, перевалившись через борт. — Слава те господи!.. успели. Фу!.. С того света.

— Что? Говори! — почти закричал воевода.

— Перехитрили нас, воевода. Ты их отрезал? С моря-то.

— Отрезал.

— А Стенька у нас за спиной! Слава те господи, успели. Я так и знал, что отрежешь. Налетели б счас на румяную...

— Как так? — раздраженно спросил князь. — А кто прошел?

— Сколь прошло-то?

— Двадцать нащитали...

— Двенадцать стругов! А десять, самых надежных, у нас за спиной. Разделились они — подвох зачуяли. Мы-то насилу головушки свои унесли. Двух казаков с собой прихватили. От этих не было никого? — Скрипицын кивнул в сторону разинцев с Черноярцем, которых воевода запирал в Волге.

Воевода помолчал.

— Рази ж они не все прошли?

— Скоро пришлют посыльщиков. Послухай, что плести будут! Скажут, раздор вышел: Стенька в десять стружков к Теркам ушел, а эти вроде на милость идут. Ворье хитрое... Мы двоих прихватили — приставных к нам. Слава те господи! А уж про нас, князь, и не подумал? Стенька посулился самолично задавить нас...

— Во-от, — понял наконец воевода. — С вами рази чего сделаешь! — обидно ему сделалось — так все ладно обдумал, так все сошлось в голове, и надо теперь все переиначивать, все ломать и снова собираться с мыслью и духом. Так резко различаются русские люди: там, где Разин, например, легко и быстро нашелся и воодушевился, там Львов так же скоро уронил интерес к делу, им овладела досада. — А попробуем?! — вдруг вяло оживился он. — Их же меньше. Да мы теперь знаем про ихнюю хитрость. А?

Сразу ответили в несколько голосов:

— Что ты, Семен Иваныч!

— Нет, князь! Господь с тобой!..

— Они, как кошки. Им только дай ночью бой затеять. Любезное дело... Они и месяц-то казачьим солнышком зовут.

Опять с воды послышались шум и голоса. Опять, похоже, пришлые.

— Кто?! — окликнули с воеводского струга.

— Есаул Иван Черноярец! К воеводе.

— Зови, — велел князь. — Запалите огонь.

Никита с Кузьмой отошли в сторонку — из светлого круга. Иван поднялся на струг, поклонился воеводе.

«Теперь Стенька не даст, сколько мог дать, запри я его в Волге, — подумал князь Семен. — Воистину, казаки обычьем — собаки».

— Ну? — спросил князь строго. — С чем пожаловал?

— Челом бьем, боярин, — заговорил Иван. — Вины наши приносим великому государю...

— Вы все здесь? — нетерпеливо перебил князь.

— Нет. Атаман наш в десять стружков ушел к Теркам.

— Чего ж он ушел? Вины брать не хочет?

— Убоялся гнева царского...

— А вы не убоялись?

— Воля твоя... Царь нас миловал. Нам грамотку вычли.

— А не врешь ты? Ушел ли Стенька-то? — теперь князь открыто злился; особенно обозлило вранье есаула, и то еще, что есаул при этом смотрит прямо и бесхитростно. — Ушел ваш атаман?! Или вы опять крутитесь, собаки?! Ушел атаман?

— Вот — божусь! — Иван, не моргнув глазом, перекрестился.

— Страмцы, — сказал князь брезгливо. — Никита!..

В круг света вошел Никита Скрипицын, внезапный и веселый.

— Здоров, есаул! Узнаешь?

Иван пригляделся к послу, узнал:

— А-а... — и поник головой, даже очень поник.

— Чего ж ты врешь, поганец?! — закричал князь. — Да ишо крест святой кладешь на себя!

— Не врали б мы, боярин, кабы вы первые злой умысел не затаили на нас, — поднял голову Иван. — Зачем с моря отсек? В царской милостивой грамоте нет того, чтоб нас окружить да побить, как собак.

— Кто вас побить собирался?

— Зачем же с моря путь заступили? Зачем было...

— Где атаман ваш? — спросил воевода.

— Там, — Иван кивнул в сторону моря. — За спиной у вас... Ты, воевода, будь с нами, как с ровней. А то обманываешь тоже, как детей малых. Даже обидно, ей-богу... И ты, служилый, ты же только грамоту нам читал: рази там так сказано! Кто же обманом служит!..

— Пошли к Стеньке! — заговорил князь. — Пускай ко мне идет без опаски: крест целовать будете. Пушки, которые взяли на Волге, в Яицком городке и в шаховой области, отдадите. Служилых астраханцев, царицынских, черноярских, яицких — отпустить в Астрахани. Струги и все припасы отдать на Царицыне. Посылай.

— Я сам пойду, чего посылать...

— Сам тут побудешь! — резко сказал воевода.— Посылай.

Иван подумал... Подошел к краю струга, свесился с борта, долго что-то говорил казаку, который приплыл с ним и сидел в лодке. Тот оттолкнулся от струга и исчез в темноте.

Воевода меж тем рассматривал стариков — Стыря и Любима, коих подвели к нему, — он велел. Вступил в разговор с ними.

— Куда черт понес — на край света? — с укоризной спросил князь. — Помирать скоро! Воины...

— Чего торописся, боярин? Поживи ишо, — сказал Стырь участливо. — Али хворь какая? — старики осмелели при есауле: слышали, как тот говорил с воеводой — достойно. Особенно осмелел Стырь.

— Я про вас говорю, пужалы! — воскликнул князь.

— Чего он говорит? — спросил дед Любим Стыря.

Стырь заорал, что было силы на ухо Любиму:

— Помирать, говорит, надо!

— Пошто?! — тоже очень громко спросил дед Любим.

— Я не стал про то спрашивать!

— Э?!

— Я враз язык прикусил! Испужался!

— А-а! У меня тоже в брюхе чего-то забурчало. Тоже испужался!

Воевода сперва не понял, что старики дурака ломают. Потом понял.

— Не погляжу счас, что старые: стяну штаны и всыплю хорошенько!

— Чего он? — опять спросил дед Любим громко.

— Штаны снимать хочет! — как-то даже радостно орал Стырь. — Я боярскую ишо не видал?! А ты?

— Пошли с глаз! — крикнул воевода. И топнул ногой.

Он, может, и всыпал бы старикам тут же, не сходя с места, но дело его пошло вкось, надо теперь как-то его выравнивать — не злить, например, лишний раз Стеньку: за стариков тот, конечно, обозлился бы.

* * *

Посыльный от Ивана рассказал Степану, чего требует воевода:

— Привесть к вере все войско. И чтоб шли мы в Астрахань, а пушки и знамена — все бы отдали. А струги и припас на Царицыне отдали б...

— Голых и неоружных отправить?! — воскликнул Фрол Минаев. — Во, образина!..

— Батька, давай подойдем скрытно, всучим ему щетины под кожу, — подсказал Ларька Тимофеев. — Чтоб он, гундосый, до самой Астрахани чесался.

— Гляди-ко!.. — воскликнул Степан. — Какие у нас есаулы-то молодцы! А то уж совсем в Москву собиралися — милости просить. А царь-то, вишь, вперед догадался — грамотку выслал. Молодец! И есаулы молодцы, и царь молодец! — Степан воистину ликовал.

— Мы не напрашиваемся в молодцы, — обиделся Ларька.

— Славный царь! Дуй, Ларька, к воеводе. Перво-наперво скажи ему, что он — чурка с глазами: хотел казака обмануть. Потом насули ему с три короба... Крест поцалуй за нас. Чего хмурисся?

— Я не ходок по таким делам, — сказал Ларька.

— Кто же пойдет? Я, что ль?

— Вон Мишка Ярославов: и писать, и плясать мастак. Пусть он.

— Я могу, конечно, сплясать, токмо не под воеводину дудку. Шпарь, Лазарь, не робь, — Мишка широко улыбнулся.

— Вместях пойдете, — решил Степан. — Молодец Ларька, надоумил. Собирайтесь, — Степан посерьезнел. — Гни-

тесь там перед им, хоть на карачках ползайте, а домой нам попасть надо. Чего отдать, чего не отдать — это мы в Астрахани гадать будем; грамотка-то, видно, правдишная. Лишь бы они до Астрахани не налетели на нас. Валяйте.

Есаулы, Лазарь и Михаил, поднялись нехотя.

— Пушки, знамена, струги, припас — на то, мол, у нас в Астрахани круг будет, там обсудим, — наказывал Степан.

— Лучше уж счас прямо насулить, — посоветовал Фрол, — чтоб у их душа была спокойная. А в Астрахани стрельцов поглядим — какие они твердые, посадских людишек... Там-то способней разговоры вести.

— И то дело, — согласился Степан. — Сулите и пушки. Наших людей, каких окружил, пусть к нам пропустит, а сам пускай вперед нас идет. До самой Астрахани. А чтоб сердце воеводино помягче было, подберите рухлядишки шаховой — от меня, мол. Поболе! Намекните воеводе: пускай заклад наш помнит. А то он чуть не забыл. В Астрахани, мол, ишо дары будут. Скажите: атаман все помнит — и добро и худо.

Так Разин прошел в Астрахань — без единого выстрела, не потеряв ни одного казака. То была победа немалая.

* * *

«Тишайший» в Москве топал ногами, мерцал темным глазом, торопил и гневался. Он сбирался на соколиную охоту, когда ему донесли с бумаги:

— «Разорил татарские учуги, пленил персидские торговые суда, ограбил города Баку, Рящ, Ширвань, Астрабат, Фарабат; и, произведя везде ужасные злодеяния, губил беспомощно мирных жителей. И побил персидский флот. И теперь пошел к Волге...»

— Объявился, злодей! — воскликнул царь. — Откуда пишут?

— Из Терков.

— Писать в Астрахань, к князю Ивану Прозоровскому: остановить! Оружье, припас, грабленое — все отнять! Воров расспросить, выговорить им вины ихние и раздать всех по стрелецким приказам! Собаки неспокойные!.. Они уж в охотку вошли — грабют и грабют. Всех по приказам!

Случившийся рядом окольничий Бутурлин напомнил:

— Государь, мы в прошлом годе писали в Астрахань прощальную Стеньке. Понадеется князь Иван на ту грамоту...

— Ту грамоту изодрать! Год назад писана... Успеть надо, чтоб Стенька на Дон не уволокся. Успеть надо!.. Не мешкайте! Ах, злодей!.. Он эдак мне весь мир с шахом перебаламутит. Не пускать на Дон!

Царская грамота заторопилась в Астрахань — решать судьбу непокорного атамана.

А пока что атаман шел к Астрахани. Позади Львова князя.

И пока он шел к Астрахани, в Москве «тишайший» выезжал из Кремля на охоту.

Думные дворяне, стольники, бояре, сокольничьи, сокольники... Все пылает на них — все в дорогих одеждах, выдаваемых в таких случаях двором. Даже кречеты на перчатках сокольников (перчатки у сокольников с золотой бахромой) и те с золотыми кольцами и шнурками на ногах.

Нет еще главного «охотника» — царя Алексея Михайловича, «рожденного и воспитанного в благочестии» (как он сказал о себе на суде Вселенских Патриархов).

Вот вышел и Он... В высокой собольей шапке, в девять рядов унизанной жемчугом. Нагрудный крест его, пуговицы и ожерелье — все из алмазов и драгоценных камней. Бояре и окольничьи с ним — в парчовых, бархатных и шелковых одеяниях.

Путь от Красного крыльца до кареты устлан красным сукном. Царь проследовал в карету... «Царева карета была весьма искусно сделана и обтянута красным бархатом. На верху оной было пять глав, из чистого золота сделанных». Одеяние кучеров и вся сбруя были также из бархата.

Поезд тронулся.

Впереди ехал «кроткий духом».

«Был он роста высокого, имел приятный вид. Стан его строен был, взор нежен, тело белое, щеки румяные, волосы белокурые. Он зело дороден».

«Характер его соответствовал сей пригожей наружности. Ревностно приверженный к вере отцов своих, выполнял он от души все правила оной. Нередко, подобно Давиду, вставал ночью и молился до утра».

«Хотя он и был Монарх Самодержавный, но наказывал только по одной необходимости, и то с душевным прискорбием. Щадя жизнь своих подданных, он также никогда не корыстовался имуществом их. Любил помогать несчастным и даже доставлял пособие ссылаемым в Сибирь. Удаленным в сию дикую страну, ино давал малые пенсионы, дабы они там совсем не пропали.

Волнение умов и внутренние неудовольствия побудили его учредить Тайный Приказ, коего действия были не всегда справедливы; а ужасное СЛОВО и ДЕЛО приводило в трепет самых невинных».

«Окинем теперь светлым взором те мудрые деяния царя Алексея Михайловича, коими он восстановил благосостояние подданных своих и даровал им новую жизнь».

«Против Июня 1662 г. случился в Москве бунт.

Какой-то дворянин прибил в разных частях города к стенам и заборам пасквили, в коих остерегал народ, чтоб он не доверял боярам, ибо они, безбожники, стакнувшись с иноземцами, продадут Москву. Буйная чернь, узнав о сем, кинулась ко двору и произвели бы там изрядные злодеяния, если бы царь и бояре, предваренные о сем восстании, не уехали в село Коломенское.

Отчаянные преступники сии, числом до 10000, кинулись в село Коломенское, окружили дворец и, требуя по списку бояр, угрожали сему зданию совершенным истреблением, если желание их не будет исполнено».

«Царь Алексей Михайлович, наученный прежде опытами, поступил в сем случае, как Монарху и следовало. Немецкие солдаты и стрельцы телохранительного корпуса явились внезапно на площади и начали действовать так удачно, что 4000 бунтовщиков легло на месте, а большая часть остальных, с предводителем их, были схвачены и закованы.

После сего возвратился царь в Москву и приказал произвести следствие над преступниками. Большая часть из оных приняла достойную казнь, так что 2000 человек были четвертованы, колесованы и повешены. Остальным обрезали уши, означили каленым железом на левой щеке букву Б и

сослали с семействами в Сибирь. Мальчикам от 12 и до 14 лет обрезали только одно ухо».

«Совершив сии важные действия, для успокоения Отечества нашего необходимо нужные, занялся царь Алексей Михайлович внутренним образованием государства. Издан был новый Полицейский Устав, исполнителем коего определен был князь Македонский».

«Милосердие и человеколюбие были отличительными чертами души царевой...»

4

Утром, чуть свет, бабахнули пушки первого российского боевого корабля «Орел», стоявшего у астраханского Кремля...

С флотилии князя Львова ответили выстрелами же.

Разинцы, недолго думая, зарядили свои и тоже выстрелили.

Первыми плыли струги Львова, за ними, на расстоянии, правильным строем шли разинцы.

— Не понимай, мы кого встречайт: князь Льфоф или Стенька Расин? — спросил с улыбкой капитан корабля Бутлер воеводу Прозоровского (они были на борту «Орла»).

Тот засмеялся:

— Обоих, капитан! Живы-здоровы — и то слава богу, — он подозвал к себе приказного писца и стал говорить, что сделать:

— Плыви к князю Семен Иванычу, скажешь: Стеньку проводить к Болде, к устью, пусть там стоит. Сам князь после того пускай ко мне идет. Наши стружки здесь поставить. И пускай он Стеньке скажет: чтоб казаков в городе не было! И наших к себе пусть не пускают. Никакой торговлишки не заводить!

— Винишко как? — подсказал бойкий пищик.

— Винишко?.. Тут, брат, ничего не поделаешь: найдутся торговцы. Скажешь князю, чтоб у Болды оставил наших стругов... пять — для пригляду. Понадежней стрельцов пускай подберет, чтоб в разгул не пустились с ворами.

* * *

Разинские струги сгрудились в устье речки Болды (повыше Астрахани).

На носу атаманьего струга появился Разин.

— Гуляй, братцы! — крикнул он. И махнул рукой.

Не мало, тысяча казаков, сыпануло на берег. И пошло дело.

По всему побережью развернулась нешуточная торговля. Скорые люди уже поспели сюда из Астрахани — с посада, из Белого города, даже из Кремля. Много было иностранных купцов, послов и всякого рода «жонок». В треть цены, а то и меньше переходили из щедрых казачьих рук в торопливые, ловкие руки покупателей саженной ширины дороги, зендень, сафьян, зуфь, дорогие персидские ковры, от коих глаза разбегались, куски миткаля, кумача, курпех бухарский (каракуль); узорочный золотой товар: кольца, серьги, бусы, цепи, сулеи, чаши...

Наступил тот момент, ради которого казак терпит голод, холод, заглядывает в глаза смерти...

Трясут, бросают на землю цветастые тряпки, ходят по ним в знак высочайшего к ним презрения. Казак особенно почему-то охоч поспорить в торговом деле с татарином, калмыком и... с бабой.

Вот разохотился в торговлишке рослый, носатый казак. Раскатал на траве перед бабами драгоценный ковер и нахваливает. Орет:

— Я какой? Вона! — показал свой рост. — А я на ем два раза укладываюсь. Глянь: раз! — лег. — Замечай, вертихвостые, а то омману, — вскочил и улегся второй раз, раскинул ноги. — Два! Из-под самого шаха взял.

— Да рази ж на ем спят? — заметила одна. — Его весют!

— Шах-то с жонкой небось был? Согнал, что ль?

— Шах-то?.. Шах — он шах и есть: я ему одно, он другое: урасливый, кое-как уговорил...

Разворачиваются дороги, мнут в руках сафьян...

— Эття сафян? Карош?

— А ты что, оглазел?

— Эття скур сибка блеха — толсти...

— Это у тебя шкура толстая, харя! Могу обтесать!

— Посьто ругасся? Сяцем?

— Сяцем, сяцем... Затем! Затем, что сдохла та курочка, которая золотые яички татарам несла, вот зачем.

Оборотистые астраханцы не забыли про «сиуху». Местами виночерпии орудуют прямо с возов. Появились первые «ласточки»... Прошелся для пробы завеселевший казачок:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?
Ох,
Я ползу, ползу
Ко боярскому двору,
К высокому терему...

Но есаулам строго-настрого велено смотреть: не теперь еще успокоиться, нет. Есаулы и без атамана понимали это.

Иван Черноярец, собираясь куда-то со струга, наказал сотникам:

— За караулом глядеть крепко! А то учинят нам тут другой Монастырский Яр. Ни одной собаке нельзя верить. На думбасах пускай все время кто-нибудь остается. Семка, вышли в Волгу челнока с три — пускай кружут. Замечу в карауле пьяного, зарублю без всяких слов.

Разноцветное человеческое море, охваченное радостью первого опьянения, наживы, свободы, торга — всем, что именуется ПРАЗДНИК, колышется, бурлит, гогочет. Радешеньки все — и кто обманывает, и кто позволяет себя обманывать.

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

Назревал могучий загул. И это неизбежно, этого не остановить никому, никакому самому строгому, самому любимому атаману, самым его опытным есаулам.

* * *

В приказной палате в Кремле — верховная власть Астрахани: князь, боярин, воевода Иван Семеныч Прозоровский, князь, стольник, товарищ воеводы Семен Иваныч Львов, князь, стольник, товарищ воеводы Михаил Семеныч Прозоровский (брат Ивана Семеныча), митрополит Иосиф, подьячий, стрелецкий голова Иван Красулин. Думали-гадали.

— Что привел ты их — хорошо, — говорил князь Иван Семеныч, высокий дородный боярин с простодушным, открытым лицом. — А чего дале делать? Ты глянь, мы их даже тут унять не можем: наказывал же я не затеваться с торговлей!.. А вон что делается! А такие-то, оружные да с добром, на Дон уйдут?.. Что же будет?

— Дело наше малое, князь, — заметил Львов. — У нас царева грамота: спровадим их, и все на том.

— Грамота-то, она грамота... Рази ж в ей дело? Учнут они, воры, дорогой дурно творить — где была та грамота! С нас спрос: куда глядели? Потом хоть лоб расшиби — не докажешь. Дума моя такая: отправить их на Дон неоружных. Перепись им учинить, припас весь побрать...

— Эка, князь! — в сердцах воскликнул митрополит, сухой длинный старик с трясущейся головой. — Размахался ты — все побрать! Не знаешь ты их, и не приведи господи! Разбойники! Анчихристы!.. Они весь город растаскают по бревнышку.

— Да ведь и мы не с голыми руками!

— Нет, князь, на стрельцов надежа плоха, — сказал Львов. — Шатнутся. А пушки бы и струги, если б отдали, — большое дело. Через Царицын бы бог пронес, а на Дону пускай друг другу глотки режут — не наша забота. И спрос не с нас.

— Что ж, Иван, так плохи стрельцы? — спросил воевода Красулина, стрелецкого голову.

— Хвастать нечем, Иван Семеныч, — признался тот. — Самое безвременье: этих отправлять надо, а сменщики — когда будут! А скажи этим, останьтесь: тотчас мятеж.

Князь Михаил, молчавший до этого, по-молодому взволнованно заговорил:

— Да что же такое-то?.. Разбойники, воры, государевы ослухи!.. А мы с ими ничего поделать не можем. Стыд же

головушке! Куры засмеют — с голодранцами не могли управиться! Дума моя такая: привести к вере божьей, отдать по росписям за приставы — до нового царева указа. Грамота — она годовалой давности. Пошлем гонцов в Москву, а разбойников пока здесь оставим, за приставами.

— Эх, князь, князь... — вздохнул митрополит. — Курям, говоришь, на смех? Меня вот как насмешил саблей один такой голодранец Заруцкого, так всю жизнь и смеюсь да головой трясу, вот как насмешил, страмец. Архиепископа Феодосия, царство небесное, как бесчестили!.. Это кара божья! Пронесет ее — и нам спасенье, и церкви несть сраму. А мы сами ее на свою голову хочем накликать.

— Что напужал тебя в малолетстве Заруцкий — это я понимаю, — сказал Иван Семеныч. — Да пойми же и ты, святой отец: мы за разбойников перед царем в ответе. Ведомо нам, что у его, у Стеньки, на уме? Он отойдет вон к Черному Яру да опять за свое примется. А с кого спрос? Скажут: тут были, не могли у их оружье отобрать?!

— Дело к зиме — не примется, — вставил Иван Красулин.

— До зимы ишо далеко, а ему долго и делать нечего: стренут караван да на дно. Только и делов.

— Да ведь и то верно, — заметил подьячий, — оставлять-то их тут неохота: зачнут стрельцов зманывать. А тогда совсем худо дело. Моя дума такая: опробовать уговорить их утихомириться, оружье покласть и расселяться, кто откуда пришел. Когда они в куче да оружные, лучше их не трогать. Надо опробовать уговорами...

— А к вере их, лиходеев, привесть! По книге. В храме господнем, — сказал митрополит. — И пускай отдадут, что у меня на учуге побрали. Я государю отписал, какой они мне разор учинили... — митрополит достал из-под полы исписанный лист. — *«В нонешнем, государь, году августа против семого числа приехали с моря на деловой мой митрополей учуг Басагу воровские казаки Стеньки Разина с товарищи. И будучи на том моем учуге, соленую коренную рыбу и икру, и клей, и визигу — все без остатка пограбили и всякие учужные заводы медные и железные и котлы, и топоры, и багры, и долота, и скобели, и напарьи, и буравы, и неводы, и струги, и лодки, и хлебные запасы все без остатка побрали. И, разоря, государь,*

меня, богомольца твоего, он, Стенька Разин с товарищи, покинули у нас же на учуге, в тайке заверчено, всякую церковную утварь и всякую рухлядь, и ясырь и, поехав с учуга, той всякой рухляди росписи не оставили.

Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, богомольца своего...»

Вошел стряпчий. Сказал:

— От казаков посыльщики.

— Вели, — сказал воевода. — Стой. Кто они?

— Два есаулами сказались, один казак.

— Вели. Ну-ка... построже с ими будем.

Вошли Иван Черноярец, Фрол Минаев, Стырь. Поклонились рядовым поклоном.

— От войскового атамана от Степана Тимофеича от Разина: есаулы Ивашка и Фрол да казак донской Стырь, — представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии; Стырь маленько навеселе, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец за-ради его длинного языка: случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть Стыря — тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как верней сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять, Иван не дал.

— Я такого у вас войскового атамана не знаю, — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. — Корнея Яковлева знаю.

— Корней — то не наш атаман, у нас свой — Степан Тимофеич, — вылетел с языком Стырь.

— С каких это пор на Дону два войска повелось?

— Ты рази ничего не слыхал?! — воскликнул Стырь. — А мы уж на Хволынь сбегали!

Фрол дернул сзади старика.

— С чем пришли? — строго спросил старший Прозоровский.

— Кланяется тебе, воевода, батька наш, Степан Тимофеич, даров сулится прислать... — начал Черноярец.

— Ну? — нетерпеливо прервал его Прозоровский.

— Велел передать: завтра сам будет.

— А чего ж не сегодни?

— Сегодни?.. — Черноярец посмотрел на астраханцев. — Сегодни мы пришли уговор чинить: как астраханцы стретют его.

Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло.

— Как же он хочет, чтоб его стретили? — спросил воевода.

— Прапоры чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли...

— Ишо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо б молебен отслужить, отче...

— Бешеный пес тебе отче! — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. — Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! Нечестивцы, чего удумали — молебен служить!.. — голова митрополита затряслась того пуще; старец был крут характером, прямодушен и скор на слово. — Это Стенька с молебном вас надоумил? Я прокляну его!..

— Они пьяные, — брезгливо сказал князь Михаил.

— У вас круг был? — спросил Львов.

— Нет, — Черноярец пожалел, что взял Стыря: с молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. — Будет.

— Это вы своевольно затеяли?.. С молебном-то? — хотел понять митрополит.

— Пошто? Все войско хочет. Мы — христианы.

Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены.

— Идите в войско и скажите своему атаману: завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не затевал. А то такую стречу учиню, что до дома не очухаетесь.

5

Странно гулял Разин: то хмелел скоро, то — сколько ни пил — не пьянел. Только тяжелым становился его внимательный взгляд. Никому неведомые мысли занимали его; выпив, он отдавался им целиком, и тогда уж совсем никто не мог понять, о чем он думает, чего хочет, кого любит в эту минуту, кого нет. Побаивались его такого, но и уважали тем особенным уважением, каким русские уважают сурового, но справедливого отца или сильного старшего брата: есть кому одернуть, но и пожалеть, и заступиться тоже есть кому. Люди чуяли постоянную о себе заботу Разина. Пусть она не

видна сразу, пусть Разин — сам человек, разносимый страстями, — пусть сам он не всегда умеет владеть характером, безумствует, съедаемый тоской и болью души, но в глубине этой души есть жалость к людям, и живет-то она, эта душа, и болит-то — в судорожных движениях любви и справедливости, и нету в ней одной только голой гадкой страсти — насытиться человечьим унижением, — нет, эту душу любили. Разина любили; с ним было надежно. Ведь не умереть же страшно, страшно оглянуться — а никого нет, кто встревожился бы за тебя, пожалел бы: всем не до того, все толкаются, рвут куски... Или — примется, умница и силач, выхваляться своими превосходствами, или пойдет упиваться властью, или возлюбит богатство... Много умных и сильных, мало добрых, у кого болит сердце не за себя одного. Разина очень любили.

«Застолица» человек в пятьсот восседала прямо на берегу, у стругов. Выстелили в длину нашестья (банки, лавки для гребцов) и уселись вдоль этого «стола», подобрав под себя ноги.

Разин сидел во главе. По бокам — есаулы, любимые деды, Ивашка Поп (расстрига), знатные пленники, среди которых и молодая полонянка, наложница Степана.

Далеко окрест летела вольная, душу трогающая песня донцов. Славная песня, и петь умели...

На восходе было солнца красного.
Не буйные ветры подымалися,
Не синее море всколыхалося,
Не фузеюшка в поле прогрянула,
Не люта змея в поле просвиснула...

Степан слушал песню. Сам он пел редко, сам себе иногда помычит в раздумье, и все. А любил песню до слез. Особенно эту, казалось ему, что она — про названного брата его дорогого, атамана Серегу Кривого.

Она падала, пулька, не на землю,
Не на землю, пуля, и не на воду.
Она падала, пуля, в казачий круг,
На урочную-то на головушку,
Што да на первого есаулушку...

И совсем как стон, тяжкий и горький:

Попадала пулечка промеж бровей,
Што промеж бровей, промеж ясных очей:
Упал молодец коню на черну гриву...

Сидели некоторое время, подавленные чувством, какое вызвала песня. Грустно стало. Не грустно, а — редкая это, глубокая минута: вдруг озарится человеческое сердце духом ясным, нездешним — любовь ли его коснется, красота ли земная, или охватит тоска по милой родине — и опечалится в немоте человек. Нет, она всегда грустна, эта минута, потому что непостижима и прекрасна.

Степан стряхнул оцепенение.

— Ну, сивые! Не клони головы!.. — он и сам чувствовал: ближе дом — больней сосет тоска. Сосет и гложет. — Перемогем! Теперь уж... рядом, чего вы?!

— Перемогем, батька!

— Наливай! — велел Степан. — Ну, осаденили разом!.. Аминь!

Выпили, утерли усы. Отлетела дорогая минута, но все равно хорошо, даже еще лучше — не грустно.

— Наливай! — опять велел Степан.

Еще налили по чарам. Раз та́к, так — та́к. Чего и грустить, правда-то. Свое дело сделали, славно сделали... Теперь и попировать не грех.

— Чтоб не гнулась сила казачья! — сказал громко Степан. — Чтоб не грызла стыдобушка братов наших в земле сырой. Аминь!

— Чарочка Христова, ты откуда?..

— Не спрашивай ее, Микола, она сама скажет.

— Кху!..

Выпили. Шумно сделалось, заговорили, задвигались...

— Наливай! — опять велел Степан. Он знал, как изъять эту светлую грусть из сердца.

Налили еще. Хорошо, елкина мать! Хорошо погулять — дом рядом.

— Чтоб стоял во веки веков вольный Дон! Разом!

— Любо, батька!

— Заводи! Веселую!

— Э-у-а!.. Ат-тя! — громадина казачина Кондрат припечатал ладонь к доске... А петь не умел.

Грянули заводилы, умелые, давно слаженные в песне:

Ох, по рюмочке пьем,
Да по другой мы, братцы, ждем;
Как хозяин говорит:
За кого мы будем пить?..

— Ат-тя! — опять взыграла душа Кондрата, он дал по доске кулаком. — Чего бы исделать?

А хозяин говорит:
Ох, за тех мы будем пить, —
За военных молодцов,
За донских казаков.
Не в Казани, не в Рязани,
В славной Астрахани...

Кто-то так свистнул, аж в ушах зачесалось. Не у одного Кондрата душа заходила, запросилась на волю. Охота стало как-нибудь вывихнуться, мощью своей устрашить — заорать, что ли, или одолеть кого-нибудь.

В другом конце подняли другую песню, переорали:

А уж вы, гусельки мои, гусли звонкие,
Вы сыграйте-ка мне песню новую!
Как во полюшке, во полянушке
Там жила да была молодая вдова,
Ух-ха-а! Ух-х!..

— Батька, губи песню! — заорали со всех сторон.

Забеспокоилась, забеспокоилась тыща; большинство, особенно молодые, не пели — смотрели с нетерпением на атамана. Но песня еще жила, и батька не замечал, не хотел замечать нетерпения молодых. Песня еще жила, еще могла окрепнуть.

Ох, вдовою жила — горе мыкала,
А как замуж пошла — слез прибавила;
Прожила вдова ровно тридцать лет,
Ровно тридцать лет, еще три года...

— Батька, не надо про вдову, а то мне ее жалко. А то зареву-у!.. — Кондрат закрутил головой и опять трахнул по доске. — Заплачу-у!..

— Добре ли укусили, казаченьки?! — спросил атаман.

— Добре, батька! — гаркнули. И ждали чего-то еще. А батька все никак не замечал этого их нетерпения. Все не замечал.

— Не томи, батька, — сказал негромко Иван Черноярец, — а то правда заревут. Давай уж...

Степан усмехнулся, глянул на казаков... Его, как видно, самого подмывало. Он крепился. Он очень любил своих казаков, но раз он повел праздник, то и знал, когда отпустить вожжи.

— А добрая ли сиуха?

— Ох, добрая, батька!

— Наливай!

Теперь, кажется, близко ожидаемое. Выпили.

Степан поставил порожнюю чару, вытер усы... Полез вроде за трубкой... И вдруг резко встал, сорвал шапку и ударил ею об землю.

— Вали! — сказал с ожесточением.

Это было то, чего ждали.

Сильно прокатился над водой мощный радостный вскрик захмелевшей ватаги. Вскочили... Бандуристы, сколько их было, сели в ряд, дернули струны. И пошла, родная... Плясали все. Свистели, ревели, улюлюкали... Образовался большущий круг. В середине круга стоял атаман, слегка притопывал. Скалился по-доброму. Тоже дорогой миг: все жизни враз сплелись и сцепились в одну огромную жизнь, и она ворочается и горько дышит — радуется. Похоже на внезапный боевой наскок или на безрассудную женскую ласку.

Земля вздрагивала; чайки, кружившие у берега, шарахнули ввысь и в стороны, как от выстрелов.

А солнце опять уходило. И быстро надвигались сумерки. Запылали костры по берегу.

Праздник размахнулся вширь: не было теперь одного круга, завихренья праздника образовывались вокруг костров.

У одного большого костра к Степану волокли пленных, он их подталкивал в круг: они должны были плясать. Под казачью музыку. Они плясали. С казаками вперемешку. Казаки от всей души старались, показывая, как надо — по-казачьи. У толстого персидского купца никак не получалось вприсядку. Два казака схватили его за руки и сажали на землю, и рывком поднимали. С купца — пот градом: он бы и рад сплясать, чтобы руки не выдернули, и старается, а не может.

— Давай, тезик! Шевелись!

Тезик (купец) тяжко и смешно (уж и рад, что хоть смешно) прыгает — только бы не зашиб невзначай этот дикий праздник, эта огромная лохматая жизнь, которая так размашисто и опасно радуется.

— Оп-па! Геть! Оп-па! Геть! Ах, гарно танцует, собачий сын!.. Ты глянь, ты глянь, что выделывает!..

Среди танцующих — и прекрасная княжна. И нянька ее следом за ней подпрыгивает: все должно плясать и подпрыгивать, раз на то пошло.

— Дюжей! — кричит Разин. — Жги! Чтоб земля чесалась...

К нему подтащили молодого князька, брата полонянки: он отказывался плясать и упирался. Степан глянул на него, показал на круг. Князек качнул головой и залопотал что-то на своем языке. Степан сгреб его за грудки и бросил в костер. Взметнулся вверх сноп искр... Князек пулей выскочил из огня и покатился по земле, гася загоревшуюся одежду. Погасил, вскочил на ноги.

— Танцуй! — крикнул Степан. — Я те, курва, пообзываюсь. Самого, как свинью, в костре зажарю. Танцуй!

Не теперь бы князю артачиться, не теперь бы... Да еще и ругаться начал... Тут многие понимали по-персидски.

— Ну? — ждал атаман.

Бандуристы приударили сильней. А князек стоял. Видно, молодая гордость его встрепенулась и восстала, видно, решил, пусть лучше убьют, чем унизят. Может, надеялся, что атаман все же не тронет его — из-за сестры. А может, вспомнил, что совсем недавно сам повелевал людьми, и плясали другие, когда он того хотел... Словом, уперся, и все. Темные глаза его горели гневом и обидой, губы дрожали; на лице отчаяние и упрямство, вместе. Но как ни упрям молодой князь, атаман упрямей его; да и не теперь тягаться с атаманом в упрямстве: разве же допустит он, хмельной, перед лицом своих воинов, чтобы кто-нибудь его одолел в чем-то, в упрямстве в том же.

— Танцуй! — сказал Степан. Он въелся глазами в смуглое тонкое лицо князька. Тот опять заговорил что-то, размахивая руками. Степан потянул саблю... Из круга к атаману подскочила княжна, повисла на его руке. Персы схватили князька и втащили сами в круг. Степан откинул княжну и,

следя за князем, велел: — Дюжей! Повесели глаза казацкие... Вот отец выкупит, там уж... сам заставляй других.

У одного из костров группа молодых и старых затеяли прыгать через огонь. И тут рев и гогот. Мочили водой только голову и бороду. Больше нигде. Пахло паленым.

«Бедный еж» набрел на эту группу... А был он вовсе пьян.

— Ммх!.. Скусно пахнет! — и «еж» стал снимать с себя кафтан. — Дай-ка я свой тоже подвялю.

Его прогнали. И он пошел, и опять запел:

Ох,
Бедный еж!..

А на все это, изумленно мигая, глядели с темного неба крупные звезды. И еще из темноты, из кустов, смотрели завистливые глаза караульных. Не все из них удержались: кое-кто сумел урвать малую малость — чарку-другую.

Иван Черноярец с сотниками обходил караулы... В одном месте, где должен был стоять караульный, случилась заминка. Караульный спал... Услышав, однако, шаги, он вскочил, но поздно. Короткая возня, хриплое дыхание, обрывки слов:

— Держи руку! Руку!.. Собака!..

— Дай ему по башке.

— Руку! Мх!.. Ыэк! — тупой удар, должно быть, под дыхало: часовой перестал сопротивляться. — Я те покусаюсь! Вяжи, Семен. Суда другого поставь.

— Федька! — позвал сотник. — Становись. Руку укусил, змей. Долго теперь не заживет. Человечий укус долго не заживает. Собачий — и то скорей. Вот змей-то!.. Как жилу не повредил.

— Помочись на ее — заживет.

— Этот пускай лежит, — велел есаул. — Развяжешь, Федька, — гляди! При солнышке мы с им погутарим.

Группа с Черноярцем, шурша кустами, двинулась дальше. Пока войско гуляло, первый есаул покоя не знал.

К Степану пришло состояние, когда не хочется больше никого видеть. Он выпил еще чару и пошел к стругам — побыть одному. Он не опьянел, только в голове толчками качалось.

Его догнала персиянка. Сзади, поодаль, маячила ее нянька.

— Ну? — спросил Степан, не оборачиваясь: он узнал легкие шаги девушки. — Наплясалась?

Персиянка что-то сказала.

— Испужалась за брата-то? Чего он, дурак, заупрямился?

Она опять залопотала что-то — скоро-скоро, негромко, просительным нежным голоском.

Подошли к воде. Степан присел, ополоснул лицо... Потом стоял, задумавшись. Смотрел в вязкую темень.

Тихо плескались у ног волны; колготил за спиной пьяный лагерь; переговаривались на стругах караульные. Огни смоляных факелов на бортах отражались в черной воде, змеились и дрожали. Теплая ночь мягким брюхом лежала на земле, на воде, на огнях... Немного душно было; пахло рыбой и дымком.

Долго стоял Степан неподвижно. Казалось, он забыл обо всем на свете. Какие-то далекие, нездешние мысли опять овладели им. Он умел отдаваться думам, он иногда очень хотел быть один.

Персиянка притронулась к нему: она, видно, замерзла. Степан очнулся.

— Никак, озябла? Эх, котенок заморский, — ласково и с удивлением сказал он. Погладил княжну по голове. Развернул за плечо, подтолкнул: — Иди спать. А то и правда, свежо у воды-то.

Княжна радостно спросила что-то, показывая на свой струг.

— Иди, иди, — подтвердил Степан. — Иди.

Княжна всплеснула руками и побежала. Крикнула на бегу своей няньке; та откликнулась, тоже довольная.

Степан, глядя в ту сторону, куда убежала княжна, качнул головой.

— Вот и возьми с ее... В куклы тут играют, дуреха малая, — и подумал: «Отдам, хватит. А князька пусть выкупают: заломлю, как за полста жеребцов добрых».

Стал опять смотреть в темень... И вспомнилась почему-то другая ночь, далекая-далекая.

Тоже было начало осени... И тоже было тепло. Стенька с братом Иваном (Ивану было тогда лет шестнадцать, Стеньке — десять) засиделись на берегу Дона с удочками, дожда-

лись — солнышко село, и темень прилегла на воду. Не хотелось идти домой. Сидели, слушали тишину. И наступил, видно, тот редкий, тоже и дорогой дар юности, который однажды переживают все в счастливую пору: сердце как-то вдруг сладко замрет, и некий беспричинный восторг захочет поднять зеленого еще человечка в полный рост, и человечек ясно поймет: я есть в этом мире! И оттого, что все-таки не встаешь, а сидишь, крепко обняв колени, — только желанней и ближе вера: «Ничего, я еще это сделаю — встану». Это сильное чувство не забывается потом всю жизнь.

Братья сидели долго, молчали. Станица отходила ко сну. Вдруг они услышали неподалеку женские голоса — казáчки пришли купаться. Они всегда купались, когда стемнеет. Блаженствовали одни. Разговаривали они негромко, но как-то сразу голоса их потревожили ночь, заполнили весь простор над водой. Слова слышались отчетливо, близко.

— Ох, вода-а, ну парнáя!.. Ох, хорошо-то!

— Ласкает... Господи, прямо ласкает. Правда, хорошо.

— Нюрашка, прыгай, какого ты?!.. Прыгай, Нюрашка!

— Нюрашка Сазонова, — сказал Иван Разин. — Слушай, какой счас визг подымут.

Он скинул одежду, залез в воду и неслышно поплыл. Стенька сразу же потерял его из виду. Потом Иван рассказывал, что он, невидимый и неслышимый, подплыл к казачкам, поднырнул и поймал какую-то за ногу. Стенька услышал, как тишину ночи прорезал страшенный, щемящий душу женский крик... Он сдуру побежал туда и стал звать брата. Он испугался. Стеньку узнали по голосу, и узнали, кто нырял — Ванька Разин. И схватил он не Нюрашку, а, как на грех, схватил казачку постарше, Феклу Миронову, и без того-то заполошную, а тут... Тут она выдала древний крик и сникла в воде. Ее вытащили на берег полуживую. Костька Миронов, муж Феклы, ночью же пошел к Тимофею Разе — требовать судилища над сорванцами. Тимофей принял было к сердцу упрек и укоры Константина, вознамерился учинить расправу сынам, как только они заявятся домой... но Константин разошелся в обиде и забрал высоко:

— Наплодили живодеров каких-то! Они эдак голову кому-нибудь открутют — шастают по ночам-то. Чего по ночам шастать?

— Еслив она у тебя припадошная, то теперь и купаться в реке не моги? — сдержанно спросил Тимофей.

— Купаться!.. Он же, гаденыш такой, под их нырял! Купаться... Купайся он себе, чего его под баб понесло нырять? Ясное дело: испужать хотел, страмец.

— А ты чего это к гаду пришел жалиться? Рази ж гад тебя может понять? Гаденыш-то — от гада.

— И то, смотрю, — гады. Вся порода гадская — на ножах ходите, живорезы.

— Зачем нож?.. С крыльца-то я и так сумею тебя спустить, без ножа, — вконец обозлился Тимофей.

Поругались.

На прощанье Костька пригрозил:

— Я сам с имя управлюсь! Я им ходули-то повыдергаю!

— Это — как выйдет, — сказал Тимофей. — Спробуй.

Костька пробовал. Не вышло. Не смог.

Костька Миронов погиб вместе с Иваном Разиным в польском походе. Память о том роковом походе была свежа, сколь ни утекло времени, ныла и кровоточила раной под сердцем. И теперь видел Степан... Мучился проклятым видением: брата Ивана, головщика (предводителя казачьего отряда, полковника), и его есаулов, связанных, ведут к суковатой сосне. Иван шагал твердо, кривил в усмешке рот: никто не верил, что казаков повесят, и сам Иван не верил. Весь проступок казаков был в том, что они — по осени — послали горделивого князя Долгорукого к такой-то матери, развернулись и пошли назад — домой: зимой казаки не воевали. Так было всегда. Так делали все атаманы, участвовавшие в походах с царевым войском. Так поступил и Разин Иван. Князь Долгорукий догнал мятежный отряд, разоружил... А головщика принародно, среди бела дня, повел давить. Это было невероятно, поэтому никто не верил. Иван сам влез на скамью, ему надели на шею веревку... Только тут стали догадываться: это не нарочно, не попугать, это — казнь. Долгорукий был здесь же... Иван в последний момент с тревогой глянул на князя, спросил: «Ты что, сука?» Князь махнул рукой, скамью выбили из-под ног Ивана. Так было... И теперь Степан, как закроет глаза, видит страшную муку брата: бьется он в петле, извивается всем телом. И Степан скорей куда-нибудь уходил с глаз долой, чтоб не видели и

его муку, какая отражалась на его лице. Вот уж чего ни в жизнь, видно, не позабыть!

«Славный царь!.. Славные бояре... Долгорукие: махнул белой рученькой — и нет казака. Во как!»

Степан стиснул зубы и весь напрягся от боли: боль лизнула сердце. Чтобы успокоиться, трижды сказал себе, не разжимая зубов: «Мгм, мгм, мгм», как если бы соглашался или уговаривал себя. И пошел в свой шатер на струге.

Долго еще гудел лагерь. Но все тише и тише становился этот гул, все глуше. Только самые крепкие головы не угорели вконец; там и здесь у затухающих костров торчали малые группы казаков, о чем-то невнятно беседующих. Храп стоял по всему берегу. Спали — где кто упал. Караульные оставались на местах и сменялись вовремя.

Вдруг среди ночи со стороны стругов раздался отчаянный женский вскрик. Он повторился трижды. На стружке с шатром, где находилась молодая персиянка со своей нянькой, забегали. Громко всплеснула вода: кого-то не то сбросили, не то сам кто-то сорвался. И еще раз отчаянно закричала молодая женщина...

Степан проснулся, как от толчка. Вскочил, нашарил рукой саблю и, как был в чулках, шароварах и нательной рубахе, так выскочил из шатра.

— Там чего-то, — сказал караульный, вглядываясь во тьму. — Не разберешь... Кого-то, однако, пришшучили. Вроде бабенку...

Степан, минуя зыбкую сходню, махнул из стружка в воду, вышел на берег и побежал. Он знал, кого прищучили — его персиянку, он узнал ее голос.

К стружку пленниц бежал с другой стороны Иван Черноярец.

При их приближении мужская фигура на стружке метнулась к носу... Кто-то там, на носу стружка, помедлил, всматриваясь в ту сторону, откуда бежал Степан; должно быть, узнал его, прыгнул в воду и поплыл, сильно загребая руками. Когда вбежал на струг Иван, а чуть позже Степан, пловец был уже далеко.

У входа в шатер стояла персиянка, придерживала рукой разорванную на груди рубаху, плакала.

— Кто? — спросил Степан Черноярца. Его трясло.

— А дьявол его знает... темно, — ответил Иван. И незаметно сунул за пазуху пистоль.

— Дай пистоль, — сказал Степан.

— Нету.

Степан вырвал у него из-за пояса дротик и сильно метнул в далекого пловца. Дротик тонко просвистел и с коротким сочным звуком — вода точно сглотнула его — упал, не долетев. Пловец, слышно, наддал.

— Далеко, — сказал Иван, послушав всплески на реке.

Степан сгоряча начал было рвать с себя рубаху, Иван остановил:

— Ты что, сдурел? Он выплывет — и в кусты, а там его до второго Христа искать будешь. Он уж у берега почти...

Подошла сзади княжна, стала говорить что-то, показывать на борт. Потащила Степана к борту... Говорила быстро-быстро, так быстро, что Степан не понимал, хоть много знал по-персидски — мог бы в другое время понять.

— Чего? — не понимал он. — Кто там? Ты скажи мне, кто та-ам вон!.. — Степан повернул ее лицом к реке, показал. — Там-то кто?!

— Ге!.. — воскликнул Иван. — Старушку-то он, наверно, того — скинул! Он старуху туда? — спросил он княжну, та уставилась на него. Иван плюнул и пошел, в шатер. — Ну да! — крикнул оттуда. — Старушку тóрнул — нету, — вышел из шатра, крикнул караульному на соседнем струге: — Ну-ка, кто там?!.. Спрыгни, пошарь старушку.

Караульный разболокся, прыгнул в воду. Некоторое время пыхтел, нырял, потом крикнул:

— Вот она!

— Живая? — спросил Иван.

— Кого тут!.. Он ее, видно, зашиб ишшо до этого — вся башка в крове, липкая.

Степан мучительно соображал, кто тот пловец. Кто же это?

— Фролка! — сказал он. — Вот кто.

— Минаев? — изумился Черноярец. — Господь с тобой, Степан!.. Да ты что?

— Ну-ка... как тебя? — перегнулся Степан через борт, где шарился караульный.

— Пашка Хоперский, — откликнулся тот.

— Дуй до Фрола Минаева. Позови суда. Скорей!

— А эту-то куда?

— Оттолкни — пусть домой плывет, — велел Черноярец.

Княжна, догадавшись о чем-то, забеспокоилась, тронула Черноярца и стала знаками показывать, чтоб старуху подняли.

— Иди отсуда! — зашипел тот и замахнулся. — Тебя бы туда надо... змею черную, — Ивану как кто на ухо шепнул — вдруг понял он: Степан прав в своей догадке.

Караульный побежал к есаульскому стругу.

— Потеряли есаула, — горько вздохнул Иван. Он теперь вовсе не сомневался, что это был Фрол Минаев, бабский угодник, падкий на эту сладость. И знал, что Фрол — от атаманова гнева — двинет далеко теперь. Если совсем не скроется с глаз долой. Какую дурь спорол есаул!

— На дне морском найду гада, — сказал Степан. — Живому ему не быть.

Черноярцу до смерти жалко было Фрола. В таком загуле, конечно, что-нибудь, да должно случиться, но потерять такого есаула... Из-за кого! Было бы хоть из-за кого.

— Можеть, она его сама сблазнила, — сказал он. — Чего горячку-то пороть?

— Я видел, как он на ее смотрит.

— Прокидаемся так есаулами, — не отступал Иван.

— Срублю Фрола! — рявкнул Степан. — Сказал: срублю — срублю! Не встревай.

— Руби! — тоже повысил голос Иван. — А то у нас их шибко много, есаулов, девать некуда! Руби всех подряд, кто на ее глянет! И я глядел — у меня тоже глаза во лбу.

Степан уставился на него... Помолчал несколько и сказал просительно, но глубоко неукротимо:

— Не наводи на грех, Иван. Добром говорю...

— Черт бешеный, — негромко сказал Иван. И пошел со струга.

По дороге встретил посыльного: тот возвращался с есаульского струга. Иван остановил его, спросил обреченно:

— Ну?

— Нету Фрола, — сказал посыльный. И хотел бежать дальше — сказать атаману.

— Погоди, — остановил Иван. Подумал, но ничего не придумал, махнул рукой. — Тьфу!.. Иди, — он хотел выдумать какой-нибудь увертливый ход, но тут же и понял, что

все без толку: случилось то, что случилось, никуда от этого не уйдешь. Хорошо, хоть Фрол вовремя дал тягу — несдобровать бы ему этой же ночью.

Иван еще постоял... И пошел будить стариков: Стыря и расстригу. Что-то такое ему все-таки влетело в лоб.

Степан сидел в шатре, подогнув под себя ногу, когда вошли Стырь и Ивашка Поп. Они еще не проспались как следует, их покачивало. Но что им надо делать, они знали.

— На огонек, батька, — сказал притвора Поп, старик блудливый, трусоватый, но одаренный краснобай и гуляка.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Эхxe, — вздохнул Стырь. — Какой я сон видал, Тимофеич!.. — и этот тоже пошел заходить издалека. Его не раз отсылали смирить атаманов гнев на милость. Иногда ему это удавалось. Степан любил старика (Стырь и отец Разина, Тимофей, были земляки — из-под Воронежа), уважал старого воина, но поблажек никаких не давал, Стырь даже обижался. «Ты только об мертвых сокрушаисся! — брякнул ему один раз Стырь. — Что потом кости-то жалеть? Ты лучше меня живого приветь». Степан помрачнел на это, но ничего сразу не сказал. Потом уж, много позже, вроде мимоходом, спросил: «Ты со зла это? Или правда так думаешь?» А Стырь и думать забыл, не сразу и понял, о чем говорит атаман. «Да что мертвецов только жалею», — напомнил Степан. И пытливо смотрел в глаза старику. Стырь не растерялся, а кинулся далеко и туманно рассуждать, что он так, конечно, не думает, но порой ему кажется... Степан не дослушал, махнул с досадой: «Чего выворачиваться-то начал? Я тебя виню, что ли? Я же не виню». Но мысль эта — что он не жалеет товарищей, а жалеет, только когда их убьют, — эта колючая мысль застряла занозой, и Степан нет-нет, а невзначай пытал то одного, то другого. «Конешно, атаман у вас злой, никого не жалеет... Так, видно?» Нет, так не думали. Но, кто посмелей, не скрывали и того, как думают. Иван Черноярец, когда Степан допек его такими намеками, сказал напрямки: «Да пошто злой? Дурак бываешь, это правда, ты и сам про то знаешь, а злой... Не знаю. Не лезь ко мне, Степан, с такими делами, я тут тебе не помогу: не умею. Да и сам-то... не задумывайся шибко — злой, не злой... Какой есть». Нет, не понимал Иван, как это важно душе. Интересно бы с Фро-

лом Минаевым поговорить, но тут Степан сам не давал себе ходу. Что-то тут останавливало. Может, то, что Степан постоянно чувствовал: не до конца искренен с ним Фрол, нараспашку здесь не будет, не выйдет... Что-то таил Фрол, завидовал, что ли, другу — его воинскому счастью, атаманству его, — что-то такое с неких пор постоянно стояло между ними. А теперь с этой княжной... Не знали старики, Поп со Стырем, никто не знал, только Степан знал: не тронет он Фрола. Именно потому и не тронет, что — непросто между ними. Другого тронул бы, а Фрола почему-то нельзя. А почему нельзя, это и Степан не понимал, не мог как-то понять, но только знал, что — нельзя из-за девки.

— Ну? — спросил Степан. — Сон, говоришь?

— Чудной такой сон!.. — вскинулся было Стырь, но Степан осадил:

— Запомни: старухе расскажешь. Чего поднялись-то? Иван небось разбудил?

— Иван, — сознался Стырь. — Ты, Тимофеич, атаман добрый, а на Ивана хвоста не подымай. У нас таких есаулов — раз-два, и нету.

— А Фрол?.. — спросил Степан. — Фрол добрый был есаул. Мне его жалко. Иван, он, знамо, добрый есаул, но Фрол... У Фрола ведь и голова была.

— А пошто — «был», батька? — спросил Ивашка Поп, ужасно наивничая.

— Какой хитрый явился! Глянь на его, Стырь... От такой черт заморочит голову, и правда дурнем исделаесся. Нету больше Фролки, — Степан как будто даже рад был сообщить старикам эту печальную новость. И еще он злорадствовал, что старики с Черноярцем вместе так просто и глупо повели эту игру «в уговоры», так беспомощно и бестолково. А то уж больно все умные да хитрые, прямо не подкопаешься ни под кого — такие все умные и хитрые.

— А где же он? — все простодушничал Поп.

— Пропал. Так мне его жалко!.. Ни за что пропал.

— Ну, можа, ишо не пропал?

— Пропал, пропал. Добрый был есаул.

Помолчали все трое. Степан представил, как мокрый Фрол лежит теперь где-то под кустом... Как он все же насмелился на такое дело, с княжной-то? Это удивляло Степана. То ли пьяный был в дымину, то ли взбесился вовсе! Как же

он мог подумать, что ему это сойдет с рук? Ну, Фрол!.. Ну, поганец! Интересно, чего ты сейчас лежишь думаешь своей головой? Но вот что, пожалуй, не менее удивительно: когда давеча стали гадать, кто мог покуситься на княжну, о первом, о ком подумал Степан, — о Фроле. И это тоже удивляло, и безрассудство Фролкино удивляло. Он же осторожный человек. Что же с ним случилось?

— От я тебе одну сказку скажу, — заговорил Стырь. — Сказывал мне ее мой дед. Жил на свете один добрый человек...

Степан встал, начал ходить в раздумье.

— Посеял тот человек пашеницу... Да. Посеял и ждет. Пашеница растет. Да так податливо растет — любо глядеть. Выйдет человек вечером на межу, глянет — сердце петухом поет. Подходит страда...

— Я твою сказку знаю, дед, — прервал Степан. — Слушай, какую я тебе скажу, — он трезво и серьезно посмотрел на стариков.

— А ну. Я люблю сказки. Больше всего — про чертей: отчаянные, мать их!.. А ну — сказку? — оживился Стырь.

— Жили на свете тоже добрые люди...

— Кхм. Так.

— Хорошо жили, вольно. Делали что хотели. А потом им сказали: «Больше вам воли нету». И стали их всяко теснить. И жизнь их... стала плохая, — Степан посмотрел на стариков, невольно усмехнулся, видя, как озадачил он их своей притчей.

— И вся сказка?

— Что этим людям делать? — весело и значительно спросил Степан.

— Кто тебе такую сказку сказал? — поинтересовался Стырь.

— Один человек... Я теперь вас спрашиваю: как им быть-то?

— Вот спроси того человека: он знает, как быть. Кто затевает такие сказки, тот и должон знать, как быть. Припрет, так отгадаешь, как быть. Мы вон с отцом с твоим доразу отгадали, когда прижало-то. А как тот человек советует?

— Хорошая сказка, — в раздумье молвил Поп. — Жалко, конца не знаешь.

— Вот думаю: какой бы ей конец приделать? Славный надо конец. А? — Степан вызывающе и с нахальной весело-

стью посмотрел опять на Стыря. С некоторых пор он изводил старика зловещей выдумкой: будто Стырь подговаривает атамана «поднять на нож» царевы города по Волге — Астрахань, Царицын, Самару... К этой шутейной выдумке относились по-разному. Стырь злился и скоморошничал в ответ: «Не Самару, а уж Москву тада!» Иван Черноярец недоумевал. Фрол Минаев внимательно приглядывался к Степану, когда тот затевал странную перебранку со стариком, Ларька Тимофеев хоть скалился, но тоже с интересом и серьезно взглядывал на атамана — этим казалось, что в этой опасной шутке есть — не шутка. Но никогда об этом не говорили — ни атаман, ни есаулы. — Что молчишь-то? — спросил Степан. — Надо ж сказке конец приделать?

— Делай, — откликнулся Стырь, чувствуя, что атаман вознамерился опять позубоскалить. — Какой я тебе советчик?

— Кто же мне советчик тада, еслив не ты? Да не Поп вон... Вы много видали, много думали...

— Нашел думных! — воскликнул Стырь. — Мы те надумаем... Я вот думаю: где бы нам теперь сиушки раздобыть? У тебя нету?

— Нету, — серьезно сказал Степан. — Чего приперлись? Фрола выручать? Рази так делают, как он?

— Он спьяну, батька. Сдурел, — осторожно повел было расстрига Поп. — Ударило в голову...

— Пускай молоко пьет, раз с вина дуреет, — отрезал Степан.

— Брось, Тимофеич, — серьезно сказал Стырь. — Серчай ты на меня, не серчай, скажу: не дело и ты ведешь. Где это видано, чтоб из-за бабы свары какой у мужиков не случалось? Это вечно так было! Отдать ее надо — от греха подальше. А за ее ишо и выкуп хороший дадут. За ее да за брата ейного надо...

— Ладно! — обозлился Степан. — Явились тут... апостолы. Сами пьяные ишо, проспитесь. Завтра в Астрахань поедем.

«Апостолы» замолкли. Иван Поп, тот и вовсе заспешил к выходу — подталкивал Стыря.

— Идите спать, — уже мягче сказал Степан. — А то... сны какие-то принялись тут рассказывать... Делать нечего.

Старики вышли из шатра, постояли и ощупью стали спускаться по сходне — одной гибкой доске, на которой в изредь набиты поперечные рейки.

— А ты, Иване, догадлив: голову за пазушку положил, — с сердцем сказал Стырь. — Чего же язык проглотил, когда я про девку-то заикнулся? То — «надо присоветовать ему», а то онемел сразу. И присоветовал бы — самое время.

— Боюся, — просто сказал расстрига. — Зачем, думаю, на свою руку топор ронять?

— Э-э... да ты из этих, правда-то, из думных?.. — съехидничал Стырь.

Расстрига вздохнул. Помолчал и сказал с грустью:

— Был когда-то и во мне молодца клок — выдрали.

На берегу их ждал Иван Черноярец.

— Ну? — спросил есаул; он надеялся на стариков.

— Отойдет, — пообещал Стырь. — Весь в деда свово: тот, бывало, оглоблю схватит — дай бог ноги. Потом ничего — отходил. И у этого ухватки такие же. Вылитый дед Разя.

— Оглобля — куда ни шло, — заметил Черноярец. — Этот чего похуже хватает.

— Лют сердцем, правда. А вот Иван у их был — девка красная! Вот кого я любил! И этого люблю, но... боюся, — признался и Стырь. — Не поймешь никак, что у его на уме.

— Извести ее, что ли, гадину? — размышлял вслух есаул. — Насыпать ей чего-нибудь?..

— Не, Иван, то грех. Что ты! — чуть не в один голос сказали старики.

— С ей хуже грех! «Грех»... Мы из-за ее есаула вон потеряли — вот грех-то!

— Нет — грех страшенный: травить человека, — стояли на своем старики; особенно расстрига взволновался. — Грех это великий. Лучше так убить.

— Убей так-то! — воскликнул есаул. — На словах-то вы все храбрые...

— Посмотрим. Домой он ее, что ли, повезет? Там Алена без нас ей голову открутит. Где Фрол-то? — спросил Стырь.

— Вон, у огня сидит. Сушится. Как завтра-то быть? — Черноярец был в большом затруднении. — Ума не приложу.

— Пошли к Фролу, — сказал Поп. — Чего-нибудь придумаем.

— Что-то у меня голова какая-то стала?.. Забыл, чего-то хотел сказать тебе, Иван... — Стырь придержал есаула, потер ладошкой лоб. — Чего я хотел сказать-то?

— Ну? — недовольно сказал есаул. — Чего?

— А-а!.. Спомнил: пошли выпьем по чарочке! Прямо из головы вылетело. С вечера же ишо помнил...

— Чтой-то, Стырь, худой ты становисся, — заметил Черноярец. — Такие дела забываешь... Стареешь?

— Я? Нисколь. Кто тебе сказал?

— Стареешь, — есаул любовно хлопнул старика по загривку. — Ты рази такой был? Я же помню...

— Старею, Ваня. Осталось мне выпить на этом свете всего... двадцать бочек вина, — Стырь сказал это с наигранной грустью, даже сморкнулся как-то печально.

— Сгоришь к черту.

— Не сгорю! — распрямился Стырь. — Я хоть и старый, да старого замеса, не вам чета. Случись я давеча заместо Фрола, у меня бы осечки не было. Вы только башкой берете, а мы, как яички, — со всех сторон круглые. Хоть поставь нас, хоть положь — мы все на боку. Так-то, паря.

— Что-то надо с ей делать, — опять вспомнил Черноярец княжну. — На Дону ей делать нечего. Куда?!

Он был не злой человек, Иван Черноярец, но святое воинство для него — истинно святое, на том он стоял, за то и любили его в войске, и уважали.

Трое свернули от берега в сторону дальнего костра, возле которого сушился Фрол Минаев. С того берега его перевез в лодке Черноярец.

Где-то во тьме невнятно пели двое:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куды ползешь?
Куды ежисся?..

«Бедный еж» нашел наконец родную душу.

ПРАЗДНИК, которого так ждали казаки, отшумел. И славно! Так и было всегда. А как же, если не так? Где есть одна крайность — немыслимое терпение, стойкость, смертельная готовность к подвигу и к жертве, там обязательно есть другая — прямо противоположная. Ведь и Разин не был

бы Разин, если бы почему-то — по каким-то там важным военачальным соображениям — не благословил казаков на широкую гульбу. Никаких иных, самых что ни на есть важных соображений! Так русский человек отдыхает — весь, душой и телом. Завтра будут иные дела. Будет день — будет пища. Это на Руси давно сказали.

6

Утро занялось светлое.

После тяжкой угарной ночи распахнулась ширь вольная, чистая. Клубился туман.

Собиралось посольство в Астрахань.

Степан сидел на носу своего струга. С ним вместе на струге были: Иван Черноярец, Стырь, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, княжна. Княжна сидела нарядная и грустная. Степан тоже задумчив. Казаки помяты, хмуры с похмелья: Степан не дал опохмелиться, а упрашивать бесполезно — не даст, знали.

Иван Черноярец распоряжался сборами. Наряжалось двенадцать стругов. Хотели перво-наперво пустить астраханцам пыль в глаза: удивить богатством, дорогим оружием.

— Князька-то взяли?! — кричал Иван. — Как он там?

— Ничего! Харю ему маленько спортил батька вчера, а так ничего, веселый!

— Напяльте на его поболе. Пусть смеется, скажите! Прапоры взяли?! (знамена).

— Взяли... А сколь брать-то?

— Тимофеич, сколь прапоров брать? На каждый стружок?

Степан подумал.

— Десять.

— Десять! — крикнул Иван. — Поисправней выберите!

Двенадцать стругов пылали на воде живописным разноцветьем. Потягивал северный попутный ветерок; поставили паруса. Паруса были шелковые, на некоторых нашиты алые кресты. Снасти тоже из шелка. Двенадцать стружков, точно стая белогрудых лебедей, покачивались у берега, готовые отвалить.

К Степану подошел Стырь (казаки подослали).

— Что, Тимофеич, хотел я тебе сказать... — начал было он.

— Нет, — кратко ответствовал Степан. — Гребцам можно по чарке. Иван!..

— О!

— Гребцам по чарке! Больше никому!

— Добре! — пасмурное настроение атамана тяготило Ивана, но он старался делать вид, что все хорошо. Ничего. Дело делается, чего еще? Первый есаул нарочно бодрил себя и других.

Гребцы оживились, услышав про чарку. Посмотрели на есаулов весело.

Стырь, печальный, пошел к своему месту. Оглянулся на атамана... Подсел к одному смуглому гребцу.

— Васька, ты помнишь, собачий сын, как я тебя тада выручил? — ласково спросил он. — Когда тебя к березе-то привязали...

— Помню, диду. А чарку не отдам, — Васька сплюнул за борт горькую слюну. — Я лучше ишо раз к березе стану...

— Пошто? Ты же как, огурчик, сидишь! А у меня калган счас треснет. Помру, наверно. Неужель тебе не жалко? А Васьк...

— У меня у самого... — заговорил было смуглый Васька, но Стырь притиснулся к нему ближе, чуть не обнял и горячо зашептал, обдавая вонючим перегаром:

— Погоди-ка. Давай такой уговор: ты мне счас отдаешь свою вшивую чару, а дома поедем в Черкасск к Мирону Чорному — сватать за тебя его девку...

— Я про ту девку ни сном ни духом, — изумился Васька. — Я ее в глаза не видал. Ты что?

— Увидишь. Он мне кумом доводится, Мирон-то. А девка у его — не девка, клад. Кресница моя. Ну? А вино у Мирона — ты небось слышал?.. Ты спроси у любого тут: «Что за вино у Мирона?» — тебе скажут. Мы там будем три недели гулять...

В группе, где есаулы, шел негромкий разговор. Свои дела.

— Он где счас-то?

— В тальнике где-то, Иван сховал.

— Ну, он хучь добрался до ее?

— Не успел.

— Жалко. Страдать, дак хоть уж знать, за что.

— Иван подговаривает уморить ее как-нибудь...

— Как?.. Догадается ведь. Вперед надо было. Теперь — сразу к нам кинется. Нет, тут всем тада несдобровать.

— Мда-а... От сучка-то! Сгубила казака.

— Да он, Фрол-то, тоже... ни одну бабенку так не пропустит.

— Заглядывался он на ее, я давно замечал. А тут, видно, перебрал вчерась... Не утерпел.

Есаулы приняли близко к сердцу несчастье своего товарища. Жалко было Фрола. Люто возненавидели красавицу-княжну. Только двое из них оставались спокойными, не принимали участия в пустом разговоре: Ларька Тимофеев и Федор Сукнин. Эти двое придумали, как избавиться от княжны. Придумал Ларька.

Этот казак с голубыми ласковыми глазами любил Степана особой любовью и предан атаману совсем не так, как преданы все, кто идет за ним, за его удачей. Он хотел, чтобы атаман — был атаман всецело, чтобы вокруг атамана все никло и трепетало, и тогда, за такого атамана, он, не задумываясь, положил бы голову. Тут он не знал удержу. И когда он видел, как Степана что-нибудь уклоняет с избранного пути, он искренне страдал. Он готов был изрубить человека, который нехорошо повлиял на атамана, готов был сам ползать на брюхе перед атаманом — чтоб все видели и чтоб все тоже ползали, — лишь бы величился любимый «вож», и благословлялось удачей его дело. Если он, к примеру, страшился гнева атамана, то редко-редко страшился на самом деле — больше показывал, что страшится. Он не боялся, он любил, и, если бы он когда-нибудь понял, что атаман совсем сбился с пути истинного, он лучше убил бы его ножом в спину, чем своими глазами видеть, как обожаемый идол поклонился и скоро упадет.

Сегодня утром Ларька открылся Федору: он придумал, как умертвить княжну. План был варварски прост и жесток: к княжне разрешалось входить ее брату, молодому гордому князьку, и он иногда — редко — заходил. Пусть он войдет к сестре в шатер и задушит ее подушкой. За это Ларька — клятвенное слово! — сам возьмется освободить его из неволи. Здесь — Астрахань, здесь легко спрятать князька, а уйдут казаки, воеводы переправят его к отцу. Объяснение про-

стое: князек отомстил атаману за обиду. У косоглазых так бывает.

Федор изумился такой простоте.

— Да задушит ли? Сестра ведь...

— Задушит, я говорил с им. Ночью через толмача говорил... Только боится, что обману, не выручу.

— А выручишь?

— Не знаю. Можа, выручу. Это — потом, надо сперва эту чернявочку задавить. Как думаешь? Надо ведь!..

— Давай, — после некоторого раздумья сказал Федор.

Так они порешили сегодня утром.

— А куда он ее счас-то повез? — продолжали негромко беседовать есаулы. — Зачем? Перед воеводами, что ли, выхвалиться?

— Черт его знает... Нарядил!

Посмотрели на княжну. Княжна грустила по няньке своей, которую решил этой ночью Фрол Минаев. Няньку так и не вытащили из воды — оттолкнули плыть.

Подошел Стырь. Судя по глазам, он уломал Ваську.

— Ну? — спросили его из есаульской группы.

— Не велел, казачки, — весело сказал Стырь. — Ни в какую. Всяко пробовал. Уж и так и эдак подкатывался... Нет! Ничего, потерпите, ребяты. А то правда — на такое дело едем...

— А ты где-то уж урвал! — с завистью сказал Мишка Ярославов. — Ишь как разговорился. Тут на свет белый глядеть неохота, а он ишо тараторит... Урвал?

— Урвал, — сознался Стырь. — Хлопец один должок отдал.

— Кто б мне тоже должок отдал! — вздохнул Мишка.

— Потерпите, — благодушно посоветовал Стырь. — Вот побываем у воеводы, потом уж разговеемся.

Тем временем Степан махнул рукой.

А минутой раньше он же, Степан, пока есаулы разговаривали между собой, велел сказать Ивану Черноярцу, чтоб он ссадил на берег молодого князька, которого тоже готовили с собой в посольство. Иван с недоумением поглядел с соседнего струга на Степана... Тот кивнул головой, подтверждая, что — да, ссади. Иван свел нарядного князя и отдал казакам, которые оставались. Зачем так сделал атаман, Иван не понял. И никто не понял. Потом уже, позже, многие догада-

лись: чтоб князь не знал о горькой участи своей сестры и нигде бы не рассказывал, что ему довелось видеть.

Головной струг, а за ним остальные выплыли из Болды в Волгу. Сразу набрали хороший ход.

Степан сидел в той же позе, привалившись боком к борту, посасывал трубку. Изредка взглядывал на есаулов. Видел, что шушукаются. И уж знал, зна-ал, какие они там разговоры ведут.

Княжна сидела одна. Она даже похудела за эту ночь. Есаулы все разговаривали. В сторону атамана не смотрели.

А Степан уже неотступно смотрел на них... И взгляд его стал нехороший — внимательный. Он вздохнул. И вдруг вскочил, и, шагая через нашестья, быстро пошел к ним. Есаулы невольно поднялись навстречу. Лазарь Тимофеев потрогал саблю...

— Прячете Фрола! — тихо закричал Степан, хватая первого попавшегося за грудки. Им оказался Федор Сукнин. Степан толкнул его. Тот споткнулся сзади о нашестье, грохнулся. — В гробину вашу, в кровь!.. — еще один есаул полетел от сильного толчка, Мишка. — Жалко Фрола? А я вам кто?!. Я атаман или затычка?! Мной помыкать можно?! Собаки!.. Шепчетесь тут?!.

Двое успели выхватить сабли — вскочивший Федор и Ларька. Федор прямо пошел на Степана, Ларька оказался сбоку и тоже двинулся к атаману.

— А-а, — вдруг вовсе тихо, как-то даже радостно, сказал Степан, и в руке его сверкнул косой белый огонь. — Ну?..

Никто не заметил, как выхватил саблю подоспевший Иван Черноярец; увидели только, он махнул рукой... Тонкий, короткий звяк, и сабля Федора Сукнина перелетела через борт и булькнула в воду: Иван вышиб ее у Федора. И он же заслонил Федора и оказался перед Степаном. Федора оттолкнул дальше назад Мишка Ярославов, ибо Федор, очутившись без сабли, засуетился рукой у пояса, где пистоль.

— Миротворец, — тихо и вкрадчиво сказал Степан. — Ну?.. Спас атамана? Спас? — и шел на Ивана, страшный, белый; губы его покривились обидой, тряслись, он никак не мог ими улыбнуться.

— Уймись, шальной! — крикнул Иван. — Что ты делаешь?

— Ать! — Степан резко качнулся вбок... И Ларька чудом уцелел — увернулся. Все же концом сабли Степан черкнул по руке. — На-ка!..

В момент, когда Степан повернулся к Ларьке, Иван кинулся на Степана, растопырив руки, — хотел схватить. Степан с нечеловеческой быстротой нырнул ему под руку и подставил ногу. Иван упал, но сабли не выронил, крутнулся лежа, поднял саблю, чтоб заслониться ею от неминучей смерти. Но сабля атамана уже взлетела над ним...

— Пропал, казаче! — крикнул Степан Черноярцу.

В этот момент грянул выстрел. Степан с силой всадил саблю в дно стружка на четверть от Ивановой головы. Только после этого повернулся на выстрел.

— Кто стрелил?

— Я, — сказал Иван Аверкиев. — Хотел...

— Куда метил? В руку?

— В саблю, батька. Святой крест, в саблю. Хотел выбить.

Степан сел на лавку, сплюнул за борт.

— Ну, повоевали, и будет, — ядовитая, злая тоска, которая с утра ела сердце, схлынула. Легко стало. — Рассказывайте, чего вы тут шептались?

Случившееся произошло с такой быстротой, что не все сразу опомнились. Отовсюду, со всех стругов, на атамана во все глаза смотрели казаки. Атаман махнул им — гребите.

— Садись, — пригласил Степан есаулов. Он даже повеселел — так легко сделалось на душе. — Ларька, покажь руку. Как мы ее там?.. На атамана — с саблей! Бесстыдник.

— Что я, рубить, что ль, стал бы?

— Показывай руку. А что б ты стал? Причесывать?

— Плашмя бы достал — чтоб руку отсушить.

— Показывай рану. Я те отсушу... Нашелся!

Ларька, морщась от боли, стянул рукав кафтана, разорвал рубашку... Подошел к Степану. Тот оглядел рану. Рана была незначительная, даже до кости не достало.

— Память, Ларька: не крадься сбоку. Ходи теперь с зарубкой...

— Ты сдурел, Степан, — с упреком сказал Иван. — Так можно заикой сделаться. Чего взбесился-то?

— Ты хоть заранынше сказывай: буду пужать, — попросил Стырь. — А то я чуть в штаны не наделал.

— Будет про это, — сказал Степан. Помолчал... Посмотрел на реку, на безоблачное небо, промолвил, вроде как с

сожалением: — Ясно-то как!.. Господи! Конец лету, — глянул на есаулов, остался недоволен: — Ну, пошли глаза пялить! Вёдро, говорю, стоит! Стало быть, хорошо! И нечего глаза пялить...

Есаулы молчали. Таким они своего атамана еще не видели: на глазах двоился — то ужас внушал, то жалость.

Степан поднялся, пошел в нос струга. На ходу легко взял княжну, поднял и кинул в воду. Она даже не успела вскрикнуть.

Степан прошел дальше, в самый нос, позвал:

— Идите ко мне!

Он сел, опять привалился боком к борту... Коротко глянул на воду, куда без крика ушла молодая княжна... В глазах на миг вскинулась боль и тоска, он отвернулся.

Есаулы подошли; кто присел, кто остался стоять. На атамана боялись смотреть. Теперь уж — только боялись: кому-то да эта княжна отольется слезами. Но кто знал, что он так ее маханет? Знай есаулы, чего он задумал, может, и воспротивились бы... Хотя вряд ли. Может, хоть ушли бы на это время. Как-то не так надо было, не на глазах же у всех... Было ли это обдумано заранее у Степана — вот так, на глазах у всех, кинуть княжну в воду? Нет, не было, он ночью решил, что княжну отдаст в Астрахани. Но после стычки с есаулами, где он вовсе не пугал, а мог по-настоящему хватить кого-нибудь, окажись перед ним не такие же ловкие, как он сам, после этой стычки разум его замутился, это был миг, он проходил мимо княжны, его точно обожгло всего — он наклонился, взял ее и бросил. Теперь он возьмется жалеть ее, тосковать, злиться станет...

— Ларька, чего насулили Львову? Перескажи, — велел Степан.

— Отдать прапоры, пушки... — стал пересказывать Ларька: это то, что они, по научению атамана, согласились отдать во время переговоров с князем Львовым у устья Волги.

— Сколь?

— Не уговаривались. Сказали, чижолые отдадим.

— Ну? Дальше.

— Ясырь. Струга морские, припас... Но припас и струга — в Царицыне. Служилых людишек, какие с нами, он говорит, отпустить...

— Как же мы без припасу останемся? — встрял Черноярец.

— Погоди. Ишо?

— Ишо: бить челом царю за вины. Без того, мол, не пустим на Дон: царь, мол, с их тоже спросит, зачем...

— Иван, сколько пушек у нас?

— Сорок две всех.

— Ишо чего, Ларька?

— Рухлядь, какую на бусах взяли...

— Ишо?

— Все вроде. Ну, к присяге станем — само собой.

— Мишка, списал, чего в дар везем?

— Списал, — живо откликнулся Ярославов.

— Ну-ка?

— Воеводе: бархат красный заморский — шесть бунтов, девять тюков сафьянов — в тюку по пять сафьянов, три килима рытых, кутни с травами — четыре косяка, линты золотые — сорок аршин, недолиски — три, снизки с яхонтом — две, дорожки с золотыми травками — тридцать аршин, кружева шемахинские с золотом и серебром — две стопы, чашки золотые — тринадцать, тридцать юфтей шемахинских — в четырех узлах. Этому воеводе везем, второму: сорок юфтей шемахинских — пять узлов, десять косяков кружев с золотом и серебром, две какие-то книги, ковер большой турецкий с шелком, три штуки бархату золотного, ишо сундук с книгами грецкими, восемь пар пистолей с озолотной оправой, пять косяков тафты струйчатой разных цветов, хрусталей — не счесть, шелк...

— Насобачился ты в этом деле! — удивился Степан. — Чешет, как поп обедню.

— Ишо списки есть...

— Будет, — Степан посмотрел на есаулов. Спросил: — Будет аль нет — глотки-то заткнуть? Али мало?

Есаулы промолчали; никто не знал этого. Только Черноярец высказал свое мнение:

— Выше ноздрей. Припас-то зачем посулились отдать?

— Федор, — позвал Степан, — посылал кого-нибудь, куда я велел?

— Семерых. Пятеро пришли, двое ишо в городе.

— Чего говорят?

— Ждут, говорят, казаков: охота на наше богатство глянуть.

— Ну? Это я без их знаю. Про стрельцов-то?

— Стрельцы-годовальщики домой собираются, ждут новых. Воевать с нами не склоняются. Про цареву милостивую грамоту к нам — знают, даже посадские знают.

Степан вытащил из-за себя небольшую кожаную сумку с тяжелым содержимым. Бросил Федору. В сумке звякнуло, когда Федор поймал ее.

— Дак как с припасом-то? — всерьез обеспокоился Черноярец, глядя на атамана и на есаулов. — Чего вы, на самом-то деле? Куда мы без припасу?!

— Быть бы беде, Ваня, да случились деньги на бедре. Федор, передай Красулину — на особицу, чтоб не видал никто. Я тоже думаю, хватит. А там поглядим, как они... Покажем себя строго. Нос кверху шибко не драть, но и... телятами тоже не притворяйтесь: волки съедят. Смотрите за мной: я в таких делах бывал.

Бывал — есаулы знали. Молчали.

— Ну, рады теперь ваши душеньки? — вдруг зло спросил атаман. И зло, и обиженно поглядел снизу на есаулов. — Довольные?.. Живодеры.

И на это ему никто ничего не сказал. Не то чтоб есаулы очень уж были довольны, но... теперь случилось. А раз уж случилось, то оно и к лучшему.

* * *

Народу высыпало на берег — видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками... Рады были. Счужу хоть порадоваться: вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся.

Казачьи струги ткнулись в камни. Казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход: казаки влились в этот проход яркой, цветастой рекой.

Степан шел в окружении есаулов, ничем особенным не выделяясь среди них: на нем было все есаульское. Только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него... Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза.

Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги.

— А не послать ли нам воеводу к такой-то матери? — спросил вдруг Черноярец. — Тимофеич? Ты глянь, что делается!.. — они шли рядом; Черноярец посмотрел на атамана. — А, Тимофеич? — Тимофеичем Черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей.

Степан молчал. Вроде не слышал.

— Я, мол: не кланяться б нам теперь воеводе! Хозяева-то мы получаемся, не воеводы. Тимофеич!..

Степан еще больше сощурил глаза. Наверно, Степан был счастлив. Он был рад.

— Дай срок, Ваня, — сказал он негромко. — Не егозись пока. Можеть, пошлем, не теперь только. А охота послать-то? — Степан глянул на первого есаула и засмеялся.

Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто притерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому и стон-то в горло забили, все, с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются! Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресение; надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые что ни на есть тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира — чтобы любить, а не бояться.

С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами.

7

Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит.

— Знамо, он — подлец отпетый, — сказал митрополит, — но все же... крестили же его! Тут мы его лучше проймем.

Перед небольшим алтарем стоял длинный стол, за ним восседали: князь Иван Прозоровский, князь Михайло Про-

зоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, голова стрелецкий Иван Красулин, еще пять-шесть приказных — всего человек двенадцать-тринадцать.

— Э!.. — сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. — Я в Соловцах видал: вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Исус-то?

Разин, еще молодым человеком не раз ходивший послом к калмыкам — склонять тайшей против крымцев (при этом сперва надо было раззудить до визга давнюю злобу калмыков к Малому Ногаю, а уж через Малый Ногай направить эту злобу на Крым), бывший в «головщиках» крупных отрядов в войне с тем же Крымом, к тридцати годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки... Этот самый Разин, оказываясь перед лицом власть имущих (особенно когда видели казаки), такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось, — уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались: этак и до беды скоро. Наверно же многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлестами, но ничего не мог с собой сделать: как видел какого властителя (с Москвы на Дон присылаемых или своих, вроде Корнея), да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал: надо было обязательно уесть этого важного, строгого.

— Сперва лоб перекрестить надо, оголтеи! — строго сказал митрополит. — В конюшню зашли?!

Разин и все казаки за ним перекрестились на распятие.

— Так: это дело сделали, — сказал Степан. — Теперь...

— Всю ватагу привел?! — крикнул вдруг первый воевода, покраснев. — Был тебе мой указ: не шляться казакам в город, стоять в устье Болды! Был или нет?

— Не шуми, воевода! — резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. — Ты боярин знатный, а все не выше царя. В его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили, чего ты горло дерешь?

— Кто стрельцов в Яике побил? Кто посады пограбил, учуги позорил?.. «Никакого дурна»! — сказал митрополит тоже зло.

— Был грех, за то приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой — кладу, — Степан подошел и положил на

стол перед воеводами символ власти своей. — А вот прапоры наши, — он оглянулся... Десять казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол — тряпки на колышках.

Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

— А вот дары наши малые, — продолжал он, не оглядываясь.

Опять казаки расступились... И тринадцать молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу. И отошли.

— Мишка! — позвал Степан.

Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы. Заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману.

— Списки — кому чего, — пояснил он. — Дары наши...

— Просим покорно принять их. И просим отпустить нас на Дон, — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее.

За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать... Князь Львов мигнул приказным; один скоро куда-то ушел и принес и подставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой. Табурет далеко отлетел.

— Спаси бог! — воскликнул атаман. — Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями, а ты табурет приволок, дура. Постою, ноги не отвалются. Слухаю вас, бояре!

Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд — в бубенцах и в ленточках — с обрыва вниз. «Прощенческого» спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже.

Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго:

— Про дела войсковые и прочия разговаривать будем малым числом. Не здесь.

Воеводы, дьяк и подьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михайло Ярославов, Федор Сукнин — с казачьей удалились в приказную палату толковать «про дела войсковые и прочия».

На переходе из церкви митрополита в приказную палату, в тесном коридорчике со сводчатым потолком, Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметят, приотстал. Нахмурился.

— Здоров, князюшка! — тихо сказал Степан.

— Ну? — недовольно буркнул тот, не глядя на атамана.

— Здоров, говорю.

— Ну, чего?

— Хочу тебе про уговор наш напомнить...

— Дьявол! — зашипел князь. — Чего тебе надо? Мало — прошел на Астрахань?

— Я неоружным на Дон не пойду, — серьезно заявил Степан. — Не доводите до греха. Уговаривай их... Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду, так и знай.

— Знаю! Ивана Красулина подкупил?

— Бог с тобой! Как можно — голову стрелецкую! — притворно изумился атаман. — Где это видано!

— Дьявол ты, а не человек, — еще раз сказал князь. — Подлец, правда что.

— На море-то правда хотел побить меня? — миролюбиво спросил Степан. — Или — так, для отвода глаз? Небось, если б вышло, и побил бы?.. Я думал, там Прозоровский был: грешным делом, струсил.

— Отойди от меня! — зло сказал князь.

Степан отошел. И больше к Львову не подходил и даже не смотрел в его сторону: он все сказал, а князь Львов все понял — это так и было.

* * *

Митрополит обратился к оставшимся казакам с речью, которую, видно, заготовил заранее. Историю он рассказал славную!

— Я скажу вам, а вы скажите своему атаману и всем начальным людям вашим и подумайте в войске, что я сказал.

А скажу я вам притчу мудреную, а сердце ваше христолюбивое подскажет вам разгадку: можно ли забывать церкву господню! И как надо, помня господа бога, всегда думать про церкву его святую, ибо сказано: «Кесарево — кесарю, богово — богу».

Казаки поначалу с интересом слушали длинного сухого старика; говорил он складно и загадочно.

Митрополит начал:

— Заповедает раз господь бог двоим-троим ангелам: «О вы, мои ангелы, три небесных воеводы! Сойдите с неба на землю, поделайте гуслицы из сухого явору да подите по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытайте все веры и все города по ряду: знает всякий о боге и божьем имени?» Сошли тогда ангелы, поделали гуслицы из сухого явору. Пошли потом по свету, будто пчела по цвету. От окна божьего — от востока солнечна, и пытают все веры и все города по ряду: знает всякий о боге и о божьем имени?

Казаки помаленьку заскучали: похоже, святой старик разбежался издалека — надолго. Часть их, кто стоял сзади, незаметно улизнули из церковки на волю.

— И вот пришли перед дворы богатого Хавана — а случилось то прямо в святое воскресенье — и стояли ангелы до полуденья. Тут болели они и ногами, и руками трудились белыми, от собак бороняючись. Вышла к ним Елена, госпожа знатная. Перед ней идут служаночки и за ней служаночки. И вынесла Елена, госпожа знатная, обгорелый краюх хлеба, что месили в пятницу, в субботу в печь сажали, а в воскресенье вынули...

Вовсе поредела толпа казаков. Уж совсем мало слушали митрополита. Митрополит, видя это, заговорил без роздыха:

— Не дала его Елена, как бог милует, бросила его Елена башмаком с ноги правыя: «Вот вам, убогие! Какой это бог у вас, что прокормить не может своих слуг при себе, а шлет их ко мне? У меня мой бог на дому, сотворил мне мой бог дворы, свинцом крытые, и столы серебряны, много скота и имения...»

— Передохни, отче, — посоветовал Стырь. — Запалился.

— Тогда пошли ангелы. Повстречал их Степан, верный слуга Хавана. И говорят убогие: «Послушай-ка, брат Степан,

удели, ради бога, чего-нибудь». А Степан им: «Послушайте, братья убогие, ничего нигде нет у меня, кроме одного ягненочка. Служил я у Хавана, служил полных девять лет, ничего-то он не дал мне, кроме одного ягненочка. Молоком побирался я и ягненка откармливал. Теперь мой ягненок самый лучший из всех овец. Будь здесь мой ягненочек, я бы вам отдал его теперь». Говорят ему ангелы: «Спасибо, брат Степан! Если то и на сердце, что на языке, — тотчас ягненок будет здеся». Обернулся Степан — ан идет ягненочек через поле, блеючи: он Степану радуется, будто своей матушке. Взял Степан ягненочка, поцеловал его три раза, потом дал убогому. «Вот, братья убогие, пусть на вашу долю пойдет. Вам на долю, а мне — заслуга перед богом!» — «Спасибо, брат Степан!» И ушли ангелы. И увели ягненочка. Когда пришли ангелы к престолу Христову, сказывают господу, как что было на земле. А господь знает то́ лучше, чем как они сказывают. И молвил им господь бог: «Слушайте-ка, ангелы, сойдите вы с неба на землю да идите ко двору богатого Хавана, на дворе ему сделайте болотное озеро; схватите Елену, повяжите на шею ей каменье студеное, привяжите к каменью нечестивых дьяволов, пусть ее возят по му́ке, как лодочку по морю». Вот какая притча, — закончил митрополит. И крепко потер сухими белыми руками голову, виски, чтоб унять тряску. — Ну, поняли хоть?

— Утопили? — спросил Стырь (перед митрополитом стоял он и еще несколько пожилых казаков). — Ай-яй!.. Это как же так?

— Карахтерный бог-то, — промолвил дед Любим, которого история с ягненочком растрогала. — А ягненочка небось зажарили?

Митрополит не знал: злиться ему или удивляться.

— Подумайте, подумайте, казаки, за что бог Елену-то наказал, — сказал терпеливо. — В чем молитва-то наша богу? Заслуга-то...

— В ягненочке? — догадался простодушный дед Любим.

— Да пошто в ягненочке-то?! — вышел из терпения митрополит. — Ягненочек — это здесь для притчи сказано. Вы вон добро-то спускаете где ни попадя — пропиваете, а ни один дьявол не догадался из вас церкви господней вклад сделать. Только бы брюхо усладить!.. А душу-то... о спасе-

нии-то надо подумать? Кому уж, как не вам, и подумать-то — совсем ведь от церкви отбились.

* * *

А в приказной палате дым коромыслом — торг. Степан не сдавал тона, взятого им сразу. Да его уж и сдавать теперь нельзя было — дело клонилось к казачьей выгоде.

— Двадцать две пушки, — уперся он. — Самые большие — с имя можно год взаперти сидеть. А нам остается двадцать.

— Для чего они вам?! — горячился старший Прозоровский. — Если вы на мир-то, на покой-то идете — для чего они вам?

— Э, князь!.. Не гулял ты на степу-приволье. А — крымцы, татарва? Мало ли! Найдутся и на нас лихие люди. Дойтить надо. А как дойдем, так пушечки эти вернем тотчас.

— Хитришь, атаман, — сказал молодой Прозоровский. — Эти двадцать две, они тяжелые: тебе их везти неохота, ты и отдаешь...

— Не хочете — не надо, мы довезем как-нибудь. Не пойму вас, бояре: то подвох от нас чуете, а отдаешь вам пушки — не берете...

— Не про то речь! — с досадой воскликнул старший Прозоровский. — «Не берете». Ты и отдай все, еслив ты без подвоха-то. А то же ведь ты все равно оружный уходишь!

— А вы чего же хочете? Чтоб я с одними баграми от вас ушел? Не бывать этому. Не повелось так, чтоб казаки неоружные шли. Казаки-то!.. Бог с вами, вы разумные люди: когда это было?

— Да ведь ты еслив шел! Ты опять грабить начнешь!

— Куда? Нам теперь хватит на пять лет сытой жизни, даже останется. Солить его, что ли, добро-то?

— Ну а струги? — спросил младший Прозоровский.

— Как порешили: девять морских берите от нас, нам — струги полегче, а взамен морских — даете нам лодки.

— А ясырь? Сколько у вас их?

— Ясырь — нет. Мы за ясырь головы клали. Надо — пускай шах выкуп дает. Не обедняет. Понизовские, какие с нами ходили... мы их не неволим: хочут, пусть идут, куда зна-

ют. За вины наши пошлем к великому государю станицу — челом бить. Вот Ларька с Мишкой поедут. А теперь — не обессудь, боярин: мы пошли гулять. Я с утра не давал казакам, теперь самая пора: глотки повысыхали, окатить надо. Пушки свезем, струги приведем, князька этого — тоже берите. Его привезут вам. Даром берите, ну его к черту: пока дождесся выкупа за его, он с тоски околеет.

— А сестра его? С ним же и сестра его?..

— Сестры его... нету, — не дослушав воеводу, сказал Степан. — Ушла.

— Как ушла? — опешил воевода. — Куда ушла?

— Не знаю. Далеко, — Степан поднялся и вышел из палаты, не оглянувшись. Дальше он стал бы бестолково злиться, и было бы хуже. Только и оставалось — уйти.

Астраханцы удивились, ничего не поняли.

— Как так? Что он?..

— Где девка-то? — спросил Прозоровский у есаулов.

Есаулы пожали плечами: они тоже не знали, куда она ушла.

— Отдавать не хочет, — понял дьяк. — Сколько вас в Москву поедет? Двое, что ли?

— Шестером, — ответил Иван Черноярец. — Ну, мы тоже пошли. Правда, головы лопаются... Вчерась потанцевали маленько, игры всякие... а похмелиться утром батька не дал. Зарублю, говорит, кто пьяный на глаза воеводам покажется! А голова... Говорю вот, а там все отдает. Не обессудьте нас. Рады бы ишо с вами поговорить, да... какие мы теперь говоруны! Ишо повидаемся!

Есаулы вышли.

Власти остались сидеть. Долго молчали.

— Тц... — вздохнул старший Прозоровский. — Нехорошо у меня на совести, неладно. Ушел, сукин сын, из рук ушел, как налим. Ох, спросют нас, спросют: «А чего вы-то сделали?» А ничего: как он пришел с моря, так и ушел. Отдал, что себе в тягость, — и ушел. Всей и строгости нашей, что молебен отказались служить. Ведь вот как дело-то повернулось.

— Хитер, вор... — вздохнул Иван Красулин. В кармане у Ивана покоился — тянул книзу — тяжелый мешочек: тайный дар Степана.

— Не та беда, что хитер, беда наша, что — умен. Хитрых-то у нас у самих много, умных мало. Чует мое сердце, спомним мы ишо этот разговор, спомним... Это вам не Ивашка Кондырев. Не Ермак даже. Этот — похлеще будет, побашковитей.

— Ну уж, Иван Семеныч... отыскал умницу! — воскликнул князь Семен. — Прямо уж — головой в омут: перемог разбойник умом! Чего уж так?

— Да ведь оружным опять уходит! «Чего так...» Так!

— Ну и уходи он! Они сроду оружные ходют, как теперь? Не нами заведено, не нам отменять. У нас царева грамота на руках — при чем тут его башковитость?

— Знамо, не без головы, — вздохнул стрелецкий начальник, — я согласный с тобой, Иван Семеныч. Но то и худо-то, что не дурак. Не дурак, да и не сотню, не две ведет за собой, а тыщу с лишком — тут и нам тоже не оплошать бы, помоги, господи. Увел бы он их поскорей отсудова — вся забота теперь: лишь бы миновать беду.

— Да ведь и я-то про то! — рассердился старший Прозоровский. — Только забота-то моя дальше вашей смотрит: не было бы у его завтра — пять, а то и поболе тыщ-то. Вот заботушка-то! Ведь он оружный, да при таком богатстве...

— Укажи тада, чего делать? — тоже недобро спросил князь Львов.

— А вот и не знаю. Знал бы — указал. То-то и оно, что не знаю. Все верно, указ довели... А душа болит. Вещует. Неладно поступили, неладно. Разумом — вроде так, а совесть не чиста, хоть ты убей меня.

— Выше царя не станешь, Иван. Указ довели — чего же?.. Все. Ну ладно, — стал размышлять Львов, — захотели мы поотнять у них все: оружье, припас, добро... А кто отнимать-то станет? Стрельцы? Да они вон вместе с имя гуляют, стрельцы-то, вино ихное пьют наши стрельцы... А и найдется сколько-то надежных, так посадские не дадут. Не видишь, что ли, что делается? Не тут, не с нами, он башковитый, а вон где, в городе: он уж все разузнал там, оттого и смелый такой. Нету у нас силы — унять его, нету. А он... что же, он, знамо, не дурак: понял это. Да тут и ума большого не надо, чтобы это понять.

— Оно — так, — согласился Прозоровский. — Так-то оно так...

8

Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный.

С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми... Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо. Где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают.

— Сево? Сяцем так? — возмущались татары. — Конька — ма-ла-десь, сево зубым смотрис?

— Сево, сево... Вот те и сево! Нисево!

— Ая-яй!.. Касяк — понимать надо конь! Такой конька — ма-ла-десь!

Изучались копыта, глаза, уши коней, груди... Даже зачем-то под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика.

— Кузьма, ну-к прыгни на его: сразу не переломится, до Царицына можно смело бежать. Подержи-ка, севокалка!

— А спина-то сбитая! Воду, что ль, возил на ем?

— Сево?

— Вот! Как же ее под седло? Спина-то!..

— Потниська, потниська...

— Пошел ты!.. Хитрый Митрий нашелся — «потниська». Я лучше на тебе доеду, без потничка. Дурней себя нашел...

Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так: они тоже нужны — струги везти на Дон. Кони, вот радость-то долгожданная!

— Ну-к, вон того карего!.. Пробежи кто-нибудь! — кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями, забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут — вчерашние мужики, любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови.

Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину... Расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети... Тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику.

— Пойдет, — говорил Степан. — А, дед?

Дед Любим отвечал не сразу, с толком — дело это знал.

— Зад маленько заносит... Вишь? Не годится, — дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрят, привередничал сверх меры.

— Сойдет, ничего. Мы все не годимся, а на свете живем. Нам много надо. Берем! — решал Степан.

— Бери. Чего же тада спрашивать? — обижался дед.

Степан в то утро был в добром настроении. Улыбался.

— Не обижайся, Любим. Я знаю, ты разбираисся. Только — как же ты не поймешь-то? — нам много надо. Всех надо, сколь тут есть. А смотрины эти... я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж...

Окружали следующего коняку. И опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки и шуметь, и спорить.

— Води́! Бегом! — орали. — Как?! Дед!..

— Ну, эдак-то моя тешша бегала, даже резвей! Ноги-то навыверт. Эх, ноги-то, ноги-то — навыверт!

— У кого навыверт? У тешши? Рази у ей навыверт были? Ты что, Любим?

— Тю, это я с твоей спутал! Это у твоей навыверт-то были, чего я?.. А у моей, царство ей небесное, ровные были ножки...

К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку.

— Воевода плывет, Тимофеич. К нам, похоже.

— К нам?

— Вон! Суда рулит... А куда больше-то?

— Найди Мишку Ярославова, — быстро велел Степан. — Стой-ка! — он всмотрелся в большой струг, махавший от Астрахани. — Нет, воевода. Чего у их там стряслось? А?

— Шут их знает.

— Не от царя ли чего?.. Ну-ка, Мишку.

Мишка скоро оказался тут.

— Написал тайше? — спросил Степан.

— Написал.

— Все там указал?

— Все, как же. Как велел, так и написал.

Степан взял бумагу, а Мишка тем временем привел татарина. Судя по всему, старшего.

— На, — сказал Степан, передавая ему лист. — Отдашь тайше. В руки! Будет так: завидишь, перехватить могут, — сожги, а не то — съешь. Никому больше, кроме тайши!

— Понял, — татарин прекрасно владел русским языком. — Отдам в руки тайше. А попадусь — съем. Я ел, ничего.

— Бежи скоро! Старайся лучше не попадаться. За коней мы исправно заплатим, никого не обидим, скажи там.

— Понял, батька-атаман.

— От тайши мне ответ привезешь. Здесь не захватишь — мы уйдем скоро, — бежи на Дон, — Степан вынул кошелек, отдал татарину. — Приедешь, ишо дам. Пошли гостя стренем, братцы: воеводу.

Атаман с есаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы.

— Зачем? — недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струг. — Львов, сам Прозоровский, ишо кто-то... Зачем, а?

— Не грамота ли какая пришла? — высказал тревожную мысль Мишка Ярославов. — Неужто в Москве хватились?

— Мы б знали, — сказал Федор. — Иван Красулин прислал бы сказать. Нет, так чего-то... Может, ишо порядиться — мало взяли. Если б чего такое, Иван бы прислал сказать.

— Ты передал ему? — спросил Степан. — Деньги-то.

— А как же.

— Он чего?

— Кто, Иван?

— Ну.

— Радый. Будет слать нарочного все время. Говорит: из тех годовальщиков, которых ждут, у его есть тоже надежные.

— Добре. Чего же тада воевода пожаловал, овечий хвост? Зови ко мне, — Степан свернул к своему стругу, недоумевая и тревожась. Неужели царь хватился? Хватился да новую грамоту двинул... Но тогда почему один храбрец воевода пожаловал? Нет, непохоже, что от царя чего приехало. Ему и донести-то небось не успели еще. Нет, что-то другое. Что? — Князька отвезли воеводе? — спросил на ходу есаулов.

— Вчерась.

— Зачем же он пожаловал? Не возьму в толк.

Воевода пожаловал по той причине, что крепко, ему казалось, продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли: облапошил их атаман, как детей малых.

— Здоров, атаман! — бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана. Опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится — так уходить!

— Здорово, бояре! Сидайте, — пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей: Прозоровского (старшего), Львова, подьячего Алексеева.

— Экая шуба у тебя, братец! — воскликнул вдруг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра. — Богатая шуба. В Персии вроде и холодов-то больших нету — откуда ж такая добрая шуба? Небось ишо на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашенская шуба-то...

— С чем пожаловали, бояре? — спросил жестковато Степан. — Не хотите ли сиухи? А то я велю...

— Нет, — Прозоровский посерьезнел. — Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит...

— Чего ж вам надо ишо? — перебил атаман. Он понял: ничего от царя нет — сами воеводы ткут ему петельку потуже.

— Ясырь надо отдать. Пушки все надо отдать. Товары... — те, какие боем у персов взяли, — это ваше, бог с ими, а которые на Волге-то взяли?.. Те надо отдать, они грабленые. Надо отдать, атаман. Там же ведь и царево добро...

— Все отдать! — воскликнул Степан. — Меня не надо в придачу?

— А ишо: перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней, — непреклонно и с силой договорил Прозоровский.

Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра — как если бы ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойней было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился.

— Пушки — я сказал: пришлем. Ясырь у нас — на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших

братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили — не собрать. Списывать нас — что это за чудеса? Ни на Яике, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю, — Степан присел на лежак. — Не велось такого, с чего вы удумали?

— Не велось, теперь поведется.

— Пошли со мной! — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. — Чего мы одни гадаем: поведется, не поведется...

— Куда? Ты что? Эй!..

— Спросим у казаков: дадут они себя списывать?

— Брось дурить! — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. — Слышь!..

— Не дело, атаман, — встрял и князь Львов. — К чему это?

Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе:

— Зови всех суда! Всех!

— Ошалел, змей полосатый, — негромко сказал Прозоровский. — Не робейте — запужать хочет. Пошли, счас надо построже...

Воевода и подьячий тоже вышли из шатра.

Степан стоял у борта струга; на бояр не оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям: этого волка по загривку не погладишь — оскалился, того гляди, хватит клыками.

— Для чего всех-то зовешь? — все больше нервничал Прозоровский. — Чего ты затеял-то?

— Спросим... — тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. — А то молотим тут...

— Мы тебя спрашиваем, а не их!

— Чего меня спрашивать? Вы меня знаете... Писать-то их хочете? Их и спрашивайте.

— А ты вели. Ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают...

— Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им — на походе, войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно.

Меж тем казаки с торгов хлынули все на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли.

— Братцы! — крикнул Степан. — Тут бояры пришли — списывать нас! Говорят, обычай такой повелся: донских и яицких казаков всех поголовно списывать! Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить: слыхали вы такое?!

Вся толпа на берегу будто вздохнула единым вольным вздохом:

— Нет!

— Говори сам, — велел Степан Прозоровскому. — Ну?..

Прозоровский, не без чувства отчаяния и решимости, выступил вперед:

— Казаки! Не шумите! Надо это для того...

— Нет!! — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо. И в самом деле, никогда не водилось у казаков такой зловредной выдумки — перепись.

— Да вы не орите! Надо это... Ти-ха!!

— Нет!!!

Прозоровский повернулся и ушел в шатер, злой.

— Скоморошничаешь, атаман! — строго сказал он вошедшему следом Степану. — Ни к чему тебе с нами раздор чинить, не пожалел бы. Потом поздно будет. Поздно будет!

— Не пужай, боярин, я и так от страха трясусь весь, — сказал Степан. — Слыхал: брата мово, Ивана, боярин Долгорукий удавил. Вот я как спомню про это да как увижу боярина какого, так меня тряской трясет всего, — Степан сказал это с такой угрожающей силой, так значительно и явно, что невольно все некоторое время молчали. И Степан молчал, глядел на первого воеводу.

— К чему эт ты? — спросил Прозоровский. — При чем здесь брат твой? Он ослушался, он и пострадал. А ты будь умней его — не лезь на рожон, а то и тебе несдобровать.

— Не пужай, ишо раз говорю.

— Я не пужаю! Ты сам посуди: пошлете вы станицу к царю, а царь спросит: «А как теперь? Опять они за старое?» Пушки не отдали, полон не отдали, людей не распустили... Как же? Куда же вы, скажет, глядели-то?

— В милостивой царской грамоте не указано, чтоб пушки, полон и рухлядь целиком отнять у нас да казаков списывать и теснить.

— Грамота-то когда писана! Год назад писана.

— А нам что? Царь-то один. Может, другой теперь? Мы давно из дому... Но я слыхал — тот же, дай ему бог здоровья.

На берегу возбужденно гудели казаки. Весть о переписи сильно взбудоражила их; и впрямь, такого еще не знали на Дону — перепись: сердцем чуяли тут какую-то каверзу, злой умысел на себя. Для того ли и оставлять было родные деревни и бежать на край света, чтоб тут опять нечаянно угодить в кабалу: сперва перепись, потом, глядишь, седло накинут и поедут. Оттого и гудели. Гул этот нехорошо действовал на астраханцев: прямо как к стене припирали средь бела дня — и мерзко, и деваться некуда.

— Уйми ты их! — попросил князь Львов. — Чего расшумелись-то?

— Они, не ровен час, за сабли бы не взялись, — сказал Степан. — Могут. Тада и мне не остановить. Останови-ка!..

— Ну что, телиться-то будем? — раздраженно спросил Прозоровский. Он нервничал больше других. — Как уговоримся-то?

— Кому время пришло — с богом, — миролюбиво сказал Степан. — Мне рано телиться: я ишо не мычал.

— Ну дак замычишь! — Прозоровский поднялся. — Слово клятвенное даю: замычишь. Раз добром не хочешь...

Степан впился в него глазами... Долго молчал. С трудом, негромко, будто нехотя, осевшим голосом сказал:

— Буду помнить, боярин... клятву твою. Не забудь сам. У нас на Дону зря не клянутся, а клянутся, так помнют. Один раз вот так и я клялся — теперь будем помнить: ты и я.

Разговор принимал нехороший оборот... И очень уж шумели казаки: на нервы действовали. Самая пора — уйти от греха.

Воеводы пошли из шатра... Прозоровский шел последним, замешкался у выхода — что-то как будто вспомнил... Остановился.

— Не люблю уходить с тяжелым сердцем... Давай-ка, атаман, не будем друг на дружку зла таить. Нехорошо это, не по-христиански. Чего молчишь-то?

Степан молчал. Смотрел на воеводу. А тому опять невзначай попалась на глаза шуба. Она тихо светилась в углу дорогим тусклым светом, мягким, струйчатым.

— Ах, добрая шуба! — сказал он. — Пропьешь ведь! А?

Степан молчал.

— А жалко... Жалко такую шубу пропивать, добрая шуба. Сколько б ты за ее хотел?

Степан молчал.

— Хорошо дам... Все равно же она тебе за так досталась. А?

Степан молчал.

— Зря окрысился-то на меня, — сказал Прозоровский и нахмурился. — Про дела-то твои в Москву я писать буду. А я могу всяко повернуть. Так-то, атаман... Должен понимать.

Степан молчал.

— Ну, шуба!.. — опять молвил воевода, подходя и трогая шубу. — Ласковая шуба... Только — один черт — загуляешь ты ее на Дону. Загуляешь ведь?

— Бери себе, — сказал Степан.

Кое-то как дождался князь этих слов! Его даже стала слегка сердить то ли глупость атамана, то ли жадность его — недогадливость, скорей всего.

— Ну — куда с добром! Только я счас не понесу ее, а вечерком пришлю. Ага, так-то лучше — чтоб не глазели. А то пойдут глазеть! Греха потом не оберешь...

— Я сам пришлю.

— Ну и вот, и хорошо. И хорошо, Степан... — воевода даже растрогался, у него и из головы вылетело, что все-таки казаки уходят — вооруженные, с припасом, богатые. И никакой острастки на дорогу он им не задал, а забота его — вся-то — страх перед царем, а страх снимался милостивой царской грамотой. Откровенно говоря, хоть он и пугал вчера своих помощников возможными выходками казаков, сам в них не верил: казаки устали, добра у них невпроворот — пить им теперь, заливаться. А мысль эта: что Стенька — не просто разбойная душа, что это умный, сильный, матерый волк, — мысль эта влетела вчера и вылетела вчера же, вечером, когда разбирали дома дорогие Стенькины подарки. «На кой ляд, — думал воевода, — ему теперь разбойничать, когда это-то добро не пропить за пять лет». — Только, Степан... — Прозоровский прижал руку к груди. — Христом-богом прошу тебя: не вели казакам в город шляться. Они всех людишек у меня засмущают. Ведь они вот счас всосутся пить, войдут в охотку, а ушли вы — они на бобах. А похмель-

ный человек, сам знаешь, ни работник, ни служака. Да ишо злые будут, как псы, сладу с имя не будет.

— Не заботься, боярин. Иди спокойно.

Прозоровский ушел.

Степан, оставшись один, стал ходить по шатру. Думал. Он когда крепко о чем-нибудь думал, то ходил из угла в угол и приговаривал: «Мгм, мгм».

— Будет тебе шуба, боярин, — сказал он. И остановился. — Будет тебе шуба... свинья ненасытная.

* * *

Ближе к вечеру того же дня, часу этак в пятом, в астраханском посаде появилось странное шествие. Сотни три казаков, слегка хмельные, направлялись к Кремлю; впереди на высоком кресте несли дорогую шубу Разина, которую выклянчил воевода. Во главе шествия шел гибкий человек с большим утиным носом и с грустными глазами и запевал пронзительным тонким голосом:

У ворот трава росла,
У ворот шелко́вая!

Триста человек дружно гаркнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Пока шел «голубь», гибкий человек впереди кувыркнулся несколько раз через себя и прошелся плясом. И опять тонко запел:

Кто ту травушку топтал,
Кто топтал шелко́вую?

И снова разом крикнули триста:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Худой человечек опять кувыркнулся, сплясал и продолжал:

Воеводушка топтал,
Свет Иван Семенович!

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

В вечернем стоялом воздухе вольно и как-то диковато разносилась странная, развеселая песня. Астраханский люд опять высыпал из домов на улицы. Приветствовали донцов, только ничего не могли понять с этой шубой.

Разин шел в первых рядах казаков, пел вместе со всеми. Старался погромче... Пели и все громко, самозабвенно.

Он искал перепелов,
Молодых утятошек!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские потянулись за казаками: кто ожидая большого скандала, кто — выпивки.

А нашел он нашу шубу!
Шубу нашу, шубыньку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Гибкий человек, отплясав, вел рассказ дальше:

Перепелку на тарелку,
Шубыньку на рученьку!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Лица казаков торжественны, серьезны. И Разин тоже вполне старателен и серьезен.

Шуба величаво плывет над толпой.

Шубыньку на рученьку,
Душечку, на правую!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Несколько казаков отстали, поясняют посадским:

— Шуба батьки Степан Тимофеича замуж выходит. За воеводу. Шибко уж приглянулась она ему... В ногах валялся — выпрашивал. Ну, батька отдает. Он добрый...

— Не горюйте: в надежных руках будет, — понимали посадские.

— Да мы не горюем! Но проводить надо хорошо — подоброму, чтоб им жить-поживать с воеводой в согласии, чтоб согревала она воеводу, как воевода замерзнет.

Полежи-ка, шубынька,
У дружка у милого!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
У сердца ретивого,
У Иван Семеныча!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Толпа идет нешибко; шубу нарочно слегка колыхали, чтоб она «шевелила руками».

Ты лежишь, как душечка,
Все лежишь, как куньчка!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Друг ты моя, шубынька,
Радость моя, шубынька!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Ты меня состарила,
Без ума оставила!

Тут особенно громко, «с выражением» рявкнули:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!
Без ума, без разума,
Без великой памяти!
То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

Посадские дивились: так складно, дружно получалось у казаков — и все про шубу, про шубыньку, да про ихнего воеводу Ивана Семеныча. Не слыхали раньше такой песни. Не знали они, что Степан незадолго до этого измучил казаков: ходили туда-сюда берегом Болды, разучивали «голубя», спевались. Слова им дал скоморох Семка, переиначив, видно, какую-то нездешнюю песню. Этот-то Семка и шел теперь впереди, и запевал, и приплясывал. Ловкач он был отменный.

— Ие-э-эх!.. — заголосил напоследок Семка, сильно вытянув жилистую шею. — Все разом:

То-то, голубь, голубь, голубь!
То-то, сизый голубок!

* * *

В покоях воеводы сидели: сам воевода, жена его, княгиня Прасковья Федоровна, дети — старший, Борис, шестнадцати лет, и младший, тоже Борис, восьми лет, брат воеводы Михайло Семеныч. Слушали с большим неудовольствием.

Ярыга, большеротый, глазастый, рассказывал:

— Один впереде идет — запевала, а их, чай, с полтыщи — сзади орут «голубя».

— Тьфу! — Иван Семеныч заходил раздраженно по горнице. — Вот страмцы-то! Ну не гады ли подколодные!..

— Ты уж позарился на шубу! — с укором сказала Прасковья Федоровна. — На кой бы уж она?..

— Думал я, что они такой свистопляс учинят?! Ворье проклятое. Ну не гады ли!..

— Это кто же у их такой голосистый — запевает-то? — спросил Михайло Семеныч.

Ярыга знал и это:

— Скоморох. Днями сверху откуда-то пришли. Трое: татарин малой, старик да этот. На голове пляшет, на пузе...

— Ты приметь его, — велел Михайло. — Уйдут казаки, он у меня спляшет.

— Я так смекаю: они с имя уйдут, — ответствовал вездесущий ярыга. — Приголубили их казаки... С имя ушлепают.

— Стало быть, теперь возьмем, — сказал Михайло Семеныч. — Укажи его, когда суда явются.

— Укажу. Я его харю приметил.

— Сам ихный там же? — спросил воевода, скривившись как от боли зубной. — Стенька-то?

— Стенька? Там. Со всеми вместе орет, старается.

— Стыд головушке! — вздохнула Прасковья Федоровна. — Людишки зубоскалить пойдут. Прямо уж околел ты без этой шубы! Глаз не кажи теперь...

— Иди-ка отсудова, мать! — воскликнул воевода сердито. — Не твое это бабье дело. Иди к митрополиту, детей туда же возьми. Идите.

Прасковья Федоровна ушла и увела детей.

— Ах, поганец! — сокрушался воевода. — Что учинил, разбойник!.. Голову с плеч долой снял. Ну, я с тобой пого-

ворю, кобель. Ты гляди, чего выдумал!.. И подумать нельзя было.

В горницу заглянула усатая голова:

— Казаки!

Братья Прозоровские и несколько приказных вышли на крыльцо, изготовились встретить гостей сурово.

Казаки молча шли по двору Кремля. Увидав воеводу, остановились. Стырь и дед Любим, в окружении шести казаков с саблями наголо, вынесли на руках дорогую шубу.

— Атаман наш Степан Тимофеич жалует тебе, боярин, шубу со свово плеча, — положили шубу на перила крыльца. — На.

— Вон!!! — закричал воевода и затопал ногами. — Прочь!.. Воры, разбойники! Где первый ваш вор и разбойник?! Он с вами?! Чего он прячется, еслив такой смельчак? Чего же он такой?!

— Какой? — спросил Стырь. — Ты про кого, батюшка?

— Кого вы атаманом зовете?!

— Степан Тимофеича... Кого же нам больше атаманом звать? Степан Тимофеича.

Степан наблюдал за всем из толпы, щурил злые, мстительные глаза. Случись бы теперь с ним сила большая и готовая, да случись война в открытую, он бы заткнул воеводе крикливый рот, запечатал бы навек.

— Он больше не атаман вам! — кричал воевода. — Поганец он, вор!.. Он сложил свою власть! Бунчук его — вот он! — воевода показал всем бунчук Разина. — Какой он вам атаман?! Идите по домам, не гневите больше великого государя, коли он вас миловал. Не слухайтесь больше Стеньки! Он — дьявол! Он сам сгинет и вас всех погубит!..

Степан внимательно слушал, стиснув зубы, смотрел вниз, в землю. Слегка кивал головой.

— Замычал? — сказал он негромко себе. — Подожди, белугой закричишь, сукин сын.

— Пошли отсуда, — тронул его Иван Черноярец. — Он тут несет чего ни попадя... А эти слушают. Пошли.

— Подожди, дай наслушаюсь досыта. Может, когда спомнить доведется. Ты запоминай тоже. Ишь, как поет!..

— Царь-государь милостив, но и у его сердце лопнет, не дожидайтесь этого! — говорил громко воевода. — Хуже бу-

дет! Не гневите царя-батюшку и бога всевышнего, не слушайтесь больше атамана: пропадете с им! Он сам себе погибели хочет и вас за собой тянет! Зачем он оружие не отдает?! Чего затевает?!.

— Пошли, — сказал Степан. — Уводи их, а то правда...

Казаки вышли из Кремля. Шубу оставили воеводе.

За воротами, в толпе, к скомороху Семке присоседился ярыга. Заговорил с ухмылкой, с восхищением:

— Эт ты на голове-то пляшешь?

— Я. Я ишо на пузе могу, — похвастался Семка.

— Пошли со мной?.. Дворовым людишкам охота глянуть.

Семка колебнулся, подумал...

— Денег дадут, — заторопил ярыга. — Чего? Ну?..

— Нас трое... — Семке не хотелось и от казаков отстать, и охота было показать свое искусство, где просят.

— Зови и их. Где они?

Семка крикнул старика с бандурой и татарчонка, маленького, проворного, смекалистого парнишку. Втроем они и ходили по городам и деревням русским. Больше — по городам. И вместе же и бегали, и прятались, когда гнали прочь.

— Пошли! — торопил ярыга. — Накормют, денюжку дадут...

Скоморохи с ярыгой выбрались из толпы казаков, пошли вдоль стены к другим воротам. Никто из казаков не обратил на них внимания.

— А я один разок видал вас, чуть не сдурел со смеху. Пришел, рассказал нашим, они загалдели все в один голос: «Тоже хочем!» — ярыга все ухмылялся и заглядывал в глаза Семке. — Я говорю: «Денюжку дадите? Они за денюжку пляшут». Они все в один голос: «Дадим!»

— Девки есть? — спросил Семка.

— Девки? — удивился ярыга; он никак не ждал от хилого, доброго Семки такого вопроса. — А для че тебе?

— Девки смеяться любют.

— Есть, есть! Полно. Счас посмеемся!..

За казаками на посаде увязались посадские, стрельцы, бойкие бабенки... Казаки ласково щупали астраханок, те визжали, били казаков по рукам, смеялись: ждали гульбы и подарков. Казаки сулили и то и другое... И третье сулили.

И как пришли к стружкам, тут и все: торговлишка открылась, виночерпии тут как тут, праздник опять готов раскинуться, море человеческое закачалось, заходило волнами...

Степан смотрел со стороны на знакомую картину... Пожевал ус: картина явно не пришлась ему по душе. Велел есаулам сесть на коней и ускакал с ними сухопутьем к Болде, в лагерь. А казаки подсаживали бабенок на струги. На струги же закатывали бочонки с вином, вносили караваи хлеба, солонину в туесах, вязанки копченой, вяленой рыбы... Кого не грызут завтрашние заботы, тот сегодня живет через край. А тут еще такая редкая, дорогая радость — бабы. Тут уж — кривись, атаман, не кривись — не твое дело. Да и не заметили, что он кривится-то, — не туда смотрели.

9

Степан заторопил события.

Прискакав из Астрахани в лагерь, он не отпустил есаулов. Собрал их вокруг себя, начал расспрашивать и распоряжаться.

— Сколько коней закупили, Иван? — к Черноярцу. Спрашивал быстро и быстро же велел отвечать. Есаулы знали эту его привычку.

— Сто двадцать. А сбруи на полста.

— Закупить! Какого дьявола ждешь? Пошли за Волгу.

— Они посулились сами...

— Некогда ждать! Солнце встанет, роса очи выест. Пошли пять стружков. И пускай не скупятся. Федор, в Царицын кто поехал? Послал?

— Минька Запорожец, — откликнулся Федор Сукнин.

— Велел передки закупить?

— Велел.

— На Дон ушли? — опять к Черноярцу.

— Ушли. Слышно, Васька Ус собирался к нам, Алешка Протокин...

— Послать к Ваське, к Алешке. Давно ведь велел! Чего ждете?

— В Москву-то будем посылать? — спросил Иван Черноярец.

— Пошлем, — сказал Степан. — Из Царицына. Вот ишо: у воронежцев закупим леса, сплавив плотами... Тоже послать. Федор, сам поедешь. Бери полста, которые с топорами в ладах, и чуть свет дуй. Скажи воронежцам: долю их-

ную — за свинец и за порох — везем. Свяжите с десять плотов — и вниз. Там, наспроть устья Кагальника, между Ведерниковской и Кагальницкой, островок есть — Прорва. Там стоять будем. Поделайте засеки, землянки — сколь успеете. Еслив кто из казаков уйдет домой хоть на день, хоть на два, — тебе, Иван... всем вам головы не сносить. Мы не зимовые казаки, а войско. Сам буду отпускать на побывку — за порукой. Иван... — Степан в упор посмотрел на Черноярца. — Где Фрол?

Иван увел глаза в сторону.

— А я откуда знаю! Что я, бегаю за им?

— Где Фрол? — повторил вопрос Степан. — Куда вы его спрятали? Чего в глаза-то не смотришь?

Иван уперся:

— Не знаю, где он. Никто его не прятал...

Некоторое время все молчали.

— Не трону я его, — негромко сказал Степан. — Пускай вылазит, — и повысил голос. — Дело делать или по кустам хорониться? Нашли время!..

— Батька, хлопец до тебя, — сказал подошедший казак.

— Какой хлопец?

— Трое шутовых давеч было... шубу-то когда провожали...

— Ну?

— Один, малой, прибег счас из Астрахани: заманули их ярыги воеводины — метятся за шубу. А этот вывернулся как-то...

— Позови.

Татарчонок плакал, вытирал грязным маленьким кулаком глаза. Рассказал:

— Семку и дедушку... бичишшем... Мы думали: спляшем им, денег дадут... Семка соблазнил — девок шибко любит. Сколько уж раз, дурака, били!.. Спаси их, батюшка-атаман! А то их совсем заколотют там. Спаси, батюшка, ради Христа истинного...

— Не реви, — сказал Степан. — Позови Фрола, Иван. Скажи, хуже будет, еслив счас не вылезет. Не плачь, сынок, поможем. Давай Фрола!

Иван отошел к кустам дальним, громко позвал:

— Фрол!

Фрол откликнулся, но не вылез пока. Они стали переговариваться с Иваном. Иван, как видно, принялся его уговаривать вылезти. Фрол колебался...

— Били? — спросил Степан татарчонка.

— Бичом. Дедушке бороду жгли... Семку огнем тоже мучают. Батюшка-атаман, пособи им... родненький...

— За шубу? Так и говорят — за шубу?

— За шубу Семке посулились язык срезать...

— А ты как же убег?

— Они мне раза два по затылку отвесили и забыли. Семку шибко уж мучают... Батюшка, ради Христа истинного...

— Вы откуда? — видно, как изо всех сил крепился Степан, чтоб самому не закричать тут от жалости и злобы.

— Теперь — из Казани. А были — везде. В Москве были...

Фрол вылез наконец из кустов... Подошли. Фрол остановился в нескольких шагах от Степана — на всякий случай.

— Загостился ты там, — сказал Степан. — Поглянулось?

— Прямо рай! — в тон ему ответил Фрол. — Ишо бы гостевал, но заела проклятая мошкара — житья от ее нету, от...

— Отдохнул?

— Отдохнул.

— Теперь так: бери с двадцать казаков и ехайте в Астрахань. Вот малой покажет куда. Там псы боярские людей грызут. Отбейте. — Степан подтолкнул татарчонка к Фролу.

— Как? Боем прямо? — удивился Фрол.

— Как хошь. Хоть прямо, хошь криво. Чтоб скоморохи здесь были!.. Слышал?!

— Батька, дай я с имя поеду, — попросился Иван Черноярец. — Я больше там знаю...

— Ты здесь нужон. С богом, Фрол. Опробуй не привези скоморохов — опять в кусты побежишь, — Степан отвернулся.

Фрол пошел отбирать казаков с собой.

— Федор, поедешь к воронежцам не ране, чем придем в Царицын, — Степан помолчал: все ли сказал, что хотел, не забыл ли чего... Но видно было — другое уже целиком овладело им. — Сучий ублюдок!.. — вырвалось вдруг у него. Он вскочил. — Людей мучить?! Скорей!.. Фрол! Где он?..

Отряд Фрола был уже на конях.

— Фрол!.. Руби их там, в гробину их! — кричал атаман. — Кроши подряд!.. — его начало трясти. — Лизоблюды, твари поганые! Невинных-то людей?!

С ним бывало: жгучее чувство ненависти враз одолевало, на глазах закипали слезы; он выкрикивал бессвязные проклятия, рвал одежду. Не владея собой в такие минуты, сам боялся себя. Обычно сразу куда-нибудь уходил.

— Отворяй им жилы, Фрол, цеди кровь поганую!.. Сметай с земли! Это что за люди?! — Степан сорвал шапку, бросил, замотал головой, сник. Стоявшие рядом с ним молчали. — Кто породил такую гадость? Собаки!.. Руби, Фрол!.. Не давай жить... — негромко, с хрипом проговорил еще атаман и вовсе опустил голову, больше не мог даже говорить.

— Он уехал, батька, — сказал Иван Черноярец. — Счас там будут, не рви сердце.

Степан повернулся и скорым шагом пошел прочь.

Оставшиеся долго и тягостно молчали.

— А ведь это болесть у его, — вздохнул пожилой казак. — Вишь, всего выворачивает. Маленько ишо — и припадок шибанет. Моего кума — так же вот: как начнет подкидывать...

— Он после Ивана так, после брата, — сказал Стырь. — Раньше с им не было. А после Ивана ослабнул: шибко горевал. Болесть не болесть, а сердце надорванное...

— Никакая не болесть, — заспорили со стариками. — С горя так не бывает... Горе проходит.

— С чего же он так?

— Жалосливый.

— Ну, с жалости тоже не хворают. И мне жалко, да я же не реву.

— Да ты-то!.. С жалости-то как раз и хворают. У тебя одно сердце, а у другого... У другого — болит. У меня вон Микишка-то, сын-то, — вспомнил Стырь, — когда помер? — годов с двадцать. А я его все во сне вижу. Проснусь — аж в груде застынет от горя, как, скажи, вчерась его схоронил. Вот те и проходит — не проходит. А он брата-то вон как тоже любил... Да на глазах задавили — какое тут сердце надо иметь — камень? Он и надорвал его.

— А ты-то был в том походе? Видал?

— Видал, — Стырь помолчал и еще раз сказал: — Видал. Не приведи господи и видать такое: самых отборных, головку самую...

— А вы чего глядели?

— А чего ты сделаешь? Окружили со всех сторон — чего сделаешь? Рыпнись — перебили бы всех, и с концами.

— Дед, скажи, — заговорил про свою догадку один казак средних лет, — ты батьку лучше знаешь: ничего он не затевает... такого?..

— Какого? — вскинулся Стырь.

— Ну... на бояр, можеть, двинуть?.. К чему он, правда, силу-то копит? На кой она ему так-то?

— Это ты сам его спроси, он про такие дела со мной не советуется. Никуда он не собирается двигать... С чего ты взял?

— А силу-то копит...

— Сила завсегда нужна. Кому она мешала, сила?

— Ну, не такую же... Слыхал, по домам — за порукой только? Это уж — войско прямо.

Ларька Тимофеев, бывший тут, сощурил в усмешке девичьи глаза.

— Ну а доведись на бояр стрепенуться?.. — спросил он. — Как вы тада?

Вопрос несколько ошеломил казаков. Так прямо еще не спрашивали.

— На бояр?.. Дак это ж — и на царя?

— Ну — на царя... — синие глаза жестокого есаула так и светились насмешливым, опасным блеском. — Чем он хуже других?

— Да он-то не хуже... — трезво заговорил Стырь. — Нам бы не оплошать: у нас сила, а у его — втрое силы.

— Наша сила ишо не вся тут, — гнул свое Ларька. — Она вся на Дону. Туда нонче из Руси нашугало темные тыщи — голод там... Вот сила-то! А куда ее? Зря, что ль, ей пропадать? Оружьишко с нами...

— Нет, Лазарь, не дело говоришь, — Стырь решительно покачал головой. — Не дело, парень. Еслив уж силу девать некуда, вон — Азов на то... Чего же мы на своих-то попрем?

Глаза Ларькины утратили озорство и веселье... Он помолчал и сказал непонятно:

— Своих нашел... Братов нашел. Вон они, свои-то, чего вытворяют: невиновных людей огнем жгут, свои.

Все промолчали на это.

Иван с Федором нашли атамана в кустах тальника, у воды.

Степан лежал в траве лицом вниз. Долго лежал так. Сел... Рядом — Иван и Федор. Он не слышал, как они подошли.

Степан выглядел измученным, усталым.

— Принеси вина, Федор, — попросил негромко.

Федор ушел.

— Как перевернуло-то тебя!.. — сказал Иван, присаживаясь рядом. — Чего уж так? Так — сердце лопнет когда-нибудь, и все.

— Руки-ноги отвалились, как жернов поднял... — тихо сказал Степан. — Аж внутре трясется все.

— Я и говорю: надорвешься когда-нибудь. Чего уж так?

— Не знаю, как тебе... Людей, каких на Руси мучают, — как, скажи, у меня на глазах мучают, — с глубоким и нечаянным откровением сказал Степан. — Не могу! Прямо как железку каленую вот суда суют. — Показал под сердце. — Да кто мучает-то!.. Тварь, об которую саблю жалко поганить. Невиновных людей!.. Ну за что они их? И нашли кого — калек слабых...

— Ладно, скрепись. Счас Фрол привезет их. Лоб расшибет, привезет: ему теперь любой ценой вину надо загладить.

Федор принес вина в большой чаше. Степан приложился, долго с жадностью пил, проливая на колени. Оторвался, вздохнул... Подал чашу Ивану:

— На.

Иван тоже приложился. Отнял, посмотрел на Федора...

— Пей, я там маленько прихватил, — сказал тот.

— Сегодня в большой загул не пускайте, — сказал Степан. — Ишо не знаем, чего там Фрол наделает. Надо сбираться да уходить: больше ждать нечего. — Он опустил голову, помолчал и еще раз сказал негромко, окрепшим голосом: — Нечего больше ждать, ребяты.

* * *

Фрол ворвался в нижний ярус угловой, Крымской, башни, когда там уже никого из палачей не было. На земляном полу лежали истерзанные скоморохи. Семка был без памяти, старик еще шевелился и слабо постанывал.

Наружную охрану — двух стрельцов — казаки втолкнули с собой в башню и велели им не трепыхаться.

— Живые аль нет? — спросил Фрол, склонившись над стариком.

— Живые-то живые, — шепотом сказал старик. — Никудышные только... Изувечили.

Фрол склонился еще ближе, вгляделся в несчастного старика.

— Как они вас!.. Мама родимая!

— Семке язык вовсе срезали...

— Да что ты! — удивился Фрол. Подошел к Семке, разжал его окровавленный рот. — Правда. Ну, натешились они тут!..

В дверь с улицы заглянул казак:

— Увидали! Бегут суда от приказов. Живей!..

— Берите обоих. Шевелитесь! — Фрол быстро подошел к стрельцам: — Вы что же это? А? Гады вы ползучие, над живыми-то людями так изгаляться...

— А чего? Мы не били. Мы глядели только... Да подержали, когда язык...

Фрол ахнул стрельца по морде. Тот отлетел в угол, ударился головой и сник.

— Чтоб не глядел, курва такая!..

Второй стрелец кинулся было к выходу, но его оттуда легко отбросил дюжий Кондрат.

Казаки, трое, выбежали из башни, вскочили на коней. Всего их здесь было пятеро; остальные ждали за стеной Кремля, снаружи.

Скоморохи были уже на седлах у казаков. При белом свете на них вовсе страшно было глядеть: истерзали их чудовищно, свирепо. Даже у видавших виды казаков сердца сжались болью.

От приказных построек, под уклон к башне, бежали люди. Передние легко узнались: стрельцы с ружьями. И бежало их много, с пятнадцать.

Кондрат, выскочив из башни, глянул в сторону бегущих, потом на Фрола... Обеспокоился, но к коню не торопился.

— Фрол, успею... Дай?

Фрол мгновение колебался... Кивнул согласно:

— Мигом! По разу окрести, хватит.

Кондрат бегом вернулся в башню; тотчас оттуда раздались истошные крики и два-три мягких, вязнущих удара саблей. Крики оборвались почти одновременно.

Тем временем стрельцы были совсем близко. Некоторые остановились, прикладываясь к ружьям.

— Кондрат! — громко позвал Фрол.

Казаки вынули сабли, тронули коней, чтоб не стоять на месте под пулями. Кондрата все не было.

Раздались два выстрела. Потом третий...

Кондрат выскочил из башни, засовывая на бегу в карман какие-то мелкие штуки.

— Что ты там? — зашипел Фрол. — Сдох, что ли?!

— Пошурудил в карманах у их... — Кондрат никак не мог попасть ногой в стремя: татарская кобылка, не приученная к выстрелам, испугалась. Дико косила глазом и прядала вбок.

— Тр!.. Той!.. — гудел Кондрат, прыгая на одной ноге. — Чего ты, дурочка, испужалась-то?..

Еще трое бегущих приостановились, припали на колено... Казаки закрутились на месте, дергая поводья. Кони всхрапывали, сучили ногами, норовили дать вдыбки.

— Прыгай! — заорал Фрол. — Твою мать-то!..

Кондрат упал брюхом в седло... Подстегнули коней... Еще три выстрела прогремели почти одновременно. Под одним из казаков конь скакнул вбок и стал падать. Казак бросил его и прыгнул на ходу к Фролу, который для того несколько придержал свою лошадь.

Вылетели через Никольские ворота... И весь отряд Фрола на добром скаку скрылся в улочке, что вела от Кремля наискосок к Волге. Остался в воздухе только слабый следок пыли, да недолго слышался дробный стремительный бег коней.

Стрельцов было человек восемь. В числе первых подбежал к башне Иван Красулин, голова стрелецкий. Сунулся в башню...

Некоторое время его не было. Потом он вышел. Подавленно молчал. С силой потер ладошкой лоб.

Подбежали другие... По виду Красулина догадались, что тут случилось.

— Казаки?

— Должно... Кто же больше?

— Они, больше некому Раз скоморохов взяли, то они. Не татарва же... Казачье дело.

— Вот чего, — заговорил Красулин, — скоморохов взяли — это не скроешь теперь, а вот стражных срубили — то надо замести как-нибудь. Надо чего-то выдумать.

— Срубили?! — узнавали вновь подбегающие.

— Вон лежат... За скоморохов можно перетерпеть, а за этих — не приведи господи: всем будет. Еслив кто из вас донесет тайком, и тому несдобровать: я всех тут знаю.

— Совсем срубили-то? — двое вошли в башню... И тотчас вышли. — Да... Напополам развалили.

— Чего делать-то? — вслух думал Иван. — Самих ведь срубют... Ишо и умысел потайной присобачут: нарошно, мол, попустили. И так воевода окрысился давеч: «С ворами гуляете!»

— В воду, чего!.. Чего тут больше выдумаешь? Ушли — и все тут. С казаками ушли, мол. Кто проверит?

— Знамо, им теперь — где-нигде... все то же. Тут не грех и об себе подумать. Да ить как скоро управились!

— Как? Все-то как думаете? — спросил Красулин.

— В воду — и подальше, — согласились все.

* * *

С астраханской стороны Болды послышался конский топот, голоса. Свистнули.

На этой стороне от костров отделилось несколько фигур; пошли к воде. Было уже совсем темно.

— Ты, Фрол?! — спросил отсюда голос Ивана Черноярца.

— Мы! — откликнулся Фрол. — Переплавляйте!

Два стружка отвалили от берега.

На той стороне заводили коней в воду, пускали вплавь одних. Фырканье коней, плеск воды, голоса людей звучно отдавались ночной рекой. Ночи стояли тихие.

Стружки ткнулись в берег... Фрол прыгнул в передний.

— Ну как? — спросил его Черноярец. — Привез?

— Везем... Старик кончился дорогой. А парню язык срезали. Живой пока, но... худой тоже.

— Ох?.. Успели, — Иван сокрушенно прицокнул.

— Куда старика-то? — спросили есаулов с берега.

— Заноси! — велел Иван. — Завтра схороним. Вот твари дак твари!.. И за што ухайдакали? Ни за што.

Занесли на струг тело старика и полуживого Семку, поплыли.

— Уходить надо, — сказал Фрол. — Мы там двух стрельцов срубили... Всполохнуться могут.

— Каких стрельцов? Приставу?

— Ну.

— Про старика-то да про язык — не надо, промолчите, — посоветовал Иван. — А то его опять корежило давеча. Пусть хоть отойдет. Как со стрельцами-то вышло?

— Так... вышло: не стерпели. Кондрат вон раскроил. Как не сказать, говоришь? Про старика-то?..

— Не надо.

— А спросит?

— Привезли, мол... Шибко, мол, избитые — пусть отдыхаются маленько. Потом уж скажем. Сам потом скажу.

— Уходить надо, Иван. Какого дьявола дожидаться? Пока у их терпленье лопнет? Дождемся...

— С конями он затеялся... Посулились татары ишо пригнать.

— Да мы их на Царицыне приторгуем, у едисанов! А нет, на Дон пригонют.

— Вот будешь счас с им говорить, скажи так. Надо, конешно, уходить.

10

Дни стояли ясные. Огромное солнце выкатывалось из-за заволжской степи... И земля, и вода, все вспыхивало тихим, веселым огнем. Могучая Волга дымилась туманами. Острова были еще полны жизни. Зеленоватое тягучее тепло прозрачной тенью стекало с крутых берегов на воду, плескались задумчиво волны. Но уже — там и тут — в зеленую ликующую музыку лета криком врывались желтые чахоточные пятна осени. Все умирает на этой земле...

Разинская флотилия шла под парусами и на веслах вверх по Волге. Высоким правым берегом, четко рисуясь на небе, то шагом, то неторопкой рысью двигалась конница в полторы сотни лошадей. Там был Иван Черноярец.

Степан был на переднем струге. Лежал на спине с закрытыми глазами. Со стороны — не то дремал, не то думал. Дремал и думал. Наслаждался покоем, какой дарила Волга. Он устал за последние дни: много тревожился, злился, спешил. Теперь спешить некуда. Теперь — собраться с мыслями. Надо думать определенно, твердо — не будет пустых слов. От пустых слов — своих и чужих — атамана тошнило. Полдня потом хворал, если случалось где много и без толку говорить. Особенно же плохо он себя чувствовал, когда говорил, и сам с омерзением сознавал, что несет бестолочь, и злился, что говорить — надо: ждут. А ждут требовательно. Это как проклятие, когда всегда, вечно ждут. В Фарабате, у персов, договорились между собой распотрошить город: сперва казаки начнут торговать с персами, потом, в подходящий момент, Степан повернет на голове шапку... Торговлишка шла, казаки посматривали на атамана... Подходящий момент давно наступил — персы успокоились, перестали бояться. Степан медлил. Он с болью не хотел резни, знал, что они потом сами содрогнутся от вида крови, которая прольется... Но ждали, что он повернет шапку. Он повернул.

Всегда, всю жизнь от него ждали. Еще хлопцы станицы Зимовейской ждали от малого Стеньки Рази, что он сообразит и наведет их на какое-нибудь лихое озорство; от умного казака Стеньки Разина ждали, что он и другие послы уломают капризного тайшу Мончака, и калмыки помогут донцам тряхнуть Малый Ногай; ждали, что он, удачливый, прорвется с ватагой в Азовское море, и они добудут «зипуны» у турок, как позже удачно добыли их у персов. И когда ожидаемого не свершалось, Степан страдал, мучился, готов был лучше принять лютую смерть, чем еще когда-нибудь заставить напрасно ждать. Ждала и Алена, жена его теперь: мучительно ждали ее глаза, устремленные на молодого казака Стеньку Разина, когда казаки приехали в Малый Ногай под видом гостей, а по сути — разведать о настроении татар перед походом. Там, у татар, томилась красивая Алена, русская полонянка со смуглым ребенком на руках. В походе на татар — это уж потом — Степану удалось вскинуть Алену с дитем в седло. Позже она стала его женой, потому что очень ждала этого. Себе Степан ждал покоя когда-нибудь. Не теперь. Теперь, когда он в славе, в силе и безмерно богат, от него опять ждали — он видел, понимал — ждут.

Ждут такие, как Ларька Тимофеев, Федор Сукнин... Даже спокойный Иван Черноярец и тот ждет. Не будут они просто так жить, не смогут. Да и сам Степан, обманывал он себя с этим желанным покоем. Он и хотел покоя, но ведь и сам тоже не смог бы прожить, не тревожась поминутно, не напрягаясь разумом и волей, не испытывая радость и жуть опасных набегов... Он даже не знал — как это так жить без этого? Можно ли? Но мысль о покое, который когда-нибудь у него будет, он потаенно берег и носил в душе — от этого хорошо было: было чего желать впереди. Иной раз он так думал: порубят где-нибудь на бою не до смерти, можно сидеть калекой на бережку, стругать лодочки... И сам же ловил себя: никогда ведь так не будет: порубят, так совсем. Еще он знал, что до старости ему все-таки не дожить, на бережку не сидеть. Что думал атаман? Последнее время — особенно как возвращались из Персии, с моря, — неотступно гвоздила его одна мысль: не начать ли большую войну с боярами. Мысль эту засадил ему Серега Кривой. Один раз, глядя в глаза Степану, Серега сказал: «Разок тряхануть их, пропахать черту, и чтоб они ее век знали: чтоб ни одна гадина эту черту не заступала». Степан ничего не сказал тогда, внимательно посмотрел на Серегу... Его поразила эта мысль, простая и верная. Сереги нету... Но он стоит в глазах: смотрит прямо, как он умел смотреть, и говорит эти свои слова. И с тех пор она уж не отпускала Степана, эта мысль, она жила в нем, беспокоила. С разных боков принимался за нее атаман... Поднимался духом, то готов был хоть теперь заварить кашу, то страшился. Слова Серегины упали на больное место; Степан, как услышал их, удивился: почему он сам-то не додумался до этого! Ведь это просто, и это — верно; разок тряхануть, втемяшить всем: был вольный Дон, есть вольный Дон и будет вольный — во веки веков. Чтоб даже одна мысль — как-нибудь потеснить казаков, — чтоб одна эта мысль всем казалась нелепой. И чем больше проникался Степан этой мыслью, тем больше и больше охватывало его — то смятение, то нетерпение, нетерпение до боли, до муки. Вдруг ему казалось, что он уже упустил момент, когда надо было начать... В Астрахани в этот раз почудилось, что — пора, надо немедля открываться... Душа ходуном ходила, разум мутился... Боялся, что упустил, безнадежно,

гибло упустил случай: есть оружие, люди отдохнули, стрельцы раскорячились меж властями и богатыми, сильными казаками: бери Астрахань! Бери и двигай вверх по Волге! Но крепкой ночной думой остановил себя, никому не проговорился, как близко он стоял от большой, опасной затеи. Намеками пытал кое-кого, игру со Стырем выдумал, вникал в души близких... Понял: нет, рано. Это еще не сила, что у него, сила — на Дону, это правда, голод согнал туда большие толпы, вот сила. Он знал, что Корней Яковлев, войсковой атаман, и верхушка с ним тяготятся беглыми, готовы позабыть святой завет — с Дона выдачи нет, — готовы уж и выдавать, чтобы не кормить лишних и не гневить бояр. И пусть, и хорошо: пусть и дальше, и больше кажут себя с этой стороны, пусть все казаки поймут это — тем скорей прильнет к ним эта мысль — о войне. Что войне быть, в этом Степан теперь не сомневался. Сомневался и мучился — как начать. С бухты-барахты тоже не начнешь. Надо, чтоб и все тоже не сомневались. Казаки ждут от него, сами не знают, чего ждут, надо приучить их, что они ждут войны. Конечно, многие шарахнут от него, как от холерного, но охотники будут. Куда они денутся! Дай время, дай, господи, ума и терпения — все будет. Не зря сердце подмывает горячими струями, не зря же он день и ночь думает и думает, всосался в эти думы, не малолеток же, не слабоумный какой... Зря, что ли, все это? Не зря. А про покой можно всласть поразмышлять, коли выдалась такая минута. Когда-то она еще случится! Вспомнил Степан Алену, жену, ухмыльнулся... То все в глаза засматривала, все ждала, трепетала, а то освоилась, откуда стать взялась, хозяйский выгляд обрела, нотку в голосе обрела... Милая баба, родная стала, даже не думалось, что такой родной станет. И Афонька полюбился, пасынок, полукровок... Смышленый парнишка. Степан вдруг догадался, что стосковался по ним. За делами, за гульбой да за думами как-то не до них было, а вспомнил вот — и понял, что стосковался. И невольно опять ухмыльнулся: не знал за собой такого. Ну ладно: пусть. И все-то, наверно, так, все стосковались, только помалкивают. Хорошо, хоть есть по кому тосковать, а то и этого могло не быть. С малолетства на коне, в степи, рука — даже когда не держит — чует саблю. Глаза сомкнутся, вроде забылся, а — покачивает, покачивает — конский скок в крови гудит... Ни речки, ни лес-

ка, ни бугорка просто так нету — и не надо, а в голове все: где лучше укрыться, где речку перемахнуть... Окликнут нежданно, дрогнуть еще не успел, а уж рука нож цапнула. Где было про жену, про семью думать. Так уж влез в это воинство, так с головой ушел в походы, в набеги, что и помыслить, и прикинуть свою жизнь иной — никак. А вот — случилась и жена, и семья... Маленько даже смешно, но это хорошо, пускай. Не мешают же. Войне — быть, это уж пропади все пропадом, гори все синим огнем, если ей не быть. Бояре... не сегодня и не вчера накипела к ним ненависть, давно. Одна мысль об этих владыках жгла, как огнем, бесила. Какую власть, какую волю на земле взяли! И не перечь им! И не прогневи!.. Только и спасение мужику что — в бег, как от зверей лютых. Да не звери же, люди же, но, видно, не уговаривать, не совестить этих людей, а бить их, пусть сами бегают по лесам и прячутся. Собаки!

Вдруг на стругах зашумели со всех сторон:

— Конные! Догоняют!..

— Эге! К нам?!..

— Война, хлопцы! Воевода очухался...

Степан вскочил...

Краем высокого берега конных разинцев догоняли с полсотни каких-то конников. Шли резво; в воздухе за ними оставался и медленно оседал плотный дымок пыли. И шли без опаски, без оглядки, кучно и прямиком. Отсюда не разглядеть было, как одеты всадники.

Никто не понимал, что это могло значить, кто это.

— К берегу! — велел Степан.

Струги свалили влево, устремились к берегу.

Конники — те, что догоняли, и разинцы — сошлись.

Но никакой свалки или стычки там не случилось; вместе, те и другие, двинулись к месту, куда подгребали стружки.

Степан, приложив ладонь ко лбу, всматривался.

— Царь передумал, — гадали казаки. — Милость отнял: видно, из Астрахани, с новой грамотой.

— Не, то воевода горилки послал. За шубу...

— Федька, чего такое? — спросил Степан Сукнина. — Как думаешь? Можеть, татары?

— Нет, на татар не похожи... Нет.

— Кто же?

— Даже подумать на кого, не знаю, — размышлял Федор. — Думал, едисаны, — нет, русские. А, похоже, стрельцы!

— Стрельцы, верно, — узнали и еще некоторые.

— Они...

Конные на берегу — большинство — спешились, а двое поскакали как раз к месту, где ткнулся в берег атаманский струг. Спешились тоже и начали спускаться с высокого крутого обрыва вниз, к атаману.

Степан выпрыгнул из струга... Теперь видно было: спускались сотник Ефим Скула и стрелецкий сотник.

— Чего? — нетерпеливо крикнул Степан, когда еще сотники не слезли к берегу.

— Провожатые! — пояснил Ефим, кивнув на стрелецкого сотника. — Воевода отрядил полусотню до Паншина с нами.

— Зачем? — спросил Степан стрельца.

— Здоров, атаман! — приветствовал тот, почему-то весело глядя на Степана. Подошел и подал руку.

— Здоров, коли не шутейно. Коней поразмять? Или как?.. — Степан пожал протянутую руку.

— Прогуляться с вами до Паншина, — сотник отвечал смело.

Степану поглянулась его смелость и веселость.

— Далеко. Не боитесь? — невольно тоже попал он на веселую ноту. — Или храбрые такие?

Сотник засмеялся:

— Мы смирные...

— Мясники смирные. Я знаю, — Степан нахмурился, пресекая балагурство. — Зачем явились-то?

— Велено нам провожать вас, — серьезно заговорил сотник. — Велено смотреть, чтоб вы дорогой не подговаривали с собой и не манили на Дон людишек разных. И... всякое. Едет с нами жилец Леонтий Плохово. А провожал нас Иван Красулин... — сотник замолчал, значительно поглядел на Степана... Глянул искоса, опасливо на казачьего сотника и опять на Степана: опять со значением, тайный смысл которого должен был понять атаман. Стрелец потому, видно, и веселился-то, что знал некую общую с атаманом тайну.

Степан понял.

— Ефим, иди попроведай своих на стружке, — велел он своему сотнику, при котором стрелец опасался говорить.

Ефим пошел к казакам на струг.

— Ну?.. — спросил Степан.

— Велел передать голова наш, что все как и было, а стрельцов этих он сам подобрал — хорошие люди: едем для отвода глаз.

— А ты хороший? — усмехнулся Степан. Ему положительно нравился веселый, словоохотливый стрелец.

— А я над хорошими — хороший. Леонтий едет только до Царицына, я аж до Паншина. Там велено мне пушки взять...

— Ишо чего велено? — насторожился Степан.

— Грамоту везем Андрею Унковскому, чтоб вино для вас в царицынских кружалах в два раза в цене завысить. Тоже и в Черном Яру...

— Дай суда ее, — кратко сказал Степан.

— Кого?

— Грамоту.

— Она у Леонтия...

— Иди скажи Ивану Черноярцу, чтоб он скинул мне ту грамоту сверху. Вместе с Леонтием, — Степан не на шутку обозлился: воевода аж до Царицына протянул свои руки.

— Не надо. Вы на Царицыне — сами себе хозяева. У Андрея под началом полторы калеки, — резонно говорил стрелецкий сотник. — А разгуливаться вам там ни к чему: смена наша где-нибудь под Самарой. Так велел сказать Иван.

Степан с минуту думал.

— Хороший, говоришь? — спросил он и хлопнул сотника по плечу. — Добре! Чара за мной... В Царицыне, по дорогой цене. Идите. Ефим!..

— Ге, батька! — сотник Скула прыгнул со струга и шел к атаману.

— Скажешь Ивану: Черный Яр минуем.

— Добре.

— Стрельцов не обижайте... Они хорошие, пусть идут с нами.

— Когда спят? Или — проснутся, тоже хорошие? А то я знал одного москаля: спит — ангел господний, а проснется — черт с рогами. Так мы что сделали: взяли...

— Из виду нас не теряйте, — прервал атаман болтливого казака. — В степь поглядывайте.

— Добре, батька. И так не зеваем.

Сотники полезли вверх.

Флотилия снова начала выгребать на середину реки.

Больно ужалила Степана эта ядовитая весть о том, что в Царицыне завысят для казаков цену на вино; и то еще заело, что зачем-то понадобилось конвоировать их, как пленников. Сгоряча опять пожалел, что не затеял свару в Астрахани прямо... Но унял себя с этим. Зато опять глубоко и весь ухнул в думы о скорой желанной войне. Опять закипела душа, охватило нетерпение, он даже встал и оглядел своих — на стругах и конных. Хоть впору теперь начинай, нет больше терпения, нет сил держать себя. Понимал — нельзя, рано еще, надо собраться с силой, надо подкараулить случай, если уж дать, то дать смертельно... Но душа-то, душа-то, что с ней делать, с этой душой!.. — мучился Степан. «Ну, змеи ползучие, владыки!.. Навладычите вы у меня, я вас самих на карачки поставлю».

11

Купеческий струг вывернулся из-за острова так неожиданно и так живописно и беспомощно явился разинцам, что те даже развеселились.

— Здорово, гостенька! — крикнул Степан, улыбаясь. — Лапушка!.. Стосковался я без тебя! Давай-ка суда, родной мой!

На купеческом струге поняли, с кем их свела судьба. Поняли и сидели тихо. Плыли навстречу — их легонько подносило самих.

На стружке были: гребцов двенадцать человек, сам купец, трое стрельцов с сотником. Сотник побледнел, увидев казаков: с кем ему никак нельзя было встречаться, с теми как раз и встретился.

Стружок зацепили баграми, придержали.

— Откуда бог несет? — спросил Степан. — Куда?

— Саратовец, Макар Ильин, — отвечал купец. — В Астрахань... Отпустил бы ты нас, Стенька, сделай милость! Товару у нас — кот наплакал, а мне — петля. Отпусти, право!.. — купец и правда не из дородных и важных: поджарый, русоголовый, в карих умных глазах — не то что испуг — грусть и просьба. — Отпусти, атаман!..

— Ишь ты!.. — сказал Степан. — А чем ты краше других? За что тебя отпустить?

— А так, ни за что. Мы слыхали: ты добрый.

— А вы, молодцы, куда путь держите? — обратился Степан к стрельцам. Посмотрел на сотника. — И откуда?

— Я везу в Астрахань государевы грамоты! — несколько торжественно заявил сотник. Пожалуй, излишне торжественно. Сотник был молодой, статный собой, много думал дорогой про разбойников, про Стеньку Разина, который, он знал, опять объявился на Волге... И он решил показать ушкуйнику, что не все так уж и боятся-то его, как сам атаман, должно быть, воображает.

— Дай-ка мне их, — попросил Степан. — Гумажки-то.

— Не могу, — сотник гордо качнул головой.

— А ты перемоги... Дай! — настойчиво сказал Степан.

— Не могу... Я в ответе перед государем.

— Счас возьмем, батька, — Кондрат спрыгнул в купеческий струг. Подошел к сотнику. — Вынь грамотки.

И вдруг сотник — никто не ждал такого — выхватил пистоль... Кондрат качнулся, уклоняясь, и не успел: сотник выстрелил, пуля попала Кондрату в плечо. Сотник вырвал саблю и крикнул не своим голосом:

— Греби! Петро, стреляй в разбойников!..

Двое-трое гребцов взялись было сдуру за весла... А один, который был позади, вырвал из гнезда уключину и дал ею по голове сотнику. Какой-то вскрик застрял у того в горле; он схватился за голову и упал в руки гребцов. Стрельцы даже и не попытались помочь своему молодому начальнику. Отлетела милая жизнь... Даже и не покрасовался молодец-сотник на земле, а, видно, любил покрасоваться — очень уж глупо погиб, красиво.

Степан спокойно наблюдал за всем с высоты своего струга. Еще двое казаков спрыгнули в купеческий струг. Один подошел к Кондрату, другой начал обыскивать сотника.

— В сапоге, — подсказал стрелец. — Гумаги-то.

— Кто с нами пойдет?! — вдруг громко спросил Степан. — Служить верой, добывать волю у бояр-кровопивцев!

Это впервые так объявил атаман. Он сам не ждал, что так — в лоб — прямо и скажет. А сказалось, и легче стало — просто и легко стало. Он видел, как замерли и притихли казаки, как очумело уставился на него Стырь, как Ларька Ти-

мофеев, прикусив ус, замер тоже, глядя на атамана, а в двух его синих озерках заиграл ясный свет... Видел Степан, как ошарашил всех своим открытым призывом: кого нехорошо удивил, кого испугал, кого обрадовал... Он все это схватил разом, в короткий миг, точно ему удалось вскинуться вверх и все увидеть.

— Кто с нами?! — повторил Степан. — Мы поднялись дать всем волю!.. — знал ли он в эту минуту, что теперь ему удержу нет и не будет. Он знал, что пятиться теперь некуда. — Кто?! — еще раз спросил Степан громко и жестко. — Чего онемели-то?! Языки проглотили?

— Я! — откликнулся гребец, угостивший уключиной сотника: ему тоже пятиться некуда было теперь.

Еще двое крикнули:

— Мы! С Федором вот... двое.

— А не пойдем, чего будет? — спросил один хитроумный.

— Этого я, братец, не знаю, — сказал Степан, — много грешил — ад, мало — рай. Но, поглядеть в твои глаза, тебе прямая дорога в ад. А ты куда собрался?

— Я-то? Да я было в другое место хотел...

Разинцы засмеялись: оцепенение, охватившее их, проходило. Задвигались, загалдели... Обсуждали новость, какую вывалил атаман: оказывается, они войной идут! На бояр!.. Вот это новость так новость! Всем новостям новость. Теперь, задним умом, понимали, почему так упорно не отдавал атаман пушки и припас, почему на Дону по домам не распустит...

— А чего ты меня в ад-то запятить хошь? — не унимался дотошный гребец. — Я в рай собрался.

— В ра-ай? — удивился Степан. — Не-ет, братец, я хоть не поп, а истинно говорю тебе: в ад. Так что — погуляй пока на земле. Не торопись, туда никто не опаздывал, — у Степана на душе было легко: эта ноша проклятая — постоянная дума втихомолку, неотступная, изнуряющая, — сброшена.

— Так чего же тада пытать? Я с вами!

Казаки опять одобрительно засмеялись.

— А стрельцы как? — спросил Степан. — Куда собрались?

— Оно ведь это... как сказать?.. — замялись стрельцы.

— Так и сказать. Прямо.

— Вроде государю служим...

— Боярам вы служите, не государю! Кровососам! — Степана влекло вперед неудержимо, безоглядно и радостно. — Думайте скорей, мы торопимся. Дорогое вино пить торопимся в Царицыне. Слыхали, казаки: воевода велел в Царицыне цену на вино в два раза поднять! — сообщил всем Разин. — Вот до чего додумались, собаки!.. Ну, стрельцы?.. Долго вас ждать?! А то терпение лопнет, не ведите к тому.

— Когда так — и мы, — сказал один, постарше.

Тем временем подали Степану царские грамоты. Он, не разглядывая, изодрал их в клочья и побросал в воду. Бумаги он ненавидел люто. Казаки издавна не жаловали бумаги: даже при первом Романове, когда донцам жилось куда вольготнее, московские бумаги, прибывая на Дон, вихлялись на кругу казачьем, как последние худые бабенки: то прекратить «промыслы» над татарами и турками, чтобы не злить хана и султана, то — чинить всякий вред тем же татарам, ибо хан опять наслал на Русь силу и лихоимствует. Казаки научились отсылать приказные бумаги — и с увещеваниями, и с угрозами — матерно, далеко, а «держали реку Дон» сами, по своему разумению. Но с тех пор много изменилось, бумаги московского Посольского приказа стали обретать силу, и казаки, особенно те, кто сожалел о былых вольностях, возненавидели бумаги, чуяли в них одно недоброе.

— Вот так их!.. — сказал Степан. — Рыбам читать.

На берегу конные явно заинтересовались событием на воде. Остановились, выстрелили, чтоб привлечь к себе внимание.

— Пальните кто-нибудь, — велел Степан. — Все хорошо.

Человек шесть разинцев разом выстрелили в воздух из пистолей. Звуки выстрелов долго гуляли под высоким берегом и умерли далеко. Конные разинцы успокоились.

Стрелецкому сотнику положили за пазуху какой-то груз из товаров купца, поднесли к борту и спустили в воду между стругами. То ли живой еще был, не пришел в сознание, то ли от уключины сразу кончился — никто не поинтересовался.

— Легкая смерть, — сказал один гребец. И перекрестился. Еще несколько человек сняли шапки и перекрестились.

Степан махнул рукой — дальше, вверх по Волге.

— В гребь! Заворачивайте свою лоханку. Не тужи, Макар Ильин!.. В Царицыне отпустим. Стрельцы, идите-ка ко мне! Погутарю с вами... Чего там на Москве слыхать?

В эти дни в Астрахань Волгой не прошел никто: никого не пропустили, чтобы в Астрахани не знали, как идут и что делают казаки дорогой, и не всполошились бы. Но казаки уже открыто говорили, что скоро «мир закачается». На батюшку Степана Тимофеича смотрели — почти все, вся громада — с любовью: опять ждали. Сам батюшка (так его величали с легкой руки запорожцев, которых много шло с донцами) хотел одного теперь: скорей проведать, что делается на Дону — много ли правда, как слышно было, сбежалось туда с Руси народу и как тот народ встретит его, особенно холопы. Нетерпение охватило атамана великое; всю мощь души обратил он, чтоб сдерживаться пока, и едва справлялся, а то и не справлялся.

12

В Царицын разинцы пришли первого октября. Дни попрежнему стояли теплые, тихие, с паутинкой, с последней дорогой лаской.

Высадились ниже города; одновременно подошли конные Ивана Черноярца. Сошлись на берегу.

— Где Леонтий? — сразу спросил Степан Черноярца. Он еле сдерживал себя от ярости. Черноярец решил маленько поослабить накал атамана, но сам видел, что — бесполезно.

— Вперед уехал... — сказал он. — А ты чего такой?

— Змеи ползучие! — Степан смотрел в сторону города. — Зашуршали?.. Оставь половину у стружков, остальные пусть в город идут. Пусть гуляют! Собери есаулов, айда со мной. В кружало — дорогое вино пить. Это ж надо, чего удумали!

— Степан... можеть, оно и к лучшему: не разгуливаться бы... — заговорил было Черноярец.

— Вот... — Степан опять посмотрел в сторону города — пристально, как будто смотрел в лицо ненавистному человеку. — Ты у меня разживесся на казачьи денюжки, гад ползучий. Я тебе дорого заплачу!.. Гуляй, Иван!

Казаки опередили своего атамана: когда он появился в городе, там было оживленно, разбродно и шумно.

Шли серединой улицы — «головка» войска: Разин с есаулами и сотниками. Шли размашисто, скоро и устремленно. Направлялись в кружало.

В кабаке было полно казаков. Увидев батюшку, заорали, разжигая себя, а больше атамана:

— Притесняют, батька!..

— Ровно с козлов шкуру дерут...

— Где это видно — такую цену ломить! Они чего?..

— Кто велел? — рявкнул Степан. И навел на целовальника страшный — немигающий — взор. Тот сделался, как плат, белый.

— Воевода... Помилуй, батюшка. Я не советовал им, не послухали... Воевода велел, — целовальник упал на колени перед атаманом и казаками.

— Воевода? — рябое лицо Разина, окаменелое, изнутри — из глаз — излучало гнев и готовность.

— Воевода. Батюшка, вели мне живому остаться. Рази я от себя?!. Я не советовал... Ну-к ведь — воевода! Им велено мне и отчет на Москву писать, в Большой приход: как я брал с вас...

— Сукин он сын, ваш воевода! — закричали опять казаки. — Батька, он уж давно притесняет нас. Которые, наша братва, приезжают с Дона за солью, так он у их с дуги по алтыну лупит. Кто ему велит так? Это уж не в Большой приход, а в карман свой большой...

— Это Унковский-то? — вспомнил пожилой казак-картежник. — Так то ж он у меня отнял пару коней, сани и хомут. Я его дюже хорошо знаю, Унковского. Грабитель первый...

— А у меня пистоль отнял в позапрошлом годе. Добрая была пистоль, азовская, — припомнил еще один.

— Вышибай бочки! — велел Степан. — Где воевода?! Я его зарежу пойду. Где он теперь?

— На подворье своем, — подсказали царицынцы, которые с превеликим удивлением и возбужденно суетились тут, смотрели и волновались.

...Степан скоро шел впереди своих есаулов, придерживая на боку саблю. Посадские, кто посмелее, увязались за казаками — смотреть, как будут резать воеводу Унковского.

Странное и страшное это было шествие — шли молча, лица ожесточенные, серьезные, глаза горят отвагой: так идут травить злого, опасного зверя, который давно объявился в окрестности, но все не было смельчаков взять его. И вот смельчаки нашлись и теперь идут.

На подворье воеводском было пусто. Домочадцы и сам воевода попрятались, уведомленные об опасности. Унковский не думал, однако, что это будет прямая облава, поэтому сам с подворья не ушел, а спрятался в горнице.

— Где он?! — закричал Степан, расхлобыстнув дверь прихожей избы. — Где Унковский?!

Кто-то из казаков толкнулся в дверь горницы: заперта. Изнутри.

— Тут он, батька! Заперся.

Степан раз-другой попробовал дверь плечом — не поддалась. Налегли все, кто смог уместиться в проеме... Мешали друг другу, матерились. Двери в каменном доме воеводы тяжелые, наружные обиты дощатым железом, горничная, дубовая, — медными полосами.

— Игнаха, тудыт твою!.. — орали. — Ты мне ребра-то выдавишь! Куда прешь-то? Куда прешь-то?!

— Я на тебя, а ты давай на дверь.

— О, курва-то! Да воевода-то не за ребрами же у меня! Чего ты, дурак, ребра-то мои жмешь?

— А кто тя разберет тут в мялке-то: можеть, ты...

— Вали! Ра-азом!

Дверь надежная, задвига скована из хорошего шведского железа.

— Открой! — крикнул Степан. — Все одно ты не уйдешь от меня! Я с тобой за вино рассчитаюсь, кобель!.. За коней, за сани, за хомут!..

— За пищаль! — подсказывали сзади.

— Открой!

Унковский в горнице молился «закоптелышам» (темным от свечной копоти иконам). Губы трясуче шевелились; пышная борода вздрагивала на груди, на шитой гарусом полотняной рубахе.

Сверху, с божницы, на него бесстрастно смотрели святые.

— Неси бревно! — скомандовал за дверью Степан.

— Да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, — в который раз зашептал Унковский. — Вот поганцы-то!.. Решат ведь, правда, решат — взбесились. Да будет воля твоя, господи!..

В дверь снаружи крепко ударили бревном; дверь затрещала, подалась... Еще удар. Унковский бестолково забегал по горнице...

— Добуду я седня высокой воеводиной крови! — кричал Степан. — За налоги твои!..

Еще саданули в дверь тяжко, с хряском.

— За поборы твои! Грабитель... За лихоимство ваше!..

Унковский подбежал к окну, перекрестился и махнул вниз, в огород. Упал, вскочил, и, прихрамывая, побежал, пригибаясь.

Еще удар в дверь... И группа казаков со Степаном вломились в горницу.

— Где он?!.. — кинулись искать. Где искали, а где и — между делом — брали, что под руку попадет.

Воеводы не было. Не могли понять, куда он девался.

— Утек! — сказал Федор Сукнин. Показал на окно. — Брось ты его, Степан... Вино и так вон — даром пьют, чего теперь с его взять?

— Ну уж не-ет!.. Он у меня живой не уйдет, — Степан, с ним есаулы, кто помоложе, и казаки выбежали из горницы.

— Пропал воевода, — сказал Федор Сукнин. — Найдет ведь...

— Воевода-то — пес с им, — заметил Иван Черноярец. Они вдвоем остались в горнице. — Нам худо будет: опять ему шлея под хвост попала... с кручи понес. Надо б хоть на Дон прийтить, людишками обрасти. Чего уж так взъелся-то?

— Теперь — один ответ, — махнул рукой Федор.

— Не ответа боюсь, а — мало пока нас. Рано он затеял...

— Васька с Алешкой придут...

— Где они, Васька-то с Алешкой? Докричись их!

— Будут люди, Иван! Не скули... Только крякнуть да денюжкой брякнуть. Дай на Дону объявиться — все будет. А Степан счас уймется. Воевода — дурак, сам свару затеял с вином с этим...

— Не сам: от Прозоровского указ привезли.

— Ну и пусть хлебают теперь. Совсем сдурели: цену на вино завысить! Они что?.. Это и — раздевать средь бела дня станут, а тут все молчи?

— Хотели, видно, от греха отвести...

— Отвели... Да надо, Иван, и начинать: чего томиться-то?

— Да не время! — раздраженно воскликнул Иван.

— Да пошто не время-то?! — тоже горячо и громко спросил Федор. — Пошто?! Самое время и есть: какое тебе ишо время? Теперь уж — сказано, скрытничать нечего. Вот тем и шумнем к себе, что здесь повоюем. Я думаю, он к этому и гнет. И хорошо делает.

Степан ворвался с оравой в церковь.

Поп, стоявший у царских врат, выставил вперед себя крест.

— Свят, свят, свят... Вы куда? Вы чего?..

— Где Унковский? — громко зазвучал под сводами церкви голос Степана. — Где ты его прячешь, мерин гривастый?!

— Нету его тут, окститесь, ради Христа!.. Никого тут нету! — поп был большой, и нельзя сказать, чтобы он насмерть перепугался.

Казаки разбежались по церкви в поисках воеводы.

Степан подступил к попу:

— Где Унковский?

— Не знаю я... Нету здесь. Стал бы я его прятать, на кой ляд он мне нужен! У меня у самого с Унковским раздор...

— Врешь! — Степан сгреб попа за длинные волосы, мотнул их на кулак, занес саблю. — Говори! Или гриве твоей конец!..

Поп брякнулся на колени, воздел кверху руки и заорал благим и дурашливым, как показалось Степану, голосом:

— Матерь пресвятая! Богородица!.. Ты глянь вниз: что они тут учинили, охальники! В храме-то!..

Степан удивленно уставился на попа:

— Ты никак пьяный, отче?

— Отпусти власья! — поп дернулся, но Степан крепко держал гриву. — Илья-пророк! — пуще прежнего заблажил поп. — Пусти на Стеньку Разина стрелу каленую!.. Пошли две! Ну, Стенька!.. — поп зло и обещающе глянул на Степана, смолк и стал ждать.

Степан крепче замотал на кулак волосы попа.

— Пусть больше шлет! — его увлекла эта поповская игра в стрелы: охота стало понять, правда, что ли, он верит в них?

— Илья, — дюжину!!! — густо, со всей силой заорал поп.

— А-а... Ну? Где стрелы? Сам ведь не веришь, а пужаешь... Только пужать умеете! Все пужают, кому не лень!.. — Степан тоже обозлился на попа и не заметил, как крепче того крутнул его «власья».

— Илюха!.. Пусти, Стенька, распро... — поп загнул такой складный мат, какому позавидовал бы любой подвыпивший донец. — Пусти, страмец!.. А то прокляну тут же, в храме!..

Казаки бросили искать воеводу, обступили атамана с попом.

Степан отпустил попа.

— Чего ж твой Илюха? Ни одной не пустил...

— Откуда я знаю? Не сразу и бывает все, не торопись... И не гневи бога зазря, и сам не пужай — никто тебя не боится.

— А чего заблажил-то так?

— Заблажишь... Саблю поднял, чертяка, — я же не пужало бессловесное. А ты бы не заорал?

— Был воевода?

— Нет.

— Куда же он побежал? Куда ему, окромя церкви, бежать? Был?

— Нет, святой истинный крест, не был. Сказал бы...

Степан пошел из церкви. Он еще не вовсе остыл, еще кого-нибудь бы вогнал в страх смертный. Очень уж обидным ему казался этот начальственный сговор воевод насчет вина. Гляди-ка, просто-то как: велел один другому, и все, и уж тут рады стараться — до резни доведут, а будут исполнять.

На улице перед Степаном упала на колени старуха.

— Батюшка-атаман, пошто они его под замки взяли? Пошумел в кружале, так и сажать за то? Как же молодцу не пошуметь!..

— Кто пошумел?

— Сын мой, Ванька. Пошумел пьяный, и как теперь?.. Всех бы и сажали. — старуха плакала, но и сердилась вместе.

— В тюрьму посадили? — спросил Степан; старуха навела его на дельную мысль.

— В тюрьму. Да ишо клепают: государя лаял... Не лаял он! Он у меня смирный — будет он государя лаять!

— Кажи дорогу, — велел Степан, не слушая больше старуху. «Надо дело делать, а не бегать зря, — устыдил он себя. — И не заполошничать самому... с этим воеводой».

Он поостыл и действовать стал разумно и непреклонно: он умел — в минуту нужную — скомкать себя, как бороду в кулаке, так, что даже не верилось, что это он только что ходуном ходил. И даже когда он бывал пьян, он и тогда мог вдруг как бы вовсе отрезветь и так вскинуть глаза, так посмотреть, что многим не по себе становилось. Знающие есаулы, когда случался вселенский загул, старались упоить его до сшибачки, чтобы никаких неожиданностей не было. Но такому-то ему, как видно, больше и верили: знали, что он — ни в удаче, ни в погибели — не забудется, не ослабнет, не занесется так, что никого не видать... Какую, однако, надо нечеловеческую силу, чтобы вот так — ни на миг — не выпускать никого из-под своей воли и внимания, чтобы разом и думать и делать, и на ходу выпрямиться, и еще не показать смятения душевного... Конечно же, она вполне человеческая, эта его сила, просто был он прирожденный вожак, достаточно умный и сильный.

Как ни обозлился Степан на воевод, а справился, понял, что «надо дело делать». Прежде чем казаки уйдут на Дон, надо, чтоб те же воеводы натерпелись от него страха и чтоб все люди это видели. Надо бы и кровь боярскую пролить... Он бы и пролил, если бы Унковский не спрятался. Надо, чтоб теперь пошла молва: на бояр тоже есть сила. Есть рука, готовая покарать их — за их поборы, за жадность, за чванство, за то, что они, собаки, хозяйничают на Руси... И за то, кстати, что казаки у Четырех Бугров ударились от них в бегство, и за это тоже. Надо оставить их тут в испуге, пусть спят и видят грозного атамана. Теперь — с этого раза — пусть так и будет. И пусть они попробуют сунуться на Дон — унять его, пусть попробуют, как это у них получится...

Тем временем подошли к тюрьме.

С дверей посбивали замки. Колодники сыпанули из сырых мерзких клетей своих... Обрадовались несказанно. Их было человек сорок.

— Воля — дело доброе! — громко сказал им Степан. — Но ее же не дают, как алтын побирушке. За ее надо горло боярам рвать! Они не перестанут вас мучить. Вы вот попрыгаете теперь козлами и разойдетесь по домам... Завтра я уйду, вас опять приведут суда на веревочке и запрут. Идите в войско мое!.. Пока изменников и кровопивцев-бояр не вы-

ведем, не будет вам вольного житья! Вас душить будут и в тюрьмах держать! Ступайте к казакам моим!

* * *

— Негоже, Степан Тимофеич. Ай, негоже!.. Был уговор: никого с собой не подбивать, на Дон не зманывать... А что чинишь? — так говорил утром астраханский жилец Леонтий Плохово. Говорить он старался с укором, но по-доброму, отечески.

Степан Тимофеич, слушая его, смотрел на реку (они сидели на корме атаманова струга). Вроде слушал, а вроде не слушал — не поймешь. Астраханец решил уж высказать все.

— С тюрьмы выпустил, а там гольные воры...

Степан сплюнул в воду, спросил:

— А ты кто?

— Как это? — опешил Леонтий.

— Кто?

— Жилец... Леонтий Плохово. Направлен доглядывать за вами...

— А хошь, станешь — не жилец? — спросил спокойно Степан.

— А кто же? — все не мог уразуметь жилец.

— Покойник! Грамотки возишь?! — Степан встал над Леонтием. — Воеводам наушничаешь! Собачий сын!.. Утоплю!

Леонтий побледнел: понял, что обманулся мирным видом атамана.

— Где Унковского спрятали?! — спросил Степан.

— Не знаю, батька. Не распаляй ты сердце свое, ради Христа, плюнь с высокой горы на воеводу... — Леонтий утратил отеческий тон, заговорил резонно, с умом. — На кой он теперь тебе, Унковский? Иди себе с богом на Дон...

На берегу возникло какое-то оживление. Кто-то, какие-то люди подскакали к лагерю на конях, какая-то станица. Похоже, искали атамана: им показывали на струг, где сидели Степан с Леонтием.

— Кто там? — спросил Степан ближних казаков.

— Ногайцы... К которым посылали с Астрахани.

— Давай их, — велел Степан.

На струг взошли два татарина и несколько казаков.

— Карасе носевал, бачка! — приветствовал татарин, видно, старший в ногайской станице.

— Хорошо, хорошо, — сказал Степан. — От мурзы?

— Мурса... Мурса каварила...

Степан покосился на Леонтия, сказал что-то татарину по-татарски. Тот удивленно посмотрел на атамана. Степан кивнул и еще сказал что-то. Татарин заговорил на родном языке:

— Велел сказать мурза, что он помнит Степана Разина еще с той поры, когда он послом приходил с казаками в их землю. Знает мурза про походы Степана, желает ему здоровья...

— Говори дело! — сказал Степан по-татарски. (дальше они все время говорили по-татарски). — Читал он письмо наше?

— Читал.

— Ну?.. Сам писал?

— Нет, велел говорить.

— Ну и говори.

Пять тысяч верных татар... — татарин растопырил пятерню. — Пять...

— Вижу, не пяль.

— Найдут атамана, где он скажет. Зимой — нет. Летом.

— Весной. Не летом, весной! Как Волга пройдет.

Татарин подумал.

— Весной?..

— Весной.

— Ага, весной. Я так скажу.

— На Дону бывал? — спросил Степан. — Дорогу найдешь туда?

Татарин закивал головой.

— Были, были...

Степан заговорил негромко:

— Скажи мурзе: по весне подымусь. Куда пойду — не знаю. Зачем пойду — знаю. Он тоже знает. Пусть к весне готовит своих воинов. Куда прийти, я скажу. Пусть слово его будет твердым, как... вот эта сабля вот, — Степан отстегнул дорогую саблю и отдал татарину. — Пусть помнит меня. Я дружбу тоже помню.

— Карасе, — по-русски сказал татарин.

— Как ехали? — спросил Степан. Тоже по-русски.

— Той сторона, — татарин показал на левый, луговой берег.

— Переплывали на конях?

— Кони, кони.

— Где?

— Там! Вольгым савернул — так...

— Где островов много?

Татарин закивал.

— Ладно. Микишка! — позвал Степан казака. — Передай Черноярцу: татар накормить, напоить... рухляди надавать и отправить.

— Опять ведь нехорошо делаешь, атаман, — забылся и сказал с укором Леонтий. — Татарву на кой-то с собой подбиваешь. А уговор был...

— Ты по-татарски знаешь? — живо спросил Степан.

— Знать-то я не знаю, да не слепой — вижу... Сговаривались же! А то не видать...

— Отчаянный ты, жилец. Зараз все и увидал! Чего ж ты воеводе астраханскому скажешь? Как?

— Так ведь как чего?.. Чего видал, то и сказать надо, на то я и послан, — астраханец чего-то вдруг осмелел. — Не врать же мне?

— Да много ль ты видал-то?! Пропьянствовал небось с моими же казаками... Вон глаза-то красные, — Степан ловко опять отвел жильца от опасений. — Чего глаза-то красные? Много ты такими глазами увидишь...

Леонтий заерепенился:

— Купца Макара Ильина с собой завернул, стрельцов сманил, сотника в воду посадил... Сидельцев с собой подбиваешь. Волгой никому не даешь проходу... С татарвой сговор чинится... Много, атаман, — твердо и недобро закончил Леонтий.

— Много, жилец. Так не пойдет. Поубавить надо. Ну-ка, кто там?! Протяжку жильцу! — кликнул атаман.

К Леонтию бросились четыре казака, повалили и стали связывать руки и ноги. Леонтий сопротивлялся, но тщетно. К связанным рукам и ногам его привязали веревки — два длинных свободных конца.

— Степан Тимофеич!.. Батька!.. — кричал жилец, барахтаясь под казаками. А потом и барахтаться перестал, то просил, то угрожал: — Ну, батька!..

— Я не батька тебе! Тебе воевода батька!.. Наушник. Кидай! — велел Степан.

Леонтия кинули в воду, завели одну веревку через корму на другой борт, протянули жильца под стругом, вытащили.

— Много ль ты видал, жилец? — спросил Степан.

— Почесть ничего не видал, атаман. Сотника и стрельцов не видал... Где мне их видать? — я берегом ехал. Далеко же!..

— Татар видал?

— Их все видали — царицынцы-то. Не я, другие передадут...

— Кидай, — велел Степан.

Леонтия опять бултыхнули в воду. Протянули под стругом... Леонтий на этот раз изрядно хлебнул воды, долго откашливался.

— Видал татар? — спросил Степан.

— Каких татар? — удивился жилец. Да так искренне удивился, что Степан и казаки засмеялись.

— У меня ногайцы были... Не видал, что ль?

— Никаких ногайцев не видал. Ты откуда взял?

— Где же ты был, сукин сын, что татар не видал? Кидай!

Степан хоть не зло потешался, но со стороны эта «протяжка», видно, кое-кого покоробила... Фрола Минаева, например, — скосоротился и отвернулся. Степан краем глаза уловил это. Уловить уловил, но и осердился на своих тоже. Всю ночь со стрельцами вместе прогуляли, а теперь им жалко Леонтия!

Леонтия в третий раз протянули под стругом. Вытащили.

— Были татары? — спросил Степан.

— Были... видал, — жилец на этот раз долго приходил в себя, откашливался, плевался и жалобно смотрел на атамана.

— Чего они были? Как скажешь?

— Коней сговаривались пригнать. Батька... хватит, я все сообразил, — взмолился Леонтий. — Смилуйся, ради Христа!.. Чего же я ее... хлебаю и хлебаю?.. Поумнел уж я.

— Добре. Хватит так хватит.

Леонтия развязали.

— Скажи Унковскому: еслив он будет вперед казакам налоги чинить, живому ему от меня не быть. За коней, за сани и за пищаль, какие он побрал у казаков, пускай отдаст деньги: я оставлю трех казаков. И пусть только хоть один волос упадет с ихной головы...

— Скажу, батька... Он отдаст. Казаки тоже будут в сохранности... — Леонтий готов был сулить все подряд. — Отдаст...

— Пусть опробует не отдать. Сам после того бежи в Астрахань. Скажешь: ушли казаки. Шли мирно, никого с собой дорогой не подбивали. Скоро не придут. Не скажешь так, быть тебе в Волге. Мы стронемся. Чуешь, жилец?

— Чую, батька: донести туда, знамо, донесут, но не теперь, не я пока... Так?

— Пошел. С богом!

Леонтий, с молитвой в душе господу богу, поскорей убрался от свирепого атамана.

У Степана же все не выходило из головы, как скосоротился на «протяжку» Фрол Минаев... Как-то это больно застряло, затревожило.

«Чего косоротиться-то? — думал он, желая все понять до конца, трезво. — Раз война, чего же косоротиться? Или — сама война поперек горла?»

Он пристально оглядел казаков... Его пока не тормошили, не спрашивали ни о чем, — сборами занимался Черноярец, — и он целиком влез опять в эту думу о войне. Война это или не война? Или — пошумели, покричали — да по домам? До другого раза, как охота придет?.. Степан все глядел на казаков, все хотел понять: как они в глубине души думают? Спроси вот — зашумят: война! А ведь это не на раз наскочить, это долго, тяжко... Понимают они? Фрол, тот понимает, вот Фрол-то как раз понимает... «Поговорить с Фролом? — шевельнулась мысль, но Степан тут же загубил ее, эту мысль. — Нет. Тары-бары разводить тут... Нет! Даже и думать нечего про это, тут Фрол не советчик. А может, я ответа опасаюсь за ихные жизни? — скребся глубже в себя Степан Тимофеич, батька, справедливый человек. — Может, это и страшит-то? Заведу как в темный лес... Соблазнить-то легко... А как польется потом кровушка, как взвоют да как кинутся жалеть да печалиться, что соблазнились...

И все потом на одну голову, на мою... Вот где горе-то! Никуда ведь не убежишь потом от этого горя, не скроешься, как Фролка в кустах. Да и захочешь ли скрываться? Сам не захочешь. Ну, Стенька, думай... Думай, Разя! Знамо дело, такой порох поджечь — только искру обронить: все пыхнет — война! А с кем война-то, с кем!.. Ведь не персы, свои: тоже головы сшибать умеют. Думай, Разя, думай: тут бежать некуда будет...» Степан даже пошевелился от этих своих растревоженных дум. На миг почудилось ему, что он вроде заглянул в темный сырой колодец — холодом пахнуло, даже содрогнулся... Откинулся на локоть и долго смотрел на солнце. «Пил много последние дни, ослаб, — вдруг ясно понял он свою слабость. — Поубавиться надо». И — чтобы не заглядывать больше в этот жуткий колодец — встряхнул себя, сгреб в кулак и больше не давал сползти в тягучие тягостные думы, а то и вовсе ослабнешь с ними, засосет, как в трясину.

— Иван, все сделано? — спросил Степан Черноярца.

— Все, батька. Надо трогаться...

— Стрельцы где?

— Какие?

— Те... с жильцом которые пришли, полусотня.

— Они там, у балочки. А зачем?

— Коня. И найдите Семку-скомороха. Все, Иван, пятиться некуда: или пополам, или вдребезги. Подымай; трогайтесь, я догоню вас.

Иван понял только одно: что хоть уж не сейчас же Москву-то воевать. Матернулся в душе на атамана: завьется, как ошпаренный!.. Иди догадайся, чего опять?

Через пять минут Степан во весь опор летел на коне в лагерь астраханских стрельцов. За ним едва поспевал Семка-скоморох (Резаный, прозвали его казаки). Он тоже ничего не понимал пока, не совсем оклемался после истязаний в страшной башне, но следовал за атаманом послушно и с охотой.

Подскакав к лагерю, Степан остановил коня.

— Стрельцы! — громко, напористо, короткими фразами заговорил он. — Мы уходим. На Дон. Вам велено назад. Что ж, пойдете? — Степан спрыгнул на землю. — К воеводе опять пойдете?! Опять служить псам?! Они будут душить не-

виновных, казнить всяко, кровь человеческую пить... а вы им служить?! — Степан больше и больше распалялся. — Семка, расскажи, какой воевода! Покажи, чего они с людями невиновными делают!..

Семка вышел вперед, ближе к стрельцам, открыл рот и издал гортанный звук, и замотал головой горько. И даже заплакал от обиды и слабости.

— Слыхали?! Вот они, воеводы!.. Им, в гробину их мать, не служить надо, а ноги-руки рубить и в воду сажать. Кто дал им такую волю? Долго терпеть будем?! Где взять такое терпение? Не лучше ли свить им всем петлю покрепче, да всех разом — к солнышку ближе. Вони много будет, разок перенесем, ничего... Заживем на Руси вольно! Идите со мной. Метиться будем за братов наших, за все лиходейство боярское. Жить не могу, как подумаю: какие-то свиньи помыкают нами. Рубить!!! — Степан почувствовал близость нежеланного, опаляющего сердце страшного гнева, сам осадил себя. Помолчал и сказал негромко: — Пушки не отдам. Струги и припас не отдам. Идите ко мне! Кто не пойдет — догоню дорогой и порублю. Подумайте. Будете братья мне, будет вам воля!.. Чего же больше надо? Учиним по Руси вольную жизнь, бояр и всех приказных гадов ползучих выведем. За то и смерть принять легко — бог с ней! А так жить больше не дам. Сами захочете — не дам! Вот... Все. Ставлю над вами вашего же сотника — пойдем на Дон пока. Там перезимуем, соберемся с силой... Там, слышно, много всяких обиженных набралось — мы их всех приветим. Заживем, ребятушки, вольно! — Степан повеселел глазами, даже посмотрел на стрельцов и на их сотника радостно. — Рази ж неохота вам пожить так? Когда вы так жили?

13

Осенней сухой степью в междуречье двигалось войско Разина. Последние медленные, горячие версты... Родная пыль щекочет ноздри. Скоро — родина. Впрочем, у большинства тут родина далеко, и она еще не забыта. Здесь — самарские, вятские, московские, котельнические, новгородские, вологодские, пошехонские, тамбовские, воронежские — отовсюду, где человеку лучше бы и не родиться. Где

лучше — нож в руки да в лес — подальше от непосильного тягла, от бобыльской горькой участи мыкаться по закладам. Здесь — беглые. Но так уж повелось, что поначалу верховодят и тон задают донцы (отцы которых тоже вятские да самарские), поются донские песни и ждется, и вспоминается вслух, с любовью — ДОН ИВАНОВИЧ... Придет время, и для беглых, живы будут, домом станет тоже Дон Иванович... А пока снятся ночами далекие березки, темные крыши милых сердцу, родимых изб и... другое — кому что. И щемит душа: самая это мучительная, самая неотступная любовь в человеке — память о родимых местах. Может, она и слабеет потом, но уже в других — в детях.

Однако все рады поскорей закончить тяжелый, опасный поход на край света. Кончился он — и слава богу! — надо и отдохнуть, хорошо погулять, отоспаться вволю. А там уж — как судьба да как атаман скажет.

На тележных передках, связанных попарно оглоблями, везли струги; пушки, паруса, рухлядь, оружие, припас и хворые казаки — на телегах. Пленные шли пешком. Только несколько — знатные — качались с тюками добра на верблюдах: их берегли, чтобы потом повыгодней обменять на казаков, томившихся в плену у шаха.

Разин в окружении есаулов и сотников ехал несколько в стороне от войска. Верхами. Степан опустил голову на грудь и, кажется, даже вздремнул.

Сзади наехал Иван Черноярец. Отозвал Степана несколько в сторону...

— Стрельцы ушли, — сказал он негромко, чтобы никто больше не слышал; он вообще не одобрил эту затею со стрельцами — не верил и не мог понять, как это они, царские воины, вдруг станут казаками. Что началась война, а на войне только такая смертная полоса и есть — тут или там, — это как-то еще не дошло до Ивана, он думал, что это пока еще слова, горячка атамана.

— Как ушли? — переспросил Степан, больше — от растерянности. Он понял, «как ушли» — сбежали. Не поверили, не захотели идти с ним — так и уходят.

— Ушли... Не все, с двадцать. С сотником. Я посылал Мишку Докучаева — не угнался. Верст с пять, говорит, гнал, не мог настигнуть, ушли. Поздно хватились.

— Сотник увел, — Степан в раздумье с прищуром посмотрел вдаль, в степь, что уходила к Волге. — Змей ласковый. Нехорошо, Ваня: рано от нас уходить стали — другим пример поганый. Чего это они? Я же ведь упреждал...

— Сотник смутил, ты ж говоришь. Он мне сразу не поглянулся, этот сотник: все на улыбочке, на шуточке...

— Ага, сотник. Позови-ка мне Фрола. Сам здесь будешь. Стерегись татарвы. За остальными стрельцами глаз держи.

— Догнать хошь? — удивился Иван. — Ты что? Где их теперь догнать!

— Надо. Змей вертучий! — еще раз в сердцах молвил Степан и опять посмотрел далеко в степь. — Мы им перережем путь-дорожку: берегом кинулись, не иначе. Надо догнать, Ваня. А то эдак от наших слов никакого толку не будет. Я же говорил им!.. Скличь мне полусотню доброхотов негромко.

Полусотня охотников подобралась скоро; выбрались из длинного походного ряда, Степан коротко сказал, в чем дело. И устремились степью в сторону Волги.

Долго скакали молча, в мах... Поглядывали вперед.

Солнце свалило в правую руку, они все скакали. Солнце наладилось у них с затылка, все скакали и скакали... Казачьи кони с утра не намаялись, несли ладно, податливо.

— Вон! — показал Фрол.

Фрол, внимательный, умный, в последние дни понял: Степан — всерьез, обдуманно — повел войну. Никакая это не дурь, не заполóшь его. Слухи с Дона и особенно с Руси — что там мужиков вконец замордовали тяглом и волокитами, что они то и дело попадают в кабалу монастырскую и к поместникам, и «в безвыходные крéпи», что бояре обирают их и «выхода» им теперь совсем нету — подтолкнули падкого и слабого до жалости атамана на страшный и гибельный путь. Давно ли он задумал такое или нет, Фрол не знал, но знал, что когда понесут «батюшке» со всех сторон горе да жалобы, «батюшка», сильный, богатый, кинется заступаться за всех, пойдет мстить боярству. Голи, проходимцев всяких найдется теперь много, от них и на Дону, слышно, житья нет... «Скоро они соберутся под высокую руку батюшки, — ехидно думал Фрол, — да Русь, недовольная, голодная, прослышав про такие дела, еще подвалит своих — всем жрать

надо, хошь не хошь, а двигай этот сброд куда-нибудь — и нет остановки на этом смертном пути, да и не такой человек Степан, чтобы одуматься и остановиться. Сперва поведет, потом самого поведут впереди... Да и не одумается он ни в жизнь, ему того только и надо — орать на бою да верховодить», — так думал Фрол. Еще он понял, пока гнались за стрельцами, что его, Фрола, Степан взял в этот догон нарочно: замарать стрелецкой кровью. Раз война, раз клич, чтоб сбирались, то и нужна первая кровь, и она прольется.

— Вон! — показал Фрол.

Степан кивнул: он сам тоже увидел стрельцов. Подстегнули коней.

Далекие всадники обнаружили погоню... Там произошло замешательство... Как видно, посовещались накоротке.

— Вплавь кинутся! — крикнул Фрол. Много понимая, он много и старался, чтобы Степан не догадался про его черные и грустные мысли: иначе Фролу несдобровать будет.

Степан несогласно качнул головой.

— Там коней не свести. Маленько подальше — можно, туда побегут. Во-он! — Степан показал рукой. — Держим туда, на распадок. А чтоб назад не кинулись, пошли с пятнадцать с той стороны, отрежь.

И правда, далекие всадники, после короткого сбоя, устремились вперед, к распадку: там можно было съехать к воде и попытаться спастись вплавь.

Гонка была отменная. Под разинцами хрипели кони... Летели ошметья пены. Трое казаков отстали: кони под ними не выдержали бешеной скачки, запалились.

Ближе и ближе стрельцы... Кони под ними рвут силы в другой раз за сегодня. Два стрельца должны были тоже прыгнуть с коней — те заспотыкались и стали падать. Из-за двух стрельцов, соскочивших с коней и побежавших в сторону, никто из разинцев не остановился — далеко не убегут теперь.

Лицо Степана спокойно. Только взгляд, остановившийся, выдавал то нетерпение, какое овладело его душой. Он сильно наклонился вперед, чуть прищурился... Загорелое лицо, широкое в скулах, посерело. Кончик уса встречным ветром загибало к губам, Степан встряхивал головой и коротко, хищно — так выглядело — скалился и неотступно

смотрел вперед. Страшный взгляд, страшный... И страшен он всякому врагу, и всякому человеку, кто нечаянно наткнется на него в неурочный час. Не ломаной бровью страшен, не блеском особенным — простотой страшен своей, стылостью. Бывает, в месячную зимнюю ночь глядит в холодную пустыню неба прорубь с реки — не вовсе черная, но в живой глубине ее такая мерцает черная жуть, такая в текучих струях ее погибель, что тянет скорей отойти. Такие есть глаза у людей: в какую-то решающую минуту они сулят смерть, ничего больше. И ясно также — как-то это само собой понятно — глаза эти не сморгнут, не потеплеют от страха и ужаса, они будут так же смотреть и так же и примут смерть — прямо и просто. Когда душа атамана горит раскаленной злобой, в глазах его, остановившихся, останавливается одно только желание: достать, догнать, успеть.

Вот уж двадцать, пятнадцать саженей отделяют разинцев от стрельцов... Те оглядываются. Лица искажены томлением и мукой.

Все ближе и ближе казаки... Смерть хрипит и екает за спинами стрельцов. Смерть зловещей старухой радостно бежит рядом, взглядывает черными дырами глаз в живые лица. Один слабонервный не выдержал, дернул левый повод коня и с криком загремел с обрыва.

Настигли. Разинцы стали обходить стрельцов, прижимая к берегу, к круче. Шестеро с Разиным очутились впереди, обнажили сабли...

Стрельцы сбились с маха... Сотник тоже вырвал саблю. Еще три стрельца приготовились подороже отдать жизнь. Остальные, опустив головы, ждали смерти или милости.

— Брось саблю! — велел Степан сотнику.

Молодой красивый сотник подумал... и спрятал саблю в ножны.

— Смилуйся, батька, — сказал тихо. — Грех попутал.

— Слазь с коней.

— Смилуйся, батька! Верой служить будем...

— Верой вам теперь не смочь: дорогу на побег знаете. Я говорил вам... Слазьте.

Стрельцы послезали с коней, сбились в кучу. Один кинулся было к обрыву, но его тут же срубил ловкий казак.

Коней стрелецких отогнали в сторону, чтоб они не глазели тут... на дела человеческие.

— Говорил вам!! — закричал Степан, заглушая криком подступившую вдруг к сердцу жалость. — Собаки!.. Доносить побежали!

Стрельцов окружили кольцом... И замелькали сабли, и мягко, с тупым коротким звуком кромсали тела человеческие. И головы летели, и руки, воздетые в мольбе, никли, как плети, перерубленные...

Скоро и просто свершилась расправа. Трупы поскидали с обрыва.

— Говорил вам, — горько, с укором сказал Степан, глядя с обрыва вниз. — Нет, побежали!

Казаки вываживали коней, обтирали их пучками сухой травы. Потом спустились вниз по распадку к воде. Напоить коней. Но еще пока медлили подпускать их к воде, чтобы не опоить с перегона.

Степан сидел на камне лицом к реке, надвинув низко на лоб шапку, смотрел на широкую спокойную гладь.

Солнце клонилось к западу, тень от высокого правого берега легла далеко на воду, и вода тут была темная. Зато дальше и вода, и далекий низкий берег — все тихо пламенело в желтых лучах прощального солнышка. Разница эта — здесь и там порождала раздумья. Ясно ли думалось или грустно — кому как. Кто как смотрел. Кто смотрел дальше, на светлое, кто — поближе, в тень... Не одинаково думают люди, даже когда видят одинаково. Не одинаково и понимают, когда понимать вроде надо бы — одинаково. Так уж не одинаково устроены... Могут же одни в близости смертного часа окаменеть и ждать, другие — кричат, жалуются, ненавидят живых, которым еще некоторое время оставаться здесь. Да и жизнь-то принимают по-разному, не только смерть.

Подошел Фрол Минаев, присел. Тоже долго смотрел на воду... Отходили казаки от смерти стрелецкой, противились, не хотели ее холодного мерзкого касания, нарочно налаживались думать, что — вот... земля, солнышко светит, хорошо на земле, хорошо... Ну, а что случилось-то? Но — случилось, случилось, чего не могли понять: за что порубили людей? Ни в бою, ни в набеге... Зачем же это надо было?

— Зачем Леонтия-то отпустил? — спросил Фрол первое, что пришло в голову. И он рубил, и ему, может быть, больше других было не по себе.

— Отпустил, — нехотя сказал Степан, отрываясь от дум. — А чего?

— Зря, — Фрол жалел, что заговорил: не знал, что говорить больше.

— Пошто?

— Раззвонит там... В Астрахани-то.

— Теперь скрытничать нечего. Но иное дело, Фрол: один зазвонит или... Да уж и то — пора. Теперь: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Как думаешь? — Степан спокойно и пристально посмотрел на Фрола сбоку.

— Я-то? — Фрол смотрел на реку.

— Ты. Не виляй только, а то знаю я тебя, вертучего.

— Еслив по правде... — Фрол помолчал, подыскивая слова.

— По правде, Фрол, по правде. Говори, не бойся: на правду не обижусь — это же не бабу делить.

— Я не боюсь. Немыслимое затеваешь, Степан. Не знаю уж: скажет тебе кто так, нет, а от меня... услышь, можеть, сгодится подумать...

— Ну?

— Никто такое не учинял. Ты раскинь головой.

— Мы первые будем.

— А зачем тебе? Зачем, скажи на милость?

— Гадов повывесть на Руси, все ихные гумаги подрать, приказы погромить — люди отдохнут. Что, рази плохое дело?

Фрол молчал.

— Подумать только, — продолжал Степан, — сидят псы на Москве, а кусают — аж вон где! Нигде спасу нет! Теперь на Дон руки протянули — отдавай беглецов...

— На царя, что ли, руку подымешь? Гумаги-то от кого?

— Да мне мать его в душу — кто он! Еслив у его, змея ползучего, только на уме, как захомутать людей, да сесть им на загривок, какой он мне к дьяволу царь?! Знать я его не хочу, такого доброго. И бояр его вонючих... тоже не хочу! Нет силы терпеть! Кровососы... Ты гляди, какой они верх на Руси забирают! Какую силу взяли!.. Стон же стоит кругом, грабют хуже нашего. Одними судами да волокитой вконец изведут людей. Да поборами. Хуже татар стали! А то ты не знаешь...

— А чего у тебя за всех душа болит?

Степан долго молчал. Только повернулся, хотел сказать что-то, но раздался крик:

— Татары! Тю!.. Век не видались, в господа бога мать!

И сразу над головами казаков свистнули стрелы и с коротким чмокающим звуком ушли в воду.

— За бугор! — крикнул Фрол, вскакивая.

Казаки послушно кинулись было к ближнему бугру.

— На коней! — остановил Степан. Первым вскочил на коня, заплясал на месте, поджидая других. — Экая дура, Фрол! Век там сидеть, за бугром-то? Скорей!.. Выследили, собаки. Так и знал...

Стрелы сыпались густо. Три-четыре угодили в казаков, те, страшно ругаясь, выдергивали их.

— Закрывайся чем попало! — кричал Степан. — Потниками, кичимами!.. Крутись ужами!

Татары окружили наверху распадок полукольцом. Сидя на конях, пускали стрелы.

— Эдисаны, твари поганые.

— Шевелись! — торопил Степан. — А то им подмога прискачет. Коней тоже прикрывайте!..

Стрелы, долетавшие до казаков, убойную силу теряли, но ранили больно. Много уж казаков со стоном и матерной бранью выдергивали друг у друга легкие татарские гостинцы. Всхрапывали и шарахались кони... Наконец все были в седлах.

— В россыпь!.. В мах! — коротко, спокойно скомандовал Степан. — Пошли!..

Казаки понеслись по отлогому распадку вверх.

— К кустам жмись! — кричал атаман. Он летел несколько впереди, опустив поводья, левой рукой прикрывая себя и морду коня потником из-под седла, в правой сабля.

Эдисанцы подпустили казаков совсем близко, потом повернули коней и поскакали в степь. Казаки сгоряча увлеклись было за татарами, но Степан не велел. Он знал их повадку: утомить на степи погоню, измотать и подвести ее, ошалелую в гонке, под засаду... Наверняка где-нибудь сидел, поджидая, сильный отряд татар.

На Степана чего-то нашел веселый стих.

— Фрол, ты, никак, захворал? То в кусты тебя тянет, то за бугор... Не понос ли уж? Зачем за бугор-то велел?

Фролу неловко было за свой суматошный выкрик; что-то нервничать он стал последнее время, правда. Он молчал.

— Спуститесь за стрелецкими конями, пригоните, — велел атаман. — Да потрусим помаленьку к нашим, а то, чего доброго... — он не досказал, но было и так ясно: эдисанцы, усилившись, могли вернуться. У них старая вражда с донцами.

Десяток казаков поехали вниз за лошадьми, которых не успели второпях взять.

— Чего ты меня пытал, Фрол? — серьезно спросил Степан, подъехав к Минаеву.

Фрол нахмурился, как бы вспоминая... Больше он не хотел говорить со Степаном ни о чем таком. Рано или поздно, может и теперь уже, тот спросит: «А ты как? Со мной?» И будет тогда Фролу вовсе нехорошо.

— Когда это? — спросил Фрол.

— Даве у воды. Татары как раз помещали.

Фрол не вспомнил.

— Забыл с этими татарами... Из башки вылетело.

14

Подьячий астраханской приказной палаты Алексей Алексеев громко, внятно вычитывал воеводам:

— *«Вы пропустили воровских казаков мимо города Астрахани и поставили их в Болдинском устье, выше города; вы их не расспрашивали, не привели к вере, не взяли товаров, принадлежащих шаху и купцу, которые они ограбили на бусе, не учинили разделки с шаховым купцом. Не следовало так отпускать воровских казаков из Астрахани; и если они еще не пропущены, то вы должны призвать Стеньку Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им вины их против великого государя и привести их к вере в церкви по чиновной книге, чтоб впредь им не воровать, а потом раздать их всех по московским стрелецким приказам...»*

— Ты глянь! — изумился старший Прозоровский. — Легко-то как! Взять да призвать!.. Да привести — только и делов!

— Мда-а!..

— Ну, дальше как?

— *«И велеть беречь, а воли им не давать, но выдавать на содержание, чтоб они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз; все струги взять на государев деловой двор, всех пленников и пограбленные на бусах товары отдать шахову купцу, а если они не захотят воротить их добровольно, то отнять и неволею».*

— Ай да грамотка! — опять воскликнул Прозоровский. — Ты в Москву писал, отче?

Все поглядели на митрополита.

Митрополит обиделся.

— Я про учуг доносил. Свою писанину я вам всю здесь вычел...

— Кто же про купца-то да про бусы-то расписал? Не сорока же ему на хвосте принесла.

Теперь посмотрели на подьячего.

— Кто ни писал, теперь знают, — сказал подьячий Алексеев. — Надо думать, какой ответ править. На меня не клепайте, я не лиходей себе, на свою голову кары искать. Нашлись...

— Теперь — думай не думай — сокол на волюшке. А что мы поделать могли? — волновался Прозоровский.

— Так и писать надо, — подсказал подьячий. — Полон тот без окупу и дары взять у казаков силою никак было не можно, не смели — боялись, чтоб казаки снова шатости к воровству не учинили, и не пристали бы к их воровству иные многие люди, не учинилось бы кровопролитие.

— Ах ты горе мое, горюшко! — застонал воевода. — Чуяло мое сердце: не уймется он, злодей, не уймется. Его, дьявола, по глазам видать было. Ну-ка, покличьте суда немца Видероса... Может, хоть немецкая харя маленько устрашит злодея — пошлем к Стеньке. Снарядите стрельцов с им — и с богом. Хоть перед государем малое оправдание будет. Пусть немец скажет: получена, мол, гумага от царя — царь все знает теперь, велит тебе, Стенька, поганец, уняться с разбоем.

— Стрельцов-то порубили, а!.. — тихо, с жалостью воскликнул старый митрополит. — Что же он себе думает, злодей?

— С ногайцами сговаривается...

— Большой разбой затевает, — сказал Алексеев. — Надо все, все государю отписать, все без утайки... Пушки не от-

дал, казаков не распускает, всех с собой подбивает, воронежцам за припас отдал и снова их в долю берет, за новый... Куда наметился с такой силой?

* * *

Видерос и с ним восемь стрельцов, все о двуконь, гнали день и ночь из Астрахани в междуречье. Догнали Разина на Дону. Капитан с ходу изложил атаману свои соображения по поводу опасности, которой он, Разин, продолжая своевольничать, подвергает себя и своих товарищей. Высокий князь (царь) может разгневаться — будет плохо. Неужели умный атаман не понимает этого?

Степан уставился на немца, долго молчал... Он не понимал, почему — немец?

— Все? — спросил он, больше изумленный, чем встревоженный.

— Если ты последофать сфой некороши самисли, то будет потребофать фосфращать фсе подданый царя, а ф случай сопротифлений, нет болше царская милость и нет пощада. Надо пить очшень разумный шеловэк...

Разговор случился в присутствии есаулов и нескольких сотников, которые наблюдали за переправой.

Войско Разина переправлялось на правый берег Дона. Пушки сплавляли на саликах (узких, в пять-шесть бревен, плотах), конные переплывали, стоя на лошадях.

Степан, заговоривший сперва спокойно, скоро утратил спокойствие и, чем дальше, тем больше распалялся. Разозлила опять бумага, и в придачу к ней — тупой казенный немец.

— Как ты явился ко мне, образина? — спросил он.

— На конь, — ответил немец. — Калеп!

— Ты не подумал, что оставишь здесь голову? А ну, покажь твою храбрость!.. — Степан выхватил саблю и занес над головой немца. Тот присел в ужасе, закрылся руками. — Как ты посмел явиться ко мне, змеиный ты выползок, такой мне позор советовать: чтоб я предал товарищей моих! Это где так делают?! Кто тебя научил так думать, прихвостень воеводин? Воеводы? Отсеку вот язык-то, чтоб не молотил больше... — Степан вложил саблю в ножны.

Капитан молчал.

— Что? Хватило настырности явиться, да нет духу ответ держать! Ступай, гнида... милую тебя. Придешь, откуда послали, скажи: дул я вилюжками с высокой колокольни и на господ твоих, и на царя. И скажи господину своему: я с ним стренусь. Я приду раньше, чем он думает. И накажу его за дерзость. Скажи всем князьям: я князь от роду вольный, и все воеводы мне в подметки не годятся. Пускай помнют. А забудут, я приду — напомнить, — Степан резко отвернулся и пошел прочь. — Ларька, проводи немца в степь, — сказал на ходу Ларьке Тимофееву.

Капитану подвели коня... Он вдел трясущуюся ногу в стремя, сел в седло. Иван Черноярец огрел его коня саблей в ножнах. Конь прыгнул и понес; капитан чудом не вылетел из седла. Казаки засмеялись.

— Смех смехом, — сказал раздумчиво Фрол Минаев, когда немец ускакал, — а царю-то уж донесли. Про все. Так что... посмеемся, да задумаемся.

Иван Черноярец внимательно посмотрел на него.

— Ты к чему?

— Ни к чему! Сразу — «к чему». Так — думаю. Нашим-то, Ларьке-то с Мишкой, несдобровать будет в Москве, когда поедут: они царю одно, а тот уж все знает.

— Экие тебя думы нехорошие одолели, — засмеялся Иван. — Пойдем-ка выпьем. Мы теперь — дома.

— Дома, так теперь и думать не надо?

— Думать — это надо голову крепкую, а моя едва винишко дюжит, и то кружится... Пошли! Не обмирай раньше время, что будет, то и будь.

— Иди пей, — Фрол стегнул плетью подпрыгнувший к его ногам легкий ком перекати-поля. — Тоже, вишь, думать не хочет: катается туда-суда. Но этой голове хоть не больно... — Фрол еще разок стегнул ветвястый шар и пнул его — катиться дальше. — А наши, Ваня, так закружутся, что и... отлетят вовсе. Не ерепенься шибко-то, тут наскоком немного возьмешь... да храбростью. Тут и подумать не грех.

— Ну-ка, ну-ка, — всерьез заинтересовался Иван, взял Фрола за руку, повел в сторонку, подальше от других. — Чего это ты такое носишь? Скажи мне...

Фрол охотно отошел с Иваном, они присели на берегу на жесткую колючую травку.

— Ну? — спросил Иван.

— Не дело он затевает, — сразу сказал Фрол. — Не токмо не дело, а тут нам всем и каюк будет. Неужель ты-то не понимаешь?

— Не понимаешь... — повторил задумчиво Иван. — Может, и понимаешь, да... А чего ты советуешь?

— Давайте сберемся вместях — прижмем его к стенке: пускай выложит, чего задумал...

— Да он и так выкладывает, чего прижимать-то?

— Он не все говорит! Как он думает царя одолеть, какой силой? Говорил он тебе? Вон с этими, — Фрол кинул на ту сторону Дона, — которые рот разинули — ждут не дождутся, как пожрать да попить даром? Они? Они побегут сломя голову, как только им из Москвы пальцем погрозят. На кого же надежа-то?

Иван молчал.

— «Гадов повывесть» — это легко сказать. С кем ты их повыведешь?

— Ну, и чего ты надумал? — спросил Иван.

— Ничего! Чего я-то надумаю? Давай спросим его: чего он надумал? Чего он разошелся — обрадовался, персов тряхнул? Не он первый тряхнул... Все на Москву и метились после того? Кто это?

— Васька Ус вон... ходил же к Москве.

— Васька, как пришел туда, так и ушел, не ушел, а — на крыльях летел... Васька. Грозить он шел, Васька-то? Он хлеба просить шел...

— Ну, это уж там как вышло бы, — нехотя возразил Иван. — Так уж вышло. А повернись дело другим боком, не просить бы стал, а так взял. Я, Фрол, одно не пойму: ты страху нагоняешь, чтоб посмелей отвалить от нас, или правда тебя смутные думы одолели?

Фрол помолчал несколько... И сказал с обидой, сердито:

— Да идите вы, господи!.. Идите, куда душа велит, кто вас держит-то. Но уж... смотреть на вас да большие глаза делать от дива великого — какие вы смелые, — это уж вы тоже... силком не заставляйте, пошли вы к такой-то матери.

— А чего ты осердился-то? — просто сказал Иван. — Мне правда понять охота: по робости ты или...

— По робости, по робости.

— Ну-у... зря осердился-то.

— Да чего тут сердиться? — Фрол резко крутнулся на месте — к Ивану. — На баранов рази обижаются, когда они дуром прут? Их бичами стараются направить...

— Да нет, ты с бичами-то погоди маленько, погоди, — ощетинился Иван. — Бич, он тоже об двух концах...

— Да мне жалко вас! — чуть не закричал Фрол. — Усеете головами своими степь вон за Волгой, и все. Чего больше-то?

— Ну, и усеем! Хоть за дело...

— Какое дело? Не перевариваю дураков!.. Долбит одно: за дело, за дело... За какое за дело-то? За какое?

— Боярство унять...

— Тьфу!.. — Фрол встал, постоял — хотел, видно, что-то еще сказать, но невтерпеж стало с дубоватым Иваном — ушел, широко отмеряя шаги.

Иван еще посидел маленько... Поогляделся на переправу... И встал тоже, и пошел заниматься привычными войсковыми делами. Тут он все знал и понимал до тонкости.

* * *

— А вот скажи, Семка, — говорил Степан с Семкой-скоморохом, глядя на родимую реку и на облепивших ее казаков, — ты же много бывал по монастырям разным...

Семка покивал головой — много.

— Был я в Соловцах, — продолжал Степан, будто с неким слабым изумлением вслушиваясь в себя; в голове еще не утих скрип колесный, еще теплая пыль в горле чувствовалась, а через все это, через разноголосицу и скрип, через пыль и пот конский, через кровь стрелецкую, через тошный гул попоек, через все пробился в груди, под сердцем, живой родничок — и звенит, и щекочет: не поймешь, что такое хочет вспомнить душа, но что-то дорогое, родное... Дом, что ли, рядом, оттого вещует сердце. — И там, в Соловцах, видал я одну икону Божьей матери с дитем, — рассказывал Степан. — Перед этой иконой все на колени опускаются, и я опустился... Гляжу на ее, она — смеется. Правда! Не совсем смеется, а улыбается, в глазу такая усмешка. Вроде горько ей, а вот перемогла себя и думает: «Ничего». Такая непонятная икона! Больше всех мне поглянулась. Я до-олго

стоял возле... смотрю и смотрю, и все охота смотреть. Сам тоже думаю: «Ничего!» Как это так? Рази так можно? Не по-божьи как-то...

Семка подумал и пожал плечами неопределенно.

Степан поглядел на него... Но он и не надеялся на ответ — он с собой рассуждал. И мысль его то хватала в края далекие, давние, то опять высоко и трепетно замирала, как ястреб в степном небе, — все над тем же местом...

— Нет, Семка, — сказал он вдруг иным тоном, доверчиво, — не ее страшусь, гундосую, не смерть... Страшусь укора вашего: ну-ка, да всем придется сложить головы?.. А? — Степан опять посмотрел на калеку, в его невинные глаза, и жалость прищемила сердце. Он отвернулся. Помолчал и сказал тихо: — Не знаю... Не знаю, Семка, не знаю. И посоветоваться не с кем. Уж и посоветовался бы, — не с кем, вот беда. Потянут кто куда... Нет, лучше уж не соваться: разнесут на клочки своими советами, сам себя не соберешь потом. Ничего, Семка!.. Не робей. Даст бог, не пропадем.

* * *

Между тем Ларька с Мишкой Ярославовым и еще с тремя казаками «провожали в степь» капитана Видероса. Немец, оглядываясь на конвой, заметно нервничал и тосковал в недобром предчувствии. Он понимал, что за ним следуют неспроста, не мог только догадаться: что задумали казаки?

Отъехали далеко...

Ларька велел немцу и стрельцам, сопровождавшим его, спешиться. Те послушно это сделали.

— Вы не так пришли к атаману, — сказал Ларька. — Слыхали, он вам сказал: «Я родом выше всех высоких князей». Слыхали? — глаза Ларькины излучали веселость, точно он затевал с малыми ребятами озорную потеху.

— Слыхали, — стрельцы тоже затревожились, уловив в глазах есаула недоброе: веселость-то веселость, но какая-то... с прищуром.

— Так кто же так подступается, как вы? — Ларька оставался на коне, а трое казаков и Мишка слезли с коней.

— А как надо? — спросили стрельцы.

— На карачках. Надо, не доходя двадцать сажен, пасть на карачки и полозть. Давайте-ка опробуем. Научимся, вернемся до атамана и покажем, как мы умеем. А то заявились!.. Стыд головушке. Давайте-ка пообвыкнем сперва, потом уж... Ну!

Стрельцы с капитаном отошли на двадцать саженей, пали на четвереньки и поползли к Ларьке. Проползли немного, и капитан возмутился. Он встал.

— Ихь... — показал на себя пальцем, — исьпольняет посоль. Никогда, ни ф какой страна посоль... Посоль — это пошотный шеловэк...

— Мишка, посоли ему плетью одно место, чтоб он знал, какой бывает посол, — сказал Ларька; веселость играла в его синих глазах.

— Я хочет объяснять правил, какой есть каждый страна! — воскликнул капитан. — Правил заключается...

— Объясни ему, Мишка.

— Можеть, ему лучше вытяжку сделать? — спросил здоровенный Мишка. — А? — и пошел к капитану.

Стрельцы в ужасе поглядели на капитана: вытяжка — это когда вытягивают детородный орган. Это — смерть. Или, если не хотят смерти, — обидное, горькое увечье на всю жизнь. Это, кроме прочего, нечеловеческая мука.

Ларька подумал.

— Детишки есть? — спросил немца.

Тот не понял.

— Детишки, мол, детишки есть? Маленькие немцы...

— Смотри, — показал Мишка, — вот так: а-а-а... — Показал, как нянчат. — У тебя есть дома?

— Нет, — понял немец. — У меня есть... нефест.

Казаки, а за ними и стрельцы засмеялись.

— Ладно, — сказал Ларька. — Невесту жалко: ждет его дурака, а он явится... с погремушкой в кармане. В куклы с им тада играть? Вложь плети, он и так поумнеет. Без плети, видно, не научишь. Мишка, ну-ка, как тебя грамоте учили?

Мишка подошел к капитану, но капитан сам опустился на четвереньки и пополз к Ларьке, который изображал высокородного князя-атамана. За ним поползли стрельцы, не очень гнушаясь такой учебой.

Подползли.

— Ну? — спросил Ларька. — Как надо сказать?

Стрельцы и капитан не знали, что надо сказать.

— Ишо разок, — велел Ларька.

— Подскажи ты нам, ради Христа, — взмолились стрельцы. — А то же мы так полный день будем ползать!

— Надо сказать: прости нас, грешных, батюшка-атаман, мы с первого раза не догадались, как к тебе подступиться. Ну-ка. Ничего, уже выходит!.. Говорить ишо научимся ладом...

Стрельцы и капитан завелись снова «на подступ». И так три раза они подступались к «атаману» и просили простить. Наконец Ларька сказал:

— Ну вот: теперь хорошо. Теперь научились. Теперь как ишо доведется когда-нибудь говорить с атаманом, будете так делать. Ехайте.

— Фарфар! — тихонько воскликнул капитан, садясь на коня. — О, фарфар!..

— Чего ты там? — услышал Ларька.

— Я с конь беседофать...

...В тот же день Ларька, Мишка и с ними еще пять казаков поехали в Москву «с топором и плахой» — челом бить царю-батюшке за вины казачьи. Так делали всегда после самовольных набегов на турок или персов, так решил сделать и Разин. Конечно, теперь воеводы нанесут туда всякой всячины, но пусть уже в этом ворохе будет и казачий поклон, так рассудил атаман.

15

По известному казачьему обычаю Разин заложил на Дону, на острове, земляной городок — Кагальник. Островок тот был в три версты длиной, неширокий.

И стало на Дону два атамана: в Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике — Степан Тимофеич, батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь — в великой неловкости своей — больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег... Многих пригнал голод. Но кто способен убежать, тот способен к риску, в том всегда живет способность к мести, ее можно обнажить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех та-

ких Разин привечал с любовью. И конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения... Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один: развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякий русский, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, тоже достаточно свободных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни, а вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему... И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут его гадания кончились: он решил. Он успокоился и знал, что делать: надо эту силу отладить и навострить. И потом двинуть.

Зажил разинский городок. Копали землянки (неглубокие, в три-четыре бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду), рубили засеки по краям острова стены (в край берега вбивали торчмя бревна вплотную друг к другу, с легким наклоном наружу, изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами, и изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной), в стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя; саженях в пятнадцати-двадцати друг от друга, вдоль засеки возводились раскаты (возвышения), и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц: ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупносеяным песком.

Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев и тут же вертались — здесь веселей и привольней.

К острову то и дело причаливали большие лодки — верхних по Дону, воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей: шла торговлишка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега — просили переправить. Эти — при оружии: донцы и

сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так: охотников было много, нашелся и вожак.

* * *

Землянка Разина повыше других, пошире...

Внутри стены увешаны персидскими коврами, на полу тоже ковры. По стенам — оружие: сабли, пистоли, ножи. Большой стол, скамьи вдоль стен, широкая кровать, печь. Свет падает сверху через отдушины и в узкие оконца, забранные слюдяными решетками.

У хозяина гости. У хозяина пир.

Степан — в красном углу. По бокам все те же — Стырь, дед Любим, Иван Черноярец, Федор Сукнин, Семка, сотники, Иван Поп. За хозяйку Матрена Говоруха, тетка Степана по матери, его крестная мать. Она, как прослышала о прибытии казаков, первой приехала в Кагальник из Черкасска. Она очень любила Степана.

На столе жареное мясо, горячие лепешки, печеные на углях, солонина, рыба... Много вина.

Хозяин и гости слегка уже хмельные. Гул стоит в землянке.

— Братва! Казаки!.. — надрывался Иван Черноярец. — Дай выпить за желанный бой! Дай отвести душу!..

Поутихли малость: чего у него там с душой такое?..

— За самый любезный!.. — Иван дал себе волю — выпрягся скорей других. Его понимали: на походе держал себя казак в петле, лишний глоток вина не позволил. Ивана уважали. — С такими-то боями я б на край света дошел... — Иван широко улыбался, ибо затаил неожиданность с этим «боем» и собирался ту неожиданность брякнуть. Она его самого веселила.

— Какой же это, Иван? — спросил Степан.

— А какой мы без кровушки-то отыграли... В Астрахани! Как нас бог пронес, ума не приложу. Ни одного казака не потеряли... Это надо суметь. За тот самый бой! — Иван с пьяной угрозой оглядел всех, приглашая с собой выпить. — Ну?!.

— Был бы калган на плечах, — заметил Стырь. — Чего не пройтись?

— Батька, поклон тебе в ножки!..— вконец растрогался Иван. — Спаси бог! Пьем!

— За бой так за бой, — сказал Степан просто. — Не всегда будет так — без кровушки. Кресная, иди пригуби с нами.

— Я, Степушка, с круга свихнусь тогда. Кто кормить-то будет? Вас вон сколь...

— Наедимся, руки ишо целые, чего нас кормить? Иди, мне охота с тобой выпить.

Матрена, сухая, подвижная старуха, вытерла о передник руки, протиснулась к Степану.

— Давай, кресничек! — приняла чарку. — С благополучным вас прибытием, казаки! Слава господу! А кто не вернулся — царство небесное, земля пухом лежать. Дай бог, чтоб и всегда так было — с добром да удачей.

Выпили. Помолчали, вспомнив тех, кому не довелось дожить до этих хороших дней.

— Как там, в Черкасском, Матрена Ивановна? — поинтересовался Федор Сукнин. — Ждут нас аль нет? Чего Корней, кум твой, подумывает?

— Корней, он чего?.. Он притих. Его не враз поймешь; посапливает да на ус мотает.

— Хитришь и ты, Ивановна. Он, знамо, хитер, да не на тебя. Ты-то все знаешь. Али от нас таисся?

Повернулись к Матрене, ждали... Стало совсем тихо. Конечно, охота знать, как думают и как говорят в Черкасском войсковой атаман и старшина. Может, старуха чего и знает...

— Не таюсь, чего мне от вас таиться. Корней вам теперь не друг и не товарищ: вы царя нагневили, а он с им ругаться не будет. Он ждет, чего вам выйдет за Волгу да за Яик... За все. А то вы Корнея не знаете! Он за это время не изменился.

Степан слушал умную старуху, понимал, что она говорит правду: с Корнеем их еще столкнет злая судьба и, наверное, скоро.

— Ну а как нам худо будет, неуж на нас попрет? — пытал Федор, большой любитель поговорить со стариками.

— Попрет, — ясно сказала прямая старуха.

— Попрет, — согласились казаки. — Корней-то? Попрет, тут даже гадать нечего.

— А старшина как?

— Чего старшина?

— Как промеж себя говорят?

— И старшина ждет. Ждут, какой конец будет.

— Конца не будет, кресная, — сказал Степан. — Нету пока.

— А вы поменьше про это, — посоветовала старуха. — Нету — и нету, а говорить не надо. Не загадывайте.

— Шила в мешке не утаишь, старая, — снисходительно сказал Стырь, опять весь разнаряженный и говорливый. — А то не узнают! — Стырь даже и на побывку домой не шел от войска — откладывал.

— Тебе-то не токмо шила не утаить... Сиди уж. Ты со своим носом впереди шила везде просунесся...

— Старуха моя живая? Ни с кем там не снюхалась без меня?

— Живая, ждет не дождется. Степан... — Матрена строго глянула на крестника. — Это кака же така там девка-то у тебя была?

Степан хотел отмахнуться от мелкого разговора, нахмурился даже, чтоб сразу пресечь еще вопросы.

— Какая девка?

— У тебя девка была...

— Будет тебе, кресная! С девкой какой-то привязалась...

— Шахова девка, чего глаза-то прячешь? — не унималась Матрена. — Ну, приедет Алена... Ты послал ли за ей?

— Послал, послал, — Степан не рад был, что и подал старухе.

— Кого послал?

— Ваньку Болдыря. Ты... про девку-то — не надо, — вовсе строго посоветовал Степан.

— А то не скажут ей! Лапти плетешь, а концов хоронить не умеешь.

— Ну, скажут — скажут. Как они там? Фролка?..

— Бог милует. Фролка с сотней к калмыкам бегали, скотины пригнали. Афонька большенький становится... Спрашивает все: «Скоро тятька приедет?»

— Глянь-ка!.. Неродной, а душонкой прильнул, — подивился Федор. — Тоже тоскует.

— Какой он там был-то!.. Когда мы, Тимофеич, на татар-то бегали, Алену-то отбили? — заговорил дед Любим.

— Год Афоньке было, — неохотно ответил Степан. Он не любил вспоминать про тот бой с татарами, и как отбил он красивую Алену... В том бою он только про Алену и думал — совестно вспоминать. Афоньку же, пасынка, очень полюбил — за нежное, доверчивое сердце.

— Ах, славно мы тада сбегали!.. — пустился в воспоминания дед Любим. — Мы, помню, забылись маленько, распалились — полосуем их почем зря, только калганы летят... А их за речкой, в леске, — видимо-невидимо. А эти-то нас туда заманывают. Половина наших уж перемахнули речку — она мелкая, а половина ишо здесь. И тут Иван Тимофеич, покойничек, царство небесное, как рявкнет: «Назад!» Мы опомнились... А из лесочка-то их туча сыпанула. А я смотрю: Стеньки-то нету со мной. Все рядом был — мне Иван велел доглядывать за тобой, Тимофеич, дурной ты какой-то тот раз был, — все видел тебя, а тут как скрозь землю провалился. Можеть, за речкой? Смотрю — и там нету. Ну, думаю, будет мне от Ивана. «Иван! — кричу. — Где Стенька-то?» Тот аж с лица сменился... Глядим, наш Стенька летит во весь мах — в одной руке баба, в другой дите. А за ним... не дай соврать, Тимофеич, без малого добрая сотня скачет. Тут заварилась каша...

Степан налил себе чару.

— Хватит молоть, дед. Наливайте.

— Там к старухе моей никто не подсыпался? — опять спросил подвыпивший Стырь у Матрены. — Чего молчишь-то?

За столом засмеялись; гулянка стала опять набирать ширь и волю, чтобы потом выплеснуться отсюда, из тесноты.

— А то ведь я чикаться с ей не буду: враз голову отверну на рукомойник. У меня разговор короткий...

— У тебя, дедка, все коротко, только нос... это... — повел было свою любимую тему большой Кондрат. Левая рука его покоилась пока в петельке из сыромятного ремешка, перекинутого через шею.

— Цыть! — резво осадил его Стырь. — У тебя зато: грудь нараспашку, а язык на плечо. Замолкни здесь с носом, поганец.

— Клюку она на тебя наготовила, твоя старуха... Ждет, — сказала Матрена на расспросы Стыря.

— Ей уж шепнули, наверно, как ты с шахинями-то там... А? Греховодник ты, Стырь!.. Никак уняться не может! Откуль только силы берутся!

В землянку вошел казак, протиснулся к атаману.

— Батька, москали-торговцы пришли. Просют вниз пустить.

— Не пускать, — сразу сказал Степан. — Куда плывут, в Черкасской?

— Туда. Говорят...

— Не пускать. Пусть здесь торгуют. Поборов никаких — торговать по совести, а на низ не пускать ни одну душу. Впеpед делать так же. Не обижать никого.

Казак вышел.

— Не крутенько ли, батька? — спросил Федор. — Домовитые лай подымут... Без хлеба ведь останутся.

— Нет, — еще раз сказал Степан. — Федор, чего об Алешке и об Ваське слыхать?

— Алешка сдуру в Терки попер, думал, мы туда выйдем, кто-то, говорят, сказал ему так...

— Это знаю. Послал к нему?

— Послал. Ермил Кривонос побег. Васька где-то на Руси, никто толком не ведает. К нам хотел после Сережки, а домовитые его на войну повернули...

— Пошли в розыск. Подходют людишки? — Степан — и спросил это, и не спросил — сказал, чтоб взвеселить лишний раз себя и других.

— За четыре дня полтораста человек. Но — голь несусветная. Прокормим ли всех? Можеть, поумериться до весны...

— Казаки есть сегодня? — Степан ревниво следил, сколько подходит казаков, своих, с Дона и с Сечи.

— Мало. Больше с Руси. Еслив так пойдут, то... Прокормить же всех надо, — так повелось, что Федор Сукнин ведал кормежкой войска, и у него об своем и болела душа.

— Всех одевать, оружать, поить и кормить. За караулом смотреть. Прокормим, всех прокормим. Делайте, как велю.

— Сделать-то мы сделаем... А чего... до весны-то пока бы...

— Наливай! — сбил Черноярец Федора. — Разговорился...

— Ваня... ты, еслив опьянел...

— Ты меня напои сперва! Опьянел... Нет!

— А не сыграть ли нам песню, сынки?! — воскликнул Стырь.

— Любо! — поддержали со всех сторон. — Теперь дома.

— Заводи! — смешно распорядился опять Иван и саданул кулаком по столу. Сивуха прямо на глазах меняла человека: вместо спокойного, разумного казака, каким знали Ивана, сидел какой-то крикливый, задиристый дурак. Оттого, может, и не пил Иван часто, что знал за собой этот грех и тяготился им.

— Чего расшумелся-то? — урезонил Степан верного есаула; атаман, пока не случался пьян, брезговал пьяными, не терпел. Но и сам он бывал не лучше, только споить труднее. — А где ж Фрол Минаев? — вспомнил вдруг Степан. — Где, я его не вижу?.. А? — он посмотрел на всех... и понял. И уж досказал — так, чтобы досказать, раз начал: — Я же не велел пока в Черкасской ходить... Никому же не велел!

С минуту, наверно, было тихо. Степан еще раз посмотрел на всех с досадой. Положил кулак на стол. Не сразу снова заговорил. И заговорил опять — с запоздалой горечью, не зло.

— Чего ж не сказали? Молчат... Говорите!

И опять никто не решился ему ответить. А надо-то всего было сказать: ушел Фрол. Совсем ушел. Предал.

— Ну? Похоже, поминки получились? По Фролке...

— Погулять охота было, Тимофеич, — честно сказал Стырь. — При такой погоде... без грому.

— И погуляем! Чего нам не погулять? Одна тварь уползла — невелика утеря. Он давно это задумал, я чуял. Давай.

Налили чарки. Но больно резанула по сердцу атамана измена умного есаула. Он с трудом пересиливал эту боль.

— Ну свижусь я с тобой, Фрол, — сказал он негромко, себе. — Свижусь, Фрол. Давайте, браты!.. Давай песню, Стырь. С Фролом все: он свою песню спел. Пошла душа по рукам... Давай, Стырь, заводи.

Нет, не так давно задумал Фрол Минаев измену, а после того разговора, как порубили стрельцов и сидели на берегу Волги: с этого момента он знал, что уйдет. Тогда понял Фрол, что Степан теперь не остановится — пролилась дорогая и опасная кровь. И понял еще Фрол, что Степан захотел пролить эту кровь поверх жалости, помимо прямой надоб-

ности — чтобы положить конец своим сомнениям и чтобы казаки тоже замарались красным вином страшенной гульбы. Вот тогда твердо решил Фрол уйти. Это было недавно.

* * *

В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка.

С острова, с засеки, окликнули сторожевые.

— Свои, — отозвался мужской голос с лодки. — Ивашка Волдырь. Батьке гостей привез.

— А-а... Давайте, ждет. С прибытием, Алена!

Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, нательной рубахе... Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя: не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро... Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно: такие дела надвигаются, вот уж и побежали в страхе, и не дураки побежали, и не самые робкие — чем-чем, а робостью Фрол не грешил, — ну? А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль второпях обшаривала всех, кто попадался в памяти... Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь — такие лягут, лягут безропотно многие и многие... А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно: взросла на русской земле некая большая темная сила — это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик митрополит — это как-то не они, а нечто более зловещее, не царь даже, не его стрельцы — они люди, людей ли бояться?.. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале... Но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой, а что она такое? — не могли понять. И это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего его ярость влагалась в слово — «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься — бояре ли? — понимал: тут как-то не

совсем и бояре. Никакого отдельного боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью, даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила с Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет, это Степан понимал сердцем. Он говорил — «бояре», и его понимали, и хватит. Хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты: стыд потеряли, свирепеют от жадности... Но не они та сила.

Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась — ГОСУДАРСТВО.

За дверью, на улице, послышались шаги, голоса...

Степан сел, опустил ноги на пол... Уставился на дверь.

Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетний Афонька.

— Ну вот, — сказал Степан со скрытой радостью. — Заждался вас. Что долго-то там?

Алена припала к мужу, обняла за шею... Степан поднялся, тоже поприобнял жену, похлопывал ее по спине и говорил:

— Ну вот... Ну здорово. Ну?.. Сразу — плакать. Чего?

Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила:

— Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там — нет и нету... Все глазыньки свои проглядела.

— Ну!.. Пропасть — это тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алена.

Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели.

— Год нету, другой нету — поживи-ка так... Совсем от дому отбился, — говорила Алена как будто заготовленные слова — так складно, к месту они получались.

— Будет тебе...

— Другие хоть к зиме приходит, а тут... Молилась уж, молила матушку пресвятую богородицу, чтоб целый пришел...

— Афонька, здорово, сынок. Иди ко мне, — позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену. — Иди скорей.

Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился.

— Вот так! — похвалил Степан. — Так, казаче, — посадил его на кровать.

Поздоровался с братом за руку.

— Ты, никак, ишо вырос, Фрол?

— Да где? — рослый, усатый Фрол мало походил на старшего брата — красивее был и статнее. — А ты седеть начал.

— А жена-то где твоя? — полюбопытствовал Степан.

— Да там пока...

— Чего? Не поехала, что ль?

— Да... потом. Чего седеть-то начал?

— Ну, рассказывайте, какие дела? Кто первый? Афонька?..

Афонька все улыбался.

— Ты что это, разговаривать разучился? А? — Степан тоже улыбался; на душе было хорошо, только скорей бы ушла эта первая бестолковая минута.

— Пошто? — спросил Афонька. — Умею.

— Отвык. Скажи, сынок: ишо бы два года шлялся там, так совсем бы забыли, — встряла опять Алена.

— Не-ет, Афонька меня не забудет. Мы друг дружку не забудем. Мы, скажи, матерю скорей забу... — Степан осекся, конфузливо глянул на Алену. Та с укоризной покачала головой.

— Э-эх!.. То-то и оно. Седеть-то начал, а все не образумисся, все, как кобель молодой...

Фрол засмеялся.

— Ну пойду, — сказал он. — Завтра погутарим.

— Погодь! — остановил Степан. — Давайте пропустим со стречей-то. Я тут маленько запасся... Упрятал от своих глотов. Ален, собери-ка на скорую руку.

Алена принялась накрывать на стол.

— Где тут у тебя чего?

— Там... разберись сама. Садись, Фрол, рассказывай.

— Порассказали!.. — все хотела ворчать Алена. — В глаза людям глядеть совестно. Сквозь землю готова провалиться... Тьфу! Да ишо — черная! Хоть бы уж...

— Будет, Алена, — миролюбиво сказал Степан. — Нашла об чем гутарить. Рассказывай, Фрол.

Фрол — не охотник до войны, до всяких сговоров, хитростей военных. Не в разинскую породу. Он — матерИн сын,

Черток: покойница больше всего на свете боялась войны, а жила с воином и воинов рожала. Зато уж и тряслась она над Фролом, меньшим своим... Помирала, просила мужа и старших сынов: «Не маните вы его с собой, ради Христа, не берите на войну. Пускай хоть он от ее спасется, от проклятой».

— Чего рассказывать-то? — Фрол сел на кровать. Он правда не знал, что́ Степану интересно и нужно знать.

— Корнея когда видал?

— Вчерась.

— Ну? — насторожился Степан.

— Он хотел сам приехать... Приедет на днях. Велел сказать: как от его к тебе казак будет, чтоб сплыл ты с тем казаком ниже куда-нибудь для разговору. Не хочет, чтоб его на острове видели.

— Лиса хитрая. Не дождется. Как казаки там?

— Россказней про тебя!.. — со смехом воскликнул Фрол.

— Хоть уши затыкай! — вставила Алена.

— Ко мне собираются? — допрашивал Степан брата, с умыслом не замечая Алениного большого желания — допросить его самого.

— Собираются. Много. Не знают только, чего у тебя на уме.

— Не надо и знать пока.

— Правда, что ль, половина шаховых городов погромил?

— Маленько потрясли, — уклончиво ответил Степан. — А домовитые как?

— Молчат.

— От царя никого не было?

— Нет.

— Ну садись. Садись, братуха!.. Вот и выпьем вместях — давно думал. Алена, как у тебя?

— Садитесь, — Алена доставала из корзины, которую привезла с собой: домашнее печенье, яйца, варенец... — Хотела больше взять, да этот Иван, как коршун, похватал, как были...

— Молодец, — похвалил Степан. — Нечего там сидеть... у врагов.

— Какие же там враги? — изумилась Алена.

Фрол тоже с любопытством посмотрел на брата. Младенец! Мать-то не зря просила: не воин. Жалко будет, если убьют... Грех на душу возьмешь с таким.

— Ну — будут враги: дело наживное. Ах, Афонька!.. Штуку-то я тебе какую привез! Ах, штука!.. — Степан наклонился, достал из-под кровати городок, вырезанный из кости. — Царь-город. Во, брат, какие бывают! На, играй!

Алена оглядела избушку: должно быть, хотела знать, что же ей-то привез муженек, какие подарки. Так уж... спасительно устроена русская баба: она может подняться до прощения даже и тогда, когда прощения у нее не просят, не вымаливают. Она только найдет — бессознательно, не хитря — какую-нибудь уловку и уверует, что ей, например, жалко, грех, или что она больше всего на свете любит богатство... Она пощадит оскорбителя и пощадит себя.

Степан перехватил ее взгляд, засмеялся коротко, непонятно.

— Потом, Алена. Подай нам сперва.

— Кресная у тебя? — спросил Фрол.

— Здесь.

— Не мог удержать. Говорю: пришлет он кого-нибудь, куда ты одна! Нет — пойду. Так ушла.

— Она молодец. Ну?.. С приездом вас. И нас. Со стречей.

— С радостью нас, — сказала Алена, чокаясь с казаками золотой чарой, на которую невольно и попросту дивилась: не видывала такой красивой.

Фрол ушел поздно; он захмелел, все улыбался и смотрел на брата, не понимая, наверное, чем он так колыхнул молву?

Алена разобрала постель... Степан помиловался с ней, и она уснула. А Степан в ту ночь так и не мог заснуть до света.

Дождался, в окна землянки забрезжил слабенький синий туман. Тогда он осторожно высвободил руку, на которой лежала голова жены, встал...

— Ты чего? — спросила Алена. — Ни свет ни заря...

— Спи, — сказал Степан. Присел, погладил теплую, со сна особенно хорошую Алену. — Пойду к казакам.

— Господи!.. Хоть маленько-то побудь со мной. Куда они денутся, твои казаки! Спят ишо все...

— Побуду, побуду. Спи. Мне надо.

Степан надел шаровары, сапоги... Накинул кафтан и вышел из землянки.

Городок спал. Только часовые ходили вдоль засеки да чей-то одинокий костер сиротливо трепыхался у одной из землянок.

Степан подошел ближе к костру... Два в дым пьяных казака, обнявшись, беседовали.

— Ты мне ее покажь... Покажь, ладно?

— Ладно.

— Не забудь только, ладно? Покажь, не забудь...

— Кого?

— Эту-то...

— А-а. Не, она для нас — тьфу!

— Кто?

— Эта-то, Манька-то.

— Какая Манька?

— Ну, эта-то!

— А-а. А мы ее обломаем...

— Кого?

— Ну, эту-то...

Степан постоял, послушал, усмехнулся и пошел дальше.

Прекрасен был этот рассветный час золотого дня золотой осени. Свежий ветерок чуть шевелил листья вербы и тальника. Покой, как сонная лень, покой держал землю. Вся она, не такая уж необъятная, нежилась еще в ладонях покоя. Скоро проснутся люди... Опять — в суете, в словах — явится важность людей, но вот сейчас-то, когда такой покой, — так это все неважно, вся эта суета, слова... Даже смешно.

Степан вошел в землянку, где поселились Иван Черноярец со Стырем: эти двое постоянно ругались, но и постоянно — молча — дружили, всегда жили вместе.

Иван легко отнял голову от кафтана, служившего ему подушкой. Спросил встревоженно:

— Что?

— Ничего, погутарить пришел.

Степан глянул на спящего Стыря, присел на лежак к Ивану.

— Вчерась я сон чудной видал, Ваня: как вроде мы с отцом торгуем у татарина коня игренева. Хороший конь!.. А татарин цену несусветную ломит. Мы с отцом и так, и эдак — ни в какую. Смотрю я на отца-то, а он мне мигает: «Прыгай-де на коня и скачи». У меня душа заиграла... Я уж присматриваю, с какого боку ловчей прыгнуть... Хотел прыгнуть, да вспомнил: «А как же отец-то тут?!» И проснулся.

— Было когда-нибудь так? — спросил Иван, превозмогая похмельную боль в теле: весь день хворать будет Иван.

— С отцом — нет, с браткой Иваном было. Послал нас как-то отец пару коней купить, мы их силком отбили, а деньги прогуляли. Отец выпорол нас, коней возвернул...

Ивану еще и жалко, что недоспал. Зевнул.

— Ты чего пришел-то: сон рассказать?

Степан долго молчал, сосал трубку, смотрел вниз.

— Утро ясное, — сказал он вдруг. — Не в такое бы утро помирать. А? — и глянул на есаула пытливо и весело.

— О!.. — удивился Иван. — Куда тебя уклонило. Это мне седня про смерть-то надо... Перестарался вчерась... дурак.

— Вот чего... — Степан сплюнул горьковатую слюну. — Прибери трех казаков побашковитей — пошлем к Никону, патриарху. Он в Ферапонтовом монастыре сидит: их с царем мир не берет. Не качнется ли в нашу сторону...

— Какой из попа вояка! — удивился Иван.

— Не вояка надобен — патриарх. Будет с нами, к нам народишко легче пойдет. А ему, думаю, где-нибудь тоже заручка нужна. Можеть, качнется — он злой на царя. Пускай скажут: мы его истинно за патриарха чтить будем. Прибери, кто сумеет...

— Приберу, есть такие.

— Пошли их потом ко мне: научу, как говорить. Письма никакого не писать, но чтоб казаки надежные были, крепкие. Могут врюхаться — слова бы не вымолвили ни с какой пытки.

— Есть такие.

— Ишо пошлем в Запороги — к Ивану Серику. Туда с письмом надо, пускай на кругу вычтут, всем.

— Тада уж и к Петру Дорошенке...

— К Дорошенке? Подумать надо... Хитрый он, крутится, как уж на огне... Посмотрим, у меня на его надежи нет. Еслив надо свою выгоду справить — справит, не задумается. Серко, тот надежный...

— Тимофеич, пошли меня к патриарху, — сказал вдруг Стырь, поднимаясь со своего лежака. — Я сумею, вот те крест, сумею. Ишо как сумею-то!

— Ты не спишь, старый?

— Нет. Пошлешь?

— Пошто загорелось-то?

— Охота патриарха глянуть... Мне один бегун рассказывал про Никона: эт-то тебе не...

— Чего в ем? — поп и поп.

— Самый высокий поп!.. Много я всякого повидал, а такого не доводилось. Пошли. Я с им про веру погутарю. Он вишь чего затеял-то?..

— Опасно ведь... схватить могут: Никона стерегут. А схватют, милости не жди: закатуют. Охота на дыбе дни кончать? Они вон какие хорошие, дни-то. Выйди, глянь-ка — сердце радуется.

— Ну, кому-то и на дыбе надо кончать... Я пожил. И дней повидал всяких... А Никон бы нам... ой как сгодился бы! Я его склоню! У меня тоже к вере подвох есть.

— Охота — иди. По путе проведайте про Ларьку с Мишкой — где они? Болит у меня за их душа. Зря отпустили, не надо было. Я виноватый...

Замолчали. Долго молчали.

— Досыпайте, — сказал Степан. Поднялся и пошел из землянки.

— Думы одолели нашего атамана, — сказал Иван.

— Думы... — откликнулся Стырь. — Думы — они и есть думы.

— И тебя одолели? — Иван сидел пасмурный, гадал: удастся ему еще заснуть или подниматься тоже да идти по делам. — Чего тебя-то одолели?

— Меня-то чего? Меня не так уж... А охота мне, Ванятка, патриарха глянуть — прям душа заиграла...

— Да зачем он тебе?

— А дьявол его знает, охота глянуть, и все. По спине его охота похлопать: «Ну что, мол, владыка?» У его, видать, тоже какой-то подвох к вере. Он ведь мно-ого знает, Ваня... Ох, я бы с им погутарил!

— Гляди ты! — зачесалось. Спи пока, а то у меня голова, как кадушка рассохлая, разваливается. Лишка взял вчера. Ничего хоть не болтал сдуру?

— Нет. Все же схожу я к патриарху, Иван. Все равно зиму без толку сидеть будем. Схожу. Будет у меня под конец жизни хоть одно... праведное дело. Прям как по обету схожу.

— Спи пока. Дай маленько очухаюсь... Можеть, сосну ишо.

Степан ушел на берег реки, сел.

Солнце выкатилось в чистое небо... Первые лучи его ударили в вербы; по острову вспыхнули большие желтые костры.

Далеко отсюда думы Степана... Может, в Ферапонтовом монастыре, может, в Запорожье, может, в Москве... Думы одолели атамана, правда. И охота додумать их да вздохнуть бы легко... Еще в Черкасске думы — вовсе рядом, а тут темень полная, не знаешь, чего ждать.

Сзади к нему неслышно подкрался Афонька и крикнул над ухом, пугая. Степан как бы скачком вымахнул из своих дум... Аж вздрогнул.

— Ах ты, черноглазик!.. Напужал, — Степан показал место рядом: — Садись. Чего рано так?

— Я завсегда так, — сказал Афонька, улыбаясь.

— Не спится?

— Выспался.

— Мать чего делает?

— Поись варит.

— Мгм. Ты сны умеешь отгадывать?

Афонька выкатил на отчима черные свои, прекрасные маслины:

— Сны?

— Ну? Бабка не учила?

— Нет. А ты сон, что ль, видал?

— Видал. Будто мы с отцом моим поехали коня торговать, поглянулся нам обоим один конь, отец мне мигает: «Прыгай и скачи». Я уж и хотел прыгнуть, да подумал: «Ну, уеду, а как же он тут?» И проснулся. Даже жалко, что проснулся, — надо бы доглядеть...

— Не купили?

— Не купили... Да, вишь, я и не знаю, как дальше-то... Вот втемяшился этот сон — хожу и все думаю...

— Спроси бабку Говоруху.

— Да бабку-то... Нет, бабка в таких делах не знает. А сон непростой, чую. Думаю так: вот скочим мы на коней — умахали. А как же вы тут?

— Мы? — не понял Афонька. — Кто?..

— Ну, вы... Ты вот, матеря твоя, бабка — да много! — Степан посмотрел на мальчика, тронул его воробьиное колено, ощупал ладошкой дорогое слабенькое тело сынишки. — Чижолую я тебе загадку загадал — не по росту. Иди скажи матери: иду. Поедим сядем.

Афонька убежал.

Степан прилег на спину, закинул руки за голову, стал смотреть в небо. Он знал, как они поговорят с Корнеем Яковлевым, войсковым атаманом. Этот предстоящий разговор тоже не выходил у него из головы. Он хорошо представлял эту встречу... Место встречи осторожный Корней выберет сам — подальше от людских глаз.

Корнею за шестьдесят, он еще силен, но ходит нарочно тяжело, трогает поясницу, говорит: «Побаливат». Нигде у него не побаливает: хитер и скрытен... Слово не молвит в простоте: трижды перевернет его в матерой голове, обдумает — скажет. Но никогда и не подумаешь, что он хитрит и нарочно тянет, кажется, кто не знает: такая манера. Манеру его Степан видел в бою: куда медлительность девается, вялость: как волк бьет. Воевать Степан учился у него. Но вот эта затаенность, скрытность — это Степан давно невзлюбил в крестном. Не раз схлестывались из-за этого. Степан недоумевал: «Как другой человек!.. Чего ты все скрытничаешь-то? Кого обманываешь-то?» Корней на это говорил негромко: «От тебя и скрытничаю. В тебе тоже два человека сидят: один дурак круглый, другой — добрый казак, умница. Я когда с тобой гутарю, я с дураком гутарю, но так, чтоб умный не подслушал. В каждом человеке по два человека сидят, не только в тебе; я желаю иметь дело с дураками. С умными — редко, по надобности». Степан не то что не умел возражать на это, неохота было возражать, но всякий раз эта мудрость Корнея злила его и удивляла.

Встретятся они так:

— Ну, здоров, кресник, — миролюбиво скажет Корней, а сам, пока подойдет вяло и скажет, успеет цепким взглядом оглядеть всего славного батюшку. — Как походил? Говорят, с удачей?

— С удачей.

— Слава богу!

— Чего на остров-то не приехал? — не выдержит и спросит Степан. — От кого крадисся-то? Уж и на Дону у себя не хозяин...

— Да ведь и ты чего-то не в городок, а свой выкопал... Чего бы тоже?

Разговор, в общем-то, не выйдет. Да он, если припомнить, никогда и не выходил у них — добрый-то, по душе-то... Корней ценил Разиных за воинство, за храбрость и преданность общему делу, но вовсе не уважал, даже побаивался — за строптивость, за гордость глупую, несусветную, за самовольство. Разины не были домовитыми, но и недостатка ни в чем не знали, так как были непременными участниками всех походов, часто из походов приходили с хорошей добычей, которую не копили. Степан родился, когда случился очередной поход, и походный атаман (тогда еще головщик) Корней Яковлев, из уважения к есаулу Тимофею Разе и чтоб быть с казаками покороче (казаки очень любили Разю), напросился к нему в кумовья — так породнились Разины с домовитым Корнеем. Строптивости и самовольства у Разиных от этого не убавилось, как, впрочем, и не прибавилось: Разя и сыновья его, Иван и подросший Степан, ревниво оберегали свою независимость, не важничали, слыли, особенно Иван, за башковитых казаков. Степан, довольно рано для своих лет, заставил говорить с собой знатного Корнея, войскового атамана, как с равным. Он и уважал многоопытного крестного отца, учился у него воинскому делу, но в рот не глядел, не пялил напоказ свою с ним близость, за что и Корней невольно проникся уважением к крестнику. Но в отношениях между ними всегда оставался холодок: один не мог поступиться своим высоким положением — снизойти до панибратства с оголтелым, удачливым Стенькой, другой — другому это высокое положение крестного отца как раз было в тягость. В последнее время, когда Корней повел дело к тому, чтобы чуть ли не выдавать беглых с Дона, они вовсе разошлись. Правда, Корней собрал и проводил крестника в Персию, но это было в интересах самого войскового. С Руси прибывало и прибывало беглых, — надо было, во-первых, отправить их побольше с кем угодно и куда угодно, хоть «за зипунами» со Стенькой; во-вторых, на какое-то время и сам Стенька исчезал с Дона: Корней

чувствовал себя лучше, сколько хотел юлил и изворачивался с этими беглыми, — надо, чтоб никто не подумал, что с Дона теперь есть выдача, то есть вроде и не выдавать, но и с царем и с боярством не хотелось портить отношений, то есть все же потихоньку выдавать. Корнею было трудно; теперь, с приходом Стеньки, будет много трудней. Знал Степан, что Корней очень встревожен его удачами, не знал только — не мог и подумать о том — радует он Корнея, что скликает всех неприкаянных и недовольных и куда-то их манит. Степан ждал, что Корней будет отговаривать его от войны, будет пугать...

— Худое затеваешь, Степан, — скажет, наверно, Корней, — страшное. Зачем тебе надо? Плохо тебе, что ли?

— А я тебе про свою затею не говорил, — заранее знал, как скажет Степан. — С чего ты взял?

— Вижу. Слышу. Казаков не распускаешь...

— А ну крымцы нападут? Или турки?.. Держу... не лежачего же татарам брать.

— Как же теперь, два войска держать?

— На ваше войско надежа худая. Никудышное войско. Вовсе не войско...

— Хитри-ишь, Стенька!.. Всегда было доброе, теперь — на, худое. Другое у тебя на уме: опять на Волгу метишь. На города, слыхал... Сломишь голову Степан, по-свойски тебе говорю, жалеючи. Поверь мне, старому: два раза судьбу не пытают...

— Да я, можеть, ни разу ишо не пытал ее...

— Батюшки мои!.. Как разохотился-то! Ну, спытай, спытай... глядишь, и наш теля волка слопает, можеть, угораздит, — у Корнея глаза глубокие, и глядит весело и ехидно... Тут где-нибудь заорет на него Степан, в недобрые его глаза:

— Дон продаешь!.. Собака! Сам продавайся с потрохами, а Дон я тебе не дам! Не для того здесь казачья кровушка лилась, не вами воля добыта, не вам ее продавать за царевы подарки! Вот тебе моя голова: отдашь ее с последним беглецом, но раньше ни одного с Дона не выдашь! Я сказал, а ты думай.

Думает Корней, сидя в Черкасске, конечно, думает. И давно уж додумался, как теперь вести дело: не мешать Стеньке в сборах, больше того, всяко зудить его на поход —

в этом спасение Дону. Тут Стеньку не одолеть, его одолеют там где-нибудь, под Царицыном, там одолеют насмерть. Но собирался он говорить со Стенькой именно так, как и догадывался Степан: всячески отговаривать от похода и грозить. На то он и был Корней, мудрый, матерый атаман, чтобы действовать верно: он знал, как подтолкнуть своевольного Стеньку на погибель.

16

Было еще одно утро. И одна ночь была, которую Степан потом нет-нет, а вспоминал, — странная ночь. Лунная, вся переполненная белым, негреющим светом... Но — позже.

Было утро. Была та короткая предрассветная пора, когда все вокруг — воздух, небо, земля, — все вспыхнет вдруг тихим синим светом, короткое время горит этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный, белый — рассвет. И вечером бывает такая пора — предсумеречная. Такой же короткий, драгоценный миг чистого свечения, когда все живое притихнет на земле и пережидает таинственную минуту. Хорошо и грустно.

Степан опять встал рано. Последние дни он совсем не пил, наладился поздно ложиться и рано вставать.

Сел перед высоким оконцем, засмотрелся в синий продолговатый квадратик.

Афонька тихо выскользнул из-под бараньего тулупа, которым укрывался на ночь, посидел на своем маленьком лежаке, зевнул и пошел к отчиму. Степан подвинулся на широком табурете, посадил мальчика рядом. Спросил тихо:

— Чего рано так?

— Поспал... Хватит. А ты?

— Смотри, — показал Степан, — сине. Это синяя птица слетела на землю, хвост распустила. Вот посидит маленько и улетит. А там и солнышко выйдет.

Афонька широко раскрытыми глазами смотрел в оконце... Даже привстал.

— Ой? — недоверчиво сказал он.

— Отчего же сине?

— А как зовут ее?

— Так и зовут — синяя птица.

— Обманываешь ты меня.

— Зачем же я тебя стану обманывать? Я сам ее люблю, птицу эту. Она птица не простая...

— А какая?

— Волшебная, — Степан оглянулся назад, на спящую Алену. Сбавил голос. — Прилетает она два раза на дню — утром и вечером. И вот тут надо не зевать... Надо, как она прилетела, распушила свой хвост, успеть надо сильно-сильно чего-нибудь захотеть. Захотел — и замри: больше чтоб никакие думы в голову не лезли. Как другая какая дума шевельнулась — пропало дело. Тогда жди вечера, когда она опять прилетит, тогда снова загадывай. Но опять — только одно что-нибудь. Сумеешь, пока она сидит, про одно думать — сбудется, не сумеешь — не сбудется. Сильно надо хотеть. Я, бывало, так хотел, что у меня руки-ноги сводило...

— А чего хотел?

— Ну... разное. А рассказала мне про эту птицу бабка моя. Она все знала. Хорошая была...

— Она померла?

— Померла. Здесь померла... а схоронили на ее родине — она просила перед смертью... Под Воронежем, в деревне. Отец возил да брат Иван. А я не поехал: не люблю хоронить.

— Сидит еще, — Афонька кивнул на оконце. — Птица-то.

— Сидит...

— Пойдем глянем?

Степан качнул головой:

— Ее не увидишь.

— Она же сидит!

— Сидит. А не увидишь... И не услышишь, как она улетит. Оглянешься, а ее уж нету — улетела. Вот, брат, какая птица. Чего бы ты хотел попросить у ей?

Афонька подумал... И сказал честно:

— Не знаю.

— Ну тогда лучше не проси. Вся-то трудность: и знаешь, чего хочешь, но обязательно подумаешь еще про чего-нибудь, про другое. А уж когда не знаешь-то!.. Лучше и не просить. Слушать не станет.

— Рази трудно про одно думать?

— Трудно. Опробуй как-нибудь. В этом все дело — трудно. Не знаю уж почему, а трудно.

За оконцем синева заметно разбавилась.

— Улетела? — спросил Афонька.

Степан кивнул головой.

Посидели немного в молчании.

— Пойдем на реку. Умоемся, — сказал Степан.

Потом был день. День прошел обычно, как шли теперь дни: окапывались, строились, рубили засеки, ковали оружие... За всем надо было приглядеть, где подсказать, где похвалить, где поругать.

На острове — будни.

А вечером Степан опять был у воды. Сидел возле кустов, на тропке, строгал ножом досточку.

Солнце садилось за рекой, за степью. Красное колесо коснулось ровной линии горизонта и как бы замерло... Сзади, в кустах, взбесились птицы — подняли такой свист, писк, такой начался шорох в кустах, что и не верилось, что это всего лишь крохотные живые комочки шныряют в кустах. «Что-то, наверно, для них это значит — когда солнышко садится, — подумал Степан. — Жалко, наверно».

Солнце медленно погружалось за степью — можно даже глазом заметить, как оно уходит все глубже, глубже. Невысокий обрыв того берега реки обозначился черным. Зато вся степь, от реки и до солнца, далекие курганы и близкий кустарничек, все высветилось ласковым желтым светом, как горенка, где горит мытый, скобленый и еще раз мытый сосновый пол. Глаз человеческий должен был отдохнуть после беспощадного дневного света, душа человеческая должна успокоиться от скверны малых дневных дел, разум должен породить мысль, что на земле на этой хорошо бы жить босиком, в просторной рубахе — шагать по ней и шагать из конца в конец, — своя она, мы же родились тут. И даже ложиться в нее не так уж страшно. Свет этот, мягкий, теплый, доступен, наверно, и покойным в земле.

Что-то такое — похожее — успел подумать Степан, заглядевшись на уходящее солнце. А уж легкая тень упала на степь. Курганы погасли и темными силуэтами стали в ночь часовыми. Река потемнела... Чувствовалось, как вода без натуги, не тревожа берегов, тихо двигает громаду свою по скользкому ложу. От воды веяло холодком.

Много ли времени так прошло, Степан забылся. Вдруг сбоку откуда-то в тишину и успокоенность молодой ночи грянул свет — обильный, мертвый. Несколько отодвинулся

тот берег, спина реки заблестела холодной сталью. И степь тоже тускло и далеко заблестела, и курганы отчужденно замаячили вдали... И неуютно сделалось на земле — голо как-то. И все случилось так скоро, просто — взошла луна. Черт ее знает, наверно, нужна она в небе, раз она есть, но нехороший, недобрый свет посылает она на землю.

Покой и тишина укутали было землю, а свет этот все потревожил: слышно стало, как всплескивают волны, в кустах беспрерывно кто-то возился, укладываясь спать, что ли, или кто-то не мог теперь заснуть, из-за этого нахального света... Мелкий, беспрерывный, нудный металлический звон доносился со степи и сзади, и с боков.

Степан с сожалением очнулся от забытья, стал невольно слушать шорохи, вздохи, звон. Потом он услышал легкие шаги по берегу... Кто-то шел сюда. На ходу кто-то задевал кусты, ветви чутко отзывались легким-легким стуком и шуршанием. Кто-то остановился, постоял и снова двинулся. Степан подумал, что это Афонька ищет его, но ближе понял, шаг не Афоньки — тяжелее. Но и не мужской. «Алена, — догадался Степан. — Потеряла. Дуреха...» И, как с ним бывало, ни с того ни с сего явилось озорное желание напугать. Он бесшумно соскользнул вниз, к воде, затаился.

Шаги зашелестели над самой головой... Степан громко, отчетливо сказал:

— Я вот пошляюсь ночами, пошляюсь.

Шаги оборвались... Алена тихо ойкнула, схватилась за грудь и попятилась назад.

— Кто эт?

— Не пужайся,— Степан полез наверх, на тропу. Хохотнул.

— Да ты что, Степан? — спросила обиженно Алена. Она все еще держала руки на груди. — С ума спятил? Ноги отнялись прямо...

— Садись, — пригласил Степан. И хлопнул рядом с собой ладонью. — Не татарин выскочил, не голову снял.

— Господи, господи... — все не могла прийти в себя Алена. — А я вижу — темнеет что-то у воды, думала — коряга.

— А чего вот вы, я заметил, — серьезно заговорил Степан, — как пужаетесь, так за титьки сразу хватаетесь? Даже голышом. Дороже всего вам это место, что ли? А?

Алена присела рядышком.

— Где эт ты так на голых-то нагляделся, что уж... все знаешь: чего они вперед прикрывают...

— Будет тебе, — миролюбиво сказал Степан.

— Вечно уколоть надо...

— Будет. Перестань, — Степан привлек к себе теплую родную Алену, подержал ее голову у своей груди: ревность еще не умерла в женщине. Зря он, конечно, вылетел с этими голыми: не надо сейчас досадовать друг на друга, неохота. — Куда шла-то?

— К тебе, — Алена отмякла. — Мне Афонька сказал, где вы завсегда сидите...

Степан устроил свою голову на колени жене, стал смотреть снизу на ее лицо и на далекие жирные звезды.

— Ну?.. А чего? Потеряла, что ль?

— Степа, — вдруг перешла на шепот Алена, — я вот седня тоже загадала желание... — она стала гладить теплой ладошкой его лицо. И хоть Степан обычно как-нибудь незаметно, чтоб не обидеть, высвобождался от этих поглаживаний, сейчас ему и этого неохота было делать — пусть гладит. — Дождалась вечером, когда слетит та птица, про какую ты Афоньке утром сказывал, и стала думать только одно...

— Чего же? Ты не спала утром-то?

— Нет, слышала. Задумала я так: давай мы с тобой счас прямо сплывем в Черкасск?

— Зачем? — Степан приподнял голову.

— Полегче челночек... до света там будем.

— Да зачем?

— Не знаю, Степа... Захотелось мне пройти с тобой по тем местам, где мы тогда хаживали. Днем-то тебе туда нету пути... — Алена сказала это с нескрываемой грустью. — Хоть ночью... Ночь-то вон какая! Степушка, милый, поедем, а? Шибко охота мне... Ублажи ты бабу глупую. Я, вишь, и разоделась вон... Ты не заметил.

Степан сел.

Правда, на Алене был дорогой наряд, только что не свадебный.

— Поедем? По улице нашей пройдем, возле дома постоим, возле ворот... Степушка...

Степан услышал в голосе жены нотку глубокую, искреннюю... Подивился, но не стал лезть в душу с расспросами, а только спросил:

— А загадала-то крепко?

— Ни... чтоб я про чего-нибудь другое подумала — ни капельки! Только сидела и думала: «По улице пройдем, у ворот постоим». Больше ничего, — Алена сказала это с силой, убежденно и с правдой неподдельной.

— Раз такое дело, поплыли! — легко согласился Степан. И вскочил. — Готова?

— Готова. И лодочку даже приметила...

— Где?

— Вон там. Славная лодочка... Легкая!

Через какие-нибудь пять минут легкая лодочка летела по реке вниз. Гребец сильно загребал, дробил веслами в золотую мелочь, в кружочки и завитки светлый след луны.

— Намахаюсь... — сказал Степан.

— Ничего! — ободрила Алена.

Еще некоторое время греб Степан. Потом бросил весла, прислушался. И сказал, довольный:

— А-а! Погодь, Алена... черт ими не махал.

И направил лодочку к степному берегу.

— Степа!.. — испугалась Алена.

— Дурную ты мыслю посоветовала мне, — сказал Степан. — И я тоже — согласился.

Лодочка ткнулась в берег. Степан выпрыгнул на сухое, сказал:

— Посиди пока, я скоро.

И исчез. С воды из-за берега не видно было, куда он пошел. Только через некоторое время услышала Алена его глуховатый, густой голос: «Трр, стой!» И поняла: коней ловит Степан. На острове коням не хватало корма, и казаки на ночь переплывали с ними на степной берег, и кони кормились там под присмотром двух-трех казаков. Но караульных казаков что-то не слышно было — не окликнули. Спят, наверно.

Скоро на берегу раздался дробный топот пары лошадей. Конские морды и голова Степана показались над обрывом.

— Вылазь. Задерни лодочку, чтоб не снесло.

Алена выпрыгнула из лодки, задернула ее подальше к обрыву, с трудом вскарабкалась на яр, невысокий, но отвесный.

Степан осматривал степь. Караульных не видно, огонька нигде нет.

— Спят, окаянные. Садись-ка... жди, я пробегу по берегу, — сказал Степан.

— Да кто тут, поди!.. — заикнулась было Алена, но Степан уже подстегнул своего коня и скакал вдоль берега назад.

Алена села на конскую теплую спину, подумала о наряде своем, но махнула рукой — дьявол с ним, с нарядом. Важно, что желание ее исполняется.

Степан отъехал довольно далеко, остановился, громко крикнул:

— Эгей!.. Кто тут?!

Никто ему не откликнулся. Только по воде, слышно, прокатилось: «у-у-у!»

Степан вернулся. Сердитый.

— Степа, да шут с имя, с караульными!.. — начала было Алена, но Степан не дал ей говорить.

— Хватит! — и, помолчав, отходчиво уже сказал: — Ну, едем или нет?

— Едем.

«Во разыгралась баба! — думал Степан, поглядывая сбоку на жену, Алена ладно сидела на коне, и если б не блестели под луной ее голые коленки, то и не сразу угадаешь: казак скачет или казачка. — До чего же разные они! Но — разные-то они разные, а у всех в башке — только любовь одна, больше — шаром покати — ничего».

Не знал Степан свою жену, плохо знал. Не только одна любовь была в голове у Алены. И любовь, конечно, но не одна только любовь. Не знал он, что Алена за день до этого посылала верного казака к Корнею Яковлеву, и тот передал ей с казаком же: «Пусть приезжают... Пусть она его как-нибудь зазовет ко мне, — можеть, и уговорим как-нибудь. Попробуем хоть».

Когда Алена уезжала к Степану в Кагальник, был у них с Корнеем разговор: все силы положить, а не допустить, чтобы голь донская, а особенно расейские головорезы подбили доброго атамана на грех и резню. Батюшку-атамана, заступника, ждали, не скрывали этого. И конечно, как он придет, говорили между собой Корней и Алена, первые к нему пробьются голодранцы, и уж они постараются — напоют в уши. Атаман добр до глупости, готов всех приветить, а они — рванина, сволочь — кинутся с жалобами.

— Наше, наше с тобой, Алена, первое дело — не допустить беды, — говорил Корней, вроде бы искренне озабоченный. — Перед богом и царем ответ держать будем, Аленушка. Ты к ему ближе всех, с тебя и спрос потом особый. Спрос, он ведь какой спрос: кровь прольется, а грех — на твою неповинную душу падет: могла удержать, а не удержала. Вот он и спрос весь. Для чего он казаков не хочет распускать? Чего задумал? Мир-то стоит до рати, а рать — до мира. Ох, Алена...

— Да как его удержать-то? Как? Иль ты не знаешь его? — вся трепетала Алена, пугалась.

— Знаю. А вот как удержать — не знаю. И посоветовать — не знаю как. Знаю только: быть беде. Для чего он войско не хочет распускать? На кого держит?.. Ты разузнай хоть это.

Но только прав был и Степан: жила в Алене огромная, всепожирающая любовь, и не будь ее, этой любви, никакому Корнею, будь он трижды опытный и хитрый, не подействовать бы на нее: Алена хотела удержать Степана возле себя, для себя, для счастливой, спокойной жизни. Ради этого она и не на такой сговор пошла бы. И когда сегодня решила она узвать Степана в Черкасск, то в ней правда родилось такое неодолимое желание: «Пройтись по улице, постоять у ворот». Желание это все росло и росло, и выросло в нетерпеливую страсть, она временами стала забывать, зачем везет мужа в Черкасск, к кому. К себе она везла его, к себе — к молодой, любящей. В ту давнюю дивную пору везла и его, и себя, когда она, вырученная с дитем из ненавистного плена, ждала у тех самых ворот, у вереи, своего спасителя и мужа, которого боготворила, целовала следы ног его. Ждала из похода или с пирушки, хмельного, ждала и обмирала от любви и страха — как бы с ним не приключилась беда какая. Дурной он в хмелю, а на походе о себе не думает. Туда везла его теперь Алена, в ту желанную пору: не забыл же он все на свете с этими походами проклятыми, с войной. А забыл, то пусть вспомнит. А Корней... Корней свое дело сделает — он умный. Так и надо: со всех сторон надо обложить неугомонного атамана, чтоб он, куда ни повернулся, везде бы видел: он любим, он в почете, в славе... Чего же еще? Он будет войсковым атаманом — кто еще? Он богат... Неужели давать голодранцам сбить его на путь дурной, гибельный.

Луна поднялась над степью и висела странно близко: у Степана раз-другой возникло тоже странное желание: повернуть к ней коня и скакать, скакать — до хрипа конского, до беспамятства — и хлестнуть ее плеткой, луну. Он засмеялся. Алена посмотрела на мужа:

— Чего ты, Степушка?

— Поглядеть на нас с тобой этой ночью со стороны — два ушкуйника: лодку бросили, взяли коней и при ночном солнышке — в городок, воровать. А ишо того смешней — баба научила-то!

— Своровала б я теперь одного человека, — серьезно сказала Алена. — Своровала да спрятала подальше... Вот бы своровала-то!

Степан не понял.

— Кого?

— Казака одного... Стеньку Разина.

* * *

В Черкасск прискакали к третьим петухам. Оставили коней за городком, на берегу.

— Ну? — спросил Степан. — Куда? — и сам, глядя на спящий, знакомый до боли, чужой теперь городок, ощутил редкое волнение. Жаль чего-то стало: не то времени прожитого, не то... Грустно как-то сделалось. — Пошли. Я лаз знаю — ни один черт не увидит и не услышит...

Зашли со степной стороны городка, там стена местами изрядно прохудилась, пролезли, где на животе, где на карачках, — очутились в городке. Алена вышла вперед и повела теперь сама: свернула налево, перешли низинку, сырую, заросшую лопухами, вышли на улицу... Дорога, пыль на дороге, тускло серебрилась под луной, нигде ни души. И даже собаки почему-то молчали.

— Куда ты? — спросил Степан.

— Шагай, — велела Алена.

Алена тоже испытывала щемящее чувство грусти, любви... И вела ее все та же любовь, за которую, она понимала, пришла пора вступиться, которую надо отбить любой ценой. Про Корнея она пока не думала; она думала, что сейчас они войдут в церковь и там... повенчаются.

Когда Степан отбил у татар Алену и сделал ее своей женой, повели дело к тому, чтоб венчаться. Но батюшка черкасский запротивился:

— Венчать не стану Она крещеная? Она же не помнит.

Алена не знала, была она крещеной или нет: в плен ее увезли маленькой. Попу со всех сторон говорили, что — как же иначе? — крещеная. Она же русская! Поп уперся: не буду венчать! Такой был упрямый поп.

— А ну-ка да некрещеная, тогда — грех, грех страшенный. Где хочете узнавайте: грех.

Мать Степана со слезами молила батюшку, Алена убивалась. Тимофей Разя тоже говорил с попом:

— Как же ты так — не поймешь: баба к своим попала, к русским, а ты... Она и так там намучилась, ее пригреть надо, а ты...

— Нет, — твердо стоял на своем поп.

— Ну, возьми да окрести, раз такое дело.

— Нельзя. Мы же не знаем, — можеть, они ее там в свою веру обернули.

— Она же говорит!..

— Ну, говорит!.. Охота у своих жить, вот и говорит. Она наговорит.

— Ну, змей ползучий, гляди! — в сердцах сказал тогда Степан попу. — Я те припомню.

Но поп тот помер, с новым разговор этот не затеяли — время прошло. И остались Алена со Степаном невенчанные. Но если Степан и вовсе забыл про это, а в последние годы у него вообще круто переменился взгляд на попов, то Алена все думала, что вот — не венчаны.

Подошли к церкви...

— Ну? — спросил Степан.

— Пойдем, — Алена шла впереди.

— Куда?

— Пойдем в церкву.

— Она ж закрыта!

— Там замок, он без ключа... Дерни покрепче, он откроется. Пойдем, Степа.

— Да зачем? — не понимал Степан, поднимаясь, однако, по ступеням к широким дверям церковным. — Чего там делать-то?

— Побожимся. Дадим клятву нерушимую перед Божьей Матерью, что никогда-никогда не забудем друг про дружку. Вечно будем любить и помнить... Степан, ты же согласился делать седня, как я прошу. Ради Христа, Степа...

«Блажит баба, — подумал Степан. — Шлея попала».

— Дергай, — велела Алена.

Степан без усилия разомкнул большой ржавый замок... Они вошли в церковь. Из верхних узких окон лился лунный свет, светлыми мечами рассекая темную, жутковатую пустоту храма. Один такой луч падал на иконостас, на икону Божьей Матери с Иисусом на руках. Алена вдруг подавленно вскрикнула и пала на колени перед высветленной иконой. Степан невольно вздрогнул от ее вскрика.

— Становись на колени, Степушка! — громким шепотом, сама не своя, заговорила Алена. — Светится, матушка! Вся светится. Говори за мной: матушка, царица небесная!.. Степа, стань на колени, ради Христа! Ради меня... Ради всех...

Степан опустился на колени, изумляясь, как неистово может заблажить баба.

— Говори: матушка, царица небесная...

— Я в уме буду.

— Не надо в уме. Говори за мной: матушка, царица небесная, как ты любишь своего дитятку, так и я буду...

— Алена! — воспротивился Степан. — Все клятвы эти у меня в голове. Я их знаю... Помню.

— Степа, говори... — Алена заплакала. — Как ты любишь своего дитятку, так я буду любить близких своих, никогда их не забуду...

— Я и так не забуду! — разозлился Степан. И встал. — Не реви! Кликуша какая-то... Чего ты седня?

— Поклянись, Степушка, поклянись, поклянись! Она нам поможет, матушка...

— Клянусь, — сказал Степан. — Чего с тобой делается-то?

— Не забуду родину свою, не забуду близких своих...

— Куда я, к туркам, что ль, побегу? Чего ты седня?

— Жену свою не забуду и не брошу. Не променяю ни на кого...

— Не променяю. Какой толк менять-то вас? Встань, не дури, Алена...

И тут чей-то голос, увеличенный пустотой церковной, громко спросил сзади:

— Это кто по ночам в церкви ходит?

Алена, в экстазе молитвенном, не узнала тот голос, шлепнулась от страха на четвереньки. Степан узнал — то был Корней Яковлев, крестный отец его. То ли он случайно — не спалось — увидел двери церкви раскрытыми (он жил напротив церкви, через площадь), то ли нарочно караулил редкого гостя... По голосу — не похоже, что со сна.

Степан поднял Алену с пола. Успокоил.

— Господи, матушки... — едва опомнилась Алена. — Чуть ума не решилась.

— Здоров, Степан! — приветствовал Корней Степана. — Чего же ночью-то, а не днем?

— А ночь вишь какая — светло...

— Ну, пойдем в гости?

— Нет, в гости я к тебе не ходок, — отрезал Степан. Не зло, впрочем, сказал, однако твердо. — Говорить хошь? Давай тут. Есть чего говорить-то?

— Э-э, мало ли! Столько время прошло...

— Степа, чего же зайти-то не хошь? — встряла Алена, сообразив, что теперь самый раз отговорить Степанушку от дурных мыслей.

— Помолчи! — велел ей Степан. Он стал догадываться, что свидание с Корнеем — подстроено. — Чего хотел спросить, кресный?

— Хотел спросить... Может, зайдешь все же? Чего мы здесь, как... — Корней хотел сказать «воры», но вовремя спохватился: Степана кое-кто как раз и величал «вором». — Как враги лютые, — досказал Корней. — Дом-то рядом. Да и твой дом — тут же. Хоть к тебе пойдем.

— Пойдем, Степушка, пойдем, — взмолилась Алена. Но ее не слышали, не до нее.

— Мой дом не тут, Корней...

— Где же? В Кагальнике?

— В чистом поле. Дом большой, крыша высокая... Жильцов много.

— Кого-кого — голи всегда хватало. Чем тут хвастаться...

— Чего спросить-то хотел?

— Спросить хотел... Больше устеречь хотел, чем спросить... Неладное затеваешь, Степан. Вижу. Но спраши-

вать — чего затеваешь — не стану. Не скажешь. Но три раза все же спрошу тебя. А ты ответь.

— Ну?

— Ты к царю послал станицу челом бить?

— Послал.

— Погоди, это не спрос, это я знаю. Больше знаю: помилует тебя царь...

— Снюхались? С царем-то... Небось посылал уж к ему?

— Нет, догадываюсь. Снюхаться мы с им всегда успеем — я служу ему, Степушка. И ты служишь... Ты его хлеб ешь.

— Ну. Дальше.

— Я становлюсь старый. Мне скоро дороже покой будет, чем знатность всякая. Кто войсковым станет? После меня.

— Найдете. Свято место пусто не бывает.

— Ты станешь. Хошь, так сделаем: я раньше время пошлю к царю... попрошу сложить с меня войскового...

— Ну-у, кресный! — искренне удивился Степан. — Что эт тебя так допекло? Атаманствуй на здоровье.

— То меня допекло, — не выдержал Корней отеческого тона, — что еслив ты, кобель, забунтуесся, то и нам всем головы не сносить. Вот то и допекло.

— Так и говори. А то — знатность ему надоела.

— Я отдам тебе, отдам все!.. Бери. Дай дожить спокойно. Дай голову в могилу с собой унесть. Жалко мне ее — на колу-то будет сушиться. Все тебе отдам!..

— Не хочу. Мне ничего от тебя не надо. А что надо — сам возьму. Только — не надо.

— Другое, что хотел спросить тебя...

— Спрашивай.

— Ты знаешь, еслив ты подымесся против воли царя, он нас хлебного припаса лишит. Весь Дон. Знаешь? Ты же на голод нас обрекешь... Он уж и теперь не шлет вон!

— Врешь! Лукавишь, старый. Вас он припаса не лишит. Он боится, как бы я тот хлеб не перехватил выше, оттого и не шлет вам пока. Я это не сделаю. Если хошь говорить по правде, говори, не лукавь. Не делай из меня недоумка.

— Недоумка из тебя никто не делает... Не сделать. Но не великим умом грешат, Степан, грешат волей. С недоумком я бы не разговаривал тут.

— Какой ишо спрос?

— Куда хошь ийти по весне?

— Этого я... не только тебе или царю, а самому господу богу не скажу. Все?

— Все. Ты знаешь, на што ты идешь?

— Знаю.

— Знаешь. Не маленький. Только не знаешь ты, что сгубишь все наши вольности донские... Не тобой тоже они добывались, не твоими голодранцами. Ты же, в угоду этим голодранцам, все прахом пустишь, за что отцы наши и твой отец, головы свои клали. Подумай сперва. Крепко подумай! Бежит с Руси мужик — ему хоть есть куда бежать, на Дон. Еслив он не душегубец прирожденный, не пропойца, мы завсегда его приветим, ты знаешь. Ты же сделаешь так, что мужику некуда будет голову приклонить. Лишат нас вольностей...

— То-то, я гляжу, приветили вы тут голодранцев-то! То-то приветили, приласкали — рожи воротите. На отцов наших не кивай — не тебе равняться с ими. Они-то как раз привечали. А вы — прихвостни царские стали. Мужика у тебя скоро из-под носа брать будут, вертать поместнику... Ты не увидишь. Ты пальцем не пошевелишь. А то и сам свяжешь да отвезешь. Ты весь жиром затек, кабан! — голос Степана окреп и зазвучал недобро, немирно. — Пришел отговаривать!.. Соблазнять пришел, как девку глупую, — гостинцев дам! Неужель ты верил, что у меня слюни потекут от твоих посулов? Да мне твое атаманство даром не надо! А про вольности... не моги даже вякать! А то я тебе на язык наступлю. Это их вон, — показал на Алену, — собьешь с толку... Сбил уж. Но я-то все же казак, кресный. Не дите же я малое. Я думал, ты пошире невод заведешь... Можеть, думаю, он куда-нибудь на калмык поманит, лиса... А он пужать явился. Дай дорогу! — Степан шагнул прямо на войскового. Тот посторонился.

Степан вышел из церкви и направился не к лазу, через какой они проникли в городок, а к воротам — на караульного.

— Кто?! — окликнули его сонно.

— Свои, — сказал Степан.

Над степью занималось утро.

17

В ту зиму к поверженному, но еще могучему патриарху Никону в Ферапонтов монастырь приходили донские казаки. Трое. Патриарх внимательно выслушал их... Велел потом накормить казаков, призвал монаха-писца и стал диктовать письмо царю:

— Ты — царь, ты не хочешь сломить гордыню свою. Не передо мной, перед богом-вседержителем. Ты забыл: он тебя возвысил к себе, но он тебя и низвергнет...

В палату заглянул черный дьякон Мардарей:

— Чего с казаками делать?

— Накормили?

— Накормили.

— Вывесть за ворота и отправить с богом. Никогда их тут не было, и никто их не видал. Всем скажи.

Мардарей исчез.

— Низвергнет, — подсказал писец. — Дальше?

— Истинно говорю тебе: учинится пир кровавый в твоем государстве, ибо некому просить бога. Твои же молитвы к нему не доходят. Страшный пир будет: человеки насытятся мясом человечьим. Ты же не хочешь, чтоб господь бог услыхал наши молитвы, уберег Русь... — Никон остановился за спиной писца, перечел, что тот успел записать... Потом протянул длинную сильную руку, взял письмо и смял в кулаке.

Он не послал то письмо царю. Раздумал.

— Жирно будет, — сказал. — Переживешь... Лупоглазый.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МСТИТЕСЬ, БРАТЬЯ!

1

Писали к великому государю.

Из Астрахани боярин и воевода князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами:

«Посылали де они из Астрахани на Дон до Черкасского казачья городка едисанского улусного татарина Юмашка Келимбетова тайным обычаем и велели ему про Стеньку Разина и про товарищев его разведать подлинно: в котором городке учнет он, Стенька, жить, и товарищи ево с ним ли, Стенькою, станут зимовать или от него пойдут врознь; и примут ли ево на Дону старшины или учнут писать к великому государю о указе, и какие меж ими ссылки будут. И декабря в 9 день татарин Юмашка, приехав в Астрахань, в распросе сказал: "Съехал де он Стеньку Разина с товарищи на Царицыне и жил с ним с неделю, а с Царицына де ехал он с ним, Стенькою, вместе до Пятиизбского казачья городка. И Стенька де с товарищи из Пятиизбского городка поехал вниз Доном рекою стругами и пришел де в Кагальницкий городок и жил в том городке 6 дней. И обыскал де он, Стенька, ниже того городка с версту остров, и на том острову зделали земляные избы... А ево де, Стенькины, казаки живут все вместе, и никово де он, Стенька, товарищев своих от себя не отпускает, держит их у себя в крепи"».

С Царицына воевода Андрей Унковский писал:

«Приезжали з Дону на Царицын донские казаки 2 человека и сказывали, что Стенька Разин с товарищи меж Кагальника

и Ведерникова зделали городок земляной. И послал де он, Стенька, в донской в Черкасской городок по жену свою да по брата своего Фролка з женою ж, а сам де он, Стенька, хочет ехать в войско не со многими людьми. А казаков де своих, которых тутошних прежних донских жильцов, отпускает в казачьи городки для свиданья родителей своих на срочные дни за крепкими поруками. А из запорожских де городов Черкасы и из донских городов казаки, которые голутвенные люди, к нему, Стеньке с товарищи, идут беспрестанно, а он де, Стенька, их осуждает и уговаривает всячески. А всех де казаков ныне у него 2700 человек, и приказывал он казакам беспрестанно, чтоб они были готовы. А какая у него мысль, про то и ево казаки немногие ведают, и никоторыми де мерами у них, воровских казаков, мысли доведатца не мочно. Да ему же де сказывали сотник стрелецкий Микита Урывков и иные служилые люди, которые были в калмыках, что на Дону и на Хопре во многих городах казаки, которые одинакие и голутвенные люди, Стеньке с товарыщи гораздо рады, что они пришли на Дон. И говорят казаки, что на весну одноличто Стенька Разин пойдет на воровство, и они де, донские и хоперские казаки, с ним пойдут многие. А которые де старожилые домовые казаки, те де о том гораздо тужат».

От царя и великого князя Алексея Михайловича писали:

«К атаманам и казакам и всему войску Донскому:

Ведомо великому государю учинилось, что Стенька Разин с товарыщи стоит в вашем казачьем верхнем городке Кагальнике. И которые де из наших великого государя украинных городов торговые всякие люди ездят к вам на Дон со всякими запасы, и тех де торговых людей он с теми запасы задерживает у себя, а в Нижней Черкасской городок к вам их не пропускает.

И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вам бы, атаманам и казакам, проведати всякими мерами: которые всяких чинов торговые люди ездят к вам на Дон из наших великого государя украинных городов со всякими запасы и с товаром, и им от Стеньки Разина нет ли какова утеснения, и с ворами ссылку о чем чинит ли и з Дона итти не помышляет ли. И как наше великого государя жалованье и хлебные запасы посланы будут к вам на Дон, порухи какие он,

Стенька, не учинит ли. Да что о том проведаете, и вам бы о том о всем отписать к нам, великому государю, подлинно вскоре з жильцом з Герасимом Евдокимовым, который послан к вам с сего нашего великого государя грамотою. А наше великого государя жалованье по вашему челобитью, деньги, и сукна, и зелье, и свинец, и хлебные запасы, и вино, послано к вам на Дон будет с станичники вашими без умоленья».

Воронежскому воеводе Василью Епифановичу Уварову писали:

«Ведомо нам, великому государю учинилось, что многие боярские и всяких чинов людей холопи, бегая с Москвы и из городов, приставают к донским станичникам и уходят разными дорогами на Дон.

И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а донские станичники учнут приезжать на Воронеж, и ты б велел у них боярских и всяких чинов людей холопей осматривать. И буде сверх их, донских казаков, объявитца беглые холопи или иные какие люди, и ты б у них тех людей велел имать и распрашивал накрепко, хто откуда бежал, и тех беглых людей у донских станичников велел имать и сажал в тюрьму и писал о том к нам, великому государю. Да и Воронежском уезде в наших великого государя дворцовых волостях и всяких чинов людей в селах и в деревнях велел заказ учинить крепкий: буде где какие люди объявятся без проезжих, конные и пешие, и тех бы людей отнюдь нигде не пропускали, а приводили бы их к тебе в съезжую избу. И ты б тех людей по тому ж, распрашивая, сажал в тюрьму и писал к нам, великому государю, а отписки велел подавать в Посольском приказе».

Наказная память жильцу Герасиму Евдокимову:

«А приехав на Дон к атаманам и казакам, велети про себя сказати, чтоб ему дали место, где ему постоять, и приказати к ним, атаманам и казакам, чтоб они были все в зборе. Да как они соберутся, и ему, Герасиму, итти к ним, атаманам и казакам, в круг и вслед в круг атаманам и казакам поклонитись рядовым поклоном.

А после того атаманов и казаков спросити о здоровье, а молыть: — Великий государь царь и великий князь Алексей Ми-

хайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и западных и северных отчич и дедич и наследник и государь и обладатель, велел вас, атаманов и казаков, спросити о здоровье; да после того подать атаманам и казакам великого государя грамоту.

Да ему же, Герасиму, будучи на Дону, проведати всякими мерами подлинно: где ныне Стенька Разин, и с ним атаманы и казаки в совете ль или не в совете, и ссылка меж ими есть ли; и к тому Стеньке казаки, к ево злому умыслу, на всякое воровство не приставают ли...

Да как ево, Герасима, з Дону отпустят, и ему, взяв у атаманов и казаков отписку, ехать к Москве наскоро. А едучи ему дорогою на Дон и з Дону назад, от Стеньки Разина быть опасну, чтоб ево на дороге великого государя с грамотою где у себя не задержали.

А приехав к Москве, явитись ему и атаманов и казаков отписку подать в Посольском приказе».

2

Между тем пришла желанная весна...

Шумит в Черкасске казачий круг: выбирается станица в Москву с жильцом Герасимом Евдокимовым. В Москву собрался жилец, домой... А теперь допивал чаи и меды в атаманском доме.

И тут в круг вошел Степан Тимофеевич Разин. Это был гость нежданный. Явился он раньше своего войска, которое сплывало стругами вниз по Дону в Черкасск.

— Куда станицу выбираете? — спросил Степан громко, резко.

— Отпускаем с жильцом Герасимом к великому государю, — отвечал Корней, явно растерявшись при виде грозного своего крестника.

— От кого он приехал?

— От государя...

— Позвать суда Герасима! — велел Степан. — Счас узнаете, от кого он приехал, — и, оглядев притихших казаков черкасских, повысил голос: — Всех проходимцев боярских стали примать?!

Герасима уже волокли голутвенные... Жилец перетрусил и заметно утратил начальный вид.

— От кого ты приехал, сучий сын: от государя али от бояр? — спросил его Степан.

— Приехал я от великого государя Алексея Михайловича с его государевою грамотой, — отвечал Герасим торопливо и сунулся за пазуху, достал цветастую грамоту. — Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец и многих государств и земель восточных и северных отчич и дедич наследник и государь и обладатель, велел всех вас, атаманов и казаков, спросить о здоровье...

— Врешь! — загремел Степан. — Не от царя ты приехал, а лазутчиком к нам!

— Да вот же грамота-то!.. За печатями...

— От бояр ты приехал, пес! — Степан подступил к жильцу, выхватил у него грамоту, разодрал, бросил под ноги себе, втоптал в грязь. И еще харкнул на нее.

Круг удивленно загудел: такого в Черкасске не бывало.

Жилец вдруг почувствовал прилив посольской храбрости.

— Как ты смел, разбойник!..

Степан развернулся и дал послу по морде; тот отлетел в ноги к разинцам, которые вышли теперь вперед, оттеснив домовитых. Голутвенные взяли жильца в пиночья.

— В воду его! — крикнул Степан.

Корней кинулся было защищать Герасима, но его отбросили прочь. Посла поволокли к Дону.

— Степан, что ты делаешь?! — закричал Корней. — Останови!..

— И ты того захотел?! Гляди!

— Я велю тебе! — попытался подействовать Корней угрозой. — Кто тут войсковой атаман? Ты или я?! Останови их!

— Владей своим войском, коли ты атаман, а я буду своим. В воду жильца!

— Степан... сынок... головы всем поснесут, что ты делаешь! Останови! — просил Корней: за кого, за кого, а за жильца-то в Москве спросят, и не со Стеньки же спросят!

Степан двинулся прочь с круга.

— Степка, ведь это — война! Ты понимаешь, дурак? — крикнул вслед ему Корней.

— Война, кресный. Война, — ответил Степан.

Жильцу Евдокимову связали руки, наклали за пазуху камней, раскачали и кинули в воду. Жилец громко кричал — грозил карой небесной. Грозил царем...

Степан появился на берегу.

— Не нашли Фролку? — спросил он окружавших его казаков.

— Нет, схоронился. Или уехал куда. Нигде нету

— Пускай передадут ему, — говорил на ходу Степан, — вылазь, мол, Фролка, ишо раз отпускает тебе вины твои атаман. Пускай вылезет, не трону. Вон наши гребут... Скажите: круг будет. Корнея и старшину продажную гнать. Наш будет круг!

Степан с братом Фролом, в окружении есаулов и сотников, вышел к тому месту Дона, где приставала его флотилия во главе с Иваном Черноярцем.

Подгреб к берегу головной струг... Иван выпрыгнул и пошел навстречу атаману.

— Как пришли? — спросил Степан.

— Бог миловал — все в добром здравии. Всех, с ногаями, — три тыщи и семьсот, — Иван выглядел празднично: дождался похода.

— Добре. Из стружков не выгружайся... Выволоки, какие текут, просмолите. Сгони всех плотников Черкасскова — делайте новые, сколь успеете.

— Корнея видал?

— Видал. Скажи казакам, круг будет. Мои как?

— Вон, — показал Иван, — все в целости.

С одного из причаливших стругов сходили бабка Матрена и Алена с Афонькой.

— Позвать?

— Потом. Пускай домой идут. Пошли на круг. Иван, Федор, идите-ка ко мне, погутарим.

Перед каждым кругом Степан говорил с «башковитыми» — первыми своими помощниками: атаман не то что наказывал, как надо им говорить на кругу, но и не скрывал, чего он ждет от круга, какого решения, — советовал, куда гнуть.

Собрался круг голутвенных. Ни Корнея Яковлева, ни старшины, ни домовитых здесь нет. Только — свои.

Степан, дождавшись теплых дней, двинул события; он понимал: силу, какую он теперь собрал, надо устремить, застой и промедление пагубны для дела и его атаманства.

Степан опять сидел несколько в стороне, на бугре.

В круг вышел Иван Черноярец.

— Казаки! Пришла пора выступать нам. Куда? Моя дума: под Азов! Попытаем ишо раз... Как?! Любо?! — так уговорились с атаманом: объявить на выбор все возможные пути. — Азов, ребяты?!. — еще крикнул Черноярец. И даже зачем-то рукой показал в сторону Азова.

Круг промолчал. Черноярец — это еще не «башка».

Иван отошел в сторону, к Степану. Степан мельком глянул на него и опять принялся постегивать плеткой сапог. Он слушал круг.

Вышел Федор Сукнин.

— Моя дума: на калмык! — громко сказал он.

Круг молчал.

— На калмык, браты! — еще раз призвал Федор.

И опять круг ответил молчанием. Федор тоже судьбу войска за хохолок не держит.

Федор удалился, не выказав огорчения.

Смотрели на Степана. Вот в чьей руке судьба...

— Батька, какая твоя дума?! — крикнули. — Скажи!

Степан медлил. Степану надо накалить обстановку.

— Скажи, батька! — орали. — Больше никого слухать не станем! Скажи сам!..

Степан поднялся на бугре. Помолчал... Оглядел всех.

— Дума моя: пора нам повидаться с бояры! — сказал он крепко и просто. Помолчал, оглядел всех и еще сказал: — А?

— Любо!! — ухнул круг. Ждали этого.

— Постоять бы нам теперь всем и изменников на Руси повывесть, и черным людям дать волю!

— Любо, батька! — радостно ревела громада. Давно ждали этого: всю зиму потихоньку глодали эти мысли — про изменников бояр, теперь орали открыто, потому и радовались.

— Как ийтить? — спросил Степан.

Тут начался разнобой. Это кровно касалось всех тут.

— Волгой! — кричали донцы. — Дорога знамая!

— Доном! Прямиком, мимо Танбова! — звали пришлые. Нам эта дорога тоже знамая.

Шум поднялся невообразимый. Там и здесь поталкивали уже друг друга в грудки. Это вопрос коренной — как идти. Как идти, так и воевать, донцы, кто поумнее, понимали это; беглые мужики хороши в родных своих местах, там один драный молодец будет стоить трех: там он и счет короткий сведет с боярином, и дорогу покажет верную, и с собой подговорит не дружка, так кума, не кума, так свояка... Донцам же дорога Волга, и Степану тоже, но надо теперь перекричать пришлых, не одни они теперь.

— Мимо Танбова — мы там весь хлеб по селам пожрем! Чем Дон питаться будет? Откуда привезут?! У нас тут детишки остаются, — надрывался казак, обращаясь к пришлым.

— Зато — наша родная дорога! — стояли пришлые.

— Нам Волга такая же родная!

— Кто к нам на Волге пристанет?! Мордва косопузая?!

— Хошь и мордва! Не люди, што ль? Не одна мордва, а и татарин, и калмык пристанет! — гнули свое казаки.

— А чего с имя делать?! — орали пришлые.

— А с тобой чего делать? Ты сам гол как сокол пришел. Тебя приняли?! А ты теперь рожу от мордвы воротишь! На Волгу, братцы! Там — раздолье!

— Пойдем пока до Паншина. Там ишо разок сгадаем, — сказал Степан. — Туда Васька Ус посулился прийтить. Вместях сгадаем. Все.

В круг протиснулись посыльные от городка Черкасска во главе с попом. Люди все пожилые, степенные. Стеньку знали, знали щедрость его.

— До тебя, атаман.

— Ну?

— Покарал нас господь бог, — начал поп, — погорели храмы наши... Видишь?

— Вижу, — сказал Степан.

— Ты богат теперя... на богомолье в Соловки к Зосиме ходил...

Степан нахмурился:

— Ну? Дальше?

— Дай на храмы.

— Шиш! — резко сказал Степан. — Кто Москве на казаков наушничает?! Кто перед боярами стелится?! Вы, кабаны жирные! Вы рожи наедаете на царевых подачках! Сгинь с глаз, жеребец! Лучше свиньям бросить, чем вам отдать! Пер-

вые доносить на меня поползете... Небось уж послали, змеи склизкие. Знаю вас, попов... У царя просите. А то — на меня же ему жалитесь и у меня же на храмы просите. Прочь с глаз долой!

Поп не ждал такого.

— Охальник! Курвин сын! Я по-христиански к тебе...

— Лизоблюд царский, у меня вспоможенья просишь, а выйди неудача у нас — первый проклинать кинешься. Тоже по-христиански?

Вперед вышел пожилой казак из домовитых:

— Степан... вот я не поп, а тоже прошу: помоги церквы возвесть. Как же православным без их?

— А для чего церквы? Венчать, что ли? Да не все ли равно: пусть станут парой возле ракитова куста, попляшут — вот и повенчались. Я так венчался, а живу же — громом не убило.

— Нехристь! — воскликнул поп гневно. — Уж не твоим ли богомерзким наущением церквы-то погорели?

Степан вперился в попа:

— Сгинь с глаз, сказал! А то счас у меня хлебнешь водицы!.. Захребетник вонючий. По-христиански он... Ну-ка, скажи мне по-христиански: за что Никона на Москве свалили? Не за то ли, что хотел укорот навести боярству? А?

Поп ничего не сказал на это, повернулся и ушел.

* * *

— Всех, всех разнес, — выговаривала бабка Матрена крестнику. — Ну, Корнея — ляд с им, обойдется. А жильца-то зачем в воду посадил? Попа-то зачем бесчестил?..

— Всех их с Дона вышибу, — без всякой угрозы, устало пообещал Степан. Он на короткое время остался без людей, дома.

— Страшно, Степан, — сказала Алена. — Что же будет-то?

— Воля.

— Убивать, что ли, за волю эту проклятую?

— Убивать. Без крови ее не дают. Не я так завел, нечего и всех упокойников на меня вешать. Много будет. Дай вина, Алена.

— Оттого и пьешь-то — совесть мучает, — с сердцем сказала набожная Алена. — Говорят люди-то: замучает чужая кровь. Вот она и мучает тебя. Мучает!

— Цыть!.. Баба. Не лезь, куда не зовут. Бояр небось не мучает... Ишо раз говорю: не зовут — не лезь.

— Зовут! Как зовут-то! — Алена взбунтовалась. Здесь, в Черкасске, ее подогрели. — Проходу от людей нет! Говорят: на чужбине неверных бил и дома своих же, христьян, бьет. Какую тебе ишо волю надо?! Ты и так вольный...

В другое время Степан отпугнул бы жену окриком, может, жогнул бы разок сгоряча плеткой, которую постоянно носил на руке и забывал иногда снять дома. Но — чувствовал: забудь люди страх, многие бы заговорили, как Алена. А то и обидней — умнее. Это удивляло Степана, злило... И он заговорил, стараясь хранить спокойствие:

— Я — вольный казак... Но куда я деваю свои вольные глаза, чтоб не видеть голодных и раздетых, бездомных... Их на Руси — пруд пруди. Я, можеть, жалость потерял, но совесть-то я не потерял! Не уронил я ее с коня в чистом поле!.. Жалко?! В гробину их!.. — Степан побелел, до хруста в пальцах сжал рукоять плетки. — Сгинь с глаз, дура!

Алена пошла было, но Степан вскочил, загородил ей дорогу, близко наклонился к ее лицу:

— А им не жалко!.. Брата Ивана... твари подколодные... — спазма сдавила Степану горло; на глазах показались слезы. Но он говорил: — Где же у их-то жалость? Где? Они мне рот землей забили, чтоб я не докричался до ее, до ихней жалости. Чтоб у меня даже крик или молитва какая из горла не вышла — не хочут они тревожить свою совесть. Нет уж, оставили живого — пускай на себя и пеняют. Не буду я теперь проклинать зря. И молиться не буду — казнить буду! Иди послушай, чего пришлые про бояр говорят: скоты! Хуже скотов! Только человечьего мяса не едят. А кровь пьют. А попы... Тьфу! Благостники! Скоты!.. Кого же вы тут за кровь-то совестите? Кого-о?!

Матрена налила в чашу вина, подала Степану:

— Остынь, ради бога, остынь... ажник помушнел.

Степан выпил всю, вытер усы, сел. Долго молчал, потом опять заговорил — тихо, устало:

— Бесстыдники-то вы: дармоедами беглецов обзываете... Я знаю, кто тебе поет в уши... Своих, говорят? Нет, не свои

они мне. Мне — кто обижен, тот свой. Змеи брюхатые мне не свои. Умел бы я как-нибудь ишо с имя говорить — говорил бы. Не умею. Осталось — рубить. Рубить умею. Попытайте вы, богомольцы, своими молитвами укорот им навести! А они скоро всю Русь сожрут! Попытайте, а я погляжу, как они от ваших молитв добрыми сделаются. Плевать они хотели на ваши молитвы!

Степан замолчал. Налил еще вина, выпил, опустил голову на руки, закрыл глаза... Уставал он от таких разговоров очень. Избегал их всячески, но они случались.

Женщины оставили его одного.

Но только они вышли, нагрянули гости: Иван Черноярец, Федор Сукнин... А с ними — Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, все семеро, что ходили в Москву к царю бить челом в Кремле за вины казачьи. Только теперь, увидев их, живых-здоровых, понял Степан, как дороги они ему, верные его товарищи, и как глупо, что он отпустил их в Москву: могли там остаться гнить заживо в царевых подвалах, а то и вовсе сгинуть.

— Тю! — воскликнул Степан радостно. — Ото — гости так гости! Хорошие вы мои...

Вся станица перецеловалась с атаманом.

— Ото гостеньки!.. — повторял Степан. — Да как же? Когда вы? — он был рад без ума. Чуть не плакал от радости. Все время, пока Ларьки с товарищами не было, болела совесть: зря послал в Москву. — Откуда теперь-то?

— А прямо с дороги.

— Алена! — стол: гулять будем. Где она? — суетился Степан. — Ну, ребятушки!.. Радый я за вас. Слава те господи! А видали войско?.. А? — Степан засмеялся. — Закачается мир! Садитесь, садитесь...

Алена вошла, с неудовольствием посмотрела на ораву и принялась накрывать на стол. Опять — гульба.

— Что царь, жив-здоров? Отпустил вас?.. Или как? — расспрашивал Степан.

— Нас с караулом в Астрахань везли, а мы по путе ушли. Зачем нам, думаем, в Астрахань-то?.. Батька на Дону теперь.

— Охрана как же?

— Коней, оружью у их отняли, а их пешком пустили... — Ларька тоже улыбался, довольный.

— Славно. Что ж царь? Видали его?

— Нет, с боярами в приказе погутарили...

— Не ждут нас на Москву?

— Нет. Они тада не знали толком, где мы есть-то — на Дону или на Волге...

— Добре, пускай пока чешутся. Завтра выступим. А эт кто же? — Степан увидел Федьку Шелудяка.

— Федор... По путе с нами увязался. Бывалый человек, на Москве, в приказе, бича пробовал.

— Из каких? — спросил Степан, приглядываясь к поджарому, смуглому Федьке.

— Калмык. Крещеный, — сказал Федька.

— Каково дерут на Москве?

— Славно дерут! Спомнишь — на душе хорошо. Умеют.

— За что же?

— Погуляли с ребятами... Поместника своего в Волгу посадили. Долго в бегах были. А на Москве, с пытки, за поместника не признался. Беглый, сказал. А родство соврал...

— Как же это вы? И не жалко вам его, поместника-то?

У Шелудяка глаза округлились от удивления: он слышал про Стеньку Разина совсем другое — что тот тоже не жалует поместников.

Степан засмеялся, засмеялись и есаулы.

— Алена, как у тебя? — спросил Степан.

— Садитесь.

* * *

Крепко спит хмельной атаман. И не чует, как хлопочут над ним два родных человека: крестная мать и жена.

Алена, положив на колени руки, глядит не наглядится на такого близкого ей и далекого, родного, любимого и страшного человека.

Матрена привычно готовится творить заговор.

— Господи, господи, — вздохнула Алена. — И люблю его, и боюся. Страшный он.

— Будя тебе, глупая! Какой он страшный — казак и казак.

— Про што думает?.. Никогда не знала.

— Нечего и знать нам... — Матрена склонилась над Степаном, зашептала скороговоркой: — Заговариваю я свово

ненаглядного дитятку Степана, над чашею брачною, над свежею водою, над платом венчальным, над свечою обручальною, — провела несколько раз влажной ладонью по лбу Степана; тот пошевелился, но не проснулся. — Умываю я своего дитятку во чистое личико, утираю платом венчальным его уста сахарные, очи ясные, чело думное, ланиты красные... — отерла платком лицо. Степан опять не проснулся.

— Погинет он, чует мое сердце, — с ужасом сказала Алена.

— Цыть! — строго сказала Матрена. — Освечаю свечою обручальною его становой кафтан, его шапку соболиную, его подпоясь узорчатую, его сапожки сафьяновые, его кудри русые, его лицо молодецкое, его поступь борзую...

Алена тихонько заплакала. Матрена глянула на нее, покачала головой и продолжала:

— Будь ты, мое дитятко, цел, невредим: от силы вражьей, от пищали, от стрел, от борца, от кулачнова бойца, от ратоборца, от дерева русскова и заморскова, от полена длиннова, недлиннова, четвертиннова, от бабьих зарок, от хитрой немочи, от железа, от уклада, от меди красной, зеленой, от серебра, от золота, от птичьева пера, от неверных людей: ногайских, немецких, мордвы, татар, башкирцев, калмык, бухарцев, турченинов, якутов, черемисов, вотяков, китайских людей.

Бойцам тебя не одолеть, ратным оружием не побивать, рогатиною и копьем не колоть, топором и бердышом не сечь, обухом тебя бить не убить, ножом не уязвить, старожилым людям в обман не вводить; молодым парням ничем не вредить, а быть тебе перед ними соколом, а им — дроздами.

А будь ты, мое дитятко, моим словом крепким — в нощи и в полуночи, в часу и в получасье, в пути и дороженьке, во сне и наяву — сбережен от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопленья, укрыт в огне от сгоренья.

А придет час твой смертный, и ты вспомяни, мое дитятко, про нашу любовь ласковую, про наш хлеб-соль роскошный, обернись на родину славную, ударь ей челом седмерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.

Заговариваю я, раба, Степана Тимофеича, ратного человека, на войну идущего, этим моим крепким заговором. Чур, слову конец, моему делу венец.

Алена упала головой на подушку, завыла в голос:

— Ох, да не отдала б я его, не пустила б...

— Поплачь, поплачь, — посоветовала Матрена, — зато легше будет. Шибко только не ори — пускай поспит.

— Ох, да на кого же ты нас покидаешь-то?.. Да и что же тебе не живется дома-то? Да и уж так уж горько ли тебе с нами? Да родимый ты мо-ой!.. — с болью неподдельной выла Алена.

Степан поднял голову, некоторое время тупо смотрел на жену... Сообразил, что это прощаются с ним.

— Ну, мать твою... Отпевают уж, — сказал недовольно.

Уронил голову, попросил:

— Перестань.

3

Шли стругами вверх по Дону. И конники — берегом.

Всех обуяла хмельная радость. Безгранична была вера в новый поход, в счастье атамана, в удачу его.

Весна работала на земле. Могучая, веселая сила ее сулила скорое тепло, жизнь.

Степан ехал берегом.

В последние дни он приблизил к себе Федьку Шелудяка. Нравился ему этот, совершенно лишенный страха и совести выкрест, калмык родом, отпетая голова, ночной работничек. Был он и правда редкий человек — по изворотливости, изобретательности ума, необыкновенной выносливости и терпению.

Федька ехал рядом со Степаном, дремал в седле: накануне крепко выпили, он не проспался. Опохмелиться атаман никому не дал. И сам тоже не опохмелился.

Степан чуть приотстал... И вдруг со всей силой огрел Федькиного коня плетью. Конь прыгнул, Федька чудом усидел в седле, как, скажи, прирос к коню, только голова болтанулась.

Степан засмеялся. Похвалил:

— Молодец.

— Э-э, батька!.. Меня с седла да с бабы только смерть сташшит, — похвалился Федька.

— Ну? — не поверил Степан.

— Ей-богу!

— А хошь, вышибу? На спор...

— Хочу. Поспать. Дай поспать, потом вышибешь.

Степан опять засмеялся, покачал головой:

— Иди в стружок отоспись.

Федька подстегнул коня и поскакал, веселый, к берегу.

Сзади атамана тронул подъехавший казак, сказал негромко:

— Батька, там беда у нас...

— Что? — встрепенулся Степан; улыбку его как ветром сдуло.

— Иван Черноярец казака срубил.

— Как? — Степан ошалело смотрел на казака, не мог понять.

— Совсем — напрочь, голова отлетела.

Степан резко дернул повод, разворачивая коня... Но увидел, что сам Иван едет к нему в окружении сотников и казаков. Вид у Ивана убитый.

Степан подождал, когда они подъедут, сказал коротко:

— Ехай за мной, — подстегнул коня и поскакал в степь, в сторону от войска.

Иван поспевал за ним. Молчали.

Далеко отъехали... Степан осадил коня, подождал Ивана.

— Как вышло? — сразу спросил он есаула.

— Пьяные они... Полезли друг на дружку, до сабель дошло. Я унять хотел, он — на меня... Казак-то добрый, — Иван зачем-то глянул на свою правую руку, точно боялся увидеть на ней кровь казака.

— Кто?

— Макар Заика, хоперец.

— Ну?

— Ну и рубнул... Сам не знаю, как вышло. Не хотел, — Иван хмурился, не мог поднять головы.

Степан помолчал.

— А чего такой весь? — вдруг остервенело спросил он.

— Какой? — не понял Иван.

— Тебе не есаулом счас с таким видом, а назем выгребать из стайки! Впору слезьми реветь!..

— Жаль казака... Не хотел ведь. Чего ж мне, веселиться теперь?

— Ты эту жаль позабудь! Рубнул — рубнул, ну и все. А сопли распускать перед войском — это я тебе не дам. Ты — вож! Случись завтре: достанет меня стрелец какой-нибудь, кто все в руки возьмет? Кто, еслив есаулы мои хуже курей снулых? Надо про это думать или нет? Жалко? Ночь придет — пожалей. Один.

Помолчали.

— И мне жалко. В другое время я б тебя живого вместе с убитым закопал, — досказал Степан. — За казака.

Иван вздохнул:

— В другое время... В другое время я б сам поостерегся с саблей — черт подтолкнул. Казак-то добрый... я его знал хорошо. А тут как збесился: глаза красные, никого не видит... ажник жуть берет. Я уж с им и так и эдак — не слышит ничего и не видит. Ну, вот... и вышло.

— Вперед за пьянством гляди хорошенько. Ни капли, ни росинки маковой на походе! Ехай с глаз долой и не показывайся такой. И казакам не кажись. Очухайся один где-нибудь.

Иван поскакал назад, Степан — в голову конницы.

Обеспокоенные событием, его ждали Федор Сукнин, Ларька, Стырь, дед Любим. Убийство воина-казака своим же казаком — дело редкостное. Боялись за Ивана: если же атаман некстати припомнит войсковой закон, есаул может поплатиться за казака головой. Случалось, хоронили в одной могиле обоих казаков — убитого и убийцу его, живого, при этом вовсе не разбирались, почему и как случилось убийство.

Степан налетел на есаулов:

— Был приказ: на походе в рот не брать?! Был или не был?

— Был, — откликнулся за всех Федор.

— Куда смотрите?! До дури уж допиваются!..

Молчание.

— Ивана не виню, рубнул верно. Вперед сам рубить буду и вам велю. Всем скажите! Пускай на себя пеняют.

Есаулы украдкой облегченно вздохнули — пронесло с Иваном.

— Макара схоронить по чести, — велел атаман. — И крест поставить.

* * *

На виду Паншина городка стали лагерем. Стояли двое суток, поджидая, когда подойдет со своими Чертоус; уговорились через посыльных встретиться здесь.

На третий день к вечеру на горизонте показались конные Васьки Уса.

Василий Родионович Ус (Чертоус) был к тому времени пожилым, понаторевшим военачальником, прошел две войны, поход под Москву... Поход был, правда, неудачный и горький — от Москвы казаки бежали, бросая по дороге приставших к ним мужиков, но неудача не сломила Василия, не остудила его страсть к войне и походам. Был он еще силен, горд, московский поход забыл.

Степану сказали про конных. Он вышел из шатра, тоже смотрел из-под руки. Он, пожалуй, волновался: охота было склонить славного Ваську с собой.

— Кто больше у его? — спросил у казаков.

— Больше из Вышнева Чира, — стал пояснять казак, ездивший нарочным к Василию, — голутьба. Запорожцы есть — с войны с им...

— Ты ездил к нему? — спросил Степан казака.

— Я.

— Как он?

— Ничо... Погляжу, говорит. Что, мол, за атаман, погляжу.

— Казаков принять хорошо, — велел Степан. И замолчал. Ждал. Должно свершиться важное: Ус поставит под верховную команду Разина свои казачьи отряды. Или — не поставит: Ус казак силен, молва про него на Дону добрая... Степан его не знал (дом Уса в Раздорах, да и там он бывает раз в год по обещанию — вечно в походах); его хорошо знал Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степану про Василия. Сергей же сказал, что Ус — казак вовсе не глупый, но быковатый: заупрямится — с места не сдвинешь, но если изловчиться и захомутать его, — будет пахать.

Василий подъехал к группе Степана, остановился... Некоторое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал казаков.

— Здорово, казаки-атаманы!

— Здорово! — ответили разинцы.

— Кто ж Стенька-то из вас?

Степан смолчал. Повернулся, пошел в шатер. Через некоторое время от него вышел Стырь и торжественно объявил:

— Атаман просит зайтить!

Василий, несколько огорошенный таким приемом, спешился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один человек, не казачьего вида. Казаки — разинцы и пришлые, Уса, — молча смотрели на шатер: никто не ждал, что славные атаманы повстречаются так... странно.

— Чтой-то неласково ты меня стречаешь, — сказал Василий с усмешкой. — Аль видом я не вышел? Аль обиделся, что сразу в тебе атамана не узнал? Ты-то знаешь ли меня?

— Я тебя знаю, — успокоил Степан честолюбивого Уса, внимательно к нему приглядываясь. — Кто тебя не знает!

Поздоровались за руки.

— Сидай, — пригласил Степан.

— Дак мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, парень...

— Сказать, чтоб на постой разбивались. Эка, смутился!

Василий выглянул из шатра... И вернулся.

— Они у меня умные — сами сметили. Ты чего такой, Степушка? А?

— Какой?

— Какой-то — все приглядываисся ко мне... А слава шумит, что ты простецкий, погулять любишь... Врут? Тебе годов-то сколь?

— Сколь есть, все мои. Это кто? — Степан посмотрел на товарища Уса.

— Это мой думный дьяк, Матвей Иванов. Из мужиков... Башка! Завсегда при мне... Я его зову — думный дьяк.

— Пускай он пока там подумает, — Степан кивнул. — За шатром. Один. А мы погутарим...

— Я не помешаю, — скромно, с каким-то неожиданным внутренним достоинством сказал Матвей. Был он, в сравнении со своим атаманом, далеко не богатырского вида, среднего роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя внимание глаза — умные, все понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг засмотрелся в эти глаза...

— Свой человек, — сказал Ус. — Говори при ем смело.

— Добре, нам таких надо. Дай-ка нам с атаманом погутарить, — настоял Степан. — Выйди.

Матвей вышел.

— Слыхал, чего я надумал? — прямо спросил Степан.

— Слыхал, — не сразу ответил Ус. — На Москву йтить? Слыхал. Могу дорогу показать... Передний заднему дорога.

— Это по какой ты бежал-то? Плохая дорога. Мы другую найдем — надежней.

— Лихой атаман! — с притворным восхищением воскликнул Ус. — Уж и побегать не даст. А меня дед учил: не умеешь бегать, не ходи на войну. Бывает, Степа. Что горяч ты — это хорошо, а вот еслив горяч, да с дуринкой, — это плохо. Не ходи тада на Москву — там таких с колокольни вниз головой спускают.

Степан улыбнулся криво и недобро.

— Крепко тебя там припужнули...

— Что ты! Шибко уж колокольня-то та высокая. Не видал?

— Видал. Высокая.

— Какую ж ты дорогу себе выбрал? — спросил Ус. — Или — наугад, по-вятски?

— Это как же — по-вятски? — не понял Степан.

— Наугад! И говорится — наугад.

Степан внимательно посмотрел на простодушного Василия Родионыча.

— Наугад — не знаю, не ходил. Я люблю — наудачу.

А в лагере в это время налаживались другие отношения — там не о чем было спорить. Там все ясно.

Казаки Уса и разинцы, в отличие от вождей своих, скоро нашли общий язык — простой, без колючих зазубрин.

Обнаруживались старые знакомцы, вспоминались былые походы... Задымили костры. Гостей готовились принять славно, как и велел атаман.

Разинцы еще раньше принарядились — пускали пыль в глаза пришлым, кобенились — как же!

Стырь собрал вокруг себя целую ораву, показывает, как он «ходил» на Москву к царю.

— Он о так сидит на троне... Мишка, сядь.

— Да иди ты, — отказался Мишка, молодой казак.

— Где кум мой? — вспомнил Стырь. — Он тоже видал царя — покажет.

Дед Любим напялил на голову вывернутую наизнанку шапку, воссел на три положенных друг на друга седла. Сделал скучающее лицо... Стал важный и придурковатый.

— Ну, где там эти казаки-то?! — спросил. — Давайте их суда, я с имя погутарю.

— Не так! — воскликнул Стырь. — Давай: ты из бани пришел.

— А-а!.. Добре, — дед Любим стал отчаянно чесаться. — В баньку нешто сходить?..

— Да ты уж пришел! — заорали зрители.

— А-а!.. Ну-к... Эй! Бояры!.. Кварту сиухи мне: после бани выпью.

Поднесли «царю» сиухи. Он выпил.

— Ишшо.

— Будя.

— Ты что, горилки царю пожалел, сукин сын?! Ты должен на коленках передо мной ползать. Давай горилки! — дед изобразил капризное «царское» величие. — Хочу кварту горилки! Хочу кварту горилки!.. — больше было похоже на то, как капризничает злой ребенок, а не царь.

Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул. Плюнул.

— Ах, хороша!.. Ну где там казаки-то?

В круг неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем — в каком-то непонятном балахоне. Тоже необыкновенно важный.

— Здоров, казак! — приветствовал его «царь». — Ты чего эт в моем царстве шатаисся? Чего ты тут пронюхываешь у меня?

— Прикажи мне тоже дать сиухи, — подсказал Стырь.

— Э-э!.. — загудели зрители. — Вы тут упьетесь, пока покажете.

— Так надо, — сказал Стырь. — Перво-наперво вина подают.

— Правда, — поддержал дед Любим. — Эй, бояры, где вы там, прихвостни? Дать казаку вина заморскыва.

Стырю подали чару вина. Он выпил.

— Ишшо. Я с дальней дороги — пристал.

— Дать ему! — велел «царь».

— Шевелись! — прикрикнул на «бояр» Стырь. — Царь велит!

Подали еще чару. Стырь выпил.

— Как доехал, казаченька? — ласково спросил «царь».

— Добре.

— А чего ты шатаисся по моему царству, мы желаем знать?

Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из другой. Стал полный дурак.

— Чего желаете знать?..

Нелегко матерому Чертоусу смирить гордое сердце — сразу стать под начало более молодого, своенравного Стеньки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда Степан хотел настоять на своем, он не искал слово помягче, он гвоздил словом. Он не скрывал раздражения. И это-то странным образом успокаивало людей: кто гневается, тот прав. Кто верит в себя, тот прав.

Не пощадил Степан старого казака: припомнил ему его паническое бегство от Москвы. Было так: Ус с ватагой военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их употребили по назначению — они хотели воевать. Пошли, как на войну, — просить войны. Дорогой к ним пристали мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на Москву — не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва тоже поняла этот поход как наступление и выслала навстречу сильный отряд под командой Борятинского. Казаки бежали. Пешие мужики не могли убежать. Их убивали.

Это и припомнил Степан. Он говорил резко:

— Ты там мужиков бросил! Псу Борятинскому отдал неоружных людей на растерзанье... Вот как ты там хорошо ходил, той дорогой! И туда же опять зовешь?.. Бесстыдник.

— Тьфу!.. Дурак упорный! — Ус тоже злился. — Не приведи господи, но случится где-нибудь тебе в отступ ийтить — вот этой самой рукой, — Ус показал огромную ручищу, — подойду и по роже дам. А чего мне было делать? Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам — наберешь мордвы-то да чувашей, да ногайцев своих — с ими и подставляй лоб, кому хошь, хошь Борятинскому, хошь Долгорукому... Какой! Шибко уж памятливый — на чужую беду.

— Не лезь тада с советом, еслив свою беду не помнишь.

— Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на Волгу.

— Вона! Спомнил...

— А чего же его забывать, добрый был вож... Дай бог побольше таких.

— Зато и пропал твой Иван.

— Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет: один раз вышло там, вот и давай ишо... А с Волги тоже дорога на побег есть — Ермакова, — Ус поднялся, выглянул из шатра, позвал: — Матвей! Зайди к нам. Вот послушай, Степан, мужика — дошлый. Послушай, послушай, с лица не опадешь. Я его частенько слушаю.

Вошел Матвей.

— Там казачки-то... это... расходиться начинают, — сказал он и посмотрел на Степана. — Или — ничего, пускай?

— Гулять, что ль? Как же им не погулять? Не с татарвой стретились.

— Хорошее дело, — согласился Матвей. — Я к тому, что — размахнутся они счас широконько: знакомцев полно стрелось. А у вас тут, можеть, чего другое задумалось.

— У нас тут раскосяк вышел, — сказал Ус. — Не хочет Степан Тимофеич городками да весями ийтить, хочет — Волгой.

— Ну, я тебе то и говорил, — спокойно сказал Матвей. — Говорил я тебе: Степан Тимофеич будет склонять на Волгу.

— Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму: пошто?

Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень понравилась его манера говорить: спокойно, негромко... На своем не настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понравились: грустные, умные, но и насмешливые. Интересный мужик.

— Раз: кто такой Степан Тимофеич? — стал рассуждать Матвей, адресуясь к Усу. — Донской казак. Правда, корнями-то он — самый что ни на есть расейский, но он забыл про то...

— Какой я расейский? Ты чего?

— Отец-то расейский. Воронежский. Мы так слыхали...

— Ну.

— Вот. Стало быть, есть ты донской казак, Степан Тимофеич. Как и ты, Василий Родионыч. Живется вам на Дону

вольготно, поместники вас не гнут, шкур не снимают, жен, дочерей ваших не берут по ночам с постели — для услады себе. Вот... Спасибо великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да ведь и то — вся Расея на Дон не сбежит. А вы, как есть донские казаки, про свой Дон только и печалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы — на дыбошки: не трожь вольного Дона! А то и невдомек: несдобровать и вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками да за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой всю Расею. Вы на ногу легкие... Наш мужик пока раскачается, язви его в душу, да пока побежит себе кол выламывать — тут его сорок раз пристукнут. Ему бы — за кем-нибудь, он пойдет. А вы — эвон какие!.. За вами только и ходить. За кем же?

— Ты к чему это? — спросил Степан.

— Доном ийтить надо, Степан Тимофеич. Через Воронеж, Танбов, Тулу, Серпухов... Там мужика да посадских, черного люда, — густо. Вы под Москву-то пока дойдете — ба-альшое войско подведете. А Волгой — пошли с полтыщи с есаулами да с грамотками, — пускай подымаются да подваливают с той стороны. А там, глядишь, Новгород, да Ярославль, да Пошехонь с Вологдой из лесу вылезут — оно веселей дело-то будет. На Волге, знамо, хорошо — вольно. Опять же, погулять — где? На Волге. Там душу отвесть можно. А тут бы в самый раз: весь народишко раззудить!.. — Матвей заволновался, глаза его заблестели. — Ты скажи ему да погромче — прикрикни: пошли! Сиднем засиделись, дьяволы! Волосьем заросли!.. По лесам-то с кистенем — черт вас когда ослобонит там, и детишков ваших. Они вон подрастают да следом за вами — в Петушки, купцов поджидать. Эх!..

— Ты чего ж, Матвей: на царя наметился? — спросил Степан, усмешливо прищурившись. — Ведь мы эдак, как ты советуешь-то, — все царство расейское вверх тормашками?..

— Пошто на царя?

Степан засмеялся:

— Напужался?.. Ну, так: вы — гости мои дорогие, я вас послушал, и будет. Пойдем Волгой.

— Пеняй на себя, Степан! — воскликнул Ус. — Баран самовольный. Силу собрал, а... Экий дурень! Пропадешь!

— Будешь со мной? — в упор спросил Степан.

— Куда ж я денусь?.. Ты тут теперь — царь и бог: не привязанный, а вижжать окол тебя буду, — Ус встал во весь огромный рост, хлопнул себя по бокам руками. — Золотая голова, а дурню досталась. Пошто уперся-то?

— Неохота сказывать.

— Это твоя первая большая промашка, Степан Тимофеич, — негромко, задумчиво и грустно сказал Матвей. — Дай бог, чтоб последняя. Ах, жаль какая!.. И ничего не сделаешь, правда.

4

В Черкасске домовитые казаки и старшина крепко задумались. За поход Стеньки они могли жестоко поплатиться, они понимали. Царь слал грамоты, царь требовал разузнать и обезопасить Разина — беспокоился. Но черт его обезопасит, Разина, если он пришел и сел, как в крепости, в своем Кагальнике, казаков не распустил... Иди обезопась его! Он сам кого хочешь обезопасит, да так, что — с головой вместе. Ждали весны: весной будет ясно, куда он пойдет. Может, теперь до турок попытаются добраться, тогда — с богом: там и лягут. Может, с калмыками или с крымцами сцепятся, тоже не страшно, даже хорошо: израсходуют силу в наскоках и утихнут. Старались еще зимой как-нибудь выведать, куда они подымутся по весне. Не могли выведать. Стенька грозил всем, а на кого точил потаенный нож, про то молчал. Даже пьяный не проговаривался. Гадали всяко — и так, и этак... Думали и так: не на Москву ли правда нацелился? Ждали весны. И вот подтвердились ужасные догадки: Разин пошел на Москву.

Особенно опечалились Корней Яковлев и Михайло Самаренин, войсковые атаманы. Корнею легко удавалась эта печальная игра; в душе он был доволен событиями.

Корней Яковлев, излишне грустный, как будто переболевший за эти дни, стукнулся в дверь дома Минаева Фрола. Из дома не откликнулись.

— Я, Фрол! — сказал Корней негромко.

Звякнул внутри засов. Фрол открыл дверь. Прошли молча в горницу.

В горнице сидел Михайло Самаренин. На столе вино, закуска... Домашних Фрола никого нету — услал, чтоб поговорить без помех.

— Дожили: середь бела дня — под запором, — сказал Самаренин, крупный казачина с красным обветренным лицом.

— Дожили, — вздохнул Корней, присаживаясь к столу. — Налей, Фрол.

— Долго он не нагуляет, — успокоил Фрол, наливая войсковому большую чарку. — Это ему не шахова земля — голову враз открутют. А то уж шибко скаковитые стали.

— Ему-то открутют — дьявол с ей, об ей давно уж топор тоскует. У меня об своей душа болит, — Корней выпил, крякнул, пососал ус... — Свою жалко, вот беда.

— Чего слышно? — спросил Михаийло, искренне озабоченный.

— Стал у Паншина, Ваську ждет. Ты говоришь — открутют... У его уж счас — тыщ с пять, да тот приведет... Возьми их! Сами открутют кому хошь. Беда, братцы мои, атаманы, беда. Больше беда могёт быть... — Корней оглянулся на дверь горницы.

— Никого нету, — сказал Фрол.

— Письма перехватили от гетмана да от Серика к Стеньке.

У Фрола и Михайлы вытянулись лица.

— Чего пишут?

— Дорошенко не склонился, а Серик, козел чубатый, спрашивает, где бы, в каком урочище им сойтиться. Казак тот, с письмами, разлысил лоб в Черкасской — не знал, что Стенька ушел, мы вытряхнули того казачка... Во куда невод завел!

— Верно, собирался он писать к Серку и к Дорошенке, — сказал Фрол. — В Астрахани собирался. Эт-то хужее дело...

— Вот какая моя дума: надо опробовать повернуть Стеньку на крымцев. Поедешь ты, Фрол. Скажешь...

— Ты что?! — испугался Фрол.

— Не тронет он тебя. Полный раздор с нами чинить ему тоже не с руки: он не дурак — оставлять за спиной обиженных. А поедешь ты от всех нас. Возьмешь письмо Петра Дорошенко, Сериково письмо я в печь бросил. Ехать надо сразу — успеть до Васьки. Надо, надо, ребяты... Надо хоть показать: чего-то да делали мы тут, а то совсем уж... смотрим только. Спросют ведь!

— Не мне бы... Не поверит он мне.

— Тебе-то как раз и поверит, — сказал Михайло. — Тут ведь — не только письмо передать, а поговорить с им...

— Слышно, мол, стало: крымцы грозят походом. Они правда-то не налетели бы, узнают наши поганые дела, — сказал еще Корней. — Не приведи господи: вовсе не отбиться будет.

— Эх, не мне бы! Подумайте. Не боюсь, а — будет ли толк? Побаиваюсь, конечно, но... постановим, поеду. Только подумайте: мне ли? — Фрол тревожно и вопросительно смотрел на атаманов.

— Тебе, ты с им в дружках ходил. Сулился же он не тронуть тебя. Поговори душевно... Хоть бы он, черт бешеный, на Крым повернул. Подтолкнуть бы его, пока он один-то... Ты, Михайло, собирайся в Москву: надо и об своих головах подумать. Все скажешь, как есть: ничего, мол, не могли поделать. Прибери себе казаков — и с богом. Без огласки.

Все трое посидели в молчании.

— Он когда на Москву-то задумал, где? — спросил Корней Фрола.

— А черт его знает! Его рази поймешь? Думаю, как Астрахань прошли оттуда, он окреп. Те губошлепы-то пропустили... Он и вошел в охотку. Царя, говорит, за бороду отдеру разок...

— Разок надо бы, — неожиданно сказал Корней. — Не худо бы... Только шумом городка не срубить. Славный он казак, Стенька... Жалко мне его. Пропадет.

— Тут, как ты говоришь, самая пора себя пожалеть, — заметил Самаренин. — А то выходит: он ногой в стремя, а мы — головой в пень.

* * *

Поздно вечером Фрол Минаев и с ним два казака выехали вдогон Разину. Побежали сразу резво. Фрол доверился судьбе... На всякий случай надо, конечно, держать ухо востро, но в глубине души он не верил, что Степан поднимет на него руку. Напротив, может, именно он, Фрол, отведет беду с Дона. В Крым или на калмыков Фрол и сам бы еще

разок сходил со Степаном... Но не на царя. От этого похода, кроме беды, ждать нечего. Может, и удастся отговорить Стеньку... Жалко его, правда.

Фрол родился и вырос в станице Зимовейской, где родился и Степан, вместе они ходили на богомолье в Соловки... И тогда-то, в переход с Дона на Москву, случился со Степаном большой и позорный грех, про который до сих пор знали только они двое — Степан и Фрол. Было им по двадцать шесть лет, но Степан шел в Соловки второй раз. Ехали с ними все больше старые казаки, израненные в сражениях, много грабившие на веку — ехали замаливать грехи. Молодые, вроде Стеньки и Фрола, ходили в Соловки то ли по обету, как ходил Стенька в первый раз (обещал умирающему отцу сходить помолиться казачьему святому Зосиме), то ли по настоянию здравых еще, обычно пожилых родичей, желавших своим родным помощи божьей и судьбы милостивой. А заодно и за них бы, стариков, отдать поклон... То ли молодые сами, своей волей просили на кругу разрешения сходить в далекий монастырь — не сиделось дома, охота было посмотреть мир большой, это поощрялось, круг решал отпускать.

В тот раз Стенька ехал своей волей. Фрола послал на богомолье дед его, Авдей Минаев, который на старости лет сильно ударился в бога, но сам был уже не ходок, и потому в Соловки поехал внук Фрол. Не без удовольствия, надо сказать.

Неподалеку от Воронежа, в деревне, остановились на постой. Остановились у крепкого старика; дом у старика большой, на отшибе, ближе к лесу. Дед по вековой традиции своего рода бортничал (собирал дикий мед), у него всегда останавливались казаки с Дона: где мед, там медовуха, где медовуха, там казаки. Да и старик был очень свойский: если не разбойник, то с душой разбойника: немногословный, верный слову, на первом месте — товарищ, потом все. В прошлый раз Стенька со станицей останавливался у него же. Но с тех пор в доме старика случились изменения: убило лесиной его сына, Мотьку. Осталась со стариком невестка, чернобровая Аганя, баба огромная, красивая и приветливая. Казаки сразу смекнули, что Аганя тут — и за хозяйку, и за жену сильного старика (старухи у него давно не было), но вида не подали.

Выпили. Аганя тоже выпила; молодая ядреная кровь заиграла в ней, она безо всякого стеснения заглядывалась на молодых казаков, похохатывала... Часто взглядывала на Стеньку. А тот еще с прошлого раза запомнил Аганю, но тогда слишком был молод, стеснялся, и у Агани был муж. Теперь Стенька осмелел... И так они откровенно засматривались друг на друга, что всем стало как-то не по себе. Один только старик-лесовик, хозяин, как будто ничего не замечал, помалкивал, пил. Старший в станице, Ермил Пузанов, вызвал Стеньку на улицу, предупредил:

— Не надо, Стенька, не обижай старика. Оно и опасно: старик-то... такой: пришьет ночью, пикнуть не успеешь.

— Ладно, — ответил Стенька. — Я не малолеток.

— Гляди! — еще сказал Ермил серьезно. — Не было бы беды.

— Ладно.

Ночь прошла спокойно. Но Стенька, видно, успел перемолвиться с Аганей, о чем-то они договорились... Утром Стенька сказался больным.

— Чего такое? — спросил Ермил.

— Поясница чего-то... разломило всего. Полежать надо.

Казаки переглянулись между собой.

— Пускай полежит, — молвил могучий старик-хозяин. — Я его травкой здесь отхожу. Я знаю, что это за болесть.

Фрол, улучив минуту, сунулся к Стеньке:

— Чего ты задумал?

— Молчи.

— Отравит он тебя, Стенька... Или пришибет ночью. Поедем.

— Молчи, — опять сказал Стенька.

Казаки уехали.

Стенька догнал их через два дня... Много не распространялся. Сказал только:

— Полегчало. Прошла спина...

— Как лечил-то? — заулыбались казаки. — Втирал? Али как?

— Это — кто кому втирал, надо спросить. Оборотистый казак, Стенька... Старик-то ничего? Облапошили?

— Они ушли, — непонятно сказал Степан. — Вместе: и старик, и...

— Куда? — удивились казаки.

— Совсем. В лес куда-то. Старик заприметил чего-то и... ушел. И Аганьку увел с собой. Вместе ушли.

— Э-э... Ну да: что он, смотреть будет? Знамо, уведет пока — от греха подальше.

— Ну вот, взял согнал людей... Жили, никому не мешали, нет, явился... король-королевич. Надо было!

Поругали Стеньку. И поехали дальше.

Стенька, однако, долго был сам не свой: молчал, думал о чем-то, как видно, тревожном. Казаки его же и отговаривать принялись от печальных мыслей:

— Чего ж теперь? Старик не пропадет — весь лес его. А ее увести надо, конешно: когда-никогда она взбесится.

— Не горюй, Стенька. А, видать, присохло сердчишко-то? Эх, ты...

Только в монастыре догадались казаки, что у Стеньки на душе какая-то мгла: старики так не молились за все свои грехи, как взялся молить бога Степан — коленопреклонно, неистово.

Фрол опять было к Стеньке:

— Чего с тобой? Где уж так нагрешил-то? Лоб разобьешь...

— Молчи, — только и сказал тогда Степан.

А на обратном пути, проезжая опять ту деревню, Степан отстал с Фролом и показал неприметный бугорок в лесу...

— Вон они лежат, Аганька со своим стариком.

У Фрола глаза полезли на лоб.

— Убил?!

— Сперва поманила, дура, потом орать начала... Старик где-то подслушивал. Прибежал с топором. Можеть, уговорились раньше... Сами, наверно, убить хотели.

— Зачем?

— Не знаю, — Степан слегка все-таки щадил свою совесть. — Я так подумал. Повисла на руке... а этот с топором. Пришлось обоих...

— Бабу-то!.. Как же, Стенька?

— Ну, как?! — обозлился Степан. — Как мужика, так и бабу. Бабу зарубить — большой грех. Можно зашибить кулаком, утопить... Но срубить саблей — грех. Как ребенка приспать. Оттого и мучился Степан, и молился, и злился. До сей поры об этом никто не знал, только Фрол. Тем тяжелей бы-

ла Степану его измена. Грех молодости может всплыть и навредить.

В раннюю рань к лагерю разинцев подскакали трое конных; караульный спросил, кто такие.

— Аль не узнал, Кондрат? — откликнулся один с коня.

— Тю!.. Фрол?

— Где батька?

— А вон в шатре.

Фрол тронул коня... Трое вершных стали осторожно пробираться между спящими, направляясь к шатру.

Кондрат постоял, посмотрел вслед им... И вдруг его резануло какое-то недоброе предчувствие.

— Фрол! — окликнул он. — А ну, погодь.

— Чего? — Фрол остановился, подождал Кондрата.

— Ты зачем до батьки?

— Письмо ему. С Украины, от Дорошенки.

— Покажь.

— Да ты что, бог с тобой! Кондрат!..

— Покажь, — заупрямился Кондрат.

Фрол достал письмо, подал Кондрату. Тот взял его и пошел в шатер.

— Скажи: мне надо с им погутарить! — сказал Фрол.

— Скажу.

Кондрат вошел в шатер.

И почти сразу из шатра вышел Степан — босиком, в шароварах, взлохмаченный и припухший со сна и с тяжкого хмеля.

— Здорово, Фрол.

— Здорово, Степан.

— Чего не заходишь?

Смотрели друг на друга внимательно, напряженно.

— Письмо. От Петра Дорошенки.

— Ты заходи! Заходи — выпьем хоть... А то, вишь, я какой?

Фрол, умный, дальновидный Фрол, мучительно колебался.

— Не склоняется Петро...

Степан понимал, что происходит с Фролом, какие собаки рвут его сердце — Фрол боится и боится показать, что боится, и хочет, правда, поговорить, и все-таки боится.

— Да шут с им, с Петром. Я и не надеялся шибко-то, ты же знаешь, — непринужденно сказал Степан. — Заходи, погутарим.

Фрол незаметно, как ему казалось, зыркнул глазами по сторонам: лагерь спал.

Степан отметил этот его настороженный волчий огляд.

— Я от Серка жду. От Ивана. Заходи, — еще сказал Степан и пошел в шатер. Шел нарочито беспечным шагом. Рознял вход, вошел в шатер. Не оглянулся.

Фрол остался на коне.

— Пронька, — тихо сказал он молодому казаку, — иди передом.

Пронька не понял. Смотрел на есаула.

— Иди! — сдавленным от волнения и злости голосом сказал Фрол. — А я погляжу...

Пронька слез с коня, пошел в шатер. Фрол остался на коне, стерег глазами вход.

Фрол хорошо знал Степана. Случилось так, как он, наверно, ждал: нервы Степана напряглись до предела, он не выдержал: заслышав шаги казака, стремительно вышагнул навстречу ему с перначом в руке. Обнаружив хитрость друга-врага, замер на мгновение... Выронил пернач. Но было поздно...

Фрол разворачивал коня.

— Погоди, Фрол! — громко вскрикнул Степан. — Фрол!..

Фрол ударил коня плетью... Казак, который оставался на коне, тоже развернулся... Выбежавший на крик атамана Кондрат приложился было к ружью...

— Не надо, — сказал Степан. Подбежал к свободному коню, прыгнул.

И началась гонка.

...Вылетели из пределов лагеря, ударились в степь.

Конь под Степаном оказался молодой; помаленьку расстояние между двумя впереди и третьим сзади стало сокращаться. Видя это, казак Фрола отвалил в сторону — от беды.

— Фрол!.. Я же неоружный! — крикнул Степан.

Фрол оглянулся и подстегнул коня...

— Придержи, Фрол!.. Я погутарю с тобой! — еще крикнул Степан.

Фрол нахлестывал коня.

— В гробину твою! — выругался Степан. — Не уйдешь. Достану.

И тут случилось то, чего никак не ждал Степан: молодой конь его споткнулся. Степан перелетел через голову коня, ударился о землю...

Удар выхлестнул Степана из сознания. Впрочем, не то: пропало сознание происходящего здесь, сейчас, но пришло другое... Голову как колоколом, накрыл оглушительный звон. Степан понял, что он лежит и что ему не встать. И он увидел, как к нему идет его старший брат Иван. Подошел, склонился... Что-то спросил. Степан не слышал: все еще был сильный звон в голове. «Я не слышу тебя», — сказал Степан и своего голоса тоже не услышал. Иван что-то говорил ему, улыбался... Звон в голове поубавился.

— Братка, — сказал Степан, — ты как здесь? Тебя ж повесили.

— Ну и что? — спросил Иван, улыбаясь.

— Выходит, я к тебе попал? Зашиб меня конь-то?

— Ну!.. Тебя зашибить не так легко. Давай-ка будем подыматься...

— Не могу, сил нету.

— Эка! — все улыбался Иван. — Чтой-то раскис ты, брат мой любый. Ну-ка, держись мне за шею... Держись крепче!

Степан обнял брата за шею и стал с трудом подниматься. Брат помогал ему.

— Во-от, — говорил он ласково, — вот и подымемся...

— Как же ты пришел-то ко мне? — все не понимал Степан. — Тебя же повесили. Я же сам видал...

— Будет тебе: повесили, повесили! — рассердился Иван. — Стой вот! Стоишь?

— Стою.

— Смотри... Стой крепче!

— Ты мне скажи чего-нибудь. А то уйдешь...

Иван засмеялся.

— Держись знай. Не падай... — и ушел.

А Степан остался стоять... Его придерживал под руки Фрол Минаев. Степан долго смотрел ему в глаза. Не верилось, что это Фрол вернулся. Фрол выдержал близкий, замутненный болью взгляд атамана. Даже улыбнулся.

— Живой? Я уж думал, зашиб он тебя.

— А где?.. — хрипловато начал было Степан. И замолчал. Он хотел спросить: «А где брат Иван?» — Ты как здесь?

— Сядь, — велел Фрол. — Посиди — ослабел...

Степан бережно, с помощью Фрола, сел на сырую землю. Фрол сел рядом.

Ослабел атаман, правда. Сознание подплывало; степь перед глазами вдруг вспучивалась и качалась. Тошнило. И звон в ушах опять закипал, и молоточки били в голову так больно, что надо было зажмуриваться.

Фрол вынул из-за пояса дротик, вырыл у ног ямку, взял сильными пальцами со дна ее горсть земли, посырее, подал Степану:

— На, поприкладывай ко лбу — она холодная, может, легче станет.

Степан приложил горсть земли ко лбу... Земля пахла погребом и травой. Молодой зеленой травкой. Степан уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вроде прояснилось. И боль вроде потухла. И даже какая-то далекая, забытая радость шевельнулась под сердцем — живой, жив. Согрела радость.

— Пахнет, — сказал Степан. — Ишь ты...

Фрол взял тоже горстку земли, понюхал.

— Корешками гнилыми.

— Травкой, — поправил Степан.

Фрол еще понюхал, бросил землю, вытер ладонь об штанину.

— Можеть, травкой, — согласился.

Степан еще раз уткнулся в пахучую холодную землю, глубоко, со стоном вздохнул и повторил не то из упрямства, не то с каким-то скрытым значением:

— Травкой пахнет, травкой, — помолчал. — Тебя все на гниль тянет, а пахнет — травкой. Не спорь со мной.

Фрол с удивлением посмотрел на Степана. Ничего не сказал. Подобрал с земли дротик, сунул за пояс, под правую руку.

— Фрол, — заговорил Степан уже в полном сознании, напирая, по обыкновению, на слова, — ты не побоялся вернуться, не побойся сказать прямо: почему отвалил от меня?

— Ты хоть очухайся сперва... Потом уж за дела берись. Небось круги ишо в глазах-то.

— Я очухался. Не веришь в мою затею?

— А какая твоя затея? Я не знаю...

— Знаешь. Не хитри. Не веришь?

Фрол помолчал.

— В затею твою я верю, — сказал он. — Только затея-то твоя землей вот пахнет, — он опять взял горстку земли, помял в пальцах. — Можеть, она и травкой пахнет, но я туда завсегда успею. Торопиться не буду, — Фрол ссыпал землю в ямку. — Еслив можешь меня без злости послушать, послушай...

— Валяй. Не буду злиться.

— Наберись терпения — послушай. Из твоих оглоедов тебе этого никто не скажет.

— Скоро же ты отрекся от нас! — удивился Степан. — Уж и — оглоеды!

— Ну... отрекся не отрекся — мне с вами не по дороге. Вот, слушай. Ты же умный, Степан, как ты башкой своей не можешь понять: не одолеть тебе целый народ, Русь.

— Народ со мной пойдет: не сладко ему на Руси-то.

— Да не пойдет он с тобой! — Фрол искренне взволновался. — Дура ты сырая!.. Ты оглянись — кто за тобой идет-то! Рванина — пограбить да погулять, и вся радость. Куда ты с имя? Под Танбовом завязнешь... Худо-бедно им с царем да с поместником — все же они на земле там сидят...

— Они не сидят на земле. Они на карачках стоят.

— Даже и на карачках, а все потревожить надо — на войну гнать. С какой такой радости мужик на войну побежит? Ты по этим гонисся, какие с тобой? Этим терять нечего, они уж все потеряли. А те... Нет, Степан, не пойдут. Ты им — журавля в небе, а им — синица в руке дороже. За журавля-то, можеть, голову сложить надо, а синица — в руке, хошь и маленькая. Все же он ее держит. Ведь ты как ему будешь говорить, мужику: «Выпускай синицу, журавля добудем!» Это надо твоим словам уж так верить, так верить... Отцу родному так не верют, как тебе надо верить, чтоб выпустить ту синицу. Откуда они возьмут эту веру? Ведь это ж надо, чтоб они семьи свои побросали, детишек, жен, матерей... И за тобой бы пошли. Не пойдут!

— Так... Все сказал?

— Ну, считай, все. Я могу день говорить — все про то же: не пойдут за тобой.

— А на меня пойдут?

— На тебя пойдут. Поднимут их — пойдут.

— За царя пойдут, а со мной — нет. Чем же им царь дороже?

— Он им не дороже, а... как тебе сказать, не знаю... Не дороже, а привыкли они так, что ли, хрен их знает. Ты им — непонятно кто, атаман, а там — царь. Они с материным молоком всосали: царя надо слушаться. Кто им, когда это им говорили, что надо слушаться — атамана? Это казаки про то знают, а мужик, он знает — царя.

Степан сердито сплюнул.

— Может, ты бы и говорил целый день, Фрол... Может, я бы тебя и слушал — вроде говоришь человеческие слова, но сам-то ты, Фрол, подневольная душа. Это ты с молоком всосал — нельзя на царя подняться. Ты ишо на руках у матери сидел, а уж вольным не был. И такие же у тебя мысли, хоть они кажутся верными. Они — верные, но они подневольные. А других ты не знаешь. Чего же я буду выколачивать их из тебя, еслив их нету? На кой черт я гоняюсь-то за тобой?

— Не знаю, чего ты гоняисся.

— Я других с собой подбиваю — вольных людей. Ты думаешь, их нету на Руси, а я думаю — есть. Вот тут наша с тобой развилка. Хорошо, что честно все сказал: я теперь буду спокойный. Теперь я тебя не трону: нет на тебя зла. И не страшись ты теперь меня... Вы мне — не опасные. Встретисся на бою — зарублю, как собаку. А так — живи. Не пойму я только, Фрол: чем же уж тебе жизнь так мила, что ты ее, как невесту дорогую, берегешь и жалеешь? Поганая ведь такая жизнь! Чего ее беречь, суку, еслив она то и дело раньше смерти от страха обмирает? Чего уж так жалко бросать? С бабой спать сладко? Жрать, что ли, любишь? Чего так вцепился-то? Не было тебя... И не будет. А народился — и давай трястись: как бы не сгинуть! Тьфу!.. Ну — сгинешь, чего тут изменится-то?

— Степан, ты молодым богу верил...

— Не верил я ему никогда!

— Врешь! Я видал, как ты в Соловках лбом колотился. Даже я меньше верил...

— Ну, может, верил. Ну и что?

— Я не знаю, чем тебе жизнь твоя так опостылела, но грех ведь других-то на убой манить. О себе только думаешь, а на

других тебе... Иди вон в Дон кидайся, еслив жить надоело. На кой же других-то подбивать? Не мудрено голову сломить, Степан, мудрено приставить. Я хоть тоже не шибко верую, но тут уж дурак поймет — грех. Перед людями грех — заведешь и погубишь. Перед людями, не перед богом, перед теми самыми, какие пойдут за тобой...

— Такие, как ты, не пойдут.

— Пойдут — ты умеешь заманить. У тебя... чары, как у ведьмы, — ийтить за тобой легко, даже вроде радостно. Я вон насилу вывернулся... отрезвел. Знамо, это все оттого, что самому тебе недорога жизнь. Я понимаю. Это такая сладкая отрава, хуже вина. Я же тоже не бегал ни от татар, ни от турка, ни от шаховых людей... Но там я как-то... свою корысть, что ли, знал или... Да нет, тоже не то говорю — я не жадный. Но ведь там-то не боялся я, ты же знаешь...

— Там... Я знаю: там — это как собаки: перегрызлись и разбежались. Там ума большого не надо.

— Но там же тоже убивают. Ты говоришь: я больше всего смерти страшусь...

— Может, не страшисся. Только тебе — за рухлядь какую-нибудь не жалко жизнь отдать, а за волю — жалко, тебе кажется, за волю — это псу под хвост. Вот я и говорю — подневольный ты. По-другому ты думать не будешь, и зря я тут с тобой время трачу. А мне, еслив ты меня спросишь, всего на свете воля дороже, — Степан прямо посмотрел в глаза Фролу. — Веришь, нет: мне за людей совестно, что они измывательство над собой терпют. То жалко их, а то — прямо избил бы всех в кровь, дураков. Вот. Сгинь с глаз моих, Фрол: опять тебя ненавидеть стал. Сгинь! Раз уж сказал, не трону — не трону. Но — уходи.

Фрол поднялся, пошел к коню.

Степан тоже встал.

— Гады вы ползучие! — крикнул Степан. — Я тебе душу открыл тут... Дурак я! Ехай! Ублажай свою жизнь-дорогушу! Поганка, — Степана шатнуло от слабости... Он опустил голову, стиснул зубы и стал смотреть вниз, в землю.

Фрол вскочил на коня, крутнулся...

Прикинул, опасаться нечего — конь Степана далеко, сказал спокойно:

— От поганки слышу. Иди к своим любезным свистунам, они ждут не дождутся. На том свете свидимся, только я туда попозже явлюсь.

Степан посмотрел на есаула... И все-таки не нашел бы он сейчас в себе желания убить его, даже если бы догнал и совладал безоружный с оружным, — не было желания. Странно, что не было, но так.

Фрол развернулся и поскакал прочь.

Степан пошел к своему молодому коню. Меринок виновато вскинул голову, скосил опасливый глаз, переступил ногами...

— Не бойся, дурашка, — ласково заговорил Степан. — Не бойся.

Почуяв доброе в голосе человека, конь остался стоять. Степан обнял его, поцеловал в лоб, в шею, в глаза, бесконечно добрые, терпеливые.

— Прости меня... Прости, ради Христа, — за что, Степан не знал, только хотелось у кого-нибудь просить прощения.

Конь дергал головой, стриг ушами.

— Прости!.. — сказал еще Степан.

Потом шли рядом — конь и человек. Голова к голове. Долго шли, медленно шли, точно выходили на берег из мутной, вязкой воды.

Солнце вставало над землей. Молодой светлый день шагал им навстречу, легко раскидывая по степи дорогие зеленые ковры.

5

Сразу, как Степан ускакал за Фролом, Кондрат разбудил Ивана Черноярца, и тот, плохо соображая, что к чему, не седлая коня, погнал вслед атаману. С ним увязалось еще десятка два казаков — те и подавно не знали, куда надо, зачем? Успели понять только: где-то в степи атаман. Один. Однако степь — большая: не нашли атамана. Вернулись.

Встретились недалеко от лагеря.

— Эк вас повскакало! — насмешливо воскликнул Степан. — На одного-то Фрола?

— Ушел, что ли? — спросил Иван.

— Ушел.

— А чего он приезжал-то?

— Письмо привез от Петра Дорошенки. Поехали вычтем... поганое письмо.

— Ты... уж читал, что ль? Как знаешь, что поганое?

— Я Петра знаю, не письмо. Петра самого знаю. Да другое Фрол бы и не привез. Он привез как раз такое... поганое... С коня я упал, Ваня, — неожиданно признался Степан. Им овладело какое-то странное хорошее чувство — легко сделалось на душе, легко, даже смешно было сказать, что — вот, такое дело: упал с коня. — Первый раз в жизни.

В шатре атамана сидел Стырь, вертел в руках письмо гетмана. Он не умел читать. Увидев атамана, поднялся навстречу ему с письмом.

— Слыхал, от Дорошенки... Как он там? К нам не склоняется?

Степан взял письмо, вчитался... Молча изодрал его, бросил на землю. Постоял, глядя вниз, вздохнул со стоном, горько и начал вдруг стегать плетью клочки письма. Стегал и скрипел зубами. Все молчали.

Степан отвел душу, прошел к лежаку, сел. Долго тоже молчал. Легкость враз ушла, точно опять в воду столкнули, в зеленую, вязкую, и он весь ухнул.

— Царем пужает Петро, — сказал он. — Ты хотел знать, Стырь, как там Петро Дорошенко?

— Я. Да всем охота...

— Вот, царем пужает. Зря, мол, поднялись — не надо... страшно, говорит. Не советует. Вот, знай, еслив охота.

— Напужал бабу... — заговорил было Стырь, но атаман сбил его, не дал говорить.

— Ой, храбрый какой!.. — он прищурил глаз на деда. — Гляньте-ка на него — царя не боится! А я вот боюсь! Что?

— Ничего. Надо было дома сидеть, раз боисся, — Стырь не хотел видеть, что Степан накипает мутью, не хотел показать, что его страшит гнев атамана, — иногда это помогало остановить грозу.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Ну, ну?

— А как же? Кто боится, тот остался да дома посиживает. Фрол вон... не поперся же с нами, потому как рассудил: лучше ее дома дождаться, чем на стороне искать...

Степан уставился на Стыря.

Василий Ус впервые воочию наблюдал «хворь» атамана Разина — начало ее. Ему было интересно. Он слышал об этой странности Стеньки еще раньше.

— Боюсь! — рявкнул Степан. — Вот и говорю: боюсь! Какой ишо выискался!.. Еслив ты не боисся, так и все теперь

не боись? И где ты вырос такой! Тебя никогда, что ли, не пужали маленького букой?

— Я б сам кого хошь напужал, — искренне сказал Стырь. — Страшненький был с малолетства, соплями исходил...

— Вот потому и спасенный ты человек от страха. А нас всех бабки глупые запужали с малых лет букой, мы и трясемся всю жизнь. И Петро вон пужает — гляди, мол! Сам, видно, тоже трясется... А царь — радешенек: боятся все! Сиди себе, побалтывай ножками. Ни заботушки... — Степан рывком вскочил с лежака, заходил туда-сюда по шатру. Широкое лицо его исказилось от боли и злости. — А чего?! Хэх!.. Дай вина, Иван! — почти крикнул. Остановился, ожидая, что будет — одолеет его злость или он одолеет ее. Он хотел одолеть, не хотел никуда убегать, кататься по земле... Он стиснул зубы и ждал. — Иван!.. — с мольбой проговорил он, не разжимая зубов. — За смертью посылать!.. Несут, что ль?

— Несут, несут.

Степан выпил при общем молчании... Сел опять на лежак. Дышал тяжело, смотрел вниз... Ждал. И все ждали. Похоже, он все-таки переломил себя — не будет по земле кататься. Он поднял голову, нашел глазами Матвея Иванова.

— Ты вот, Матвей, на царя зовешь... А ведь он крутенек, царь-то. Он вон в Коломенском лет пять назад сразу десять тыщ положил... москалей своих. Да потом ишо две тыщи колесовал и повесил. Малолеткам уши резал...

— Не всем, — встрял Матвей. — Поменьше которым — от двенадцати до четырнадцати годов — только по одному уху срезал. Зачем же напраслину возводишь?

— Ну, на то и милость царская! А ты на царя зовешь...

— Кого я на царя зову?! — воскликнул Матвей.

— Зове-ешь, не отпирайся. Нас с Родионычем подбиваешь. А война — дело худое, Матвей. Зачем же нас на грех толкаешь? Замордовали? Так царя попросить можно, а не ходить на него с войной. Тоже, додумался! Вот и пойдем просить. Скажем: бояре твои вконец замордовали мужика. Заступись. Хошь поглядеть, как мы просить будем?

— Как это? — не понял умный Матвей.

— А так. Я просить буду, а Стырь вон — царя из себя скорчит. Он умеет. Стырь!.. Валяй на престол, я скоро приду с Дона просить тебя. Всех собери — пускай все глядят.

Стырь, большой охотник до всякого лицедейства, понял все с полуслова. Вышел из шатра.

— Выпьем на дорожку! — распорядился Степан. — Пойдем царя-батюшку просить. Вольности Дону пойдем просить... какие раньше были.

— С мужика начали, а вольности — Дону пойдем просить, — вставил опять Матвей. — Как же так?

— А вы поглядите, поприкиньте сперва... Потом уж — охотка не пройдет — сами шлепайте. А мы будем просить, чтоб старшину нашу не покупал, она у нас вся продажная. Курва на курве сидит... Всем хорошо одеться! Все чтоб сияли, как бараньи лбы, — к царю идем! Эх и сходим же!..

Пошли одеваться в дорогие одежды. Противиться бесполезно. И опасно. Да и поглядеть интересно, как будут «просить царя». Черноярец скосоротился было, но промолчал, пошел тоже одеваться.

Стырь тем временем сооружал «престол». На этот раз он восседал на большой чумацкой арбе, устелив ее всю коврами и уставив кувшинами с вином. Весь лагерь собрался смотреть «прошение». Для «казаков с Дона» оставили неширокий проход; перед арбой — просторный круг.

Стырь, все приготовив, стал поглядывать в проход, проявляя суетливость и нетерпение.

— Казаков не видать?

— Нет пока.

— Чего они?.. Чухаются там! Пьют небось, кобели.

Но вот закричали:

— Казаки идут! Казаки идут!..

Стырь сел, скрестил по-татарски ноги. Подбоченился.

Разин шел впереди своей группы. Был он одет, как и все с ним «просители», — богато, глаза блестели жутковатым веселым блеском.

— С Дону? — вылетел первый с языком Стырь.

— Не прыгай! — велел Степан. — Он же — великий князь всея, всея... У его бабу патриарх благословил в мыленке, он и то важный остался. А ты прыгаешь, как блоха, — Разин положил свой пернач на землю. — Пришли мы к тебе, царь-батюшка, жалиться на бояр твоих, лиходеев! И просить тебя, оставь вольности Дону! Всегда так было! — Разин говорил громко — всем. — До тебя были вольности! А ты отбираешь!..

— Сиухи хоть? — спросил Стырь. — С дороги-то...

— Я воли прошу, а не сиухи!

— Какой тебе воли?! — вскинулся Стырь. — А хрен в зубы не надо? Воли он захотел!..

— Как же нам без воли?

— Какой тебе воли надо?

— Не вели мужиков имать да вертать с Дону опять поместникам...

— Хрен! — Стырь все торопился, все суетился и не хотел даже смотреть на казаков.

— Дай сказать-то! — обозлился Степан. — Да на меня гляди-то, на меня. Что ты, как коза брянская, все вверх смотришь? На меня!

— Ну.

— Не помыкай нами, еслив хлеб на Дон посылаешь...

— Так.

— Тюрем настроил, курва! Как чуть чего — так в тюрьму!

— Как ты сказал? Курва?

Степан упал на колени.

— Прости, князь великий! Вылетело...

— Срежу язык-то! Вылетело. Какие ишо жалобы на бояров?

— Пошто на одном месте пригвоздить хочешь мужика? — спросил Матвей Иванов. — Был хоть выход.

— Плетей! — велел Стырь, показав на Матвея.

«Приближенные царя» схватили Матвея и раза три всерьез жогнули плетью.

— Какие жалобы, казак? — повернулся Стырь опять к Степану. Степан все стоял перед ним на карачках, покорно ждал.

— Пошто — как войне быть на Дону или миру — мы не вольны сами решить? Мы хочем решать сами, как нам любо, а как нет.

Стырь молчал; он не знал, как огорошить с войной.

— Нас на войну шлешь!.. — закричал с колен Разин. — Сам затеваешь, а нас шлешь! Куда хочешь, туда и шлешь, мы не смей пикнуть! Мы не слуги тебе! Не стрельцы!.. Курва ты великая, а не князь великий! — Степан поднялся в рост.

— Плетей! — тоже заорал Стырь. И тоже вскочил.

«Приближенные» бросились к Разину...

— Стой! — остановил их Стырь. И полез с арбы. — Я прокачусь на ем. На Дону, говорят, жеребцы славные — опробую.

Степан смиренно опустился опять на четвереньки.

— Седло! — распоряжался Стырь. — А то я ишо свою царскую собью...

На Разина накинули седло. Он молчал. Стырь сел на него.

— Ну-ка, прокати царя!..

— Куда, великий? Куда, князь всея, всея?..

— За волей... Где она? Я сам не знаю...

Разин громко заржал и поскакал по кругу.

— Э-эх! — орал Стырь. — За волей казакам поехали! Их-ха!

Степан опять заржал, да громко, умело.

— Ну, как воля, казак? Узнал волю?

— Нет ишо, — Степан остановился. — Слазь.

— Я ишо хочу...

— Слазь!

Стырь слез.

Степан опять упал на колени.

— Спасибо, царь-государь, теперь узнали мы до конца твою волю. Спасибо! Спасибо! Спасибо! — Степан трижды стукнулся лбом об землю. — Теперь отпусти нас на Дон — погуляем мы за твою волюшку. Отпускай нас.

— Отпускаю. Меня возьмите с собой на Дон — я тоже погуляю с вами.

— Шиш! Гуляй, братцы! Царь показал, какая будет его воля! Запивай ее, чтоб с души не воротило!..

И загуляли нешуточно. Весь день «запивали волю цареву», усердствовали. Усердствовал и сам атаман. Пил, обнимал Семку Резаного, Матвея Иванова, плакал... Потом свалился и уснул.

— Ну, хоть так, — сказал Иван Черноярец. — Выспится хоть... Бери за руки, за ноги — унесем спать. Кончай гульбу! Федор, Ларька, кто там?.. Вали по рядам, бейте кувшины. Батька велел, мол!

Матвей Иванов, когда Степана раздели и уложили на лежак, остановился над ним, долго всматривался в бледное рябое лицо атамана.

— Вот вам и грозный атаман! Весь вышел. Эх, дите ты, дите... И нагневался, и наигрался, и напился — все сразу.

— Ты, на всякий случай, не лезь-ка ему под горячую руку, этому дитю, — посоветовал Иван. — А то она у его... скорая: глазом не успеешь моргнуть.

— Может, — согласился Матвей. И пошел из шатра. — Пойтить другого заступника поискать... Тоже где-нибудь землю бодает.

— Кого это? — спросил Черноярец.

— Василья Родионыча мово.

6

К Волге вышли глядя на ночь (в версте выше Царицына).

Начали спускать на воду струги и лодки. Удобное место спуска указал бежавший из Царицына посадский человек Степан Дружинкин. Он же советовал атаманам, Разину и Усу:

— Вы теперича так: один кто-нибудь рекой пусть сплывет, другой — конями, берегом... И потихоньку и окружите город-то. Утром они проснутся, голубки, а они окруженные, ххэх... — Дружинкин не мог скрыть радости, охватившей его. — Стены, вороты — они, конечно, крепкие. Да надолго ли! Кто их держать-то шибко будет?..

— Воеводой кто сидит? — спросил Степан. — Андрей?

— Тимофей Тургенев. На своих стрельцов, какие в городе, у его надежа плохая, он сверху других ждет. Да когда они будут-то! Они пока без признака...

— Много ждет?

— С тыщу, говорят. С Иваном Лопатиным идут. Надо бы, конечно, до их в городок-то войтить. Ах, славно было бы, Степан ты наш Тимофеич, надежа ты наша!.. Отметились бы мы тада!..

— Родионыч, поплывешь со стругами, — велел Степан. — Я с конными и с пешими. Шуму никакого не делай. Придешь, станешь, пошли мне сказать.

— Ладно, — сказал Ус. И пошел к месту, где сволакивали на воду струги. Все же тяготило его подначальное положение, не привык он так. Однако — терпел.

Когда стало совсем темно, двинулись без шума к Царицыну водой и сушей.

Утром, проснувшись, царицынцы действительно обнаружили, что они надежно окружены с суши и с воды.

Воевода Тимофей Тургенев и с ним человек десять стрельцов (голова и сотники да прислуга, да племянник, да не-

сколько человек жильцов) смотрели с городской деревянной стены, как располагается вдоль стен лагерь Разина.

— Сколь так на глаз? — спросил воевода у головы.

— Тыщ с семь, а то и боле.

Воевода вздохнул.

— Неделю не продержимся... Пропали наши головушки!

В городе гудел набат.

Степан, Ус, Федька Шелудяк, Сукнин, Черноярец, Ларька Тимофеев, Фрол Разин, Матвей Иванов — эти внизу тоже оценивали обстановку.

— Ну? — спросил Степан. — Какие думы, атаманы?

— Брать, — сказал Шелудяк, — чего на его любоваться-то.

— Брать?.. Брать-то брать, а как?

— Приступом! Навяжем лестниц, дождем ночки — и с Исусом Христом!..

— Исус что, мастак города брать? — спросил Ус.

— А как же! Он наверху — ему все видать, — отрезал занозистый Шелудяк.

— Хватит зубатиться, — оборвал Степан. — Родионыч, Иван, какие думы?

— Подождать пока, — сказал Иван Черноярец. — Надо как-нибудь в сговор с жильцами войтить.

— Умное слово, — поддержал Матвей Иванов. — Стены стенами, да ведь и их оборонять-то надобно. А есть ли у них там такая охота? Оборонять-то. А и есть, так...

Подъехал казак, доложил:

— Царицынцы, пятеро, желают Степана Тимофеича видать.

— Давай их.

Подошли пять человек посадских с Царицына.

— Как же вышли? — спросил Степан.

— А мы до вас ишо... Вчерась днем, вроде рыбачить уплыли, да и остались... Нас Стенька Дружинкин упредил. Поговорить к тебе пришли, атаман.

— Ну, давайте.

Стырь с оравой зубоскалов переругивался с царицынскими стрельцами. Те скучились на стене, подальше от началь-

ных людей, с большим интересом разглядывали разинцев.

— Что, мясники, тоскливо небось торчать там? Хошь, загадку загадаю? — спросил Стырь. — Отгадаешь, будешь умница.

— Загадай, старый, загадай, — откликнулись со стены.

Сидит утка на плоту,
Хвалится казаку:
Никто нимо меня не пройдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица!

— Отгадаешь, свою судьбу узнаешь.

— То, дед, не загадка. Вот я тебе загадаю:

Идут лесом,
Ноют куролесом,
Несут деревянный пирог
С мясом.

— Стрельца несут хоронить! — отгадал Стырь.

Казаки заржали.

Стырь разохотился:

— А вот — отгадай. Отгадаешь, узнаешь мою тайную про тебя думу.

Поймал я коровку
В темных лесах;
Повел я коровку
Нимо Лобкова,
Нимо Бровкова,
Нимо Глазкова,
Нимо Носкова,
Нимо Щечкова,
Нимо Ушкова,
Нимо Роткова,
Нимо Губкова,
Нимо Ускова,
Нимо Бородкова,
Нимо Шейкова,
Нимо Грудкова,
Нимо Ручкова,
Нимо Плечикова;
Привел я коровку
На Ноготково,

Тут я коровку-то
И убил.

Кто будет?

— Скажите в городе, — наказывал Степан пятерым царицынцам, — войско, какое сверху ждут, идет, чтоб всех царицынцев изрубить. А я пришел, чтоб отстоять город. Воевода ваш — изменник, он сговорился со стрельцами... Он боится, что вы ко мне шатнетесь, и хочет вас всех истребить, для того и стрельцов ждет: у их тайный уговор, мы от их гонца перехватили с письмом.

Пятеро поклонились.

— Передадим, батюшка, все как есть. И про воеводу скажем.

— Скажите. Пусть дураками не будут. Не меня надо бояться, а воеводу. Чего меня-то бояться? Я — свой... чего я сделаю?

Пятеро ушли.

Степан позвал Уса:

— Родионыч!..

Ус подошел.

— Останисся здесь. Стой, зря не рыпайся. Я поеду едисан тряхну. За ими должок один есть... И скота пригоню: можа, долго стоять доведется, жрать нечего. Гулять не давай. Не прохлаждайтесь. Караул все время держи. Иван, Федька Шелудяк со мной поедут. А в городе, смотри, чтоб не знали, что я отъехал. Караул держи строго.

— Не долго там.

— Скоро. Они в один перегон отсюда, я знаю где.

Ночью Степан во главе отряда человек в триста, конные, тихо отбыл в направлении большого стойбища едисанских татар. Должок не должок — у атамана с ними дела давние, — а жрать скоро нечего, правда; надо думать об этом.

На другое утро в лагерь к Усу явилась делегация от жителей города. Двое из тех, что вчера были. Всех — девять человек.

— Батька-атаман, вели выходить из города воду брать. У нас детишки там... Какой запаслись, вышла, а они просют. Скотина ревет голодная, пастись надо выгонять...

— А чего ко мне-то пришли? — спросил Ус.

— К кому же больше?

— А как вышли?

— Воевода выпустил под залог — у нас там детишки... А выпустил, чтоб с тобой уговориться — по воду ходить. Детишки там, батька-атаман.

— Скажите воеводе, чтоб отпер город. А заартачится, возьмите да сами замки сбейте. Мы вам худа не сделаем.

— Не велит, поди. Воевода-то...

— А вы — колом его по башке, он сговорчивый станет. С воеводами только так и надо разговаривать — они тада все враз понимают.

— Мы уж и то кумекаем там... По совести, для того и пришли-то — разузнать хорошенько, — признался старший. — Вы уж не подведите тада. Мы там слушок пустили: стрельцы-то, мол, на нас идут, ну — задумались... Вы уж тоже тут не оплошайте...

— Идите и делайте свое дело. Мы свое сделаем.

— Народишко-то, по правде сказать, к вам приклониться желает. А чего же Степана Тимофеича не видать? Где он?

— Он на стружках, — ответил Федор Сукнин.

Жители ушли, еще попросив напоследок, что «вы уж тут... это...»

— Всех есаулов ко мне! — распорядился Ус. — Быть наготове. Начинайте шевелиться — вроде готовимся к приступу: пусть они стрельцов своих на стены загонют. Пусть сами тоже суда глядят, а не назад. Двигайте пушки, заряжайтесь... Шевелись, ребятушки! Глядишь, даром городок возьмем!

Задвигался лагерь. Пошли орать бестолково и двигаться и с тревогой смотрели на стену. Таскали туда-сюда пушки, махали прапорами... И с надеждой смотрели на стену и на въезжие ворота. На стене ладились к бою стрельцы.

Ждал Ус с есаулами: они стояли возле коней, чуть в стороне от угрожающего гвалта. Василий Родионыч то ли вздыхал тихо, то ли тихо матерился, глядя на тяжелые въезжие ворота. Долго ждали.

Вдруг за воротами возникла возня, послышались крики... Дважды или трижды выстрелили. Потом зазвучали тяжкие лязгающие удары железа по железу — похоже, сбивали кувалдой замки. Шум и крики за стеной усилились; выстре-

лы — далеко и близко — захлопали чаще. Но кувалда била и била в затворы.

Казаки с воем бросились к воротам. Перед носом у них ворота распахнулись...

Казаки ворвались в город.

Царицынцы встречали казаков, как братьев, обнимались, чмокались, тут же зазывали в гости. Помнили еще то гостеванье казаков, осеннее. Тогда поглянулось — хорошо погуляли, походили по улицам вольно, гордо... Люди это долго помнят.

Казачье войско прогрянуло по главной улице города и растекалось теперь по переулкам... Кое-где в домах уже вскрикивал и смеялся Праздник.

Ус сидел в приказной избе, распоряжался, перетряхивая судьбы горожан и служивых людей.

Ему доложили:

— Воевода с племянником, прислуга его, трое жильцов да восемь стрельцов заперлись в башне городской стены.

— Стеречь их там дороже глаз, — велел Ус. — Скоро пойдем к ним.

— Поп до тебя, Василий Родионыч, — снова вошел в избу казак.

— Чего ему? — удивился Ус.

— Не сказывает. Атаману, говорит, скажу.

— Давай.

В избу вошел тот самый поп, у которого Степан грозился в храме отрезать космы. Вошел — широкий, гулкий.

— Как зовут? — спросил Ус. — Чего ты до меня?

— Где же атаман-то? — громыхнул поп, как в бочку.

— Я атаман. Что, оглазел? — обиделся Ус.

— Ты, можа, и атаман, только мне надобно наиглавного, Разю, — высокомерно сказал поп.

— Зачем?

— Хочу послужить православному воинству во славу свободного Исуса Христа.

— Молодец! — сердечно похвалил его Ус. — Поп, а смикитил. Как зовут?

— Авраам. А ты кто?

— Ктокало, — ответил Ус со смехом. — Пойдем пить.

7

Вылазка Разина к едисанским татарам была успешной.

Назад казаки гнали перед собой вскачь огромное стадо коров, овец, малолеток лошадей.

Рев и гул разносился далеко вокруг. Казаки орали... Очумелые от бешеной гонки животные шарахались в стороны, кидались на всадников. Свистели бичи. Клубилась пыль.

Степан с Федькой и с Иваном ехали несколько в стороне. Запыленные — ни глаз, ни рожи.

К ним подскакали нарочные из Царицына... Что-то сказали Степану. Тот радостно сверкнул зубами и во весь опор понесся вперед, к Царицыну. За ним увязался Федька Шелудяк. Иван Черноярец остался с табуном.

Ликующий, праздничный звон колоколов всех церквей города оглушил Разина. Это случилось как-то само собой — высыпали встречать атамана.

Народ и казаки стояли вдоль улицы, которой он шел. Стояли без шапок; ближние кланялись в пояс.

Навстречу атаману от приказной избы двинулась толпа горожан — с хлебом-солью. Во главе — отец Авраам.

Степан, хоть весь был грязный, шел степенно, гордо глядя перед собой: первый царев город на его мятежном пути стал на колени. Славно!

Отец Авраам низко поклонился.

— Здорово, отче! — узнал его Степан. — Как Микола поживает? Ах, мерин ты, мерин... — Степан засмеялся. — Ишь, важный какой!..

Поп, видно, заготовил что сказать, но сбился от таких неуместных слов атамана. Обозлился.

— Поживает... Ты чего зубы-то скалишь?

— Где воевода? — спросил Степан.

Степану поднесли в это время хлеб-соль. На каравае стояла чара с водкой, солонка. Он выпил чару, крякнул, отломил от каравая, обмакнул в солонку, заел. Вытер ладошкой усы и бороду.

— Где воевода? — опять спросил он.

— В башне заперся.

— Много с им?

— С двадцать.

— А Васька где?.. Я не вижу его.

— Васька... — Ларька Тимофеев показал рукой: — До сшибачки, — и еще он сказал весело: — Стрельцы поклали оружье. Мы их пока всех в церкву заперли.

— Пошли воеводу брать, — распорядился Степан. — Нечего ему там сидеть, его место в Волге, а не в башне. Все бы в башнях-то отсиживались! Хитрый Митрий.

Двинулись к городской стене, к башне, где закрылся воевода со своими людьми.

Появилось откуда-то бревно. С ходу ударили тем бревном в тяжелую дверь... Сверху, из бойниц башни, засверкали огоньки, затрещали ружья и пистоли. Несколько человек упало, остальные, бросив бревно, отбежали назад.

— Неси ишо бревно! — приказал Степан. — Делайте крышку.

Приволокли большое бревно и стали сооружать над ним — на стойках — двускатный навес (крышку) из толстых плах. Крышку потом обили потниками (войлоком) в несколько рядов, потники хорошо смочили водой. Таран был готов.

— Изменники государевы!.. — кричали из башни. — Он ведь узнает, государь-то, все узнает! Мы послали к царю-то, послали!

— Это вы изменники! — кричали осаждающие царицынцы. — Государь на то вас поставил, чтоб нас мучить? Царь-то за нас душой изболел, батюшка. Ему самому, сердешному, от вас житья нету! Марью Ильинишну извели, голубушку! Царевичей извели!.. От такие же вот живоглоты, — Тургенев был прислан из Москвы недавно, но успел опротиветь царицынцам.

— Все на колу будете! — кричали осажденные. — С ворами вместе! Бога побойтесь, бога!..

— Кого послушали?! Стеньку, первого вора и разбойника! — крикнул сам воевода Тургенев. — Одумайтесь, вам говорят!

Степан смотрел на башню, щурился. Ему поднесли еще чару. Он выпил, бросил чару, засучил рукава. Глянул на башню... Махнул рукой, подскочил к бревну...

Таран подняли, разбежались, ударили в ворота. Кованая дверь погнулась. Еще ударили, еще...

Сверху стреляли, бросали смоляные факелы, но осаждающих надежно прикрывал навес. Бревном били и били.

Дверь раз за разом подавалась больше. И наконец совсем слетела с петель и рухнула внутрь башни. Федька Шелудяк с Ларькой Тимофеевым ворвались туда, за ними остальные.

Короткая стрельба, крики, возня... И все кончено. Успокоились.

Воеводу с племянником, приказных, жильцов и верных стрельцов вывели из башни. Подвели всех к Степану.

— Ты кричал «вор»? — спросил Степан.

Тимофей Тургенев гордо и зло приосанился.

— Я с тобой, разбойником, говорить не желаю! А вы изменники!.. — крикнул он, обращаясь к стрельцам и горожанам. — Куда смотрите?! К вору склонились!.. Он дурачит вас, этот ваш батюшка. Вот ему в мерзкую его рожу! — Тимофей плюнул в атамана. Плевок угодил на полу атаманова кафтана. Воеводу сшибли с ног и принялись бить. Степан подошел к нему, подставил полу с плевком. Он был бледный и говорил тихо:

— Слизывай языком.

Воевода еще плюнул.

Степан пнул его в лицо. Но бить другим не дал. Постоял, жуткий, над поверженным воеводой... Наступил сапогом ему на лицо — больше не знал, как унять гнев. Вынул саблю... но раздумал. Сказал осевшим голосом:

— В воду. Всех!

Воеводу подняли... Он плохо держался на ногах. Его поддержали.

Накинули каждому петлю на шею и потянули к Волге.

— Бегом! — крикнул Степан. Чуть пробежал вслед понурому шествию и остановился. Саблю еще держал в руке. — Бе-го-ом!

Приговоренных стали подкалывать сзади пиками. Они побежали. И так скрылись в улице за народом. Народ молча смотрел на все. Да, видно, Тимофей Тургенев за свое короткое воеводство успел насолить царицынцам. Вообще поняли люди: отныне будет так — бить будут бояр. Знать, это царю так угодно. Иначе даже и сам Стенька Разин не решился бы на такое.

Только один нашелся из всех — с жалостью и смелостью: отец Авраам.

— Батька-атаман, — сказал отец Авраам, — не велел бы мальчонку-то топить. Малой.

— Не твое дело, поп. Молчи, — сказал Степан.

Подошел Матвей Иванов. Тоже:

— А правда, Степан Тимофеич... Парнишку-то не надо бы...

— Молчи, — и ему велел Степан. — Где Родионыч?

— Дрыхнет Родионыч, где...

— Смотри лучше за атаманом своим. Зачем много пить дал?! Я не велел.

— А то вы послушаете! — горько воскликнул Матвей. — Не велел... А он взял да велел!

— Пошли гумаги приказные драть, — позвал Степан всех.

— Ох, Степан, Степан... Атаман! — дрогнувшим голосом вскрикнул вдруг Матвей. — Послушай меня, милый...

— Ну? — резко обернулся Степан. И нахмурился.

— Отпусти мальца. Христом-богом молю, отпусти, — у Матвея в ясных серых глазах стояли слезы. — Отпусти невинную душу!..

Степан так же резко отвернулся и ушагал к приказной избе. За ним — его окружение.

Воеводу и всех, кто был с ним, загнали в воду, кого по грудь, кого по пояс — кололи пиками. Два казака так всадили свои пики, что не могли вытащить, дергали, ругались.

— Ты глянь! — как в чурбак какой...

— И эта завязла. Тьфу!..

Тела убитых сносило водой. Две пики так и остались торчать — бросили их. Некоторое время пики еще плыли стоймя. Чуть покачиваясь. И уходили все глубже. Потом исчезли под водой вовсе.

С берега на страшную эту картину смотрели потрясенные царицынцы. Многих, наверно, подавила, оглушила жестокая расправа. Молчали. Неужели же царь велел так? Что же будет?

...На площадь, перед приказной избой, сносили деловые бумаги приказа, сваливали в кучу. Образовался большой ворох.

— Все.

— Поджигай.

Казак склонился к бумагам, высек кресалом огонь, поболтал трутом, чтоб он занялся огнем... И поднес жадный огонек к бумагам.

Скоро на площади горел большой веселый костер.

Степан задумчиво смотрел на огонь.

— Волга закрыта, — сказал он, ни к кому не обращаясь, раздумчиво. — Ключ в кармане... Куда сундук девать?

— Чего? — спросил Фролка, брат.

Степан не ответил.

8

— Волга закрыта, — сказал Степан. — Две дороги теперь: вверх и вниз. Думайте. Не торопитесь, крепко думайте.

Сидели в приказной избе. Вся «головка» разинского войска, и еще прибавились Пронька Шумливый, донской казак, да «воронежский сын боярский» Ивашка Кузьмин.

— Как ни решим, — чтоб не забыть потом: город укрепить надежно, — добавил Степан. — Вверх ли, вниз ли пойдем, — он теперь наш. Своих людишек посадим — править.

— Ийтить надо вверх, — сказал Ус.

На него посмотрели — ждали, что он объяснит, почему вверх. А он молчал, спокойно, несколько снисходительно смотрел на всех.

— Ты чего это с двух раз говорить принимаисся? — спросил Степан. — Пошто вверх, растолкуй.

— А пошто вниз? Тебя опять в шахову область тянет? — сразу почему-то ощетинился Ус.

— Пошел ты к курвиной матери с шахом вместе! — обозлился Степан. — Не проспался, так иди проспись.

— А на кой вниз? — не сдавался Ус. То ли он на ссору напрашивался. — Чего там делать?

— Там Астрахань!.. Ты к чужой жене ходил когда-нибудь?

— Случалось... Помоложе был, кобелил, — Ус коротко хохотнул.

— А не случалось так: ты к ей, а сзади — муж с топором? Нет? — Степан внимательно смотрел в глаза атамана, хотел понять: всерьез тот хочет ссоры или так кобенится?

— Так — нет; живой пока.

— Так будет, еслив мы Астрахань за спиной оставим.

— Ты-то вниз, что ли, наметил?

— Я не говорил. Я думаю. И вы тоже думайте. А то я один за всех отдувайся!.. — Степан опять вдруг чего-то разозлил-

ся. — Я б тоже так-то: помахал саблей да — гулять. Милое дело! Нет, орелики, думать будете! — Степан крепко постучал согнутым указательным пальцем. — Тут вам не шахова область, это правда. Я слухаю. Но ишо раз говорю вам: думайте башкой, а то нам их тут скоро снесут, еслив думать не будем.

— Слава те господи, — с искренней радостью молвил Матвей Иванов, — умные слова слышу.

Все повернулись к нему:

— Ну, Степан Тимофеевич, тада уж скажу, раз велишь: только это про твою дурость будет...

Степан сощурился и даже рот приоткрыл.

— Атаманы-казаки, — несколько торжественно начал Матвей, — поднялись мы на святое дело: ослобождать от бояров Русь. Славушка про тебя, Степан, бежит добрая. Заступник ты народу. Зачем же ты злости своей укорот не делаешь? Чем виноватый парнишка давеча, что ты его тоже в воду посадил? А воеводу бил!.. На тебя же глядеть страшно было, а тебя любить надо.

— Он харкнул на меня!

— И — хорошо, и ладно. А ты этот харчок-то возьми да покажи всем: вот, мол, они, воеводушки: так уж привыкли плевать на нас, что и перед смертью утерпеть не может — надо харкнуть. Его тада сам народ разорвет. Ему, народу-то, тоже за тебя заступиться охота. А ты не даешь, все сам: ты и суд, ты и расправа. Это и есть твоя дурость, про какую я хотел сказать.

— Лапоть, — презрительно сказал Степан. — А ишо жалисся, что вас притесняют, жен ваших уводют. Да у тебя не только жену уведут, а самого... такого-то...

— Ну вот... А велишь говорить. А чуть не по тебе — так и лапоть. А все же послушай, атаман, послушай. Не все сапогу ходить по суху...

— Я не про то спрашивал. Черт тебя!.. Чего он молотит тут? — Степан поглядел на всех, словно ища поддержки. И к Матвею: — Я рази про то спрашивал?

— Так ведь еслив думать, то без спросу надо. Как есть...

— Ты, Матвей, самый тут умный, я погляжу. Все не так, все не по тебе, — заметил Ларька Тимофеев, и в глазах его замерцал ясный голубой свет вражды.

— Прямо деваться некуда от его ума да советов! — поддержал Ларьку Федор Сукнин. — Как скажет-скажет, так хошь с глаз долой уходи...

— Да ведь это про нас, про рязанских, сказано: для поговорки до Москвы шел, — отшутился Матвей. И посерьезнел. — Я ишо хочу сказать, Степан Тимофеич: ты ладно сказал — «думайте», а сам-то, сам-то не думаешь! Как тебя сгребет за кишки, так ты кидаисся куда попало.

Степан как будто только этих слов его и ждал: уставился на Матвея... С трудом разлепил губы, сведенные злой судорогой.

— Ну, на такую-то бойкую вшу у нас ноготь найдется, — сказал он и потянул из-за пояса пистоль. — Раз уж все мы такие дурные тут, так и спрос с нас такой же...

Ус, как и все, впрочем, обнаружил возможную скорую беду тогда только, когда Степан поднял над столом руку с пистолем... Ус, при своей кажущейся неуклюжести, стремительно привстал и ударил по руке с пистолем снизу. Грохнул выстрел: пуля угодила в иконостас, в икону Божьей Матери. В лицо ей.

Матвея выдернули из-за стола, толкнули к дверям...

Степан выхватил нож, коротко, резко взмахнул рукой... Нож пролетел через всю избу и всадился глубоко в дверь — Матвей успел захлопнуть ее за собой.

Степан повернулся к Усу... Тот раньше еще положил руку на пистоль.

Долго смотрели друг на друга.

В избе все молчали, и такая это была тягостная тишина, мучительная.

Степан смотрел не страшно, не угрожающе, скорей — пытливо, вопросительно.

Ус ждал. Тоже довольно спокойно, мирно.

— Еслив вы счас подымете руки друг на дружку, я выйду и скажу казакам, что никакого похода не будет: атаманы их обманули, — сказал Иван Черноярец. — Вот. Думайте тоже, пока есть время.

Степан первый отвернулся...

Некоторое время еще молчал, словно вспоминая что-то, потом спросил Ивана спокойно:

— С чего ты взял, что мы руки друг на дружку подымем?

— К слову пришлось... Чтоб худа не вышло.

— Я слухаю вас. Куда ийтить? — спросил всех Степан.

— Вверх, — твердо сказал Ларька.

— Пошто? — пытал Степан.

— Вниз пойдем, у нас, один черт, за спиной тот самый муж с топором окажется — стрельцы-то где-то в дороге. Идут.

— И в Астрахани стрельцы.

— В Астрахани нас знают. Там Иван Красулин. Там посадские — все за нас... Оттуда с топором не нагрянут.

— Мы ишо про этих ничего не знаем, — заспорил с Ларькой Сукнин. — Может, и эти к нам склонются, верхние-то, с Лопатиным-то.

Разговор пошел вяло, принужденно. Казаков теперь, когда беда прошумела мимо, занимала... простреленная Божья Мать. Нет-нет да оглядывались на нее. Чудилось в этом какое-то недоброе знамение. Это томило хуже беды.

Степан понял настроение казаков. Но пока молчал. Ему интересно стало: одолеют сами казаки этот страх за спиной или он их будет гнуть и не освободит. Он слушал.

— Худо, что мы про их не знаем, худо, что и они про нас тоже не знают. А идут-то они из Москвы да из Казани вон. А там про нас доброе слово не скажут, — говорил Иван.

— Где-нигде, а столкнуться доведется, — настаивал Ларька; он один не обращал внимания на простреленную икону.

— Оно — так... — нехотя согласился Федор Сукнин.

— Так-то оно так, — вздохнул Стырь — так, чтоб только что-нибудь вякнуть. — Не везде только надо самим на рога переть. А то оно... это... к добру тоже не приведет.

— Вниз пойдем, у нас войско прирастет, вверх — не ручаюсь, — подал голос Прон Шумливый, казак, выученный разинцами из царицынской тюрьмы — сидел там за воровство.

— Оно — так... — сказал опять Черноярец.

— Сдохли! — воскликнул огорченный атаман. И передразнил есаулов: — «Оно — так», «Оно — та-ак», — помолчал и, повернувшись, заговорил спокойней: — Мой это грех — я стрелил. Я же не метил в лоб ей, нечаянно вышло... Что же теперь — и будем сидеть, как сычи? Закоптелыша прострелил!.. — голос Степана окреп. — А как звонить начнут на всю Русь — проклинать? Куда побежите? Эх, други мои, советники... — Степан оглядел «советников», вздохнул:

то ли правда никто из них не внушал ему счастливой веры, то ли притворился, что одни только горькие и опасные думы пришли вдруг ему в голову, когда он внимательно посмотрел на сподвижников своих.

— Непривычно, Степан, оттого и... боязно, — захотел объяснить Иван Черноярец свое и других состояние. — Не каждый же день ты их простреливаешь, эти... закоптелыши.

— Ты куда собрался, Иван? — перебил в нетерпении атаман. — Куда пошел?

Иван в простодушии не понял вопроса. Молчал. Смотрел на Степана. И Степан смотрел на него. Ждал. Очень хотелось ему, чтоб Иван сказал: «На Русь пошел, на бояр», и тогда бы Степан на это ахнул бы чем-то сильным, веским — он, видно, заготовил чем.

— А?

— Не пойму тебя, — признался Иван. — Никуда пока не пошел, сидим вот гадаем — куда.

— На бояр, батька! — выскочил сообразительный Стырь. Он сидел в углу, как раз под простреленной Божьей Матерью. — На Русь!

— А-а! Вон вы куда!.. — с готовностью повернулся к нему Степан. — А что же там, на Руси-то, нехристи?

— Крещеные, так же...

— Так какого ж вы дьявола? Нечаянно прострелил икону, у их уж коленки затряслись. А еслив они, бояры-то, возьмут да крестный ход перед нашим войском учинят? А они учинят — бог-то ихный. Возьмут да с иконами вперед вышлют? Что же мы?..

— Как это — бог ихный? — не понял Стырь.

— А чей? Твой, что ли?

— Наш тоже... Исус-то.

— Бог-то, он, можеть, и наш, да попы — ихные. А за кого попы, за того и бог. А то ты не знаешь, старый человек! Не насмотрелся за свою жизнь?.. Вот я и спрашиваю: возьмут они и выйдут встречь нам с иконами? Как тада?

Есаулы молчали. Положение, в какое поставил атаман казачье войско, нелегкое. Непонятно, как тогда? Не было вроде такого. Что-то не помнили казаки, чтобы когда-нибудь...

— Не было так никогда, — сказал Иван.

— Не было? — ожесточался Степан. — Будет! Это легко сделать, это не воевать. Вот — вынесли. Как мы тада, я спрашиваю? Ну?

— Давайте дело говорить! — уклонился было Ларька Тимофеев. — Про иконы какие-то затеяли...

— Это дело! — сердито сказал Степан. И кулаком пристукнул в столешницу. — Я спрашиваю: как быть, еслив бояры и попы...

— А кто нас ведет?! — тоже вдруг обозлился Ларька. — Стенька Разин, я слыхал? Вот я и спрашиваю Стеньку: как нам тада быть, Стенька?

— Ты не вали все на меня. Я вас спрашиваю! И велю отвечать: как быть?

Вдруг дверь открылась, и вошел Матвей Иванов.

Все оглянулись... Опешили: никто не ждал такого.

Матвей с необъяснимой смелостью прямо шел к столу и смотрел на атамана. Как-то даже насмешливо смотрел.

— Загадки загадываешь, атаман, а ответ не знаешь. А заговорил ты про самое главное... Вот слушайте, как быть, — Матвей серьезно оглядел всех. С особенным значением поглядел на атамана. Вообще, кажется, Матвею нравилось учить. Так нравилось, что он страх забыл. — Тут вас, казаки-атаманы, могут легко поймать. Вышлют на вас баб, да стариков, да мужиков глупых с иконами... Да и даже пусть не вышлют, а наперед накликают на вас хулу божью: и выйдет, что вы — враги человеческие, а ведет вас сам сатана под видом Стеньки Разина... А идете вы — всех бить и резать. Вот где беда-то! Тут вам и конец. С войском воевать можно, войско можно одолеть, народа не одолеешь. Татарин — не этот татарин, а тот, старинный, — он посильней вас был, а застрял: с народом пошла война. Гиблое дело.

— Какой же ответ? На загадку-то... Ты знаешь? — спросил Стырь, крайне заинтересованный.

— Знаю. Оттого и зашел... Можеть, батька и убьет меня после, но уж не подсказать вам — это будет мой грех. Скажу, потом делайте, как знаете. Ответ такой, казаки-атаманы: надо вам вперед попов и бояр рассказать мужику: идете вы делать божье дело. Как Христос учил? Скорей верблюд пролезет в игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Вот весь и сказ: поднялись на богатых, а бедных идем заслонить от притеснителев... Вот. Нас, мол, можеть, сам господь бог послал.

— Это мы без тебя знаем, как говорить, — сказал Ларька ехидно. — Монах нашелся...

— Вы знаете, надо, чтоб мужик тоже знал. Вот это я и хотел сказать.

— Все? — спросил Степан, странно глядя на Матвея, не то удивляясь на этого человека, не то любуясь весело.

— Все. Запомните, что сказал. А то вам плохо будет.

— Спаси бог! Как можно не запомнить... Теперь я сделаю, чего не сумел давеча, — страшно сдвинув брови, Степан потянул из-за пояса пистоль... Ус мгновенно развернулся и ногой загреб табурет под Степаном. Табурет вылетел; Степан упал. И, сидя на полу, направил пистоль на Уса...

Ус побелел. Но ни один мускул не дрогнул на его добром лице. Он смотрел на Степана. Выхватить свой пистоль он все равно не успел бы... И он ждал. На его могучей, изрезанной морщинами шее вспухала толчками толстая синевато-багровая жила, точно вскрикивала о жизни.

Степан поднялся... Сунул пистоль за пояс.

— Там же пули нет, — сказал неохотно. — Уставились... Поиграть нельзя с дураками, — видно, ему самому противной стала эта «игра» — надоело: все утро сегодня он то и дело хватается и хватается за пистоль. Сам как дурак сделался. — Поплыли дальше, — Степан поднял табурет, сел, поглядел на дверь...

Матвея в приказной избе уже не было. И никто о нем больше не напомнил, не сказал ничего. Утро какое-то кособокое вышло; утро-то какое — победное, а все чем-то да омрачается.

— Дальше так дальше, — беспечным голосом сказал Ларька.

— Куда плывем-то?

— Только одно хочу вам сказать, и запомните: все, что тут счас сказал Матвей, — это истинная правда, — Степан помолчал, чтоб как следует вникли в его слова. — Мне только обидно, казаки-атаманы, что мужицкая голова оказалась умней... ваших, — не сказал «наших», сказал — «ваших». — А я от вас добивался... Это наука вам, — Степан подумал и все-таки добавил: — И мне тоже. Давайте корень копать... Ишо один наказ: мы на войне, ребятушки, и нечего кажный раз по сторонам оглядываться — то пришибли кого сгоряча, то... в иконку попали. Да как же без этого? На войне-то!.. Вы што?

9

Два казака на небольшой верткой лодочке гребли изо всех сил вниз по течению. Видно, старались держать ближе к берегу — к кустам. Переговаривались сторожко.

— Сколь нащитал?

— Триста набрал в голову и сбился. С тыщу будет. Двенадцать пушек.

— Смело́ они... развалились, как так и надо.

— Не знают, потому и смело.

— Хоть бы стереглись маленько...

— Не пуганные ни разу.

— Оно и мы-то — ждем, что ли, их? Я слыхал, они ишо где-то из-под Казани только-только выворотились... А они — вот они, голуби, пузы уж тут греют.

— Где теперь батька-то?

— В приказе небось? А где, поди?.. Там.

— Будет дело... Откуда, думаешь: с Москвы?

— С Москвы, должно. С казанскими вместе. Эх, разгулять-ся-та-а! Аж слюни текут. Накрыть можно... как кутят ситом.

— Даст бог, накроем.

Совет кончился; атаманы, есаулы расходились из приказной избы.

— Иван, огляди стены, — велел Степан. — Возьми Проньку с собой — ему тут головой оставаться. Подбирай вожжи, Прон: людей зря не обижай, не самовольничай — кругом все решайте...

Ус ушел со Степаном.

— Калган не болит? — спросил Ус просто.

— Нет.

— А то пойдем, у меня четверть доброго вина есть. У воеводы в погребе нашли. Ха-арошее винцо!

Степан думал о другом.

— Где счас Матвей твой? — спросил он.

— Тебе зачем? — насторожился большой Ус.

— Надо повидать его... Не бойся, худа не сделаю.

— Со мной он вместе. Смотри, Степан... тронешь его — меня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог тронуть. Не нашлось такого.

Степан с усмешкой посмотрел на Уса:

— А князь Борятинский-то... Ты как та девка: ночевала — и забыла с кем.

Ус замолк — обиделся. Был он как ребенок, этот Ус: зла вовсе не помнил, а обидеться мог зазря... Матвей про него сказал: «Пушка деревянная — только пужать ей».

— Не дуйся, я не по злобе. Бегать и я умею, Вася. Хорошо бы — не бегать. Так бы суметь...

— Зачем Матвея-то надо?

— Глянется мне этот мужик твой. Умный. Ты береги его.

— Глянется, а сам стукнуть хотел... Первый-то раз.

— Попужать хотел и первый раз. Видно, натерпелся он за жизнь всякой всячины... А? Из таких — умные получаются. Где ты его взял-то?

— Все там же! — Ус весело и вызывающе посмотрел на Степана. — Как из-под Москвы бежали, там и подобрал. Пристал к нам... а бросать жалко стало. Натерпелся он, верно, много. Где только не бывал! А говорит не все... Даже не знаю откуда. Рязанский, наверно... Не спрашивал.

— Умный мужик, верно. Пойдем мировую с им выпьем. Из Рязани он.

— Откуда ты знаешь?

— Да он сам сказал давеча. Да и по выговору слышно.

— Ну, мировую? — совсем повеселел Ус.

— Мировую, чего нам с тобой, лаяться, что ль?

— Это дело другое, я не люблю лаяться. Не отставай тада от меня, а я поддам ходу. Как зачую, где вино, так меня не удержишь: как мельница ногами работаю.

Матвей, увидев Степана, встал со скамьи... Усмехнулся горько. Но не особенно испугался. Сказал:

— Так...

— Сиди, я тебе не боярин, — Степан посадил Матвея, сел напротив. — Мировую хочу с тобой выпить.

Матвей качнул головой:

— А я уж богу душу отдавать собрался. Ну, мировую так мировую. Лучше мировую, чем панихидную. Так ведь? — Матвей засмеялся один, атаманы не засмеялись.

— Не сказал ты свое слово: как лучше ийтить-то — вверх, вниз? — спросил Степан, внимательно и серьезно вглядываясь в лицо крайне интересного ему человека.

— Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз, — Матвей тоже прямо глянул в глаза атаману. — Еслив это правда война, то — вниз.

— Вниз, — Степан все глядел на Матвея. — Ишь ты!..

Матвей усмехнулся и с особенным любопытством посмотрел на атамана.

— Не боюсь я тебя, грозный атаман, — заявил он спокойно и даже весело.

— Давеча же убить тебя мог, — серьезно сказал Степан.

— Мог, — согласился Матвей. — Можа, и убьешь когда-нибудь. А все равно не боюсь.

— Как так?

— Люблю тебя.

— Хм...

— Одно время шибко я бога кинулся любить... Чего только над собой не делал! — казнил себя всяко, голодом морил... даже на горбатой женился... Ну — полюбил, вроде спокой на душе, молюсь. Пожил маленько — нет, не могу: обман гольный. Отстал. Ну, и больше уж — на кого же надеяться? Все. А с богом никак не могу — не могу его всего в башку взять, не дано. Душа-то, слышу, мертвая у меня...

— А чего хочешь-то? — надеесся-то. Чего надо-то?

— Хочу-то?.. — Матвей помолчал. — Сам не знаю. Жалко людей, Степан Тимофеич, эх, жалко! Уж и не знаю, откуда она, такая жалость. Самого-то — в чем душа держится, соплей перешибить можно, а вот кинулся весь белый свет жалеть. Да ведь только бы жалел! Ну и иди в монастырь вон — жалей на здоровье, молись. А то ведь руки чешутся тоже — тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прямо мука, истинный Христос. И не уйдешь от их никуда, от людей-то, и на их глядеть — сердце разрывается: горе горькое воет. Он вон, царь-то, церквы размахнулся строить — а што?.. А мужику все тесней да тесней, уж и выбор-то стал: или поместнику в ярмо, или монастырю — вот и все, весь наш выход стал.

— Хм... к богу хочет поближе — с церквами-то.

— Теперь стал я на людей надеяться, Степан. На тебя вот... — Матвей, как бы спохватившись, что сказал лишка, смолк.

— Эт ты с любовью ко мне вылетел... я знаю зачем, — жестко сказал Степан.

— Зачем? — искренне спросил Матвей.

— Чтоб наперед не страшиться меня. Сказал: «люблю» — у меня рука не подымется больше...

— Ты что, палач, что ль, что тебе надо обязательно поднять на меня руку?

— Не говори поперек.

— Ишь ты какой!..

Пришел из сеней Ус с четвертью вина.

— Ты перепрятал? — спросил он Матвея. — Насилу нашел.

— Спросил бы... Я теперь и сам выпить не прочь. Мировая у нас с атаманом.

— Ты все-таки не выскакивай лишний раз с языком, — еще посоветовал Степан. — А то... Сам потом горевать буду да поздно. Не знаешь меня...

— Я все про тебя знаю, Степан.

Только налили по чарке — вбежал казак (один из тех, что плыли в лодке):

— Батька, стрельцы!

— Где? — повскакали все.

— На острове, в семи верстах отсель... С тыщу нам показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке, пузы выставили... Мы с Ермилом неводишко хотели забросить подальше от городка, подплываем, а их та-ам...

— Где, какой остров-то?

— Денежный зовут. В семи верстах, вверх.

— С тыщу?..

— С тыщу. Двенадцать пушек. Про нас — ни сном ни духом: валяются на травке, костры жгут...

— Счас они у нас поваляются. Это же те, каких из Казани ждут. Ая-яй! Зови всех ко мне! Счас мы их стренем. Только — никому пока ни слова про стрельцов! Никакого шума! Ая-яй! — Степан как на ежа наступил: засуетился по избе, забегал. — Ая-яй!.. А мы прохлаждаемся тут, вины распиваем. Ну, мало нас били! Ведь вот как могли накрыть! Нет, мало, мало били ишо...

Бой со стрельцами был предрешен. Степан со стругами отплыл на луговую сторону. Нагорной стороной (правым берегом) пошла конница во главе с Усом. На стенах города остались Черноярец и Шелудяк. С пушкарями.

Стрельцы действительно не знали о пребывании разинцев в Царицыне. И горько поплатились за свою беспечность.

Они готовились славно и мирно пополдничать, как вдруг с двух сторон на них посыпались пули — с правого берега (островок, где стояли, был недалеко от крутояра) и с воды, со стругов.

Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть. Но так, чтоб они не поняли, что их заманивают в ловушку: как будто это само собой вышло...

Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что делать каждому. И предсказал, как поведут себя стрельцы, застигнутые врасплох. Он говорил:

— Родионыч, бери две тыщи конных, пойдешь горой. Я переплыву к луговой стороне, подойду к им промеж островов поближе, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, выезжай на яр и пали. Они на стружки кинутся — сплывать. Я им дам — сядут. Федор, Фролка... Ларька, передайте, кто с нами поплывет: чтоб вперед моего стружка не выгребали. Пусть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь свою. Почнут к городу выгребать — я им дам. Баграми не сцепляться, на пуле держать. Федька, Иван...

— Какой Федька-то?

— Шелудяк. И ты, Иван: на стене будете с пушкарями. Подплывут на ядро — палите. На низ вздумают утекать, ты их стречай, Прон. Все в голову взяли?

— Все.

— С богом!

...Стрельцы выгребались к городу, полагая, что там воевода. Налегали изо всех сил на весла — скорей под спасительные пушки царицынских городских стен.

Сзади, на расстоянии выстрела, следовал Степан, поджимал их к берегу. С берега сыпали пулями казаки Уса.

Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпались на головы бедных стрельцов, что они почти и не пытались завязать бой. Спасение, по их мнению, было в городе, они рвались туда.

И когда им казалось, что — все, конец бойне, тут она началась. Самая свирепая.

Со стен города грянули пушки. Началась мясорубка. Пули и ядра сыпались теперь со всех сторон.

Стрельцы бросили грести, заметались на стругах. Некоторые кидались вплавь... Но и там смерть настигала их. Разгулялась она в тот день над их головами во всю свою губительную силу.

Стрельцы закричали о пощаде. Немногих, кто был ближе к стругам разинцев и отбивался после криков о милости, стрельцы застрелили сами.

От флотилии Степана отделился один стружок, выгреб на простор, чтоб его с берега и со стен видно было; казак поддел на багор кафтан и замахал им. Это был сигнал к отбою.

Стрельба прекратилась.

Все случилось скоро.

Стрельцы сошли на берег, сгрудились в кучу.

Подплыл Разин, съехал с обрыва Ус.

— Что, жарко было?! — громко спросил Степан, спрыгнув со струга и направляясь к пленным.

— Не приведи господи!

— Так жарко, что уж и вода не спасала.

— За Разиным поехали?!.. Вот я и есть — Разин. Кто хочет послужить богу, государю и мне, отходи вон к тому камню.

— Все послужим!

— Всех мне не надо. Голова, сотники, пятидесятники, десятники — эти пускай вот суда выйдут, ко мне ближе: я с ими погутарю.

Десятка полтора человек отделились от толпы стрельцов... Подошли ближе.

— Все? — спросил Степан. — Всех показывайте, а то потом всем хуже будет.

Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких.

— Кто голова?

— Я голова, — отозвался высокий, статный голова.

— Что ж ты, в гробину тебя?!.. Кто так воюет! Ты бы ишо растелешился там, на острове-то! К куму на блины поехал, собачий сын? Дура сырая... Войско перед тобой али — так себе?! Всех в воду!

Казаки бросились вязать стрелецкое начальство.

К Степану подошли несколько стрельцов с просьбой:

— Атаман... одного помилуй, добрый был на походе...

— Кто?

— Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. Помилуй, жалко...

— Развязать Федора! — распорядился Степан. И, не видя еще, кто этот Федор Якшин, крикнул — всем: — Просют за тебя, Федор!

Почуяв возможность спасения, несколько человек — десятник и пятидесятники — упали на колени, взмолились:

— Атаман, смилуйся! Братцы, смилуйтесь!..

Степан молчал. Стрельцы тоже молчали.

— Братцы, я рази вам плохой был?

— Смилуйся, атаман! Братцы!..

Степан молчал. Молчали и стрельцы.

— Атаман, верой и правдой служить будем! Смилуйся.

К Степану пробрался Матвей Иванов. Заговорил, глядя на него:

— Степан Тимофеич...

— Цыть! Баба, — оборвал его Степан. — Я войско набираю, а не изменников себе. Счас все хорошими скажутся, потом нож в спину воткнут. Не суйся.

Твердость Разина в боевом деле, какой была непреклонной, непреклонной и оставалась. Ничто не могло здесь свихнуть его напряженную душу, даже жалость к людям, — он стискивал зубы и делал, что считал нужным делать.

Больше никого начальных не помиловали.

— Стрельцов рассовать по стружкам, — сказал Степан своим есаулам. — Гребцами. У нас никого не задело?

Есаулы промолчали. Иван Черноярец отвернулся.

— Кого? — спросил Степан, сменившись в лице.

— Дедку... Стыря. И ишо восьмерых, — сказал Иван.

— Совсем? Дедку-то...

— Совсем.

— Эх, дед... — тихо, с досадой сказал Степан. И болезненно сморщился. И долго молчал, опустив голову. — Сколь стрельцов уходили? — спросил.

Никто этого не знал — не считали.

— Позовите полуголову Федора.

Полуголова Федор Якшин до конца не верил в свое освобождение. Когда позвали его, он, только что видевший смерть своих товарищей-начальников, молча кивнул головой стрельцам и пошел к атаману.

— Сколь вас всех было? — спросил тот.

— Тыща. С нами.

Степан посмотрел на оставшихся в живых стрельцов.

— Сколь здесь на глаз?

Заспорили.

— Пятьсот.

— Откуда?.. С триста, не боле.

— Эк, какой ты — триста! Три сотни?.. Шесть!

— На баране шерсть.

— Пятьсот, — сходились многие. — Пятьсот уходили, не мене.

Полуголова Федор, толковый мужик, поглядел на своих стрельцов.

— Не знаю, сколь вам надо, — сказал он грустно, — но, думаю, наших легло... с триста. С начальными.

— Мало, — сказал Степан.

Не поняли — чего мало?

— Кого мало? — переспросил Иван.

— Хочу деду поминки справить. Добрые поминки!

— Триста душ отлетело — это добрые поминки.

— Мало! — зло и упрямо повторил Степан. И пошел прочь от казаков по берегу. Оглянулся, сказал: — Иван, позови Проньку, Ивашку Кузьмина, Семку Резанова, — и продолжал идти по самому краю берега. О чем-то глубоко и сумрачно думал.

Через некоторое время пришли те, кого он звал: Иван Черноярец, Прон Шумливый, Ивашка Кузьмин, скоморох Семка.

Степан сел сам, пригласил всех:

— Сидайте. Прон, в Камышине бывал?

— Бывал.

— Воеводу тамошнего знаешь? Нет, так он тебя знает?

— Откуда!

Степан подумал... Побил черенком плети по носку сапога.

— Ивашка, боярский сын... — сказал он и пристально посмотрел на боярского сына. — Бывал в Камышине?

— Как же! — поспешил с ответом перебежчик, боярский сын. Этот боярский сын из Воронежа, в обиде великой на отца и на родню, взял и перекинулся к разинцам, и, кажется, уже жалел об этом — особенно после избиения царицынцев. Но делать нечего... Единственное, наверно, что можно сделать, уйти опять к своим. Только... и гордость противится, и... как теперь поглядят свои-то? — Бывал. Много раз.

— Воевода тебя знает?

— Знает.

— Хорошо знает? Голос твой узнает?

— Как же!

— Добре. Приберете из войска, которые не в казачьем платье... Поедете в Камышин, попроситесь в город. Ты, Ивашка, попросисся. Но с тобой будет мало, с дюжину — по торговому делу. Слышно, мол, Стенька где-то шатается — боязно. Вон скомороху, мол, язык срезали. Пустют. Там подбейте воротную стражу... или побейте, как хочете: откройте ворота. Ты, Прон, с сотнями схоронись поблизости. Как ворота откроются, не зевай, вали.

— Еслив откроются...

— Откроются. Силы у их там мало, я знаю, лишних людишек всегда примут. Ишо порадуются. Я так-то Яик-городок брал. К утру чтоб Камышина на свете не было. Выжечь все дотла, золу смести в Волгу. До тех пор я Стыря земле не предам. Все взяли? Людишек с добром и со скотом... в степь выгоните. Зря не бейте — они по деревням разойдутся. Приказных и стрелецких — в воду. А городка такого — Камышина — пускай не станет, пускай тоже не торчит у нас за спиной. Взяли?

— Взяли.

— С богом. Иван, подбери людей. Сам здесь останься. Станут наши пытать: куда, чего — не трепитесь много. К калмыкам, мол, сбегать. И все. Ивашка... — Степан поглядел на боярского сына. — Еслив какая поганая дума придет в голову, — лучше сам на копье прыгай: на том свете достану Лютую смерть примешь. Загодя выбрось все плохие думы из головы. Идите.

Казаки ушли.

Степан остался сидеть. Смотрел вверх по Волге. Долго сидел так. Сказал негромко:

— Будет вам панихида. Большая. Вой будет и горе вам.

...Ночью сидели в приказной избе: Степан, Ус, Шелудяк, Черноярец, дед Любим, Фрол Разин, Суккин, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, Матвей Иванов. Пили.

Горели свечи, и пахло, как в церкви.

В красном углу, под образами, сидел... мертвый Стырь. Его прислонили к стенке, обложили белыми подушками, и

он сидел, опустив на грудь голову, словно задумался. Одет он был во все чистое, нарядное. При оружии. Умыт.

Пили молча. Наливали и пили. И молчали... Шибко грустными тоже не были. Просто сидели и молчали.

Дед Любим сидел ближе всех к покойнику. Он тоже был нарядный, хоть печальный и задумчивый.

Колебались огненные языки свечей. Скорбно и с болью смотрела с иконостаса простреленная Божья Мать.

Тихо, мягко капала на пол вода из рукомойника. В тишине звук этот был особенно отчетлив. Когда шевелились, наливали вино, поднимали стаканы — не было слышно. А когда устанавливалась тишина, опять слышалось мягкое, нежное: кап-кап, кап-кап...

Фрол Разин встал и дернул за железный стерженек рукомойника. Перестало капать.

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу...

Песню знали; Стырь частенько певал ее, это была его любимая.

Подхватили. Тоже негромко, глуховато:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!

Снова повел Степан. Он не пел, проговаривал. Выходило душевно. И делал он это серьезно. Не грустно.

Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу...

Все:

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил,
Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря,
Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Рубить, казнить комара,
Рубить, казнить комара,

Комара, комара, комара,
мара, мара!
Отлетела голова,
Отлетела голова,
голова, голова, голова,
лова, лова!

Налили, выпили. Опять замолчали.

За окнами стало отбеливать; язычки свечей поблекли — отцвели.

Вошел казак, возвестил весело:

— Со стены сказывают: горит!

Степан налил казаку большую чару вина, подал. И даже приобнял казака.

— На-ка... за добрую весть. Пошли глядеть.

Камышин сгорел. Весь.

* * *

При солнышке поднялись в поход. Степан опять торопился.

Раскатился разнобойный залп из ружей и пистолей...

Постояли над свежими могилками казаков, убитых в бою со стрельцами. Совсем еще свежей была могилка Стыря.

— Простите, — сказал Степан холмикам с крестами.

Постояли, надели шапки и пошли.

С высокого яра далеко открывался вид на Волгу. Струги уже выгребали на середину реки; нагорной стороной готовилась двинуть конница Шелудяка.

— С богом, — сказал Степан. И махнул шапкой.

Войско двинулось вниз по Волге. На Астрахань.

10

Долго бы еще не знали в Астрахани, что творится вверху по Волге, если бы случай не привел к ним промышленника Павла Дубенского, муромца родом.

Тот плыл по Волге на легком стружке, распевал песенки. В десяти верстах от Царицына повстречал стрельцов из отряда Лопатина (разбитого под Царицыном), которые чу-

дом уцелели и бежали вверх. Они-то и рассказали Дубенскому все. Тот, видно, не раз ходил Волгою, места хорошо знал. Переволокся на Ахтубу, у Бузуна снова выгреб в Волгу и достиг Астрахани. И там все поведал.

Начальные люди астраханские взялись за головы.

Воеводы, митрополит, приказные, военные-иностранцы сидели в приказной палате, не знали, как теперь быть.

— Говорите, как думаете, — велел Прозоровский. — Рассусоливать некогда. Дорассусоливались! Ведь мы-ы, — постучал он пальцем по столу, — мы, вот здесь вот, благословили Стеньку на такой разбой. Говорите теперь!

Но многим хотелось более ясно представить себе надвигающуюся беду, расспрашивали Дубенского.

— Как же ты-то проплыл? — спросил князь Львов.

— Ахтубой. Там переволокся, а тут, у Бузуна, вышел. Я Волгой-то с малых лет хаживал, с отцом ишо, царство ему небесное, всю ее, матушку, вдоль и поперек...

— Сколько ж у его силы?

— Те, стрельцы-то, сказывали: тыщ с пять. Но не ручались. А рыбаки, я их тоже стренул, — пятнадцать, мол. А на Царицыне атаманом Пронька Шумливый. Завели в городе казачий уклад: десятников поставили, дела кругом решают. А эти, посадские...

— Те, эти... Не мог ладóм узнать! — разозлился воевода.

— Ты плыл, Камышин-то стоял ишо? — спросил Львов.

— Стоял. А потом уж посадские сказали: спалили. Чего мне говорили, то и я говорю. Зачем же на меня-то гневаться?

Митрополит перекрестился.

— Вот она и пришла, матушка...

— Кто? — не понял младший Прозоровский.

— Беда. При нас начиналась и до нас и дошла.

— Советуйте, — велел воевода. — Как их, подлецов, изменников, к долгу теперь обратить? Как унять?

— Зло сталь очшень большой, — заговорил Давид Бутлер, корабельный капитан. — Начшальник Стенька не может удерживать долго флясть...

— Пошто так?

— Са ним следовать простой шеловек, тольпа — это очшень легкомысленный... мм... как у вас?.. — капитан пока-

зал руками вокруг себя — нечто низменное, вызывающее у него лично брезгливость. — Как это?

— Сброд? Сволочь? — подсказал Прозоровский.

— Своленшь!.. Там нет ферность, фоинский искусств... Дисциплин! Скоро, очшень скоро там есть — пополам, много. Фафилон! Только не давайт фольнени сдесь, город. Строго! М-м!

— Жди, когда у его там пополам будет! — воскликнул подьячий Алексеев. — Свои-то, наши-то сволочи, того гляди зубы оскалют. На бочке с порохом сидим.

Прозоровский посмотрел на Красулина. Тот грустно кивнул головой. Да воевода и сам знал о ненадежности стрельцов.

— Что правда, то правда, — вздохнул стрелецкий голова.

— Надо напасть на воров в ихнем же стане! — заключил молодой Прозоровский. — Будем готовиться, наших хоть делом займем. А пока готовиться будем, приберем человек четыреста получше да татар сэстоль же — пусть сходют вверх проведают. А здесь собрать надо людей со всех мест, оружить их... Сколь стрельцов-то у нас?

— Всего войска — двенадцать тыщ, — ответствовал Иван Красулин.

Боярин Прозоровский хлопнул себя по ляжкам.

— А еслив у его, вора, — пятнадцать!

— Не числом бьют, Иван Семеныч, — заметил в сердцах митрополит. — Крепостью. Сразу принялись воров щитать — сколько? Вот те раз! Ишо ничем ничего, а мы уж готовы — сварились.

— Где она, крепость-то? Стрельцы?.. Они все к воровству склонные. Они вон жалованье требуют, стрельцы-то. Вот и вся крепость. Щитать принялись... Будешь щитать, если вся и надежда — за стенами отсидеться. Выйди-ка наружу-то... проть кого она обернется, крепость-то?

— Подвесть их под присягу...

— Они жалованье требуют! А не под присягу... — воевода злился. — Одной присягой не навоюешь.

— Вот вся наша крепость: надо платить, — сказал подьячий. — Надо платить. Тада хоть какая-то надежда будет.

— Подвесть под присягу! — еще раз сказал мтрополит. — Острастку сделать!.. — он тоже был в сильнейшем раздражении. — А караул кричать — это мы напоследок сделаем.

Соберемся с голосами и рявкнем. Можешь, даже Стеньку тем испужаем...

Астраханцы растерялись.

11

Разинцы шли ходко, днем и ночью, без остановок. Для этого вперед, на один конский переход, под сильной охраной высылались кони, кормились, и на них, отдохнувших, пересаживались казаки. Уставшие тоже кормились, налегке обгоняли войско и опять ждали, чтобы везти казаков дальше. Казаки с коней переходили в струги, отсыпались и снова садились на коней. Громада стремительно двигалась на юг, на Астрахань. В войске царила трезвость. За этим следили сотники, есаулы. Никто, и атаман тоже, не имел права выпить, хоть вино везли с собой, много.

Степан со всеми вместе переходил с коня на струг, наскоро ел, спал и опять садился на коня. Был он серьезен в эти дни, не кричал, не ругался. Так всегда было, когда он терял дорогого человека. Так было, когда он потерял в Персии Сергея Кривого.

Как-то под вечер атаман ехал рядом с Матвеем Ивановым. Разговорились про смерть. Совершенная внутренняя свобода Разина, постоянная работа ума, беспокойная натура — силы, которые сшибали его с мыслями трудными, неразрешимыми. То он не понимал, почему царь — царь, то злился и негодовал: как это — люди могут быть подневольными, но при этом — живут, смеются, рожают детей... То он вдруг перестал понимать смерть — человека нету. Как это? Совсем? Что, Стырь так и будет лежать теперь на высоком берегу Волги? Вечно. Для чего же все было? Для чего он жил? Смерть... Да что это, что?

— Степушка, — посмеялся Матвей, — покойников-то на земле больше, чем живых.

— Хреновина выходит, Матвей: одни черви и живут на земле? А мы для чего? Для прокорма ихного?

— Выходит, так.

— Тьфу!.. Аж тошно. А чего ты мне про бога-то плел? Я забыл... Ну-ка, расскажи толком... Я, знаешь, иконку одну видал в Соловцах — Божья Мать, я ее всю понял, всю в баш-

ку взял. Не знаю, как тебе сказать, — понял. Сидит хорошая, душевная христьянка... как моя мать. Я на ее залюбовался, по теперь ее помню. Ну?.. Стало быть, верю я?

— Это не то, Степан Тимофеич.

— Что же? А ты как хотел верить?

Матвей пристроил шагать своего конька к шагу разинского.

— Полюбить я его хотел, бога-то... Не мог — не дано: вес   л дно, грехами изъеден, как лесина трухлявая, где же тут полюбить, чем?.. А любви нет, нету и веры, один обман. Я вон на горбатой-то оженился — и што? Ни себе радости, ни... И ей тоже мука. А ведь тоже — хотел полюбить. Вот-де никто не любит, а я буду. Душу ее буду любить...

— Ну, и как? — со смехом спросил Степан.

— Не мог. Кажилился, кажилился — нет, нету моих сил на то, сбежал. Все бросил — и куда глаза глядят. Там и бросать-то... бобыль я. Нет, брат, душу не обманешь.

Они приотстали от других, никто не мешал разговаривать. И не странно им было — на высоченном берегу Волги, верхами, глотая пыль, поднятую передними, — вести этот углубленный разговор. Но Степану было интересно, и Матвею интересно.

— Ну, а как с богом-то? — хотел понять Степан.

— Тоже не мог полюбить. Ведь полюби я, я бы и знал, как жить, — а не могу. Думы черные в голову лезут. Думаю: да сам он боярин добрый, бог-то. Любит, чтоб перед им только стелились. А он поглядит: помочь тебе али нет. Он ишо подумает. От таких-то богов на земле деваться некуда. Вот ведь думы какие! Рази так можно?

— А царя за что не жалуешь?

— Что? — Матвей, когда не знал, как ответить, переспрашивал — собирался с мыслью.

— Царя-то за что не любишь? Глухой, что ль?

— А ты?

— Я тебя спрашиваю!

— А мне интересно, как ты скажешь...

— Хитрый ты, Матвей. Все мужики хитрые.

— А ты не хитрый?

— Чего ты заладил: «а ты», «а ты»?.. Дятел. Я тебя спрашиваю!

— Ты тоже хитрый, Степан. Можеть, так и надо.

— Где это я хитрый?

— Да с царем с тем же... Не жалуешь и ты его, а как надо людей с собой подбить, говоришь: я за царя! Хэх!.. За царя. За волю уж, Степан, — прямо, не кривить бы душой. Ну, опять же — не знаю. Тебе видней. Погано только. Как-то все... вроде и доброе дело люди собрались делать, а без обмана — никак! Что за черт за житуха такая. У нас, что ль, у одних так, у русских? Ты вот татарей знаешь, калмыков — у их-то так жа?

— Как я их знаю!.. — в раздумье, не сразу откликнулся Степан.

Степану неохота было говорить про это; велика это штука — людей поднять на тяжкое дело долгой войны. За волю, за волю, за царя — тоже за волю, но пусть будет за царя, лишь бы смелей шли, лишь бы не разбежались после первой головомойки. А там уж... там уж не их забота. За волю-то не шибко вон подымаются мужики-то: на бояр да за царя... Так уж невтерпеж им — перед царем ползать. И нет такой головы, которая растолковала бы: зачем это людям надо?

— Такой же ведь человек — баба родила, — стал думать вслух Степан. — Пошто же так повелось? — посадили одного и давай перед ним на карачках ползать. Во!.. С ума, что ль, посходили? Зачем это? Царь. Что царь? Ну и что?

— Дьявол знает! Боятся. А тому уж — вроде так и надо, вроде уж он — не он и до ветру не под себя ходит. Так и повелось... А небось перелобанить хорошо поленом, так и ноги протянет, как я, к примеру...

Степан глядел вперед — как будто не слушал.

Матвей смолк.

— Ну? — спросил Степан.

— Что?

— Перелобанить, говоришь?

— Пример это я тебе!.. Такой же человек, мол, тоже туда же дорога — к червям, а вот вишь, что делается...

— Мгм... Да ишо еслив пример-то выбрать почижельше — осиновый. А?

Засмеялись.

— А что Никон? — спросил вдруг Степан с искренним и давним интересом. — Глянется мне этот поп! Хватило же духу с царем полаяться... А? Как думаешь про его?

— Ну и что?

— Как же?.. Молодец! А к нам не склонился, хрен старый. Тоже, видать, хитрый.

— Зачем ему? У его своя смета... Им, как двум медведям, тесно стало в берлоге. Это от жиру, Степан: один другому нечаянно на мозоль наступил. Ты бы ишо царя додумался с собой подговаривать...

— Нет, я таких стариков люблю. Возьму вот и объявлю: Никон со мной идет. А?

— Зачем это? — удивился Матвей.

— Так... Народ повалит, мужики. Патриарх... самый высокий поп, как Стырь говорил. Мужики смелей пойдут.

Матвей молчал.

— Что молчишь?

— Делай как знаешь...

— А ты как думаешь?

— Опять ведь за нож схватисся?

— Да нет!.. Что я, живодер, что ли?

— Дурость это — с Никоном-то. «Народ повалит». Эх, как знаешь ты народ-то! Так прямо кинулись к тебе мужики — узнали: Никон идет. Тьфу! Поднялся волю с народом добывать, а народу-то и не веришь. Мало мужику, что ты ему волю посулил, дай ему ишо попа высокого. Ну и дурак... Пойдем волю добывать, только я тебя попом заманю. Нет, Степан, ни царем, ни попом не надо обманывать. Дурость это.

— Цыть! Заговорил!.. — Степан уставился на Матвея строгим взглядом. — Много! Ворох сразу вывалил... Умник.

Матвей, недолго думая, подстегнул меринка и отъехал вперед, и скрылся в рядах конников.

Степан обогнал всех, свернул в сторону с дороги, остановился. Подождал, когда подъедут есаулы.

— Дед! — окликнул он деда Любима. Когда Любим подъехал, спросил: — Есть у тебя хлопец проворный?

— У меня все проворные, — дед Любим привстал в стременах, кого-то стал высматривать среди конных. — Зачем тебе? Могу всех кликнуть: сам выбирай — все молодцы добрые.

К ним подвернули есаулы, скучились.

— Мне всех не надо. А одного найди — в Астрахань поедет, к Ивашке Красулину.

— Гумагу? — догадался Любим.

— Никаких гумаг. Взять все в память, и до поры пускай все умрет.

Мимо шла и шла конница. Со Степаном здоровались; он кивал головой, влюбленно всматривался в своих казаков.

— Здоров, батька!

— По чарочке б, Стяпан Тимофеич!.. Глотки — того, дерет... Пыль бы сполоснуть!

Степан задумчиво щурил глаза. Вдруг он увидел кого-то.

— Макся Федоров!

Молодой казак (тот игрок в карты) придержал коня.

— Я?

— Ты. Ехай суда.

Макся подъехал. Степан улыбнулся растерянности парня.

— Чего же не здороваисся? Не узнал, что ли? Я вот тебя узнал.

— Здоров, батька.

— Здоров, сынок. Как, в картишки стариков обыгрываешь?

— Нет! — выпалил Макся. И покраснел.

Степан и есаулы засмеялись.

— Чего ты отпираться-то кинулся? Старика обыграть — это суметь надо. Они хитрые, — Степан спрыгнул с коня. — Иди-ка суда.

Макся тоже спешился и отошел с атаманом в сторону. Тот долго ему что-то втолковывал. Макся кивал головой. Потом Степан приобнял парня, поцеловал и отпустил.

Макся, счастливый и гордый, никого не видя вокруг, вскочил на коня и с места взял в мах.

Конница все шла.

Степан тоже сел на коня, тронул его тихим шагом. Есаулы за ним.

Степан вдруг обернулся, позвал:

— Иван, найди Матвея Иванова. Пошли ко мне.

Есаулы переглянулись... Не нравился им этот Матвей Иванов — баба какая-то, да еще и говорун. Иван послал казака найти Матвея, но сам подъехал к Степану, чуть потеснил его коня вбок.

— Степан... казаки наказали выговорить тебе...

— Ну. Слухаю.

— Этот Матвей... он, видно, хороший мужик, но ты уж прямо милуисся с им на виду войска. Обида берет казаков...

— А тебя берет?

— А?

— Тебе, говорю, тоже обидно, что я гутарю с мужиком?! Что вы седня, оглохли, что ль, все?

— Да гутарь на здоровье! Уведи в шатер, там и гутарьте... Только гляди, не стал бы он с толку сбивать...

— С какого?

— Ну... мало ли у их чего на уме. Кто их знает, этих мужиков. А он вон какой говорун!

— Ты прямо, как за девкой, за мной доглядываешь, — Степан усмехнулся. — Смешной ты, Иван... Не бойся, он меня с толку не собьет.

— Я так-то не боюсь...

— И не обижайтесь. Ума-разума атаман наберется — кому от этого хуже? Всем лучше будет.

— От его — ума-разума? — удивился Иван. — Господи...

— От его. Не гляди, что неказистый, все смекает. Ты, Ваня, таких не отталкивай от себя. У его вон в чем душа держится — а она болит за всех, умная душа. Не обижайте его.

— Никто его не обижает.

— Мне отец рассказывал про деда, отца своего... Здоров был, пошуметь любил, Стырь знал его. Кому хошь бока наломает, а калеку какого-нибудь домой приведет, накормит, напоит и с собой спать положит. Мне всех убогих да бездомных тоже жалко... Да ишо когда бьют их...

— Кто его бьет?

— Я не про Матвея. А и про его! Бьют таких, Иван! Не слышим мы — стон стоит по деревням да по городам. И такие же, русские... курвы: ни стыда, ни жалости — бьют. Как маленько посильней да царю угодный, так норовит, змея такая, мужику на шею. Мы сдуру в Персию поперли — вот кому надо кровя-то пускать, своим! Я два раза проехал — посмотрел... Да там не... Тьфу! Не буду! Не буду!.. Тьфу! Говори мне чего-нибудь... про войско. Высыпаются казаки?

— Меняемся, как же.

— Шагу не сбавляй, но отоспаться давай. Корми тоже хорошо. Надо в Астрахань свежими прийти. Пить, гляди, не давай.

— Гляжу.

— В Астрахани, даст бог, разговеемся. Ну, оставь одного. Пусть Матвей-то смелей подъедет... шумнул я тут на его. Пусть не боится. Да и вы не коситесь — уревновали, дураки. Побольше б нам таких в войско — с головой да душой, — умней бы дело-то пошло. Позови-ка.

— Ладно.

Матвей нашел атамана, когда солнышко уже село. На просторную степь за Волгой легла тень. Светло поблескивала широкая полоса реки. Мир и покой чудился на земле. Не звать бы никого, не тревожить бы на этой земле. А что делать? Любить же надо на этой земле... Звезды в небе считать. Почему же на душе все время тревожно, больно даже?

— Звал, Тимофеич?

— Звал, — Степан сидел на яру, обняв руками колени. Сзади стоял конь, недоуменно фыркал и легонько тянул повод. — Хотел договорить давешное, да расхотел. Ты говоришь: кинулся было бога любить... А я любил, Матвей.

— Неужто? — искренне изумился Матвей.

— Любил. Молился... Только молился, а сам думал: не поверит он мне. Я никакой не сиротка, не золотушный... Подумает: просит, а сам небось про баб думает али как погулять... Он же ведь все там знает.

— А чего просил-то? Молился-то?

— Чтоб отец живой из похода пришел, чтоб казаки одолели... Много — совестно споминать. Маленький был, молился, чтоб мать не хворала, — жалко было. Да мало ли!..

— Не любил ты его, Степан. Так не любят: молится и тут же думает — не поверит бог. Сам ты ему не верил.

— Как же! Плакал даже! Большой уж был и то плакал...

— Это... душа у тебя такая — жалосливая. Когда верют, так уж верют, а ты с им, как с кумом: в думы его тайные полез. Нешто про бога можно знать, чего он думает? Нет, еслив верить, так уж ложись пластом и обмирай. Они так, кто верит-то.

— Ну, не знаю... Я верил.

— Чего ж бросил?

— Я, можеть, и не бросил вовсе-то... Попов шибко не люблю. За то не люблю, оглоедов, что одно на уме: лишь бы нажраться!.. Ну ты подумай — и все! Лучше уж ты убивай на большой дороге, чем обманывать-то. А то-и богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь... Грех убивать! Грех. Но кус-

ки-то собирать — за обман-то, за притворство-то — да ить это хуже грех! Чем же они не побирушки? А глянь, важность какая!.. Чего-то он знает. А чего знает, кабан? Как брюхо набить — вот все знатье. Про бога он знает?

— Дерьма много... Правда. А татаре говорят про своего бога: поймешь себя, поймешь бога. Можеть, мы себя не понимаем? А кинулись вон кого понимать...

— Так чего же он терпит там! Все силы небесные в кулаке держит, а на земле — бестолочь несусветная. Эти лоботрясы с молитвами, а тут — кто кого сгреб, тот того и... Куда ж он смотрит? Нет уж, тут и понимать нечего: не то чего-то... Не так. Кто же людям поможет-то? Царь?

— Ну, это не его дело! Себя только ублажает сидит там. Иной раз думаю: да хоть пожалей ты людишек своих!.. Нет, никак, ни-как! Не видит, что ли?.. Не знает ли...

— Вот... — Степан долго смотрел в заволжскую даль. Сказал негромко: — Вишь, хорошо как. Живешь — не замечаешь. А хорошо.

— Хорошо, — согласился Матвей. — Костерок бы счас над речкой... Лежать бы — считать звезды.

Степан засмеялся:

— Ты прямо мою думку подслушал... Поваляться б? Эх, поваляться б!.. Матвей, хочу спросить тебя, да неловко: чего эт ты с горбатой-то надумал? Правда, что ль, блажь нашла или, можеть, на богатство поманило, а теперь сознаться совестно? А?

— Не надо про это, — не сразу ответил Матвей. — Не надо, Степан, — и стал грустный.

Что-то очень тут болело у мужика, а не говорил. Сказал только:

— Я рассказывал тебе... Ты не веришь.

12

Макся попался в Астрахани. Его узнали на улице. Вернее, узнал он. Пропажу свою узнал. Когда осенью были в Астрахани, пропал у Макси красавец-нож с позлаченной рукоятью. Редкий нож, искусной работы. Макся горевал тогда по ножу, как по человеку. А тут — шел он по улице, глядь, навстречу ему — его нож: блестит на пузе у какого-то купца, сияет, как кричит.

— Где нож взял? — сразу спросил Макся купца.

— А тебе какая забота? Где б ни взял...

У Макси — ни пистоля, ни сабли при себе, он в драной одежонке... Но прикинул парень астраханца на глаз — можно одолеть. Не дать только ему опомниться... А пока он так прикидывал да глянул туда-сюда по улице, астраханец, зачуяв недоброе, заблажил. Макся — наутек, но подбежали люди, схватили его. И тогда-то некая молодая бабенка — без злого умысла даже, просто так — вылетела с языком:

— Ой, да от Стеньки он! Я его видала, когда Стенька-то был... Со Стенькой он был. Я ишо подумала тада: какие глаза парню достались...

У Макси и впрямь глаза девичьи: карие, ласковые... И вот они-то врезались в память глупой бабе.

Повели Максю в пыточный подвал. Вздернули на дыбу... Макся уперся, запечатал окровавленные уста. Как ни бились над ним, как ни мучили — молчал. Меняли бичи, поливали изодранную до костей спину рассолом — молчал. Бился на соломе, орал, потом стонал только, но ни слова не сказал. Даже не врал во спасение. Молчал. Так наказал атаман — на случай беды: молчать, что бы ни делали, как ни били.

Устали заплечные и пищик, и подьячий, мастер и любитель допроса. Вошли старший Прозоровский с Иваном Красулиным.

— Ну как? — спросил воевода.

— Молчит, дьяволенок. Из сил выбились...

— Да ну? Гляди-ко...

— Как язык проглотил.

— Ну, не отжевал же он его, правда.

— Сбудется! У этого ворья все сбудется.

Воевода зашел с лица Максе.

— Ух, как они тебя-а!.. Однако, перестарались. Зря, не надо так-то. Ну-ка снимите его, мы поговорим. Эк дорвались, черти! — голос у воеводы отеческий, а глаза красные — от бессонницы последних ночей, от досады и слабости. Этой ночью пил со стрелецкими начальными людьми, много хвалился, грозил Стеньке Разину. Теперь стыдно и мерзко.

Максю сняли с дыбы. Рук и ног не развязали, положили на лавку. Воевода подсел к нему. Прокашлялся.

— К кому послали-то? Кто?

Макся молчал.

— Ну?.. К кому шел-то? — воеводе душно было в подвале. И почему-то страшно. Подвал темный, низкий, круглый — исхода нет, жизнь загибается здесь концами в простой, жуткий круг: ни докричаться отсюда, ни спрятать голову в угол, отовсюду виден ты сам себе, и ясно видно — конец.

— Ну?.. Чего сказать-то велели? Кому?

Макся повел глазами на воеводу, на Красулина, на своих палачей... Отвернулся.

Воевода подумал. И так же отечески ласково попросил:

— Ну-ка, погрейте его железкой — небось сговорчивей станет. А то уж прямо такие упорные все, спасу нет. Такие все верные да преданные... Заблажишь, голубок... срамец сопливый. Погуляешь у меня с атаманами...

Палач накалил на огне железный прут и стал водить им по спине жертвы.

— К кому послали-то? — спрашивал воевода. — Зачем? Мм?

Макся выл, бился на лавке. Палач отнял прут, положил в огонь накалить снова, а горку рыжих углей поддул мехом, она воссияла и схватилась сверху бегучим синеньким огоньком.

В подвале пахло паленым и псиной.

— Кто послал-то? Стенька? Вот он как жалеет вас, батюшка-то ваш. Сам там пьет-гуляет, а вас посылает на муки. А вы терпите! К кому послали-то? Мм?!

Макся молчал. Воевода мигнул палачу. Тот взял прут и опять подошел к лежащему Максе.

— Последний раз спрашиваю! — стал терять терпение воевода: его тянуло поскорей выйти на воздух, на волю; тошнило. — К кому шел? Мм?

Макся молчал. Вряд ли и слышал он, о чем спрашивали. Не нужно ему все это было, безразлично — мир опрокидывался назад, в кровавую блевотину. Еще только боль доставала его из того мира — остро втыкалась в живое сердце.

Палач повел прутом по спине. Прут влипал в мясо...

Макся опять закричал.

Воевода встал, еще раз надсадно прокашлялся от копоти и вони.

— Пеняй на себя, парень, Я тебе помочь хотел.

— Чего делать-то? — спросил подьячий.

— Повесить змееныша!.. На виду! На страх всем.

* * *

Двадцать пятого мая, в троицын день, с молебствиями, с колокольным звоном, с напутствиями удач и счастья провожали астраханский флот под началом князя Львова навстречу Разину.

Посадский торговый и работный люд огромной толпой стоял на берегу, смотрел на проводы. Ликований не было.

Здесь же, на берегу, была заготовлена виселица.

Ударили пушки со стен.

К виселице поднесли Макею, накинули петлю на шею и вздернули еле живого.

Макея был так истерзан на пытках, что смотреть на него без сострадания никто не мог. В толпе астраханцев возник неодобрительный гул. Стрельцы на стругах и в лодках отвернулись от ужасного зрелища.

Воевода запоздало понял свою ошибку, велел снять труп. Махнул князю, чтоб отплывали, — чтоб хоть прощальным гамом и напутственной стрельбой из пушек сбить и спутать зловещее настроение толпы.

Флот отвалил от берега, растянулся по реке. Стреляли пушки со стен Белого города.

Воевода с военными иностранцами, которые оставались в городе, направились к Кремлю.

Гул и ропот в толпе не утихли, когда приблизился воевода с окружением, напротив, стал определенно угрожающим.

Послышались отдельные выкрики:

— Негоже учинил воевода: в святую троицу человека казнили!!

— А им-то что?! — вторили другие. — Собаки!

Младший Прозоровский приостановился было, чтобы узнать, кто это посмел голос возвысить, но старший брат дернул его за рукав, показал глазами — идти вперед и помалкивать.

— Виселицу-то для кого оставили?! — осмелели в толпе.

— Вишь, Стеньку ждут! Дождетесь... Близко!

— Он придет, наведет суд! Он вам наведет суд и расправу!

— Сволочи! — громко сказал Михайло Прозоровский. — Как заговорили!

— Иди, вроде не слышишь, — велел воевода. — Даст бог, управимся с ворами, всех крикунов найдем.

— Прижали хвосты-то! — орали. — Он придет, Стенька-то, придет! Он вам распорет брюхо-то! Он вам перемоет кишки!

— Узю их!..

— Сволочи, — горько возмущался Михайло Прозоровский.

Так было в городе Астрахани.

13

А так было на Волге, пониже Черного Яра, тремя днями позже.

Разинцы со стругов заметили двух всадников на луговой стороне (левый берег). Всадники махали руками, явно привлекая к себе внимание.

Стали гадать:

— Похоже, татаре: кони татарские.

— Они... Татаре!

— Чего-то машут. Сказать, видно, хотят. Батька, вели сплавать!

Степан всматривался со струга в далекий берег.

— Ну-ка, кто-нибудь сплавайте, — велел.

Стружок полегче отвалил от флотилии, замахали веслами к левому берегу. Вся флотилия прижалась к правому, бросали якоря, шумнули своим конным, чтоб стали тоже.

Степан сошел на берег, крикнул вверх, на крутояр, где торчали конские и людские головы:

— Федька!..

Через некоторое время наверху показалась голова Федьки Шелудяка.

— Батька, звал? — крикнул он.

— Будь наготове! — сказал ему Иван Черноярец (Степан в это время переобувался — промочил ноги, когда сходил со струга). — Татаре неспроста прибежали. Никого там не видно? На твоей стороне?

— Нет.

— Смотрите!

— Не зевали чтоб, — подсказал Степан. — Им видней там... Слышь, Федька!

— Ай?!

— Не зевайте!

— Смотрим! А кто там? Татар гости плюхат?

Казаки засмеялись: Шелудяк иногда смешно коверкал слова.

Стружок между тем махал от левого берега. А те два всадника скоро поскакали в степь.

Разинцы поутихли... Ждали. Догадывались: неспроста прибегали татары, неспроста. Атаман постоянно сообщается с ними, но и он озадачен.

— Идут, думаешь? — спросил Черноярец. — Прозоровский идет?.. А? Тимофеич?

— Иван... — с некоторым раздражением сказал Степан, — я столько же знаю, сколь ты. Подождем.

Стружок приближался медленно, очень медленно. Или так казалось. Казалось, что он никогда не подгребет к этому берегу, застрял.

Степана и других охватило нетерпение.

— Ну?! — крикнул Иван. — Умерли, что ль?!

На стружке молчали. Гребли, старались скорей. Стало понятно: везут важную весть, потому важничают и хранят молчание до поры: не выскакивают с оправданием, что — стараются.

Наконец когда стало мелко, со стружка прыгнул казак и побрел к атаману, высоко подняв в руке какую-то бумагу.

— Татаре!.. Говорят: тыщ с пять стрельцов и астраханцев верстах в трех отсудова. Это мурза шлет, — казак вышел на берег, подал Степану лист. — Тыщ с пять, сами видали, говорят: стругами, хорошо оруженные.

Степан передал лист Мишке Ярославову (татарскую писанину знал только он один), сам принялся расспрашивать казака:

— Водой только? Конных они, можеть, не углядели? Яром едут где-нибудь?..

— Конных нет, говорят. Водой. Держутся ближе к высокому берегу.

— Этой... большой дуры нет с ими? — спросил Степан, в нетерпении поглядывая на Мишку.

— Какой дуры?

— Корабль, они называют... «Орел».

— Не знаю, не сказывали. Сказали, если б был.

— Мурза пишет, — начал Мишка, глядя в лист, — были у его от Ивана Красулина... Три тыщи с лишком стреч нам идет. С князем Львовым. Иван велел передать, чтоб ты не горевал: стрельцы меж собой сговорились перекинуться. Начальных людей иноземных, и своих тоже, побьют, как с тобой свидются. Чтоб ты только не кинулся на их сдуру... Они для того на переднем струге какого-нибудь свово несогласнова или иноземца на щеглу кверху ногами вздепут. Так чтоб знал: стрельцы служут тебе. Сам он, Иван-то, остается в Астрахани, и это, мол, к лучшему: как-никак, а город брать надо. А в городе ишо остались, мол, приготовились сидеть. Пишет... какого-то молодого казака на троицу истерзали и повесили. Не Максю ли?

— Это он пишет «не Максю ли»?

— Да нет, это я говорю... Макся, наверно, попался.

— А там все?

— Все. Дальше — поклоны всем...

Степан постоял в раздумье... Поднялся выше, на камни, громко сказал всем, кто мог слышать:

— Казаки!.. Там, — указал рукой вниз по Волге, — стрельцы! Их три с лишним тыщи. Но они люди умные, они головы свои зазря подставлять не будут. Так они велят передать. А станет, что обманывают, то и нам бы в дураках не оказаться: как я начну, так и вы начинайте. А раньше меня не надо. Я напередке буду. Федька!..

— Слухаю, батька! Я все слухаю.

— Как увидишь струга, обходи их берегом со спины. Мы тоже этого берега держаться станем. Без меня не стреляй!.. Счас к тебе Иван придет, — Степан повернулся к Чернoярцу: — Иван, иди к им, а то они не разберутся там... Сам знай: можеть, с воеводиной стороны и пальнут раз-другой, ты все равно терпи. А как уж увидишь — бой, тада вали. Мы их изловчимся как-нибудь к берегу прижать. С богом! — Степан показал рукой вниз. — Там стрельцы. Не бойтесь, ребятушки: они сами нас боятся!

Еще раз судьба сводила атамана с князем Львовым. Удивительно, с каким умом, осторожно держался Львов: всё высылают и высылают его первым встречать Разина и всё

никак не поймут, что неудачи этих высылок — если не целиком, то изрядно — суть продуманная, злая месть позорно битого князя Львова Алексею Романову, царю. А бит был князь по указу царя перед приказом тверским — за непомерны поборы (нажиток), за несправедливость и лиходейство... Был бит и обречен во вторые воеводы в окраинные города, за что и мстил. В державе налаживалась жизнь сложная: умели не только пихаться локтями, пробиваясь к дворцовой кормушке, а и умели, в свалке, укусить хозяина — за пинок и обиду. И при этом умели преданно смотреть в глаза хозяйские и преданно вилять хвостом. Это искусство постигали многие. Постигалось вообще многое. «Тишайший» много строил, собирал, заводил, усмирял... Придет энергичный сын, и станет — империя; однако все или почти все — много — было готово к тому. Ведь то, что есть суть и душа империи — равнение миллионов на фигуру заведомо среднюю, унылую, которая не только не есть личность, но и не хочет быть ею, из чувства самосохранения, — с одной стороны, и невероятное, необъяснимое почти возникновение — в том же общественном климате — личности или даже целого созвездия личностей ярких, неповторимых — с другой стороны, ведь все это, некоторым образом, было уже на Руси при Алексее Михайловиче, но только еще миллионы не совсем подравнялись, а сам Алексей Михайлович явно не дотянул до великана. Но бородатую, разопревшую в бане лесовую Русь покачнул все-таки Алексей Михайлович, а свалили ее, кажется, Стенька Разин и потом, совсем — Петр Великий.

Князь Семен всматривался из-под руки вперед.

— А что, — недовольно обратился он к начальным помощникам своим, — иноземные молодцы поотстали? — князь все смотрел вверх по реке. — А?

— Вон они. Куда им торопиться?

— Давайте-ка их наперед, — велел князь. — А то они в городе покричать любют, а тут их не доискаться. Давайте. Скоро и Степан Тимофеич пожалует. Всыпет он нам седня, батюшка. Всыпет. Ну, остудить нас маленько надо, а то шибко уж горячие — выскочили. Стены есть, пушки есть, нет, дай вперед выскочить, дай... А вот и он. Вот они!.. — вдруг воскликнул он захолонувшим голосом. Он показывал рукой вперед.

Из-за острова стремительно вывернулись головные струги Разина и с ходу врезались в астраханские ряды. За первыми наплывали остальные и заруливали с боков, а иные, проворные, легкие, успели заплыть сзади. С астраханских стругов увидели, что и на берегу — конные — забежали им со спины. И все деловито, скоро, спокойно — как в гости ввалились, да прямо в горницу, в передний угол.

— Вот как воевать-то надо, — тихо сказал князь Львов, бледный. — Пропали. Вот теперь-то уж пропали.

— Здравствуйте, братья! — зазвучал голос Степана; он стоял на носу своего струга и обращался к стрельцам. — Мститесь теперь над вашими лиходеями! Они хуже татар и турка!.. Я пришел дать вам волю!

— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеич! — заорали стрельцы и астраханцы. — Рады видеть тебя живым-невредимым!

Боя не было. Стрельцы и гребцы астраханские кинулись вязать своих начальников. Сотники и дворяне, оказавшие хоть малейшее сопротивление, полетели в воду.

— Вы мне дети и братья! — подстегивал расправу Разин. — Вы будете богаты, как мы. Мне нужна ваша верность и храбрость. Остальное возьмем вместе! Не бойтесь расплаты! Мы сами идем с расплатой. Пора нам наказать бояр! Не все вам спины-то гнуть!.. Вы теперь — вольные казаки!

«Вольные казаки» вязали дворянских, купеческих сынов, отказавшихся от сопротивления, а также всех иноземцев — вели на суд атамана. Суд был короткий — в воду. Только князя Львова не велел убивать Степан. Спросил, правда, казаков, но так спросил, что поняли: не хочет атаман смерти князя Львова. Князя переправили на легкой лодочке на струг атамана.

— Здоров, князюшка! Дал бог, свиделись. Чего такой невеселый? — спросил Степан.

— Пошто?.. Вон как весело! — князь Семен горько усмехнулся. — Чересчур даже... Пир горой!

— Что Прозоровский сам не пошел? Опять тебя выслал...

— За стенами надежней.

— Не знаю. Я так не думаю. Много ль за стенами осталось?

— Есть...

— Будут со мной биться? Как думаешь?

Князь помолчал.

— Мне то неведомо, атаман. Тебе лучше знать. Есть у тебя свои старатели там... Они знают. Много с тобой в Царицыне бились?

— Есть, — согласился Степан. — Есть, князь. Куда я без их? Я без их, как без рук. Максю закатовали? Астрахань мне ответит... Ответит! Прозоровского за ноги повешу. Не веришь?

— Как не верю?! Верю. Вон они... тоже верют, бедняги, — князь посмотрел на дворян и купеческих сынов, которым вязали за спиной руки, набивали им за пазуху камней и пихали в воду. Дворяне, купцы и иноземные начальники сопротивлялись, не хотели в воду, кричали, плакали, кто помоложе... Князь отвернулся. — Как не верить, не хочешь, да поверишь.

— Что, князь? — спросил Степан. — Страшно?

— Мне что же страшно?.. Тебе за все ответ держать, не мне. Мне их жалко... Как ты решился на такое? — князь открыто посмотрел на Степана. — Ведь это бунт, Стенька. Да бунт-то какой — невиданный. Как же это можно? Неужель ты не думаешь?

— Жалко тебе их? — переспросил жестко Степан, кивнув на астраханские струги, с которых летели в воду начальные люди.

Князь Семен помолчал и вдруг сам спросил сердито:

— Как мне тебе ответить: «Нет, не жалко»?

— Вот, — кивнул Степан. — Тебе своих жалко, мне — своих. Сколь тут? — капля в море. Рази вы столько извели, без крова оставили, по миру пустили... А ты говоришь, как решился. Вы-то решились.

— Кто мы-то?

— Вы. Вы хуже Мамая... хуже турка! Вы плачете, а мне кажется, волки воют.

Князь Семен посмотрел на атамана... и ничего не сказал. Но, помолчав, все же решился еще возразить:

— Вам ли, казакам, на судьбу жалиться? Уж кому-кому, а вам-то... грех. Чего вам не хватало-то?

— Со мной не одни казаки, что, не видишь? У меня тут всяких...

— Вы затеяли-то.

— Затеяли-то вы, князь. Не бежали б они к нам да не рассказывали, как вы их там... Собаки! — сорвался Степан на

крик. — Стоит тут рот разевает: «вы», «вы-ы»... А вы?! Вон где ваше место! — Степан показал. — На дне! Тоже туда захотел? Жалость свою пялит стоит... У вас ее сроду не было.

Теперь князь замолк, не хотел больше ни возражать, ни спрашивать.

Когда расправились с ненавистными, сошли все на берег... Конные тоже послезали с коней. Раскинулись лагерем и держали совет. И круг решил: «Приступать Астрахань».

14

Рано утром, когда еще митрополит служил заутреню, прибежали в храм перепуганные караульные стрельцы.

— Что вы?

— Беда, святой отец! Стояли мы в карауле у Пречистенских ворот, и незадолго до света было нам чудо: отворилось небо, и на город просыпались искры, как из печки. Много!..

— Сие видение извещает, что изольется на нас фиял гнева божия, — сказал митрополит. И поспешил к воеводе. В решающие и опасные минуты жизни трезвый старик верил больше сильному и умному — здесь, на земле. Беда только, что Прозоровский-то — и не сильный, и не умный — сыромятина, митрополит понимал это, но больше идти некуда.

— Беда, — вздохнул воевода, выслушав рассказ митрополита о чуде. — Господи, на тебя одного надежа. Укрепи город.

Вошел подьячий Алексеев.

— Слыхал чудо-то? — спросил его воевода.

Алексеев глянул на Прозоровского и покривился:

— Это чудо — не чудо. Вон чудо-то, на дворе. Вот это так чудо!

— Чего там? Кто? — вскинулся воевода.

— Стрельцы.

— Денег просют?

— Просют ли?!. Так не просют. За горло берут!

— Святой отец, я соберу, сколь могу, остальное добавь ты. Иначе несдобровать нам, — воевода растерянно и с досадой смотрел на митрополита. — Давайте спасаться.

— Сколь надо-то? — спросил тот.

— Сколь есть, столь и надо. Вели и монастырю Троицкому не поскупиться — для ихнего же живота.

— Шестьсот рублев найду, — сказал митрополит. — Тыщи с две монастырь даст. Ты вперед дать хочешь? Надо дать.

— Надо, отец, ничего больше не выдумаешь. Как ни крути, а все — надо. А то сами возьмут. Чем остановим? Львова, как на грех, нету. Куда они задевались-то? Не беда ли с ими какая? Царица небесная, матушка!.. Тоску смертную чую. Говорил тада: не пускать Стеньку оружного! Нет, пустили...

— Да кто пустил-то? — обозлился Алексеев. — Все вместе и пустили. Пошли теперь друг на дружку валить...

— Платить, платить стрельцам, — отчаянно и горько говорил Прозоровский. — Сколь есть, все отдать. Все! Не жадовать. Один раз пожадовали...

— Только ты перед стрельцами-то не кажи такую спешку — с платой-то, — посоветовал митрополит. — Степенней будь, не суетися.

— Степенней... С голым-то задом много настепенничаешь.

...Стрельцы большой толпой стояли на площади пред приказной палатой. Кричали:

— Где воевода?! Пускай к нам выходит!

— Что нам служить без денег!

— Служить — ладно! На убой идти накладно.

— У нас ни денег, ни запасов нету, пропадать, что ли?!

— Пускай дает жалованье!

Вышел воевода, поздоровался со стрельцами. Стрельцы промолчали на приветствие.

— До этой самой поры, дети мои, — заговорил воевода, — казны великого государя ко мне не прислано...

— Пропадать, что ли?!

— Но я вам дам своего, сколь могу! Дастся вам из сокровищниц митрополита; Троицкий монастырь тоже поможет. Только уж вы не попустите взять нас богоотступнику и изменнику. Не давайтесь, братья и дети, на его изменническую прелесть, постойте доблестно и мужественно против его воровской силы, не щадя живота своего за святую соборную и апостольскую церкву, — и будет вам милость великого государя, какая вам и на ум не взойдет!

Хмурые, непроницаемо чужие лица стрельцов. Нет, это не опора в беде смертной, нет. Нечего и тешить себя понапрасну.

Воевода, митрополит, иностранцы-офицеры понимали это.

— Косподин... Иван Семьеновичш, — заговорил Бутлер от имени ближайших своих, стоявших тут же на крыльце. — Мы просит восфращать наш сфобода, который нам дан, когда мы пришель к этот берег. Мы толжен сполнять тругой прикасаний царский фелишество... Мы будет ехать Персия.

— Пошел ты к дьяволу — негромко сказал воевода. — Утекать собрался? — и повернулся к Бутлеру: — Подождать надо, капитан! Служба царю теперь здесь будет. Здеся! Вот. Успеете в Персию.

— Почшему? Мы толшен Персия...

— Вот тут будет и Персия, и Турция, и... черт с рогами. Нельзя нас оставлять. Нельзя! Нехорошо это! Не по-божески!

— Быть беде, — сам себе сказал митрополит. — Крысы побежали. Ну держись, Астрахань! Это вам не Заруцкий, это сам сатана идет. Пресвятая Матерь Божья, укрепи хоть этих людишек, дай силы, царица небесная, матушка. Надо стоять!

Созвав духовенство, митрополит устроил крестный ход вокруг всего Белогорода. Вышло торжественно и печально; все понимали: беда неминуча, старались с душой.

Впереди несли икону Божьей Матери; прекрасный лик Матери, прижавшей к себе младенца, вселял в души людей святой ужас далекой казни на горе.

Обходили кругом стену.

Всякий раз, как шествие доходило до ворот, свершалось молебствие.

Прозоровский с военными осматривали городские укрепления. Обошли также стены, осмотрели пушки, развели по бойницам и по стрельницам стрельцов с ружьями, с бердышами, с рогатинами, расставили пушкарей, затинщиков при затинных пищалях; при всех воротах поставили воротников. Чтобы пресечь всякое сообщение города с внешним миром, велели завалить все ворота кирпичом.

На стенах толклись не только стрельцы, пушкари и затинщики, а и посадские тоже — кто с пищалью, кто с самопалом, кто с топором или копьем, а иные с камнями. Наносили вороха дров, наливали в большие котлы воду — чтобы потом, во время штурма, кипятить ее и из котлов прямо лить сверху на штурмующих.

Однако большого оживления незаметно; с тревогой и с большим интересом посматривают со стены вдаль.

— Только не боитесь, ребятушки! — подбадривал воевода. — Ничего они с нами не сделают. Посидим, самое большое, с недельку. А там войско подойдет: гонцы наши теперь к Москве подъезжают...

— А где ж князь Семен-то? — спрашивали воеводу. — Какие вести-то от его?

— Князь Семен... Он придет! Гонцов на Москву мы надежных послали, резвых — скоро добегут. Постойте, детушки, за царя и церкву святую, не дайте своровать вору — царь и господь не оставют вас.

* * *

Войско Разина стало на урочище Жареные Бугры — в ночь изготовились штурмовать Астрахань.

А уж и кралась ночь, темнело.

Степан был спокоен, весел даже, странен... Костров не велел зажигать, ходил впотьмах с есаулами среди казаков и стрельцов, негромко говорил:

— Ну, ну... Страшновато, ребяты. Кому ишо страшно?

Из тьмы откликались — весело тоже, негромко:

— Да ну уж, батька!.. Чего?

— А стены-то? Чего... Подушками, что ль, оттуда кидаться будут? Это вы... не храбритесь пока: можно гриб съисть.

— Бог даст, батька!..

— Бог даст, ребятушки, бог даст... Оно и обмирать загодя негоже, правда. Знамо, стены высокие, но мы лазить умеем. Так?

То ли понимал Степан, что надо ему вот так вот походить среди своих, поговорить, то ли вовсе не думал о том, а хотелось самому подать голос, и только, послушать, как станут откликаться, но очень вовремя он затеял этот обход, очень это вышло хорошо, нужно. Голос у Степана грубый, сильный, а когда он не орет, не злится, голос его — родной, милый даже... Он вроде все подсмеивается, но слышно, что — любя, открыто, без никакого потайного обидного умысла. Красивый голос, вся душа его в нем — большая, сильная. Где душа с перевивом, там голос непростой, плетеный, там

тоже бывает красиво, но всегда подозрительно. Только бесхитростная душа слышится в голосе ясно и просто.

— Ну, все готово? — спросил Степан есаулов, когда вовсе стемнело. Они стояли кучкой на краю лобастого бугра; снизу, из мокрой долины, тянуло сыростью; мирно квакала лягушня.

— Готово.

— Ночка-то подгодила... — Степан помолчал, подышал вольно волглым воздухом болотца. И стал рассказывать свой замысел.

Говорили все тихо, спокойно.

— Мы с тобой, Иван, пойдем Болдинской протокой, Федор с Васильем прямо полезут. Из протоки мы свернем в Черепаху...

— Углядеть ее, Черепаху-то, — сказал Иван.

— Пошли вперед, кто знает... он нам мигнет огоньком.

— Ну?

— Из Черепахи мы с Иваном заплывем в Кривушу, там не промажем, там я знаю, и мы окажемся с полуденной стороны городка: нас там не ждут. А вы, Василий, Федор, как подступите к стене, то молчите пока. А как услышите наш «нечай», валите с шумом. Где-нибудь да перемахнем... Раньше нас только не лезьте: надо со всех сторон оглушить. С богом, ребяты! Возьмем городок, вот увидите.

15

Тягучую тишину ночи раскололи колокола. Зазвонили все звонницы астраханские: казаки пошли на приступ.

— Дерзайте, братья и дети, дерзайте мужественно! — громко говорил воевода, окруженный стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими, подьячими и приказными. — Дерзайте! — повторял воевода, облекаясь в панцирь. — Ныне пришло время благоприятное за великого государя пострадать, доблестно, даже до смерти, с упованием бессмертия и великих наград за малое терпение. Если теперь не постоим за великого государя, то всех нас постигнет безвременная смерть. Но кто хочет, в надежде на бога, получить блага и наслаждения со всеми святыми, тот пострадает с нами в эту ночь и в это время, не склоняясь на прельщения богоотступника Стеньки Разина...

Это смахивало у воеводы на длинную молитву. Его плохо слушали; вооружались кто как, кто чем. Воеводе подвели коня, крытого попоной. Он не сел, пошел пешком к стене. Коня зачем-то повели следом.

— Дерзайте, дети! — повторял воевода.

— Рады служить великому государю верою и правдою, не щадя живота, даже и до смерти, — как-то очень уж спокойно откликнулся голова стрелецкий Иван Красулин.

— Куда он ударил, разбойник? — спросил его воевода.

— На Вознесенские вороты.

— Туда, детушки! Дерзайте!

Трубили трубы к бою, звонили колокола; там и здесь слышалась стрельба, и нарастал зловещий шум начавшегося штурма.

— И ночь-то выбрали воровскую. Ни зги не видать... Жгите хоть смолье, что ли! — велел воевода.

— Смолья! — подхватили во тьме разные голоса.

У Вознесенских ворот была стрельба с обеих сторон, но не особенно густая. Казаки за стеной больше орали, чем лезли на стену, хоть и корячились с лестницами; лестницы отталкивали со стены рогатинами.

— Да суда ли он ударил-то?! — крикнул Михайло Прозоровский брату. — Обманули ведь нас! Да растудыт твою!.. — младший Прозоровский чуть не плакал. — Обманули! Обманули ведь нас!..

— А куда же? Куда ударил? — растерялся старший Прозоровский.

— А там что за шум?!

— Где?! — тоже закричал зло первый воевода.

— Да там-то, там-то вон!.. Эх!.. Как детей малых!..

Судьба города решалась там, куда показывал младший Прозоровский, — в южной части. Там астраханцы подавали руки казакам и пересаживали через стены. Там местами шло братание.

Один упрямый пушкарь — то ли не разобравшись, что к чему, то ли из преданности тупой — гремел и гремел из своей пушки подошвенного боя в толпу под стеной. Туда к нему устремились несколько стрельцов, и пушка смолкла: пушкаря прикончили возле пушки.

— В город, братцы! — кричали весело. — Вали!

— Любо эдак-то городки брать! Хх-эх!..

— А где батька-то? В городе?

— На месте батька! Вали!..

Но у Вознесенских ворот продолжалась пальба, и теперь уж бесперебойная, яростная. Казаки упорно лезли на стену, на них лили кипяток, забрасывали камнями, осыпали пулями, они все лезли. Лестницы не успевали отпихивать.

Вдруг в самом городе пять раз подряд выстрелила вестовая пушка (ее «голос» знали все), и со всех сторон послышалось заполошное:

— Ясак! Ясак! — то был крик о пощаде, кричали астраханцы.

Город сдавался.

— Обманули! — заплакал молодой Прозоровский. — Там уж пустили их! А здесь глаза отводят. Эх!..

— Сдаю город! — громко закричал стрелецкий голова Красулин. — Давай, как говорили!..

Это был не крик отчаяния, а — так все и поняли — сигнал к избиению начальных людей. Только воевода, охваченный жаром схватки и обозленный изменой, не понимал, что творится рядом с ним.

— Стойте, ребятушки! — кричал воевода. — Стойте насмерть! Сражайтесь мужественно с изменниками: за то получите милость от великого государя здесь, в земном житии, а скончавшихся в брани ожидают вечные блага вместе с Христовыми мучениками!..

В это время сзади подбежали первые казаки. И началось избиение, жестокое, при огнях.

Младший Прозоровский ринулся с саблей навстречу казакам, но тотчас был убит наповал выстрелом из пищали в лицо.

Дворяне и приказные одни бросились наутек, другие сплотились вокруг воеводы, отбивались. Однако дело их было безнадежно: наседали и казаки, и стрельцы. И стали еще прыгать сверху, со стены, казаки Уса: они сбили преграду на стене и сигали вниз, где кипела рукопашная и полосовались саблями.

— В Кремль! — велел воевода. — В Кремль пробивайтесь!

Но его ударом копья в бок свалил Иван Красулин, голова стрелецкий, пробившийся к нему с несколькими стрельцами.

На Красулина кинулись было дворяне, но казаки быстро взяли его в свои ряды и сильно потеснили приказных, дво-

рян и немногих верных стрельцов. Прибывало казаков все больше и больше.

В суматохе не заметили, как верный холоп поднял воеводу и вынес из свалки еле живого. Было еще одно спасение — Кремль, туда и пятились, отбиваясь, наиболее отважные дети боярские, дворяне и военные иностранцы: в Кремле можно было запереться.

Но уже немного оставалось и их, наиболее отважных и преданных, когда появился Степан. Он был весь в горячке боя — потный, всклокоченный, скорый. Прихрамывал: прострелили на южной стене ногу, мякоть.

— В Кремль! — тоже велел он. — Скорей, пока там не заперлись! Иван, останься — добей этих. В Кремль! К утру надо весь городок взять. Не остывайте!

И повел большую часть казаков к Кремлю.

Стреляли по всему городу. Во многих местах горело, тушить пожары никто не думал. Сопротивление оказывали отдельные отряды стрельцов, отрезанные друг от друга, не зная положения в городе, слыша только стрельбу. Бой длился всю ночь, то затихая, то всхлипывая где-нибудь с новой силой, особенно возле каменных домов и церквей.

...Воеводу положили на ковер в соборной церкви в Кремле. Он стонал.

Фрол Дура, пятидесятник конных стрельцов, стал в дверях храма с готовностью умереть, но не пустить казаков.

Прибежал митрополит. Склонился над воеводой, заплакал...

— Причаститься бы, — с трудом сказал воевода. — Все, святой отец. Одолел вор... Кара. Причасти... умираю. Скажи государю: стоял... Причасти, ради Христа!..

— Причащу, причащу, батюшка ты мой, — плакал митрополит. — Не вор одолел, изменники одолели. За грехи наши наказывает нас господь. За прегрешения наши...

Начали сбегаться в храм приказные, стрелецкие начальники, купцы, дворяне, матери с детьми, девицы боярские, дрожавшие за свою честь... Сгрудились все у иконы Пресвятой Богородицы, молились. Стон, причет, слезы заполнили весь храм под купол; в пустой гулкой темени — высоко и жутко — вскрикивали, бормотали голоса.

Дверной проем храма, кроме дубовой двери, заделывался еще железной решеткой. Храбрый Фрол стоял у входа с ножом, истерично всех успокаивал и, вдохновляя себя, ругал казаков и Стеньку Разина.

Еще прибежали несколько дворян — последние. Закрылись, навесили на крюки тяжелую решетку... Последних вбежавших спрашивали:

— Вошли?

— Где они?

— Вошли... Через Житный и Пречистенские ворота. Пречистенские вырубили. Все посадские к вору перекинулись, стрельцы изменили... Город горит. Светопреставленье!..

В дверь (деревянную) забарабанили снаружи. Потом начали бить чем-то тяжелым, наверно, бревном. Дверь затрещала и рухнула. Теперь сдерживала только решетка. Через решетку с улицы стали кричать, чтоб открылись, и стали стрелять. Остро запахло пороховой гарью.

Ужас смертный охватил осажденных. Молились. Выли. Крик рвался из церкви, как огонь. В церковь неистово ломились, били бревном в кованую решетку, отскакивали от встречных выстрелов; трое казаков упало.

Решетка под ударами сорвалась с крюков, с грохотом обрушилась внутрь храма на каменный пол.

Фрола Дуру изрубили на месте.

Воеводу подняли, вынесли на улицу и положили на земле под колокольней. Дворян, купцов, стрельцов — всех, кроме детей, стариков и женщин, вязали, выводили из храма и сажали рядком под колокольню же.

— Тут подождите пока, — говорили им. Никого не били, особенно даже и не злобились.

— А что с нами делать будут? — спросили, кто посмелей, из горестного ряда под колокольней. Но и кто спросил, и кто молчал, с ненавистью и скорбью глядя на победителей, знали, догадывались, что с ними сделают.

— Ждите, — опять сказали им.

— А что сделают-то? — извязался один купец с темными выпученными глазами.

— Ждите! Прилип как банный лист... Блинами кормить будут.

Ждали Степана.

Светало. Бой утихал. Только в отдельных местах города слышались еще стрельба и крики.

С восходом солнца в Кремле появился Степан. Хромая, скоро прошел к колокольне, остановился над лежащим воеводой... Степан был грязный, без шапки, кафтан в нескольких местах прожжен, испачкан известкой и кровью. Злой, возбужденный; глаза льдисто блестят, смотрят пристально, с большим интересом.

Суд не сулил пощады.

— Здоров, боярин! — сказал Степан, сказал не злорадствуя, как если бы ему было все равно, кто перед ним... Или — очень уж некогда атаману — ждут важные дела, не до воеводы; запомнил Степан, как поносил и лаял его воевода здесь же, на этом дворе, прошлой осенью.

Прозоровский глянул на него снизу, стиснул зубы от боли, гнева и бессилия и отвернулся.

— Тебе передавали, что я приду? — спросил Степан. — Я пришел. Как поживает шуба моя?

Из храма вышел митрополит... Увидев атамана, пошел к нему.

— Атаман, пожалей ранетого...

— Убрать! — велел Степан, глянув коротко на митрополита.

Митрополита взяли под руки и повели опять в храм.

— Разбойники! — закричал митрополит. — Как смеете касаться меня?!.. Анчихристы! Прочь руки!..

— Иди, отче, не блажи. Не до тебя.

— Прочь руки! — кричал крутой старик и хотел даже оттолкнуть от себя молодых и здоровых, но не смог. В дверях ему слегка дали по затылку и втолкнули в храм. У входа стали два казака.

— Принесите боярину шубу, — велел Степан. — Ему холодно. Знобит боярина. Нашу шубу — даровую от войска, не спутайте.

Доброхоты из приказных побежали за шубой.

Большая толпа астраханцев, затаив дыхание, следила за атаманом. Вот она, жуткая, желанная пора расплаты. Вот он, суд беспощадный. Вот он — воевода всесильный, поверженный, не страшный больше... Да прольется кровь! Да захлебнется он ею, собака, и пусть треснут его глаза — от ужаса, что такая пришла смерть: на виду у всех.

И Разин был бы не Разин, если бы сейчас хоть на миг задумался: как решить судьбу ненавистного воеводы, за то ненавистного, что жрал в этой жизни сладко, спал мягко, повелевал и не заботился.

Принесли шубу. Ту самую, что выклянчил воевода у Степана. Степан и хотел ту самую. Спектакль с шубой надо было доиграть тоже при всех — последнее представление, и конец.

— Стань, боярин... — Степан помог Прозоровскому подняться. — От так... От какие мы хорошие, послушные. Болит? Болит брюхо у нашего боярина. Это кто же ширнул нашему боярину в брюхо-то? Ая-яй!.. Надевай-ка, боярин, шубу, — Степан с помощью казаков силой напялил на Прозоровского шубу. — Вот какие мы нарядные стали! Вот славно!.. Ну-ка, пойдем со мной, боярин. Пойдем мы с тобой высоко-высоко! Ну-ка, ножкой — раз!.. Пошли! Пошли мы с боярином, пошли, пошли... Высоко пойдем!

Степан повел Прозоровского на колокольню. Странно: атаман никогда не изобретал смерти врагам, а тут затеял непростое что-то, представление какое-то.

Огромная толпа в тишине следила — медленно поднимала глаза выше, выше, выше...

Степан и воевода показались наверху, где колокола. Постояли немного, глядя вниз, на народ. И снизу тоже смотрели на них...

Степан сказал что-то на ухо воеводе, похоже, спросил что-то. Слабый, нелепо нарядный воевода отрицательно — брезгливо, показалось снизу, — мотнул головой. Степан резко качнулся и толкнул плечом воеводу вниз.

Воевода грянулся на камни площади и не копнулся. В шубе. Только из кармана шубы выкатилась серебряная денежка и, подскакивая на камнях, с легким звоном покатилась... Прокатилась, подпрыгнула последний раз, звякнула и успокоилась — легла и стала смотреть светлым круглым оком в синее небо.

Степан пошел вниз.

Начался короткий суд над «лучшими» людьми города — дворянами, купцами, стрелецкими начальниками, приказными кляузниками... Тут — никаких изобретательств. Степан шел вдоль ряда сидящих, спрашивал:

— Кто?

— Тарасов Лука, подьячий приказу...

Степан делал жест рукой — рубить. Следовавшие за ним исполнительные казаки рубили тут же.

— Кто?

— Сукманов Иван Семенов, гостем во граде... Из Москвы...

Жест рукой. Сзади сильный резкий удар с придыхом:

— Кхэк!

— Кто?

— Не скажу, вор, душегубец, раз...

— Ы-ык! Молодой, а жиру!.. Боров.

— Кто?

— Подневольный, батюшка. Крестьянин, с Самары, с приказу, с гумагами послан...

Люди вокруг жадно слушали, как отвечают из ряда под колокольней, не пропускали ни одного слова.

— Врет! — крикнули из толпы, когда заговорил самарец. — С Самары, только не крестьянин, а с приказа, и суда в приказ прислан... Лиходей!

— Кхэк!.. — махнул казак, голова самарского приказного со стуком, с жутким коротким стуком, точно уронили деревянную посудину с квасом, упала к ногам самарца.

Некоторых Степан узнавал.

— А-а, подьячий! А зовут как, забыл...

— Алексей Алексеев, батюшка...

— За ребро, на крюк.

— Батюшка!.. Атаман, богу вечно молить буду, и за детей твоих... Сжалься, батюшка! Можеть, и тебя когда за нас помилуют...

Подьячего уволокли к стене.

— Где хоронить, батька? — спросили Степана.

— В монастыре. Всех в одну братскую.

— И воеводу?

— Всех. По-божески — с панихидой. Жены и дети... пусть схоронют и отпоют в церкви. Баб в городе не трогать, — Степан строго поглядел на казаков, еще раз сказал: — Сильничать баб не велю! Только — полюбовно.

На площадь перед приказной палатой сносили всякого рода «дела», списки, выписи, грамоты... Еще один суд — над бумагами. Этот суд атаман творил вдохновенно, безудержно.

— Вали!.. В гробину их!.. — Степан успел хватить «зелена вина»; он не переоделся с ночи, ни минуты еще не имел покоя, ни разу не присел, но сила его, казалось, только теперь начала кидать его, поднимать, раскручивать во все стороны. Он не мог сладить с ней. — Все?

— Все, батька!

— Запаляй!

Костер празднично запылал; и мерещилось в этом веселом огне — конец всякому бессовестному житью, всякому надругательству и чванству — и начало жизни иной, праведной и доброй. Как ждут, так и выдумывают.

— Звони! — заорал Степан. — Во все колокола!.. Весело, чтоб плясать можно. Бего-ом! Все плясать будем!

Зазвонили с одной колокольни, с другой, с третьей... Скоро все звонницы Кремля и Белого города названивали нечто небывало веселое, шальное, громоздкое. Пугающие удары «музыки», срываясь с высоты, гулко сшибались, рушились на людей, вызывая странный зуд в душе: охота было сделать несуразное, дерзкое, охота прыгать, орать... и драться.

Степан сорвал шапку, хлопнул оземь и первый пошел вокруг костра. То был пляс и не пляс — что-то вызывающе-дикое, нагое: так выламываются из круга и плюют на все.

— Ходи! — заорал он. — Тю!.. Ох, плясала да пристала, сяла на скамеечку. Ненароком придавила свою канареечку! Не сбавляй!.. Вколачивай!

К атаману подстраивались сзади казаки и тоже плясали: притопывали, приседали, свистели, ухали по-бабьи... Наладился развеселый древний круг. Подбегали из толпы астраханцы, кто посмелей, тоже плясали, тоже чесалось.

Черными испуганными птицами кружили в воздухе обгоревшие клочки бумаг; звонили вовсю колокола; плясали казаки и астраханцы, разжигали себя больше и больше.

— Ходи! — кричал Степан. Сам он «ходил» серьезно, вколачивая ногой... Странная торжественность была на его лице — какая-то болезненная, точно он после мучительного долгого заточения глядел на солнце. — Накаляй!.. Вколачивай — тут бояры ходили... Тут и спляшем!

Плясали: Ус, Мишка Ярославов, Федор Сукнин, Лазарь Тимофеев, дед Любим, Семка Резаный, татарчонок, Шелудяк, Фрол Разин, Кондрат — все. Свистели, орали.

Видно, жила в крови этих людей, горела языческая искорка — то был, конечно, праздник: сожжение отвратительного, ненавистного, злого идола — бумаг. Люди радовались.

Степан увидел в толпе Матвея Иванова, поманил рукой к себе. Матвей подошел. Степан втолкнул его в круг:

— Ходи!.. Покажь ухватку, Рязань. Мешком солнышко ловили, блинами тюрьму конопатили... Ходи, Рязань!

Матвей с удовольствием пошел, смешно семеня ногами и подпрыгивая, и взмахивая руками. Огрызнулся со смехом:

— Гляди, батька, а то я про донцов... тоже знаю!

Костер догорал.

Догадливый Иван Красулин катил на круг бочку с вином.

— Эге!.. Добре, — похвалил Степан. — Выпьем, казаченьки!

Улюлюкающий, свистящий, бесовский круг распался.

Выбили в бочке дно; подходили, черпали чем попало — пили.

Астраханцы завистливо ухмылялись.

— Всем вина! — велел Степан. — Что ж стоите? А ну — в подвалы! Все забирайте! У воеводы, у митрополита — у всех! Дуваньте поровну, не обижайте друг дружку! Кого обидют, мне сказывайте! Баб не трогать!

— Дай дороги, черти дремучие! — раздался вдруг чей-то звонкий, веселый голос. Народ расступился, но все еще никого не видно. — Шире грязь, назем плывет! — звенел тот же голос, а никого нет. И вдруг увидели: по узкому проходу, образовавшемуся в толпе, прыгает, опираясь руками о землю, человек. Веселый молодой парень, крепкий, красивый, с глазами ясного цвета. Ноги есть, но высохшие, маленькие, а прыгает ловко, податливо, скорей пешего. Астраханцы знали шумного калеку, почтительно и со смехом расступались. Тот подпрыгал к Разину, смело посмотрел снизу и смело заговорил:

— Атаман!.. Рассуди меня, батюшка, с митрополитом.

— Ты кто? — спросил Степан.

— Алешка Сокол. Богомаз. С митрополитом у нас раздор...

— Так. Что ж митрополит?

— Иконки мои не берет! — Алешка стал доставать из-за пазухи иконки с ладонь величиной, достал несколько...

Степан взял одну посмотрел.

— Ну?..

— Не велит покупать у меня! — воскликнул Алешка.

— Пошто?

— А спроси его? Кто там? — Алешка показал снизу на иконку, которую Степан держал в руках.

— Где? — не понял Степан.

— На иконке-то?

— Тут?.. Не знаю.

— Исус! Вот. Так он говорит: нехороший Исус!

— Чем же он нехороший? Исус как Исус... Похожий, я видал таких.

— Во! Он, говорит, недобрый у тебя, злой. Где же он злой?! Вели ему, батюшка, покупать у меня. Мне исть нечего.

Матвей взял у Алешки иконку, тоже стал разглядывать. Усмехнулся.

— Чего ты? — спросил его Степан.

— Ничего... — Матвей качнул головой, опять усмехнулся и сказал непонятно: — Ай да митрополит! Злой, говорит?

— Как тебе Исус? — спросил Степан, недовольный, что Матвей не говорит прямо.

— Хороший Исус. Он такой и есть. Я б тоже такого намазал, если б умел, — сказал Матвей, возвращая богомазу иконку. — Строгий Исус. Привередничает митрополит...

Степану показалось, что это большая и горькая обида, которую нанесли калеке. Опять от мстительного чувства вспухли и натянулись все его жилы.

— Где митрополит? — спросил он.

— В храме.

— Пошли, Алешка, к ему. Счас он нам ответит, чем ему твой Исус не глянется.

Они пошли. Степан скоро пошагал своим тяжелым, хромающим шагом, чуть не побежал, но спохватился и сбавил. Алешка прыгал рядом... Торопился. Рассыпал иконки, остановился, стал наскоро подбирать их и совать за пазуху. И все что-то рассказывал атаману — звенел его чистый, юношеский голос. Степан ждал и взглядывал в нетерпении на храм.

К ним подошел Матвей; он тоже вознамерился пойти с атаманом.

— Ты, мол, обиженный, потому мажешь его такого! — рассказывал Алешка. — А я говорю: да ты что? Без ума, что

ли, бьесся? Что это я на него обиженный? Он, что ли, ноги мне отнял?

— Степан Тимофеич, возьми меня с собой, — попросил Матвей. — Мне охота послухать, чего митрополит станет говорить.

— Пошли, — разрешил Степан.

Алешка собрал иконки.

Пошли втроем. Вошли в храм.

Митрополит молился перед иконой Божьей Матери. На коленях. Увидев грозного атамана, вдруг поднялся с колен, поднял руку, как для проклятия...

— Анчихрист!.. Душегубец! Земля не примет тебя, врага господня! Смерти не предаст... — митрополит, длинный, седой и суровый, сам внушал трепет и почтение.

— Молчи, козел! Пошто иконки Алешкины не велишь брать? — спросил Степан, меряясь со старцем гневным взглядом.

— Какие иконки? — митрополит посмотрел на Алешку.

— Алешкины иконки! — повысил голос Степан.

— Мои иконки! — смело тоже заорал Алешка.

— Ах, ябеда ты убогая! — воскликнул изумленный митрополит. — К кому пошел жалиться-то? К анчихристу! Он сам его растоптал, бога-то... А ты к ему же и жалиться! Ты вглядись: анчихрист! Вглядись! — старик прямо показал на Разина. — Вглядись: огонь-то в глазах... свет-то в глазах — зеленый! — митрополит все показывал на Степана и говорил громко, почти кричал. — Разуй его — там копытья!..

— Отвечай! — Степан подступил к митрополиту. — Чем плохой Исус? Скажи нам, чем плохой? — Степан тоже закричал, невольно защищаясь, сбивая старца с высоты, которую тот обрел вдруг с этим «анчихристом» и рукой своей устрашающей.

— Охальник! На кого голос высишь?! — сказал Иосиф. — Есть ли крест на тебе? Есть ли крест?

Степан болезненно сморщился, резко крутнулся и пошел от митрополита. Сел на табурет и смотрел оттуда пристально, неотступно. Он растерялся.

— Чем плохой Исус, святой отче? — спросил Матвей. — Ты не гневайся, а скажи толком.

Митрополит опять возвысил торжественно голос:

— Господь бог милосердный отдал сына своего на смерть и муки... Злой он у тебя! — вдруг как-то даже с визгом, рез-

ко сказал он Алешке. — И не ходи, и не жалься. Не дам бога хулить! Исус учил добру и вере. А этот кому верит? — митрополит выхватил у Алешки иконку и ткнул ею ему в лицо. — Этому впору нож в руки да воровать на Волгу. С им вон, — Иосиф показал на Степана. — Живо сговорятся...

Степан вскочил и пошел из храма.

— Ну, зря ты так, святой отец, — сказал Матвей. — Смерти, что ль, хочешь себе?

— Рука не подымется у злодея...

— У тебя язык подымается, подымется и рука. Чего разошелся-то?

— Да вот ведь... во грех ввел! — митрополит в сердцах ударил Алешку иконкой по голове и повернулся к Богородице: — Господи, прости меня, раба грешного, прости меня, матушка Богородица... Заступись, Пресвятая Дева, образумь разбойников!

Алешка почесал голову, он тоже сник и испугался.

— Злой... А сам-то не злой?

— Выведете из терпения!..

Тут в храм стремительно вошел Степан... Вел с собой Семку Резаного.

— Кого тут добру учили? — запально спросил он, опять подступая к митрополиту. — Кто тут милосердный? Ты? Ну-ка глянь суда! — сгреб митрополита за грудки и подтащил к Семке. — Открой рот, Семка. Гляди!.. Гляди, сучий сын! Где так делают?! Можеть, у тебя в палатах? Ну, милосердный козел?! — Степан крепко встряхнул Иосифа. — Всю Русь на карачки поставили с вашими молитвами, в гробину вас, в три господа бога мать!.. Мужику голос подать не моги — вы тут как тут, рясы вонючие! Молись Алешкиному Исусу! — Степан выхватил из-за пояса пистоль. — Молись! Алешка, подставь ему свово Исуса.

Алешка подпрыгал к митрополиту, прислонил перед ним иконку к стене.

— Молись, убью! — Степан поднял пистоль.

Митрополит плюнул на иконку.

— Убивай, злодей, мучитель!.. Казни, пес смердящий! Будь ты проклят!

Степана передернуло от этих слов. Он стиснул зубы... Побелел.

Матвей упал перед ним на колени...

— Батька, не стреляй! Не искусись... Он хитрый, он нарошно хочет, чтоб народ отпугнуть от нас. Он старик, ему и так помирать скоро... он хочет муку принять! Не убивай, Степан, не убивай! Не убивай!

— Сука продажная, — усталым, чуть охрипшим голосом сказал Степан, засовывая пистоль за пояс. — Июда. Правду тебе сказал Никон: Июда ты! Сапоги царю лижешь... Не богу ты раб, царю! — Степана опять охватило бешенство, он не знал, что делать, куда деваться с ним.

Иосиф усердно клал перед Богородицей земные поклоны, шептал молитву, на атамана не смотрел.

Степан с томлением великим оглянулся кругом... Посмотрел на митрополита, еще оглянулся... Вдруг подбежал к иконостасу, вышиб икону Божьей Матери и закричал на митрополита, как в бою:

— Не ври, собака! Не врите!.. Если б знал бога, рази б ты обидел калеку?

— Батька, не надо так... — ахнул Алешка.

— Бей, коли, руби все, — смиренно сказал Иосиф. — Дурак ты, дурак заблудший... Что ты делаешь? Не ее ты ударил! — он показал на икону. — Свою мать ударил, пес.

Степан вырвал саблю, подбежал к иконостасу, несколько раз рубанул сплеча витые золоченые столбики, но сам, видно, ужаснулся... постоял, тяжело дыша, глянул оторопело на саблю, точно не зная, куда девать ее...

— Господи, прости его! — громко молился митрополит. — Господи, прости!.. Не ведает он, что творит. Прости, господи.

— Ух, хитрый старик! — вырвалось у Матвея.

— Батька, не надо! — Алешка заплакал, глядя на атамана. — Страшно, батька...

— Прости ему, господи, поднявшему руку, не ведает он... — митрополит смотрел вверх, на распятие, и крестился беспрестанно.

Степан бросил саблю в ножны, вышел из храма.

— Кто породил его, этого изверга! — горестно воскликнул митрополит, глядя вслед атаману. — Не могла она его приспать грудного в постеле!..

— Цыть! — закричал вдруг Матвей. — Ворона... Туда же — с проклятием! Поверни его на себя, проклятие свое, бесстыдник. Приспешник... Руки коротки — проклинать!

На себя оглянись... Никона-то вы как?.. А небось языки не отсохли — живы-здоровы, попрошайки.

Степан шагал мрачный через размахнувшийся вширь гулевой праздник. На всей площади Кремля стояли бочки с вином. Казаки и астраханцы вовсю гуляли. Увидев атамана, заорали со всех сторон:

— Будь здоров, батюшка наш, Степан Тимофеич!

— Дай тебе бог много лет жить и здравствовать, заступник наш!

— Слава батюшке Степану!

— Слава вольному Дону!

— С нами чару, батька?

— Гуляйте, — сказал Степан. И вошел в приказную палату.

Там на столе, застеленном дорогим ковром, лежал мертвый Иван Черноярец. Ивана убили в ночном бою.

Никого в палате не было.

Степан тяжело опустился на табурет в изголовье Ивана.

— Вот, Ваня... — сказал. И задумался, глядя в окно. Даже сюда, в каменные покои, доплескивался шумный праздник.

Долго сидел так атаман — вроде прислушивался к празднику, а ничего не слышал.

Скрипнула дверь... Вошел Семка Резаный.

— Что, Семка? — спросил Степан. — Не гуляется?

Семка промычал что-то.

— Мне тоже не гуляется, — сказал Степан. — Даже пить не могу. Город взяли, а радости... нету, не могу нисколь в душе наскрести. Вот как бывает.

И опять долго молчал. Потом спросил:

— Ты богу веришь, Семка?

Семка утвердительно кивнул головой.

— А веришь, что мы затеяли доброе дело? Вишь, поп-то шумит... бога топчем... Рази мы бога обижаем? У меня на бога злости нету. Бога топчем... Да пошто же? Как это? Как это мы бога топчем? Ты не думаешь так?

Семка покачал головой, что — нет, не думает. Но его беспокоило что-то другое — то, с чем он пришел. Он стал мычать, показывать: показывал крест, делал страшное лицо, стал даже на колени... Степан не понимал. Семка поднялся и смотрел на него беспомощно.

— Не пойму... Ну-ка ишо, — попросил Степан.

Семка показал бороду, митру на голове — и на храм, откуда он пришел, где и узнал важное, ужасное.

— Митрополит?

Семка закивал, замычал утвердительно. И все продолжал объяснять, что митрополит что-то сделает.

— Говорит? Ну... Чего митрополит-то? Чего он, козел? Лается там небось? Пускай...

Семка показал на Степана.

— Про меня? Так. Ругается? Ну и черт с им!

Семка упал на колени, занес над головой крест.

— Крестом зашибет меня?

— Ммэ... э-э... — Семка отрицательно затряс головой. И продолжал объяснять: что-то страшное сделают со Степаном — митрополит сделает.

— А-а!.. Проклянут? В церквах проклянут?

Семка закивал утвердительно. И вопросительно, с тревогой уставился на Степана.

— Понял, Семка: проклянут на Руси. Ну и... проклянут. Не беда. А Ивана тебе жалко?

Семка показал, что жалко. Очень... Посмотрел на Ивана.

— Сижу вот, не могу поверить: неужели Ивана тоже нету со мной? Он мне брат был. Он был хороший... Жалко, — Степан помолчал. — Выведем всех бояр, Семка, тада легко нам будет, легко. Царь заартачится — царя под зад, своего найдем. Люди хоть отдохнут. Везде на Руси казачество заведем. Так-то... Это по-божески будет. Ты жениться не хошь?

Семка удивился и показал: нет.

— А то б женили... Любую красавицу боярскую повенчаю с тобой. Приглядишь, скажи мне — свадьбу сыграем. Ступай позови Федора Сукнина.

Семка ушел.

Степан встал, начал ходить по палате. Остановился над покойником. Долго вглядывался в неподвижное лицо друга. Потрогал зачем-то его лоб... Поправил на груди руку сказал тихо, как последнее сокровенное напутствие:

— Спи спокойно, Ваня. Они за то будут кровью плакать.

Пришел Сукнин.

— Ступай к митрополиту в палаты, возьми старшего сына Прозоровского, Бориса, и приведи ко мне. Они там с матерью.

Сукнин пошел было исполнять.

— Стой, — еще сказал Степан. — Возьми и другого сына, младшего, и обоих повесь за ноги на стене.

— Другой-то совсем малой... Не надо, можеть.

— Я кому сказал! — рявкнул Степан. Но посмотрел на Федора — в глазах не злоба, а мольба и слезы стоят. И сказал негромко и непреклонно. — Надо.

Сукнин ушел.

Вошел Фрол Разин.

— Там Васька разошелся... Про тебя в кружале орет что попало.

— Что орет?

— Он-де Астрахань взял, а не ты. И Царицын он взял.

Степан горько сморщился, как от полыни; прихрамывая, скоро прошел к окну, посмотрел, вернулся... помолчал.

— Пень, — сказал он. — Здорово пьяный?

— Еле на ногах...

— Кто с им? — Степан сел в деревянное кресло.

— Все его... Хохлачи, танбовцы. Чуток Ивана Красулина не срубил. Тот хотел ему укорот навести...

Степан вскочил, стремительно пошел из палаты.

— Пойдем. Счас он у меня Могилев возьмет.

Но в палату, навстречу ему, тоже решительно и скоро вошел Ларька Тимофеев, втолкнул Степана обратно в покои... Свирепо уставился атаману в глаза.

— Еслив ты думаешь, — заговорил Ларька, раздувая ноздри, — что ты один только в ответе за нас, то мы так не думаем. Настрогал иконок?!

Степан растерянно, не успев еще заслониться гневом, как щитом, смотрел на есаула.

— Ты что, сдурел, Ларька? — спросил он.

— Я не сдурел! Это ты сдурел!.. Иконы кинулся рубить. А митрополит их всем показывает. Зовет в церкву и показывает... Заместо праздника-то... горе вышло: испужались все, дай бог ноги — из церквы. На нас глядеть боятся...

До Степана теперь только дошло, как неожиданно и точно ударил митрополит: ведь он же сейчас нагонит на людей страху, отвернет их, многих... О, проклятый, мудрый старик! Вот это — дал так дал.

Степан сел опять в кресло. Посмотрел на Ларьку, на брата Фрола... Качнул головой.

— Что делать, ребята? Не подумал я... Что делать, говорите? — заторопил он.

— Закрыть церкву, — подсказал Фрол.

— Как закрыть? — не понял Ларька.

— Закрыть вовсе... не пускать туда никого.

— А? — вскинулся с надеждой Степан.

— Нет... видели уж, — возразил Ларька. — Так хуже.

— А как? — чуть не в один голос спросили Степан и Фрол. — Как же? — еще спросил Степан. — Разбегутся ведь, правда.

— Сам не знаю. Выдь на крыльцо, скажи. «Сгоряча, мол, я...»

— Ну, — неодобрительно сказал Степан. — Это что ж... Знамо, что сгоряча, но ведь — иконы! А там — мужичье: послушать послушают, а ночью все равно тайком утянутся. Где Матвей? Ну-ка, Фрол, найди Матвея.

— Э-э! — воскликнул Ларька. — Давай так: я мигом найду монаха какого-нибудь, научу его, он выйдет и всем скажет: «Там, мол, митрополит иконы порушенные показывает: мол, Стенька изрубил их — не верьте — митрополит сам заставил меня изрубить их, а свалить на Стеньку». А?

Братья Разины, изумленные стремительным вывертом бессовестного Ларьки, молча смотрели на него. Есаул мыслил, как в ненавистный дом крался: знал, где ступить неслышно, как пристукнуть хозяина и где вымахнуть, на случай беды, — все знал.

— Где ты такого монаха найдешь? — спросил Степан первое, что пришло в голову, Ларька часто его удивлял.

— Господи!.. Найду. Что, монахи жить, что ли, не хочут? Все жить хочут.

— Иди, — сказал Степан. — Иди, останови митрополита вредного. Промахнулся я с им.

— А ты потом выйдешь и устыдишь митрополита принародно, Скажи: «Ай-яй-яй, старый человек, а такую напраслину на меня...»

— Нет, — возразил Степан, — я не пойду. Сам устыди его хорошенько. А батька, скажи всем, пьяный лежит. Нет, не пьяный, а... куда-то ушел с казаками. Найди, найди скорей монаха, надавай ему всякой всячины — пусть разгласит всем, что иконы рубил. Хорошая у тебя голова, Ларька. Не пьешь, вот она и думает хорошо. Молодец. Ай, как я оплошал!..

Трезвый Ларька, а с ним и Фрол пошли улаживать дело.

Ларька смолоду как-то чуть не насмерть отравился «сиухой» и с тех пор не мог пить. Казнился из-за этого — стыд убивал, но никакая сила не могла заставить его проглотить хоть глоток вина: пробовал — тут же все вылетало обратно, потом был скрежет зубовный и страдание. Так и жил — мерином среди жеребцов донских. Может, оттого и злобился лишний раз.

— Мы с Федькой Шелудяком будем стыдить митрополита, — сказал оборотистый есаул Фролу — а пока монаха пошукаем... Нет, давай-ка так сделаем, — приостановился Ларька, — вы с Федькой Сукниным народу суда назовите побольше — вести, мол, важные, а я монаха приведу. Потом уж митрополита вытащшим...

— Матвея тоже возьмите с собой, — посоветовал Фрол, — пусть тоже пристыдит его. Мужичьими словами... он умеет.

— Да пошел он... ваш Матвей — без его управимся.

...Уса Степан не нашел в кружалах: собутыльники Уса, прослышав, что его ищет гневный атаман, заблаговременно увели куда-то совсем пьяного Василия.

На берегу Волги казаки и стрельцы, приставшие к казакам, дуванили добро астраханских бояр. Степан пошел туда, проверил, что делят справедливо, набрал с собой голи астраханской и повел селить в дома побитых начальных людей и купцов. Скоро за атаманом увязался весь почти посад астраханский... Многие наизготовке несли с собой скарб малый — чтоб немедля и вселяться в хоромы.

Сперва ходили по домам убитых у Черного Яра, потом пошли в дома убитых в эту ночь и в утро, но народу за атаманом прибывало... Степан вышел на главную улицу — от Волги к Белому городу — и пошел подряд по большим домам: селил бедноту и рвань.

Почти в каждом доме ни хозяина, ни взрослых сыновей не оказывалось — прятались. Остальных домочадцев и слуг выгоняли на улицу... Везде были слезы, вой. Никого не трогали — атаман не велел. Давали забрать пожитки... И в каждом доме справляли новоселье с новыми хозяевами. И в каждом доме — поминки по Ивану Черноярцу.

К концу дня Степан захмелел крепко. Вспомнил Уса, сгребся, пошел опять искать его. К тому времени с ним бы-

ли трезвые только Матвей Иванов, Федор Сукнин и брат Фрол. Степан то лютовал и грозился утопить Ваську, то плакал и звал Ивана Черноярца... В первый раз, когда Матвей увидел, как плачет Степан, у него волосы встали дыбом. Это было страшно... Видел он Степана в жуткие минуты, но как-то знал — по глазам — это еще не предел, не безумство. Вот — наступил предел. Вот горе породило безумство. В глазах атамана, ничего не видящих, криком кричала одна только боль.

Оказались возле Кремля, Степан пошел в приказную палату, где лежал Иван. Упал в ноги покойного друга и завыл... И запричитал, как баба:

— Ваня, да чем же я тебя так обидел, друг ты мой милый?! Зачем ты туда? О-ох! Больно, Ваня, тоска-а! Не могу! Не мо-гу-у!..

Степан надолго умолк, только тихо, сквозь стиснутые зубы стонал и качал головой, уткнувшись лицом в ладони. Потом резко встал и начал поднимать Ивана со смертного ложа.

— Вставай, Ваня! Ну их к... Пошли гулять.

Иван с разбитой головой повис на руках Степана...

А Степан все хотел посадить его на столе, чтобы он сидел, как Стырь сидел в царицынском приказе.

— Гулять будем! Тошно мне без тебя... — повторял он.

— Степан, родной ты мой, — взмолился Матвей. — Степушка!.. Мертвец он, Иван-то, куда ты его? Положь. Не надо. Убитый он, очнись ты, ради Христа истинного, чего ты тормошишь-то его: убили его.

Вот тут-то сделалось страшно Матвею. Степан глянул на него... И Матвей оторопел — на него глянули безумные глаза, знакомые, дорогие до слез, но — безумные.

— Кто убил? — спросил тихо Степан. Он все держал тело в руках.

— В бою убили... — Матвей попятился к двери. — Ночью...

— Кто? Он со мной был все время.

— Опомнись, Степан, — сказал Федор. — Ну, убили... Рази узнаешь теперь? Возле ворот кремлевских... стрельнули. Иван, царство небесное, завсегда вперед других лоб подставлял. Со стены стрельнули. И не с тобой он был, а с

дедкой Любимом вон, спроси Любима, он видал... Мы уж в городе были, а у ворот отбивались ишо.

Степан долго стоял с телом в руках, что-то с трудом, мучительно постигая. Горестно постиг, прижал к груди окровавленную голову друга, поцеловал в глаза.

— Убили, — сказал он. — Отпевать надо. А не обмыли ишо...

— Да положь ты его... — опять заговорил было Матвей, но Федор свирепо глянул на него, дал знак: пусть отпевает! Пусть лучше возится с покойным, чем иное что. Вся Астрахань сейчас — пороховая бочка, не хватает, чтоб Степан бросил в нее головню: взлетит к чертовой матери весь город — на помин души Ивана Черноярца. Стоит только появиться Разину на улице и сказать слово.

— Отпевать надо, — поспешил исправить свою оплошность Матвей. — А как же? Надо отпевать — он христианин.

— Надо, — сказал и Фрол Разин.

Степан понес тело в храм.

— Зовите митрополита, — велел он.

Митрополита искали, но не нашли. Стыдили-таки его, принародно стыдили — Ларька и Шелудяк — за «подлог». У митрополита глаза полезли на лоб... Особенно его поразило, что нашелся монах, уличивший его во лжи. После того он исчез куда-то — должно быть, спрятался.

Отпевал Ивашка Поп, расстрига.

Потом поминали всех убиенных...

16

Утром Степана разбудил Матвей.

— Степан, а Степан!.. — толкал он атамана. — Поднимись-ка!

— А? — Степан разлепил веки: незнакомое какое-то жилье, сумрачно, только еще светало. — Чего?

— Вставать пора.

— Кто тут?

— Подымись, мол. Я это, Матвей.

Степан приподнял тяжелую хмельную голову, огляделся вокруг. С ним рядом лежала женщина, блаженно щурила сонные глаза. Молодая, гладкая и наглая.

— Ты кто такая? — спросил ее Степан.

— Жонка твоя, — баба засмеялась.

— Тю!.. — Степан отвернулся.

— Иди-ка ты отсудова! — сердито сказал Матвей бабе. — Развалилась... дура сытая. Обрадовалась.

— Степан, застрель его, — сказала баба.

— Иди, — велел Степан, не глядя на «жонку».

Баба выпростала из-под одеяла крепкое, нагулянное тело, сладко, со стоном потянулась... И опять радостно засмеялась.

— Ох, ноченька!.. Как только и выдюжила.

— Иди, сказали! — прикрикнул Матвей. — Бесстыжая... Урвала ночку — тем и будь довольная.

— На, поцалуй мою ногу, — баба протянула Матвею ногу.

— Тьфу!.. — Матвей выругался, он редко ругался.

Степан толкнул бабу с кровати.

Баба притворно ойкнула, взяла одежонку и ушла куда-то через сводчатый проем в каменной стене.

Степан спустил ноги с кровати, потрогал голову.

— Помнишь что-нибудь? — спросил Матвей.

— Найди вина чару, — Степан тоскливо поискал глазами по нарядной, с высокими узкими окнами белой палате. — Мы где?

Матвей достал из кармана темную плоскую бутыль, подал.

— В палатах воеводиных.

Степан отпил с жадностью, вздохнул облегченно:

— Ху!.. — посидел, свесив голову.

— Степан, так нельзя... — Матвей изготовился говорить долго и внушительно. — Эдак мы не только до Москвы, а куда подальше сыграем — в гробину, как ты говоришь. Когда...

— Где Васька? — спросил Степан.

— Где Васька?.. Кто его знает? Сидит где-нибудь так же вот — похмеляется. Ты помнишь, что было-то?

Степан поморщился:

— Не гнуси, Матвей. Тошно.

— Будет тошно! С Васькой вам разойтиться надо, пока до беды не дошло. Вместе вам ее не миновать. Оставь его тут атаманом — куда с добром! И — уходить надо, Степан. Уходить, уходить. Ты человек войсковой — неужель ты не по-

нимаешь? Сопьются же все с круга!.. Нечего нам тут делать больше! Теперь мужа с топором — нету. За спиной-то...

— Понимаешь, понимаешь... А не дать погулять — это тоже обида. Вот и не знаю, какая беда больше: дать погулять или не дать погулять. С твое-то и я понимаю, Матвей, а дальше... никак не придумаю: как лучше?

— Сморите маленько. Да сам-то поменьше пей. Дуреешь ты — жалко же. И страшно делается, Степан. Страшно, ей-богу

— Опять учить пришел? — недовольно сказал Степан.

Матвей на этот раз почему-то не испугался.

— Маленько надо. Царем, вишь, мужицким собираисся стать — вот и слушай: я мужик, стану тебе подсказывать — где не так, — Матвей усмехнулся. — Мне, стало быть, и подсказать можно, где не так делаешь: не боярам же тада подсказывать...

— Каким царем? — удивился Степан. — Ты что?

— Вчерась кричал. Пьяный, — Матвей опять усмехнулся. — А знаешь, какой мужику царь нужен?

— Какой? — не сразу спросил Степан.

— Никакой.

— Так не бывает.

— А еслив не бывает, тада уж такой, какой бы не мешал мужикам, И чтоб не обдирал наголо. Вот какого надо. Тут и вся воля мужицкая: не мешайте ему землю пахать. Да ребятишек ростить. Все другое он сам сделает: свои песни выдумает, свои сказки, свою совесть, указы свои... Скажи так мужику, он пойдет за тобой до самого конца. И не бросит. Дальше твоих казаков пойдет. И не надо его патриархом сманывать — что он вроде с тобой идет...

Степан заинтересовался:

— Вон как!.. А вот здесь у тебя промашка, хоть ты и умный: он, мужик твой...

— Да пошто же он мой-то?

— Чей же?

— Твой тоже. Чего ты от его отрекаесся?

— Хрен с им, чей он! Он своего поместника изведет и подумает: хватит, теперь я вольный. А невдомек дураку: завтра другого пришлют. А еслив он будет знать, что с им патриарх поднялся да царевич...

— Какой царевич? — удивился Матвей.

— Алексей Алексеич.

— Он же помер!

— Кто тебе сказал? — Степан пытливо глядел на рязанца, точно проверяя на нем эту неслыханную весть.

— Да помер он! — заволновался было Матвей.

— Врут. Он живой... Царь с боярами допекли его, он ушел от их. Он живой.

Матвей внимательно посмотрел на Степана. Понял.

— Во-он ты куда. Ушел?

— Ушел.

— И к тебе пришел?

— И ко мне пришел. А к кому больше?

— Знамо дело, больше некуда. Про Гришку Отрепьева слыхал?

— Про Гришку? — Степан вдруг задумался, точно пораженный какой-то сильной, нечаянной мыслью. — Слыхал про Гришку, слыхал... Как бабу-то зовут?

— Какую?

— Жонку-то мою...

Матвей засмеялся:

— Ариной.

— Ариша! — позвал Степан.

Арина вошла, одетая в дорогие одежды.

— Чево, залетка моя? Чево, любушка...

— Тьфу! — обозлился Степан. — Перестань! Сходи передай казакам: пускай найдут Мишку Ярославова. Чтоб бегом ко мне!

Арина скорчила Матвею рожу и ушла.

Степан надел штаны, чулки. Заходил по палате.

— А бог какой мужику нужен? — спросил через свои думы.

— Бог?.. — теперь и Матвей задумался, хотел сказать серьезно, а серьезно, вплотную никогда так не думал — какой мужику бог нужен.

— Ну? — не сразу переспросил Степан; из всех разговоров с умным мужиком он не понял: верует тот богу или нет.

— Да вот думаю. Какой-то, знаешь... чтоб мне перед им на карачках не ползать. Свойский. Чтоб я с им — по-соседски, как ты вон рассказывал. Был у меня в деревне сосед... Старик. Вот такого бы. Так живой, говоришь, царевич?

— Что ж старик? — Степан не хотел больше про царевича.

— Старик мудрой... Тот говорил: я сам себе бог.

— Ишь ты!

— Славный старик. Помер, царство небесное. Такого я б не боялся. А ишо — понимал бы я его хоть. Того вон, — Матвей посмотрел на божницу, — не понимаю. Всю жись меня им пугают, а за что? — не пойму. Ты вон страшный, но я хоть понимаю: так уж человек себя любит, что поперек не скажи — убьет.

Степан остановился перед Матвеем, но тот опередил его неожиданным вопросом:

— А меня-то правда любишь? — спросил.

— Как это? — опешил Степан.

— Вчерась говорил, что жить без меня не можешь, — Матвей искренне засмеялся. — Ох, Степан, Степан... смешной ты. Не всегда, правда, смешной. Да как же царевич-то уцелел, а?

— Я его про бога, он мне про царевича. С царевичем дело простое: поведем на Москву, спросим отца и бояр: чего там у их?.. Ты богу веруешь?

— Про бога, Тимофеич... не надо — боюся. Думать даже боюся. Вишь, тут как: залезешь в душу-то, по правдишному-то, а там и говорить нечего — черным-черно. Вовсе жуть возьмет.

Вошел Мишка Ярославов.

— Здорово ночевал, батька! — сам Мишка не светлей атамана с утра; только, видно, разбудили, опухший.

— Здорово. Садись пиши, — Степан недовольно посмотрел на есаула. — Тоже красавец... Не просвистеть бы нам, есаул, с этой сиухой последний умишко.

— Чего писать-то? — Мишка не глядел на атамана, а на Матвея украдкой, зло зыркнул: овца рязанская, успел наябедничать. — С утра писать...

— Чего говорить буду, то и пиши. Сумеешь хоть?..

Мишка нашел в Воеводиных палатах бумагу, чернила, перо... Подсел к столу, склонил набок пудовую голову... Еще раз презрительно глянул на Матвея.

— Давай.

— Брат! — стал говорить Степан, прохаживаясь по горнице. — Ты сам понимаешь... Нет, погоди, не так...

— Это кому ты? — спросил Матвей.

— Шаху персицкому. Брат! Бог, который, ты сам знаешь, управляет государями не так, как целым миром, этой ночью посоветовал мне хорошее дело. Я тебя крепко полюбил. Надо нам с тобой соединиться против притеснителев...

— Погоди маленько, — сказал Мишка. — Загнал. Притеснителев... Дальше?

Матвей изумленно и почтительно смотрел на атамана и слушал.

— Я прикинул в уме: кто больше мне в дружки годится? Никто. Только ты. Я посылаю к тебе моих послов и говорю: давай учиним дружбу. Я думаю, у тебя хватит ума, и ты не откажесся от такого выгодного моего предлога. Заране знаю, ты с великой охотой согласисся со мной, я называю тебя другом, на которого надеюсь. У меня бесчисленное войско и столько же богатства всякого, но есть нуждишка в боевых припасах. А также в прочих припасах, кормить войско. У тебя всяких припасов много...

— Погодь, батька. Много... Так?

— У тебя припасов много, даже лишка есть, я знаю. Удели часть своему другу, я заплачу тебе. Я не думаю, чтоб тебе отсоветовали прислать это мне. Но если так получится, то знай: скоро увидишь меня с войском в своей земле: я приду и возьму открытой силой, еслив ты по дурости не захочешь дать добровольно. А войска у меня — двести тыщ, — Степан подмигнул Матвею.

— Так, — сказал Мишка. — Думаешь, клюнет?

— Так что выбирай: или ты мне друг, или я приду и повешу тебя. Печать есть у нас?

— Своей нету. Я воеводину прихватил тут... На всякий случай: добрая печать.

— Притисни воеводину. Пора свою заиметь.

— Заимеем, дай срок, — Мишка хлопнул воеводиной печатью в лист, полюбовался на свою писанину и на красавицу печать.

— Собери сегодня всех пищиков астраханских: писать письма в городки и веси, — велел Степан, подавая есаулу плоскую темную склянку. — Много надо! Разошлем во все стороны.

— Разошлем, — сказал Мишка, принимая из рук атамана бутылицу. А ему показал лист. — Чисто указ государев!

— Доброе дело, — похвалил Матвей мысль атамана, — про письма-то: он давно талдычил про них.

— К шаху сегодня послать. Скажи Федору: пускай приберет трех казаков... — Степан взял у Мишки бутылицу с «сиухой», допил остатки.

— Когда же вверх-то пойдем? — спросил Матвей.

— Пойдем, Матвей. Погуляем да пойдем. Наберись терпения. Дай маленько делу завязаться... Пускай про нас шире узнают, народишко-то, пускай ждут по дороге, чтоб нам не ждать. Пускай и письмишки походют по свету... Надо было раньше с имя додуматься: с зимы прямо двигать. Вот где надо, так ни одного дьявола с советом нет! — Степан отпил еще из бутылки. — Интересно, говоришь, как уцелел царевич? — спросил он легко и весело.

— Шибко интересно. Как это он, сердешный...

— О, это цельная сказка, Матвей. Разное с им приключалось... Я тебе как-нибудь порасскажу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КАЗНЬ

1

А в Москву писали и писали...

Думный дьяк читал царю и его ближайшему окружению обширное донесение, составленное по сведениям, полученным из района восстания:

— *«...Великому государю изменили, того вора Стеньку в город пустили. И вор Стенька Разин боярина и воеводу князя Ивана Семеныча Прозоровского бросил с раскату**. *А которые татаровя были под твоею, великого государя, высокою рукою, и те татаровя тебе, великому государю, изменили и откочевали к нему, вору, к Стеньке. А двух сынов боярских он, Стенька, на городской стене повесил за ноги, и висели они на стене сутки.*

И одного боярского большого сына, сняв со стены, связав, бросил с раскату ж, а другого боярского меньшого сына, по упрошению матери его, сняв со стены и положа на лубок, отвезли к матери в монастырь. А иных астраханских начальных людей и дворян, и детей боярских и тезеков всех, и которые с ним, Стенькою, в осаде дрались, побил. И в церквах божьих образы окладные порубил, и великого государя денежную казну всю поймал, и всякие дела в приказах пожег с бесовскою пляскою, и животы боярские и всяких чинов начальных людей в том городе

* Раскатом и XVII иски называли, очевидно, всякое сооружение, которое практически служило еще и целям обзорной высоты; башни крепостных стен, лобные места, колокольни. — *Прим. автора.*

Кремле все пограбил же. И аманатов из Астрахани отпустил по кочевьям их, и тюрьмы распустил. А боярская жена и всяких начальных людей жены все живы, никого тех жен он, Стенька, не бил.

А был он, Стенька, в Астрахани недели с две и пошел на Царицын Волгою. И после себя оставил он, Стенька, в Астрахани товарищев своих, воровских казаков, с десятка по два человека; а с ними, воровскими казаками, оставил в Астрахани начальным человеком товарища своего Ваську Уса.

А стольник и воевода князь Семен Львов ныне в Астрахани жив. А как ему, вору Стеньке, астраханская высылка на Волге сдалась, и он, вор Стенька, учиня круг, и в кругу говорил: любо ль вам, атаманы-молодцы, простить воеводу князь Семена Львова? И они, воровские казаки, в кругу кричали, что простить его им любо.

А из Астрахани он, вор Стенька, до Царицына шел Волгою две недели.

И пришел он, вор Стенька, на Царицын, послал от себя на Дон воровских казаков с братом своим Фролкою — всех человек с 500 с деньгами и со всякими грабежными животами, да с ними восемь пушек. И у него, у вора Стеньки, на Царицыне были круги многие.

А с Царицына он, вор Стенька, пошел под Саратов. А конных людей у него, Стеньки, нет ни одного человека, потому что которые конные люди у него, Стеньки, были, и у них лошади у всех попадали.

А стружки у него, Стеньки, небольшие, человек по десяти, и в большем человек по двадцати в стружке, а иные в лодках человек по пяти. А которых невольных людей с посадов и стругов неволею к себе он, Стенька, имал, и у тех всех людей ружья нет.

А богу он, вор Стенька, не молится и пьет безобразно, и блуд творит, и всяких людей рубит без милости своими руками. И говорит и бранит московских стрельцов и называет их мясниками: вы-де, мясники, слушаете бояр, а я-де вам чем не боярин? От него, Стеньки, всем воровским казакам учинен заказ крепкой, что уходцев бы от них на Русь не было. А где кого от него, Стеньки, беглеца догонят, и они б тех беглецов, имая на воде, метали в воду, а на сухом берегу рубили, чтоб никто про него, Стеньку, на Русь вести не подал.

А из Саратова к нему прибегают саратовцы человека по два и по три почасту и говорят ему, чтоб он шел к ним под Саратов не мешкав, а саратовцы городские люди город Саратов. ему, Стеньке, сдадут, только-де в саратове крепится саратовский воевода».

Дьяк кончил вычитывать. Однако было у него в руках что-то еще...

— Что? — спросил царь.

— Письмо воровское... Он, поганец какой: и чтоб весть про его не шла, и тут же людишек сзывает.

— Ну? — велел царь.

Дьяк стал читать:

— *«Грамота от Степана Тимофеича от Разина.*

Пишет вам Степан Тимофеич всей черни. Кто хочет богу да государю послужить, да великому войску, да и Степану Тимофеичу, и я выслал казаков, и вам бы заодно изменников вывадить и мирских кравапивцев вывалить. И мои казаки како промысел станут чинить, и вам бы итить к ним в совет, и кабальныя, и опальния шли бы в полк к моим казакам».

Долго молчали царедворцы.

Беда.

Царь тоже писал.

Другой дьяк басовитым голосом вычитывал на Постельном крыльце московским служилым людям Указ царя:

— *«И мы, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, велел вам сказать, что Московское государство во жребии и во обороне пресвятые владычицы нашея Богородицы и всегда над всякими неприятели победу приемлет по господе бозе молитвами ея. А ныне мы, великий государь, и все наше Московское государство в той же надежде, и его господе бозе несумненную надежду имеем на руководительницу нашу Пресвятую Богородицу. И указали быть на нашей государевой службе боярину нашему и воеводам князю Юрью Алексеевичу Долгорукову да стольнику князю Константину Щербатову.*

А за те ваши службы наша государева милость и жалованье будет вам свыше прежнего. А буде, забыв господа бога и православную христианскую веру и наше великого государя

крестное целование, против того врага божия и отступника от веры православной и губителя невинных православных христиан Стеньки Разина на нашу великого государя службу тотчас не поедут и учнут жить в домах своих, и по нашему великого государя Указу у тех людей поместья их и вотчины укажем мы, великий государь, имать бесповоротно и отдавать челобитчикам, которые будут на службе. А буде, которые всяких чинов служилые люди с нашей великого государя службы збегут, и тем быть казненым смертью безо всякой пощады. И вам бы одноконечно ехать со всею службою, не мешкая, и нам, великому государю, служить, и за свои службы нашу великого государя милость получить. Все!»

Нет, не зря Степан Тимофеич так люто ненавидел бумаги: вот «заговорили» они, и угроза зримая уже собиралась на него. Там, на Волге, надо орать, рубить головы, брать города, проливать кровь... Здесь, в Москве, надо умело и вовремя поспешить с бумагами — и поднимется сила, которая выйдет и согнет силу тех, на Волге... Государство к тому времени уже вовлекло человека в свой тяжелый, медленный, безысходный круг; бумага, как змея, обрела парализующую силу. Указы. Грамоты. Списки... О, как страшны они! Если вообразить, что те бумаги, которые жег Разин на площади в Астрахани, кричали голосами, стонали, бормотали проклятья, молили пощады себе, то эти, московские, восстали жестоко мстить, но «говорили» спокойно, со знанием дела. Ничто так не страшно было на Руси, как госпожа Бумага. Одних она делала сильными, других — слабыми, беспомощными.

Степан, когда жег бумаги в Астрахани, воскликнул в упоении безмятежном:

— Вот так я сожгу все дела наверху, у государя!

Помоги тебе господи, Степан! Помоги тебе удача, искусство твое воинское. Приведи ты саблей своей острой обездоленных, забитых, многострадальных — к счастью, к воле. Дай им волю!

2

Саратов сдался без боя. Степан велел утопить тамошнего воеводу Кузьму Лутохина. Умертвили также всех дворян и приказных. Имения их передуванили. В городе введено было казацкое устройство; атаманом поставлен сотник Гришка Савельев.

Долго не задерживаясь в Саратове, Степан двинул выше — на Самару.

В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость. Какое-то страшное нетерпение охватило его, и все, что вольно или невольно мешало ему направлять события на свой лад, вызывало его ярость. Крутая, устремленная к далекой цели, неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперед.

Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялись мордва, чуваши... Теперь уже тридцать тысяч шло под знаменем Степана Разина. Полыхала вся средняя Волга. Горели усадьбы поместников, бояр. Имущество их, казна городов, товары купцов — все раздавалось неимущим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего.

...Остановились на короткий привал — сварить горячего хлебова и передохнуть. Шли последнее время скоро; без коней уставали: большие струги с пушками сидели в воде глубоко, а грести — против течения.

— Загнал батька.

— Куда он торопится-то? — переговаривались гребцы. — То ли до снега на Москву поспеть хочет?

— Оно не мешало б...

— По мне — и в Саратове можно б зазимовать. Я там бабенку нашел... мх! — сладкая. Жалко, мало там постояли.

Атаману разбили на берегу два шатра. В один он позвал Федора Сукнина, Ларьку Тимофеева, Мишку Ярославова, Матвея Иванова, деда Любима, татарского главаря Асана Карачурина и Акая Беляева — от мордвы.

С Мишкой Ярославовым пришел молодой боярский сын Васька — они разложились было писать «прелестные» письма, какие они десятками, чуть ли не сотнями писали теперь

и рассылали во все концы Руси. Странно, но и эти ненавистники бумаг, во главе с Разиным, очень уверовали в свои письма. А уж что собирало к ним людей — письма ихние или другое что, — люди шли, и это радовало.

Степан подождал, когда придут все, встал, прошелся по шатру... Опять он не пил, был собран, скор на решения. Похудел за последние стремительные дни.

— Чего вы там разложилися? — спросил Мишку и Ваську.

— Письмишки — на матушку Русь...

— Апосля писать будете. Васька, выдь, — велел он боярскому сыну, которому не верил, а держал около себя — за умение скоро и хорошо писать.

Васька вышел, ничуть не обидевшись.

— Вот чего... Объявляю, — заявил Степан как свое окончательное решение. Речь шла о том: объявлять войску и народу, что с разинцами идут «патриарх» и «царевич Алексей», или еще подождать.

— Степан... — заговорил было Матвей, который всеми силами противился обману, — дай слово молвить: еслив ты...

— Молчи! — повысил голос Степан. — Я твою думку знаю, Матвей. Что скажешь, Федор? — он стал против Федора.

— Зря не даешь ему говорить, — сказал Федор с укором. — Он...

— Я тебя спрашиваю! Тебе велю: говори, как сам думаешь.

— Какого черта зовешь тогда! — рассердился Федор. — Как не по тебе, так рта не даешь никому открыть. Не зови тогда.

— Не прячься за других. А то наловчились: чуть чего, так сразу язык в... Говори!

— Что это, курице голову отрубить?.. «Говори». С бабой в постеле я ишо, можеть, поговорю. И то — мало. Не умею, не уродился таким. А думаю я с Матвеем одинаково: на кой они нам черт сдались? Собаке пятая нога. У нас и так вон уж сколь — тридцать тыщ. Кого дурачить-то? И то ишо крепко заметь в думах: от Никона-то, правда, отшатнулось много народу... Хуже наделаем со своими хитростями.

— Говорить не умеет! А наговорил с три короба. Тридцать тыщ — это мало. Надо тридцать по тридцать. Там пойдут го-

рода — не чета Царицыну да Саратову — Степан не хотел показать, но слова Федора внесли в душу сомнение; он думал и хотел, чтоб ему как-нибудь помогли бы в его думах, но никак не просил о том. Сам с собой он порешил, что пусть обман, лишь бы помогло делу. Вся загвоздка только с этим «патриархом»: от Никона на Руси, слышно, отреклось много, не наделать бы себе хуже, правда.

— Они же идут! Они же не... это... не то что — стало их тридцать, и все, и больше нету. Две недели назад у нас и пятнадцати не было, — стоял на своем Федор.

— Как ты, Ларька? — спросил Степан Ларьку, тоже остановившись перед ним.

Ларька подумал.

— Да меня тоже воротит от их. На кой?.. — сказал он искренне.

— Ни черта не понимают! — горестно воскликнул Степан. — Иди воюй с такими. Один голову ломаешь тут — ни совета разумного, ни шиша... Сяли на шею и ножки свесили.

— Чего не понимаем? — изумился Федор. — Во!.. Не понимают его.

Степан напористо — не в первый раз — стал всем объяснять:

— Так будут думать, что сам я хочу царем на Москве сесть. А когда эти появются, стало быть, не я сам, а наследного веду на престол. Есть разница?..

— Ты меньше кричи везде, что не хошь царем быть, вот и не будут так думать, — посоветовал Матвей.

— Как думать не будут? — не понял Степан.

— Что царем хошь сесть. А то кричишь, а все наоборот думают: царем сесть задумал. Это уж так человек заквашен: ему одно, он — другое.

— Пошел ты!.. — отмахнулся Степан.

— Я-то пойду, а вот ты с этими своими далеко ли уйдешь. Мало ишо народ обманывали! Нет!.. И этому дай обмануть. А как обман раскроется?

— Для его же выгоды обман-то, дура! Не мне это надо!

— А все-то как? И все-то — для его выгоды. А чего так уж страшисся-то, еслив и подумают, что царем? Ну — царем.

— Какой я царь? — Степан, и это истинная правда, даже и втайне не думал: быть ему царем на Руси или нет. Может, атаманом каким-то Великим...

— Ишо какой царь-то! Только самовольный шибко... Ну, слушаться зато будут. Был бы с народом добрый — будешь и царь хороший. Не великого ума дело: сиди высоко да плюй далеко, — всегда, как разговор заходил про царя, Матвей смотрел на Степана пытливо и весело.

— Вон как! — воскликнул Степан. — Легко у тебя вышло. Ажник правда посидеть охота. Плеваться-то научусь, дальше других насобачусь...

— Тут важно ишо — метко, — заметил Ларька.

Засмеялись. Но Матвей не отлип от Степана.

— А ведь думка есть, Степан, нас-то не обманывай. Скажи: придержать ее хошь до поры до время, ту думку. Ну и не объявляй пока. Какое нам дело — кем ты там станешь?

— Вам нет дела, другим есть, — теперь уж и Степан серьезно втянулся в спор с дотошным мужиком.

— Кому же? — пытал Матвей.

— Есть...

— Кому?

— Стрельцам, с какими нам ишо доведется столкнуться. Им есть дело: то ли самозванец идет, то ли ведут коренного царевича на престол. Как знать будут, такая у их и охотка биться будет. Нам надо, чтоб охотка-то эта вовсе бы пропала.

— Да пусть будут! — воскликнул Ларька. — Мы что, с рожи, что ль, опадем? Объявляй, — атаман убеждал его больше, чем занудливый Матвей.

— Не то дело, что будут, — упрямился Матвей. — Царевич-то помер — вот и выйдет, что брешем мы. А то бояры не сумеют стрельцам правду рассказать! Эка!.. Сумеют, а мы в дураках окажемся с этим царевичем. С какими глазами на Москву-то явимся?

— Надо сперва явиться туда, — резонно заметил Степан. — На Москве уж явился, скорый какой.

— Ну... а ты дай мне так подумать: вот — явились. А там и стар и млад, все знают: царевич давно в земле. А мы — вот они: пых, с царевичем. Кто же мы такие будем?

Степан не хотел так далеко думать.

— До Москвы ишо дойтить надо, — повторил он. — А там видно будет. Будет день — будет хлеб. Зовите казаков, какие поблизости. Объявляю. Как думаешь, Асан? — напоследок еще весело спросил он татарина.

— Как знаешь, батька, — отвечал татарский мурза. — Объявляй: наша рожа не станет худая, — Асан засмеялся.

— Матвей?.. — Степан все же хотел пронять мужика, хотел, чтоб тот склонился перед его правдой.

— Объявляй... что я могу сделать? Знаю только, что дурость, — Матвей и склонился, но горестно и безнадежно, не в силах он ничего никому доказать тут.

Казаки — рядовые, десятники, какие случились поблизости от шатра атамана, — заполнили шатер. Никто не знал, зачем их позвали. Степана в шатре не было (он вышел, когда стали приходить казаки).

Вдруг полог, прикрывающий вход в шатер, распахнулся... Вошел Степан, а с ним... царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Особенно внушительно выглядел Никон — огромный, с тяжелыми ручищами, с дремучей пегой бородой.

Царевич и патриарх поклонились казакам. Те растерянно смотрели на них. Даже и те, кто знал о маскараде, и те смотрели на «царевича» и «патриарха» с большим интересом.

— Вот, молодцы, сподобил нас бог — гостей наслал, — заговорил Степан. — Этой ночью пришли к нам царевич Алексей Алексеевич и патриарх Никон. Ходили слухи, что царевич помер, — это боярская выдумка, он живой, вот он. Невмоготу ему стало у царя, ушел от суровостей отца и от боярского лиходейства. Теперь пришло время заступиться за него. Надо вывести бояр на чистую воду... А заодно и поместников, и вотчинников, и воевод, и приказных. Они никому житья не дают... даже им вон... Вон кому даже!.. — Степану не удавалось говорить легко и просто, он ни на кого не смотрел, особенно уклонялся от изумленных взглядов казаков, сердился и хотел скорей договорить, что надо. — Все. Это я хотел вам сказать. Теперь идите. Царевич и патриарх с нами будут. Теперь... Ишо хотел сказать... — Степан посмотрел на казаков, столпившихся у входа в шатер, подавил неловкость свою улыбкой, несколько насильственной, — теперь дело наше надежное, ребяты. Сами знайте и всем говорите: ведем на престол наследного. Пускай теперь у всех языки отсохнут, кто поминает нас ворами да разбойниками. С богом.

Казаки, удивленные необычной вестью, стали расходиться, оглядываясь на «царевича» и «патриарха». Некото-

рые глазастые, заметили, что одеяние «патриарха» очень что-то напоминает рясу митрополита астраханского, но промолчали.

Когда вышли все, Степан сел, велел садиться «патриарху» и «царевичу»:

— Садись, патриарх. И ты, царевич... Сидайте. Выпьем теперь... за почин доброго дела. За удачу нашу.

Есаулы потеснились за столом, посадили с собой старика и смуглого юношу-«царевича» — поближе к атаману.

— Налей, Мишка, — велел Степан, сам тоже не без любопытства приглядываясь к «высоким гостям».

Мишка Ярославов налил чары, поднес первым «патриарху» и «царевичу». Усмехнулся.

— Ты пьешь ли? — спросил он юношу.

— Давай, — сказал тот. И покраснел. И посмотрел вопросительно на атамана. Тот сделал вид, что не заметил растерянности «царевича».

«Патриарх» хлопнул чару и крякнул. И оглядел всех, святой и довольный.

— Кхух!.. Ровно ангел по душе прошел босиком. Ласковое винцо, — похвалил он.

Казаки рассмеялись. Неизвестно, как «царевич», а «патриарх» явно был мужик свойский.

— Приходилось, когда владыкой-то был? Небось заморское пивал? — поинтересовался Ларька Тимофеев весело.

— Дак а можно ли?.. Патриарху-то? — спросил Матвей не одного только «патриарха», а и всех.

Казаки за столом покосились в сторону «патриарха».

Старик прищурил умные глаза; слова Матвея пропустил мимо ушей, а Ларьке ответил:

— Пивали, пивали... Ну-к, милок, поднеси-к ишо одну — за церкву православную, — выпил и опять крякнул. — От так ее! Кхэх!.. Ну, Степан Тимофеич, чего дальше? Располагай нас...

Степан с усмешкой наблюдал за всеми; он был доволен. Сказал:

— На струги пойдем. Тебе, владыка, черный струг, тебе, царевич, красный. Вот и будете там. Будьте как дома, ни об чем не заботьтесь.

В шатер заглянули любопытные, войти не посмели, но с интересом великим оглядели двух знатных гостей атамана.

— Пошло уж, — сказал Степан. — Можно ийтить. Пошли! Никон, давай передом шагай. Ты самый важный тут...

Вышли из шатра втроем — Степан, «царевич» и «патриарх», направились к берегу, где приготовлены были два стружка с шатрами — один покрыт черным бархатом, другой — красным. У обоих стружков — стража нарядная.

Степан, на виду всего войска, что-то рассказывал гостям своим, показывал на войско... Шагал сбоку «патриарха» — вперед заходить не смел. Громадина «патриарх» ступал важно, кивал головой.

Со всех сторон на них глядели казаки, мужики, посадские, стрельцы. Все тут были: русские, хохлы, запорожцы, мордва, татары, чуваши. Глядели, дивились. Никому не доводилось видеть патриарха и царевича, да еще обоих сразу.

Степан проводил гостей до стружков, поклонился. Гости взошли на стружки и скрылись в шатрах.

Степан махнул войску рукой — по стругам.

3

А к царю шли, ехали, плыли — бумаги. Рассказывали.

«...Стоит де он под Самарою, а самареня своровали, Самару ему, вору, здали. И хочет он, вор Стенька Разин, быть кончее под Синбирск на Семен день (1 сентября) и того часу хочет приступать к Синбирску всеми силами, чтоб ему вору, Синбирск взять до приходу в Синбирск кравчего и воеводы князя Петра Семеновича Урусова с ратными людьми.

И только, государь, замешкаются твои, великого государя, полки, чаять от него, вора, над Синбирском великой беды, потому что в Синбирску, государь, в рубленом городе, один колодезь, и в том воды не будет на один день, в сутки не прибудет четверти аршина. А кравчей и воевода князь Петр Семенович Урусов из Казани и окольничей князь Юрья Никитич Борятинский с Саранска с ратными людьми в Синбирск августа по 27-е число не бывали. А от синбирян, государь, в воровской приход чаять спасения большаго, смотря на низовые городы, что низовые городы ему, вору, здаютца...»

Царь встал и в раздражении крайнем стукнул палкой об пол.

— Я, чай, нагулялся уж Стенька?! — гневно воскликнул он. — Пора и остановить молодца. Что же такое деется-то!

4

Стенька еще не нагулялся.

Еще «обмывали» город — Самару.

...Праздник разгорелся к вечеру. На берегу. Повыше Самары. Гулял весь огромный лагерь. Жарились на кострах целые бараны и молодые телята-одногодки. Сивуху из молодой ржи, мед и пиво расходовали вольно; сидели прямо у бочек... Впереди, дальше, трудно будет — Степан знал, потому дал погулять. Хотели немного, а разошлись во всю матушку, раскачали опять теплые воздухи, загудели.

Степан, изрядно уже пьяный, сидел возле своего шатра, близко у воды, расхлыстанный, тяжелый, опасный, пел негромко. По левую руку его — «царевич», по правую — «патриарх». «Патриарх» тоже уже хорош; но пить, видно, он может много.

Степан пел опять свою дорогую, любимую дедушки Стыря:

Ох, матушка, не могу,
Родимая, не могу!..

Все, кто сидел рядом, вразнобой подтянули:

Не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Ох, не могу, не могу, не могу,
могу, могу!
Сял комарик на ногу,
Сял комарик на ногу!

Опять недружно, нескладно забубнили: «у-у, у-у!..»

На ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!
Ох, на ногу, на ногу, на ногу,
ногу, ногу!

Степан вдруг разозлился на эту унылую нескладицу, встал и заорал, и показал, чтоб и все тоже орали.

Ой, ноженьку отдавил,
Ой, ноженьку отдавил!

И все встали и заорали:

Отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!
Ох, отдавил, отдавил, отдавил,
давил, давил!

Крик распрямил людей; засверкали глаза, набрякли жилы на шеях... Песня набирала силу, теперь уж она сама хватала людей, толкала, таскала, ожесточала. Ее подхватывали дальше по берегу, у бочек, — весь берег грозно зрычал в синеву сумрака.

«Патриарх» выскочил вдруг на круг и пошел с приплясом, норовил попасть ногой в песню.

Подай, мати, косаря,
Подай, мати, косаря.

Еще с десяток у шатра не вытерпели, ринулись со свистом «отрывать от хвоста грудинку». Угар зеленый, буйство и сила сдвинули души, смяли.

Косаря, косаря, косаря,
саря, саря!
Ох, косаря, косаря, косаря,
саря, саря!

«Патриарх» пошел отчубучивать вприсядку, легко кидал огромное тело свое вверх-вниз, вверх-вниз... Трудно было поверить, что старик почти.

Никто ее не заметил, старуху-кликушу. Откуда она взялась? Услышали сперва — завыла слышней запева атаманского:

— Ох, да радимы-ый ты наш, сокол ясны-ый!.. Да как же тебе весело гуляется-то!.. Да на вольной-то во-олюшке. Да праздничек ли у тя какой, поминаньице ли-и?..

Причет старухи — дикий, замогильный — подкосил песню. Опешили. Смотрели на старуху. Она шла к Степану, глядела на него немигающими ясными глазами, жуткая в ранних сумерках, шла и причитала:

— Ох, да не знаешь ты беду свою лютую, не ведаешь. Да не чует-то ее сердечушко твое доброе! Ох-х... Ох, пошто жа

ты, Степушка!.. Да пошто жа ты, родимый наш!.. Да ты пошто жа так снарядился-то? А не глядишь и не оглянешься!.. Ох, да не свещует тебе сердечушко твое ласковое! И не подскажет-то тебе господь-батюшка — вить надел-то ты да все черное!..

Степан не робкого десятка человек, но и он оторопел, как попятился.

— Ты кто? Откуда?..

— Кликуша! Кликуша самарская! — узнали старуху. — Мы ее знаем — шатается по дворам, воет: не в себе маленько...

— Тьфу, мать твою!..

— Ох, да родимый ты наш... — опять завыла было кликуша и протянула к атаману сухие руки.

— Да уберите вы ее! — заорал Степан.

Старуху подхватили и повели прочь.

— Ох, да ненаглядное ты наше солнышко! — еще пыталась голосить старуха. Ей заткнули рот шапкой.

Степан сел, задумался... Потом встряхнул головой, сказал громко, остервенело:

— Врешь, старая, мой ворон ишо не кружил! — посмотрел на казаков. — Не клони головы, ребятушки! Наливай! Отпевать умельцы найдутся, сперва пусть угробют.

Налили. Выпили.

Помаленьку праздник стал было опять налаживаться... И тут-то нанесло еще одного неурочного. Это уж как знак какой-то небесный, рок.

Зашумели от берега.

— Куприян! Кипрюшка!.. Тю!..

— Как ты?!

— Гляди! — живой. А мы не чаяли...

— Кто там? — спросил Степан.

— Кипрюшка Солнцев, до шаха с письмом-то ездил. А пошто один, Куприян? Где же Илюшка, Федька?

— Какие вести? — тормошили Куприяна.

Куприян Солнцев, казак под тридцать, радостный, захмелевший от радости, пробрался к атаману.

— Здоров, батька!

— Ну?.. — спросил Степан.

— Один я... Как есть. Господи, не верится, что вижу вас... Как сон.

— Что так? — опять негромко спросил Степан. Его почему-то коробила шумная радость Куприяна. — А товаришши твои?..

— Срубил моих товаришшев шах. Собакам бросил...

Степан стиснул зубы.

— А ты как же?

— А отпустил. Велел сказать тебе...

— Не торопись!.. — зло оборвал Степан. — Захлебываисся прямо! — Степана кольнуло в сердце предчувствие, что Куприян выворотит тут сейчас такие новости, от которых тошно станет. — Чего велел? Кто?

— Велел сказать шах...

— Через Астрахань ехал? — опять сбил его атаман.

— Через Астрахань, как же, — Куприян никак не мог понять, отчего атаман такой неприветливый. И никто рядом не понимал, что такое с атаманом.

Атаман же страшился дурных вестей — и от шаха, и об астраханских делах. И страшился, и хотел их знать.

— Что там? В Астрахани?..

— Ус плохой — хворь какая-то накинулась: гниет. С Федькой Шелудяком лаются... Федька князя Львова загубил, Васька злобится на его из-за этого...

— Как это он?.. — поразился Степан. — Как?

— Удавили.

— Я не велел! — закричал Степан. — Круг решал!.. Он нужон был! Зачем они самовольничают!.. Да что же мне с вами?!..

— Не знаю. А шах велел сказать: придет с войском и скормит тебя свинь...

Коротко и нежданно хлопнул выстрел. Куприян схватился за сердце и повалился казакам в руки.

— Ох, батька, не... — и смолк Куприян.

Степан сунул пистоль за пояс. Отвернулся. Стало тихо.

— Врет шах! Мы к ему ишо наведаемся... — Степан с трудом пересиливал себя. В глазах — дикая боль. — Наливай! — велел он.

Трудно было бы теперь наладиться празднику. Нет, теперь уж ему не наладиться вовсе: от этого выстрела все точно оглохли. Куприян, безвинный казак, еще теплый лежит, а тут — наливай! Наливай сам да пей, если в горло полезет.

— Наливай! — Степан хотел крикнуть, а вышло, что он сморщился и попросил. Но и на просьбу эту никак не от-

кликнулись. Нет, есть что-то, что выше всякой власти человеческой и выше атаманской просьбы.

Степан вдруг дал кулаком по колену:

— Нет, в гробину их!.. Нет! Гуляй, браты! — но руки его прыгали уже. Он искал глазами место, как выйти...

Федор Сукнин подхватил его и повел в сторону. К шатру. Степан послушно шел с ним. Ларька Тимофеев налил чару, предложил всем:

— Наливайте! А то... хуже так. Веселись! Чего теперь?

— Ну, Лазарь!.. Плясать ишо позови.

— Ну а чего теперь? Ну — на помин души Куприяновой, — Ларька выпил, бросил чарку: даже и ему было нехорошо, тошно. Он только сказал: — Никто не виноватый... Пристал атаман, задергался... Рази же хотел он?

От места, где только что соскользнул из жизни человек, потихоньку, молча стали расходиться. Осталось трое или четверо, негромко говорили, где схоронить тело.

Из-за кручи береговой вылезла краем луна; на реке и на обоих берегах внизу все утонуло во мрак и задумчивость.

Степан лежал у шатра лицом вниз. Сукнин сидел поодаль на седле.

Подошел Ларька, остановился...

— Господи, господи, господи-и! — стонал Степан. И скреб землю, и озирался. — Одолел меня дьявол, Ларька. Одолел, гад: рукой моей водит. За что казака сгубил?!.. За что-о!

Ларька стоял над атаманом, жестоко молчал. Ларьке до смерти жалко было казака Куприяна Солнцева. И он хотел, чтоб атаман мучился сейчас, измучился бы до последней нестерпимой боли.

— А вы?!.. — вскочил вдруг Степан на колени. — Рядом были — не могли остановить! Чего каждый раз ждете? Чего ждете? Хороши только потом выговаривать!..

Ларька молчал. И Сукнин молчал.

— Чего молчите?! — заорал Степан. — Пошто не остановили?!

— Останови! — воскликнул Сукнин. — Никто глазом не успел моргнуть.

— Моя бы воля, — негромко и тоже зло заговорил Ларька, — да не узнай никто: срубил бы я тебе башку счас... за Куприяна. И рука бы не дрогнула.

Сукнин оторопел... Даже встал с седла, на котором сидел.

Степан вскочил на ноги... Не то он вдруг — в короткое это время — решился на что-то, не то — вот-вот — на что-то страшное с радостью готов решиться. Не гнев, а догадка какая-то озарила атамана. Он пошел к есаулу. Ларька попятился от него... Федор на всякий случай зашел сбоку. Но атаман вовсе не угрожал.

— Ларька, — как в бреду, с мольбой искренней, торопливо заговорил Степан, — рубни. Милый!.. Пойдем? — он схватил есаула за руку, повлек за собой. — Пойдем. Федор, пойдем тоже, — он и Федора тоже схватил крепко за руку. Он тащил их к воде. — Братцы, срубите — и в воду, к чертовой матери. Никто не узнает. Не могу больше: грех замучает. Змеи сосать будут — не помру. Срубите! Срубите!! Богом молю, срубите!.. Милые мои... помогите. Не могу больше. Тяжело.

Степан у воды упал на колени, опустил голову.

— Подальше оттолкните потом, — посоветовал. — А то прибьет волной...

Верил он, что ли, что други его верные, любимые его товарищи снесут ему голову? Хотел верить? Или хотел показать, что верит? Он сам не понимал... Душа болела. Очень болела душа. Он правда хотел смерти. Вот и не пил последнее время... Нет, не вино это, не вино изъело душу. Что вино сильному человеку! Он видел, он догадывался: дело, которое он взгромоздил на крови, часто невинной, дело — только отвернешься — рушится. Рассыпается прахом. Ничего прочного за спиной. Астраханские дела, о которых сгоряча — при всех! — донес несчастный Куприян, это — малая капля, переполнившая обильную горькую чашу. В Царицыне тоже не лучше: Прон Шумливый самоуправствует хуже боярина. На Дону, кто приходит оттуда, сказывают: ненадежно. Плохо. Затаились... Такой войны, какую раскачал Степан, там не хотели даже те, кто поначалу молча благословлял на нее. Там испугались. Так — на пиру вселенском, в громе труб — чуткое сердце атамана слышало сбой и смятение. Это тяжело. О, это тяжело чувствовать. Он скрывал боль от других, но от себя-то ее не скроешь.

— Уймись, Степан, — миролюбиво сказал Ларька. — Чего теперь?

Федор тронул Ларьку за руку показал: молчи.

Степан плакал, стоя на коленях, отвернувшись лицом к Волге.

— Дайте один побуду, — попросил он тихо.

Есаулы пошли к шатру. Но из виду атамана не упускали. Он все сидит, оперся локтями на колени, чуть покачивается взад-вперед.

— Старуха... выбила из колеи, — сказал Сукнин.

— Не старуха... Наш недогляд, Федор: надо было перехватить Куприяна, научить, как говорить. А то и вовсе не пускать, завтра бы рассказал.

— Куприян, конешно... Но старуха! У меня давеча у самого волосья на голове зашевелились, когда она завыла. Откуда вывернулась, блажная?

— Васька-то что же, помирает?

— Видно... Вот ишо змею на груде отогрели, — Шелудяк, дармоед косоглазый, — жестоко сказал Сукнин. — Он там воду мутит. Васька ослаб, он верх взял.

— Зачем они Львова-то решили?

— Спроси! Шелудяк все.

Тихо говорили между собой у шатра есаулы. И поглядывали в сторону берега: там все сидел атаман и все тихо покачивался, покачивался, как будто молился богу своему — могучему, древнему — Волге. Иногда он бормотал что-то и тихо, мучительно стонал.

Луна поднялась выше над крутояром: середина реки обильно блестела; у берега, в черноте, шлепались в вымоины медленные волны, шипели, отползая, кипели... И кто-то большой, невидимый осторожно вздыхал.

Позже Степан взошел в небольшую лодку тут же, неподалеку, прилег на сухую камышовую подстилку и заснул, убаюканный прибрежной волной. И приснился ему отчетливый красивый сон.

Стоит будто он на высокой-высокой горе, на макушке, а снизу к нему хочет идти молодая персидская княжна, но никак не может взобраться, скользит и падает. И плачет. Степану слышно. Ему жалко княжну, так жалко, что впору самому заплакать. А потом княжна — ни с того ни с сего — стала плясать под музыку. Да так легко, неистово... как бабочка в цветах затрепыхалась, аж в глазах зарябило. «Что она? — удивился Степан. — Так же запалиться можно». Хотел крикнуть, чтоб унялась, а не может крикнуть. И не мо-

жет сдвинуться с места... И тут увидел, что к княжне сбоку крадется Фрол Минаев, хитрый, сторожкий Фрол, — хочет зарубить княжну. А княжна зашлась в пляске, ничего не видит и не слышит — пляшет. У Степана от боли и от жалости заломило сердце. «Фрол!» — закричал он. Но крик не вышел из горла — вышел стон. Степана охватило отчаяние... «Срубит, срубит он ее. Фро-ол!..» Фрол махнул саблей, и трепыхание прекратилось. Княжна исчезла. И земля в том месте вспотела кровью. Степан закрыл лицо и тихо закричал от горя, заплакал... И проснулся.

Над ним стоял Ларька Тимофеев, тряс его.

— Степан!.. Батька... чего ты?

— Ну? — сказал Степан. — Что?

— Чего стонешь-то?

Степан сел. Горе стояло комом в горле... Даже больно. Степан опустил руку за борт, зачерпнул воды, донес, сколько мог, ополоснул лицо. Вздохнул.

— Приснилось, что ль, чего? — спросил Ларька.

— Приснилось...

Как-то странно ясно было вокруг. Степан поднял голову... Прямо над ним висела — пялилась в глаза — большая красная луна. Нехороший, нездоровый, теплый свет ее стекал на воду, местами, где в воде отражались облака, казалось, натекли целые лывы красного.

— Душно, Ларька... Тебе ничего?

— Да нет, я спал, пока ты не застонал...

— Застонал?

— Ну. Что за сон такой?

— Не знаю... дурной сон. Не помню. Выпил лишнее. Ты чего тут?

— Спал здесь...

Степан вспомнил вчерашнее... казака Куприяна... Опустил голову и коротко простонал.

— Выпить, можеть?.. — посоветовал Ларька.

— Нет. Ларька... тебе не страшно? — спросил Степан.

— О! — удивился Ларька.

— Нет, не так говорю: не тяжко? Душно как-то... А?

— Да нет... С чего? — не понимал Ларька.

— Ладно... Так я — хватил вчера, лишка, правда.

— Похмелись!

— Иди спать, Ларька... Дай побыть одному.

Ларька, успокоенный мирным тоном атамана, пошел досыпать в шатер.

Все спали; огромная, светлая, красная ночь неслышно текла и стекала куда-то в мир чужой, необъятный — прочь с земли.

Рано утром, едва забрезжил рассвет, Степан был на ногах.

Лагерь еще спал крепким сном. Весь берег был сплошь усеян спящими. Только там и здесь торчали караульные. Да у самой воды, в стороне от лагеря, спиной к нему неподвижно сидел одинокий человек; можно было подумать, что он спит так — сидя. И хоть это было не близко, Степан узнал того человека и через весь лагерь направился к нему.

Это был Матвей Иванов. Он не спал. Увидев Степана, он вздохнул, показал глазами на лагерь и сказал так, будто он сидел вот и только что об том думал:

— Вот они, вояки твои... Набежи полсотни стрельцов — к обеду всех вырубют. С отдыхом. Не добудиться никаким караульным...

Степан остановился и смотрел на воду.

— Уймись, Степан, — заговорил Матвей почти требовательно, но с неподдельной горечью в голосе. — Уймись, ради Христа, с пьянкой! Что ты делаешь? Ты вот собрал их — тридцать-то тыщ — да всех их в один пригожий день и решишь. Грех-то какой!.. И чего ты опять сорвался-то? Неужель тебе не жалко их, Степушка? — у Матвея на глазах показались слезы. — Надежа ты наша, заступник наш, батюшка, — пропадем ведь мы. Подведи-ка под Синбирск эдакую-то похмельную ораву — что будет-то? Перебьют, как баранов! Пошто ты такой стал? Зачем казака убил вчерась? — Матвей вытер кулаком слезы. — Радовался, сердешный, — от шаха ушел. Пришел!.. Степушка!.. Ты что же, верить, что ль, перестал? Что с тобой такое?

— Молчи! — глухо сказал Степан, не оборачиваясь.

— Не буду я молчать! Руби ты меня тут, казни — не буду. Не твое только одного это дело. Русь-матушка, она всем дорога. А люди-то!.. Они избенки бросили, ребятишек голодных оставили, жизни свои рады отдать — насулил ты им...

— Молчи, Матвей!

— Насулил ты им — спасешь от бояр да дворян, волю дашь — зря? Возьмись за дело, Степан. Там — Синбирск! Это не Саратов, не Самара. Там Милославский крепко сидит. И, сказывают, Борятинский и Урусов на подходе. А нам бы Синбирск-то до Борятинского взять. Можно ли тут пиры пировать? Есть ли когда? Не на Дону ведь ты! И не в Персии. Это — Русь... Тут и шею сломить могут. Гони от себя пьянчуг разных!.. Или дай мне волю — я их вот этими своими руками душить буду, оглоедов, хоть и не злой я человек. Погубители!.. Одна у их думка — напиться. А что мы кровушкой своей напиться можем — это им не в заботу. Возьмись, Степан, за гужи, возьмись. Я знаю — тяжко, ты не конь. Но как же теперь? Сделал добро — не кайся, это старая поговорка, Степан, она не зря живет, не зря ее помнют. Только добро и помнют-то на земле, больше ничего. Не качайся, Степан, не слабни... Милый, дорогой человек... как ишо просить тебя? Хошь, на колени перед тобой стану!..

Степан повернулся и пошел к лагерю. Отошел далеко, остановился и свистнул так, что чайки с воды снялись.

— Господи, дай ему ума и покоя, — с неожиданной верой сказал Матвей, глядя на любимого атамана.

Лагерь стал подниматься. Зашевелился.

Степан пошел было к шатру, но вдруг остановился и посмотрел в сторону Матвея... Постоял, посмотрел и быстро пошел к нему.

Матвей ждал.

— Вот тебе и каюк пришел, Матвей, — сказал он сам себе негромко.

— Ты вот не боисся учить меня, — издали еще заговорил Степан, — не побоись сказать и всю правду. Соврешь — будешь в Волге, — остановился перед Матвеем, некоторое время смотрел в глаза ему. — Я повел их! — показал рукой назад, на лагерь. — Я! Но воля-то всем нужна!.. Всем?!

— Всем.

— А случись грех какой под Синбирском или где — побьют: кому эти слезы отольются? Стеньке?! Стенька — вор, злодей, погубитель — к мятежу склонил!

— Ты спрашиваешь только или уж суд повел?

— Не виляй хвостом!

— Всем отольются, Степан. А тебе в первую голову. Только не пужайся ты этого — горе будет, а не укор.

— На чью душу вина ляжет?

— На твою. Только вины-то опять нету — горе будет. А горе да злосчастье нам не впервой. Такое-то горе — не горе, Степан, жить собаками век свой — вот горе-то. И то ишо не горе — прожил бы, да помер — дети наши тоже на собачью жись обрекаются. А у детей свои дети будут — и они тоже. Вот горе-то!.. Какая ж тут твоя вина? Это счастье наше, что выискался ты такой — повел. И веди, и не думай худо. Только сам-то не шатайся. Нету ведь у нас никого боле — ты нам и царь, и бог. И начало. И вож. Авось, бог даст, и выдюжим, и нам солнышко посветит. Не все же уж, поди, ночь-то?

— Ну и не жальтесь тада. А то попреков потом не оберешься. Знаю: все потом кинутся виноватого искать.

— Да никто и не жалится! Я, мол, воеводы со всех сторон идут... И какая же тут вина твоя, коли псов спустили? Да и царь... Да нет, какая же вина?! Тут стяжки в руки — да помоги, господи, пробиться. Только с умом пробиваться-то, умеючи, вот я про што. А ты — умеешь, вот и просим тебя: не робей сам-то, сам-то впереде не шатайся, а мы уж — за тобой. Мы за тобой тоже храбрые.

— Не пропадем! — резко сказал Степан, будто осадил тайные свои, тревожные думы.

— Неохота, батька. Ох, неохота.

— Вот... Сделаем так: седня не пойдем. Соберемся с духом. Подождем Мишку Осипова с людишками, — Степан помолчал. — Гулевать подождем, верно. Соберемся с духом, укрепимся.

Матвей, чтоб не спугнуть настроение атамана, серьезное, доброе, молчал.

— Соберемся с духом, — еще раз сказал Степан. Посмотрел на Матвея, усмехнулся: — Чего ты лаешься на меня?

— Я молюсь на тебя! Молю бога, чтоб он дал тебе ума-разума, укрепил тебя... Ты глянь, сколько ты за собой ведешь!..

— Ну, загнусел...

— Ладно, буду молчать.

...В то утро приехал с Дона Фрол Разин. Степан очень ему обрадовался. Посылал он его на Дон с большим делом: распустить перед казаками такой райский хвост, чтоб они руки

заломили бы от восторга и удивления и все бы — ну не все, многие — пошли бы к Степану, под его драные, вольные знамена. Послал он с братом пушки, много казны государевой — приказов: астраханского, черноярского, царицынского, камышинского, саратовского, самарского. Велел раззадорить донцов золотом и кликнуть охотников.

— Ну, расскажи, расскажи. Как там?

— Мишка Самаренин в Москву уехал со станицей...

Степан враз помрачнел, понимающе кивнул головой:

— Доносить. Эх, казаки, казаки... — сплюнул, долго сидел, смотрел под ноги. Изумляла его эта чудовищная способность людей — бегать к кому-то жаловаться, доносить, искренне, горько изумляла. — Куда же мы так припляшем? А? — Степан посмотрел на брата, на Ларьку, на Матвея. — Казаки?

Ответил Матвей:

— Туда и припляшете, куда мы приплясали: посадили супостатов на шею и таскаемся с имя как с писаной торбой. Они оттого и косятся-то на вас: вы у их как бельмо на глазу: тянутся к вам, бегут... Они мужика привязывают, а вы отвязываете — им и не глянется.

— Мужики — ладно: они испокон веку в неволе, казаки-то зачем сами в ярмо лезут? Этого — колом вбивай мне в голову — не могу в толк взять.

— Корней говорит... — начал было Фрол.

— Постой, — сказал Степан. — Ну их всех... Корнея, мурнея... гадов ползучих. Злиться начну. У нас седня — праздник. Без вина! Седня пусть отдохнет душа. Там будет... нелегко, — Степан показал глазами вверх по Волге. — Мойтесь, стирайтесь, ешьте вволю, валяйтесь на траве... А я в баню поеду. В деревню. Кто со мной?

Изъявили желание тоже помыться в бане Ларька, Матвей, Фрол, дед Любим, Федор Сукнин. Взяли еще с собой «царевича» и «патриарха».

«Патриарх» хворал с похмелья, поэтому за баню чуть не бухнулся принародно в ноги атаману.

— Батюшка, как в воду глядел!.. Надо! Баслови тя бог! Баня — вторая мать наша. А я уж загоревал было. Вот надоумил тя господь с баней, вот надоумил!.. — «патриарх» радовался, как ребенок. Собирался. — Экая светлая головушка у тя, батька атаман. Эх, сварганим баньку!..

* * *

Потом, когда сплывали вниз по Волге, до деревни, Степан беседовал с «патриархом».

— Сколько же ты, отче, осаденить можешь за раз? Ведро?

— Пива или вина?

— Ну, пива.

— Ведро могу.

— Вот так утроба! Патриаршая.

— Сам-то я из мужиков, родом-то. Пока патриархом-то не сделался, горя помыкал. По базарам ходил — дивил народ честной. Ты спроси, чем дивил!

— Чем же?

— Было у меня заведено так: выпивал как раз ведро медовухи, мосло́м заедал...

— Как мосло́м?

— А зубами его... только хруст стоит. В мелкие крошки его — и глотал. Ничего. Потом об голову — вот так вот — ломал оглоблю и как вроде в зубах ковырял ей...

— Оглоблей-то?

— Да так — понарошке, для смеха. Знамо, в рот она не полезет.

— А был ли женат когда?

— Пробовал — не выдюживали. Сбегали. Я не сержусь — чижало, конешно.

— Ты родом-то откуда?

— А вот почесть мои родные места. Там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то. Мы, вишь, коноплю ро́стили да поместнику свозили. А потом мы же замачивали ее, сушили, мяли, теребили... Ну, веревки вили, канаты. Тем и жили. И поместник тем же жил. Он ее в Москву отвозил, веревку-то, там продавал. А тут, на Покров, случилось — погорели мы. Да так погорели, что ни одной избы целой не осталось. И поместник наш сгорел. Ну, поместник-то собрал, чего ишо осталось, да уехал. Больше, мол, с коноплей затеваться у вас не буду. А нам тоже — чего ждать? Голодной смерти? Разошлись по свету, куда глаза глядят. Мне-то что? — подпоясался да пошел. А с семьями-то — вот горе-то. Ажник в Сибирь двинулись которые. Там небось и пропали, сердешные... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу.

— Ну, и пошел ты по базарам? — интересно было Степану.

— И пошел... По Волге шастал — люблю Волгу.

— А потом?.. — любопытствовал дальше Степан, но вспомнил и осекся: ему полагалось знать, как дальше сложилась судьба «патриарха» — высокая судьба. — Твоих земляков нет в войске? Не стречал? — спросил он.

— Нет, не стречал.

— Стренешь, отверни рожу — не знаешь. Так лучше будет.

— Они, видно, далеко разошлись. В Сибирь-то много собиралось. Прослышали: земли там вольные...

Степан перестал расспрашивать, задумался.

Сибирь для Разина — это Ермак, его спасительный путь, туда он ушел от петли. Иногда и ему приходила мысль о Сибири, но додумать до конца эту мысль он ни разу не додумал: далеко она где-то, Сибирь-то. Ермака взяли за горло, он потому и двинул в Сибирь, Степан сам пока держал за горло...

...Баня стояла прямо на берегу Волги. «Патриарх» захотел сам истопить ее. Возликовал, воспрянул духом... Даже лицом просиял неистребимый волгарь.

— Я с хмелю завсегда сам топил — умею. Уху сварить да баньку исполнить — это, милок, уметь надо. Бабы не умеют.

— Валяй, — благодушно сказал Степан. И сам ушел на берег к воде. Охота было побыть одному... Вклинились в думы — Ермак, Сибирь... и охота стало додумать про все это, и про себя.

Денек набежал серенький, теплый, задумчивый. С реки наносило сырой дух... Гнильцой пахло и рыбой.

Степан поднял палку поровней и пошел вдоль берега. Шел и сталкивал гнилушки в воду. И думал. Редкие дни выпадали Степану вот такие — безлюдные, покойные, у воды. Он очень любил реку. Мог подолгу сидеть или ходить... Иногда, когда никто не видел, мастерил маленькие стружки и пускал по воде плыть. Для этого обстругивал ножом досточки, врезал в них мачточки, на мачточки — паруса из бересты и отправлял в путь. И следил, как они плывут.

Степан думал в тот грустный, милый день так.

Почему не вышло у Ивана Болотникова? Близко ведь был... Васька Ус — славный казак, жалко, что хворь какая-то

накинулась, но Васька — пень: он заботится, той или не той дорогой идти. Не тут собака зарыта. Вот рассказали: некий старик на Москве во всеуслышанье заявил, что видел у Стеньки царевича Алексея Алексеевича, что Стенька ведет его на Москву — посадить на престол заместо отца, который вовсе сник перед боярами. Старика взяли в бичи: какого царевича видел? «Живого, истинного царевича». — «И что ж ты, коль придет Стенька к Москве?» — «Выйду стречать хлебом-солью». Старика удавили. Вот если б все так-то! Всех не удавишь. Все бы так, всем миром — стали бы насмерть... Только как их всех-то поднять? Не поднять. Идут... Одни идут, другие смотрят, что из этого выйдет. И эти-то, тыщи-то, — сегодня с тобой, завтра по домам разошлись. У Ивана потому и не вышло, что не поднялись все. Как по песку шел: шел, шел, а следов нет. И у меня так: из Астрахани ушел, а хоть снова туда поворачивай — не опора уж она, бросовый город. И Царицын, и Самара... Пока идешь, все с тобой, все ладно, прошел — как век тебя там не было. Так-то челночить без конца можно. Надо Москву брать. Надо брать Москву. Слабого царя вниз головой на стене повесить — чтоб все видели. Тогда пятиться некуда будет. А до Москвы надо пробиваться, как улицей, — с казаками. Эти мужицкие тыщи — это для шума, для грозы. Вся Русь не подымется, а тыщи эти пускай подваливают — шуму хоть много, и то ладно. Фрол привел с собой казаков, Степан думал, что он приведет больше, но на Дону — раскоряка, испугались: испугал, как это ни странно, как ни глупо, размах войны. Надо после Симбирска опять на Дон послать... Как воодушевить дураков?

Так думая, далеко ушел Степан по берегу. Версты две. И деревню прошел, и шел потихоньку дальше, пока его не нагнал «патриарх». Закричал издали:

— Батька!.. Эй! Мы уж хватились тебя! Пойдем-ка первый жарок словим. Отменная вышла банька!

— Скоро ты управился, — сказал Степан, вернувшись и подходя к «патриарху». — Ну, пошли, пошли.

— Я везде скорый! И устали сроду не знал, ей-богу. За трех коней ворочал, — похвалился «патриарх».

— Ну?

— Не вру! Вот те крест, — громадина «патриарх» сотворил на себя святой знак. — Один раз пошел на спор с поместником нашим: выдюжу за трех коней или нет.

— Как это?

— А вишь, коноплю-то, до того как в мялки пустить, ее сперва на кругу конями топчут: самую свежую-то, крепкую-то — кострыгу выламывают. Разложут на кругу — от так от высотой, — «патриарх» показал рукой от земли, — связывают трех коней, и стоит посередке парнишка и погоняет их. Они и ходют по кругу мнут копытьями-то, ломают кострыгу... Так одну закладку до полдня, а то и больше топчут. Переворачивают аккуратно, чтоб не спутать, и толкут дальше. Я говорю поместнику: «Давай я тебе тоже до обеда всю закладку отомну. А ты мне за это — полведра сиухи и полотна на штаны и рубаху». — «Давай, — говорит. — Выдюжишь?» — «Это, — говорю, — не твоя забота. Ты лучше готовь сиуху и холста на одежу». Но был у меня, правда, ишо один уговор с поместником: вокруг будут стоять молодые бабенки и прихлопывать мне, подпевать. И какой-нибудь дед с дудкой. «Ладно», — говорит.

Выстрогал я себе деревянные колодки на ноги, обул их на онучки... Дед Кудряш, мы его за лысину так звали, заиграл мне под пляску, а девки и бабы подпевать стали да в ладошки прихлопывать. И пошел я — в колодках-то этих — по конопле плясака давать. Эх!.. Да с присвистом, с песенками разными... Девки ухи затыкают, а самим послушать охота, а то я их не знаю. И поместник тут же стоит, хохочет. Солнышко уж высоко поднялось, а я все наплясываю. «Может, — говорит, — сиухи маленько?» — поместник-то. «Нет, мол, уговора такого не было». А мне сиуху-то жалко: выпьешь, а она враз вся потом выйдет. Думаю, я ее лучше вечерком в холодке оглушу: пляшу. С меня пот градом... Рубаху скинул, пляшу. Передохнул, пока коноплю переворачивали, и опять. Так до обеда всю ее перемял. Даже маленько раньше.

Степан задумчиво слушал «патриарха». Под конец рассказа невпопад сказал:

— Ну... Можеть, и так... А?

«Патриарх», сообразив, что атаману не до его рассказов, а какие-то вредные думы одолели, тяжко хлопнул его по спине:

— Не кручинься, атаман. Вон как все ладно! А ты нос повесил. Чего?

— Так, отче... Ничего, — Степан помолчал... Поглядел на «патриарха», усмехнулся: — Смешно ты кормился... на базарах-то. Надо же додуматься!

Баню «патриарх» накалил так, что дышать было больно — обжигало рот.

— Ты с ума сошел! — воскликнул Степан, выпячиваясь задом из бани, в предбанник. — Мы окочуримся тут к черту. Как она ишо не спыхнула?..

— Ну, перезжди маленько, — посоветовал старый богатырь. — Пусть он отмякнет, жар-то, а то правда, горло дерет. Счас отмякнет! — он надел шапку, рукавицы и полез на карачках к полку. — О-о!.. Драться начал! Ишь, гнет, ишь, гнет!..

Степан присел пока на порожек предбанника.

— Доберись до каменки, там сбоку кадушка с водой, зачерпни ковш — кинь на каменку! — крикнул «патриарх».

Степан нашарил кадушку, ковш около нее, зачерпнул полный ковш и плесканул на каменку. Каменка зло — с шипом, с треском — изрыгнула смертоносный жар. Степан выскочил опять из бани.

— Оставь дверь открытой! — заорал совсем теперь невидимый за паром «патриарх». И принялся там хлестать себя веником. Кряхтел, мычал, охал, ухал блаженно. — Вся скверна выйдет! Весь новый стану, еслив кожа не полопается!.. От-та-на! От-тана! О-о!..

— Помрешь! — крикнул Степан. — Сердце треснет!

«Патриарх» слез с полка, лег на полу — голова на пороге.

— Вот, батюшка атаман, так и выгоняют из себя всю нечистую силу. Это меня двуперстники научили, старцы. Бывал я у их в Керженце... Глянутся они мне, только не пьют.

— Сам-то к какой больше склоняесся: к старой, к новой? — спросил Степан. — Чего старцы-то говорят? Шибко клянут Никона?

— Клянут... — неопределенно как-то сказал старик. — Они много-то не говорят про это. А себя соблюдают шибко. О-о, тут они...

— А к какой сам-то ближе? Тоже к старой?

— К старой не могу — змия люблю зеленого. К новой... Я, по правде, не шибко разбираюсь: из-за чего у их там раскол-то вышел? Христос — один — для тех и для этих. А чего тада? В Христа я сам верую.

— А крестисся как?

— А никак. В уме. «Осподи, баслови» — и все. Христос так и учил: больше не надо. Не ошибесся. И тебе так советую.

Помолчали.

— Отче, ну-ка скажи мне, — заговорил Степан, — вот сял я на Москве царем. Ну... поднатужься, прикинь — так вышло. Сял. А тебя сделал правда патриархом...

«Патриарх» смотрел снизу удивленными глазами.

— Ну, и чего мы с тобой будем делать? — спросил он.

— Это я спрашиваю: чего будем делать?

«Патриарх» задумался. Усмехнулся. Покачал головой:

— Как я ни дуйся, а патриархом... Ты что, батька? Я скорей... Да нет, как я ни кажилься, а такой думы не одолеть.

— Да ну, — обозлился Степан, — не совсем же уж ты в сук-то вырос! Ну, подумай шутейно: стали мы — я царем, ты патриархом. Что делать станем?

— Хм... Править станем.

— Как?

— По совести.

— Да ведь и все вроде — по совести. И бояры вон — тоже по совести, говорят.

— Они говорят, а мы б делали. Я уж не знаю, какой ба из меня патриарх вышел, никакой, но из тебя, батька, царь выйдет. Это я тебе могу заране сказать.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю... Я мужика знаю, сам мужик, знаю, какой нам царь нужен.

— Какой же?

— А мужицкий.

— Ну, заладил: мужицкий, мужицкий... Я сам знаю, что не боярский. А какой он, мужицкий-то?

— Да тут все и сказано: мужицкий. Чего тут гадать?

— Не ответил. Знаю, погулять мы с тобой сумеем, только там и для других дел башка нужна.

— А ты что, дурак, что ль? У тебя тоже башка на плечах, да ишо какая! Ты бедных привечаешь — уже полцаря есть. Судишь по правде — вот и весь царь. А будешь не такой заполошный, тебе цены не будет! Вся Русь тебе в ножки поклонится. На руках носить будем. Народ тебя и так любит... Нет, у тебя выйдет. А патриарха ты себе найдешь, не дури

со мной... Куда! — «патриарх» усмехнулся. — Не надо, батюшка...

— Чего так? — улыбнулся и Степан.

— Не надо, — уперся «патриарх».

— Ну, отец, и колода же ты: лег поперек дороги — ни туда ни суда. Пошто, я спрашиваю?

— Да какой же я патриарх — выпить люблю. Ты меня тада главным каким-нибудь над питейными делами поставь, это по мне. Всех целовальников в кулак зажму!.. Шибко народ надувают, черти. Я б их тоже извел всех — заодно с боярами. Полезешь париться-то? Теперь уж не так гнет. А то выстынет — какое тада...

— Обожду пока. Не сдюжу. Лезь, парься.

«Патриарх» опять полез на полóк.

— Кинь, батька!

Степан поддал еще парку, вышел в предбанник... И тут прибежали сказать:

— Батька, там из-под Синбирска люди прибегли...

— Ну? Что там? — всполошился Степан.

— Борятинский идет от Казани. В городке, слышно, не склоняются к сдаче... Велели тебя звать.

— Кто послал-то?

— Мишка Ярославов.

— А Мишка Осипов не пришел?

— Нету.

— Не шуми много — про Борятинского-то. Молчи. Приведи коня... — Степан второпях одевался. Крикнул вслед казаку: — Есаулам скажи, чтоб за мной гнали! Можеть, коней тут найдут... Не мешкайте!

Казак подвел коня, Степан вскочил на него и уехал. Остальные — немногие коней нашли, опять в лодках — устремились тоже в лагерь. В баньке не успели помыться. «Патриарх» очень сокрушался, что атаман так и не попарился. Банька была отменная, «царская».

5

Князь Борятинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал. Но он и не мог поспеть до Борятинского, даже если бы и не делал этого передыха своему войску.

Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил в боевой порядок и сразу повел в наступление на царево войско. День клонился к вечеру — медлить нельзя: к утру, если пережидать ночь, Борятинскому может подоспеть помощь.

Борятинский велел подпустить разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней — на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению.

Бой был упорный.

Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих.

Войско Борятинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше и действовали они напористее, смелее.

Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва воевали своим излюбленным способом — наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не подается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие есаулы и сотники опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. Есаулы ругались до хрипа, собирая текучее войско, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах... В этом бою погиб Федор Сукнин.

Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше: упорней были и искусней в этих делах. Да они и свежей были, чем мужики: Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску.

Борятинский медленно отступал.

Степан был в гуще сражения. Он отвлекался, только чтобы присмотреть, что делается с боков — у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон.

Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, встал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось.

Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие... Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывались

отдельные звучные крики: матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем.

— Не валите дуром!.. — кричал Степан Матвею. — Слышишь?!

— Ой, батька! Слышу!

— Прибери поздоровей с жердями-то — ставь в голову! А из-за их — кто с топорами да с вилами — пускай из-за их выскакивают. Рубнулись — и за жерди! А жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут! Взял?

— Взял, батька!.. Не слухают только они меня.

— Перелобань одного-другого — будут слухать!

— Батька! — закричали от казаков. — Давай к нам! У нас веселея!..

Дед Любим был с молодыми.

— Минька!.. Минька, паршивец! — кричал он. — Не забывайся! Оглянись — кто сзади-то?! Эй!..

— Чую, диду!

— Ванька!.. Отойди, замотай руку!

— Счас!.. Маленько натешусь.

— Не забывайтесь, чертяки! Гляди на батьку вон!.. Сердце радуется.

Так учил дед Любим своих питомцев. И показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман. Увлекся и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся... Стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это. Стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад, к своим.

— Ларька! — крикнул Степан. — Дед!..

С десяток стрельцов кинулись к нему. Ударили тупым концом копья в руку. Один прыгнул сзади, сшиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину.

Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к нему. И поспел. Застрелил стрельца над ним. Полусотня оттеснила стрельцов дальше.

Степан поднялся — злой, помятый, подобрал саблю.

— Чего вы там?! — заорал. — Атаману ноги на шее завязывают, а они чешутся!..

— Стерегись маленько! — тоже сердито крикнул Ларька. — Хорошо — услыхал... Не лезь в кучу! Куда лезешь-то?

— Что мордва твоя? — спросил Степан.

— Клюем! Наскочим — опять собираю... Текут, как вода из ладошки. Веселимся... а толку нет. Но хоть наших обойти не даем, и то дело. Обойти ж хотели!..

— Ммх!.. Войско. Не сварить нам с имя каши, Ларька. Побудь с казаками, сам пойду туда.

Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки — чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их.

Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков.

— В гробину вас!.. В душу!.. — орал Степан. — Куда?! — двух-трех окрестил кулаком по голове. — Стой! Стой, а то сам бить буду!..

Инородцы и мужики остановились.

Степан построил их так, чтоб можно было атаковать, стал объяснять:

— Счас наскочим — первые пускай молотют, сколь есть духу. Пристали — распадайся, дай другим... А сами пока зарядись, у кого есть чего, передохни. Те пристали — распадись, дай этим. Чтоб на переду всегда свежие были. И не бегать у меня! Казаков назад поставлю, велю рубить! Кого боитесь-то?! Мясников? Они только в рядах мастаки — топорами туши разделывать! А здесь они сами боятся вас. Ну-ка!.. Не отставай!.. Узю мясников!.. С жердями, с жердями-то — вперед, выставляй их! Тесней, тесней!..

Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело.

— Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь! — крикнул Степан. — Скажите нашим, чтоб распались!.. А мы долбанем с бегу.

Наскочили. Заварилась каша... Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли...

А уже вечерело. И совсем стало плохо различать, где свои, где чужие.

— Круши! — орал Степан. — Вперед не суйся — ровней! А то от своих попадет.

— Ровней, ребятки! — покрикивал дед Любим. — Ровней, милые! Тут как с бабой: не петушись, тада толк будет!

Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая, на бугорок. Ему помогли стащить сапог.

Подошел потный и окровавленный Ларька.

— Куда?.. В ногу? — спросил он.

— В ногу опять. А ты чего в крове?

— Шибко?

— Нет... — Степан поворочал ногой. — Кость целая. Ты-то чего? Зацепили?

— Федора убили. Сукнина, — Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. — Я целый... зубы только... И то целые, однако.

— Ох, мать ты моя-то!.. Совсем есаулов не остается, — с горечью горькой сказал Степан. — Вынесли хоть?

— Вынесли.

— Берегитесь сами-то! — повысил голос Степан. — Куда вас-то тоже черт несет! С кем останусь-то? — все поляжете...

— Хватит, что ль? Не видно уж стало... — Ларька всматривался в темную шевелящуюся громаду дерущихся людей.

— Погодь. Пускай он отойдет подальше... С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет.

— Отходит уж. А то — впотьмах-то — своих начнем глушить. Стрельцы плотней держутся, а мы своих начнем... Горка и так за нами.

— Ну, вели униматься. Хватит. Казаков много легло?

— Да нет, думаю... Задело многих. Нет, три зуба все же выбили! — Ларька сплюнул. — Хорошие зубы-то были.

— Матвей живой? — спросил Степан.

— Видел, живой был. Он ничего, не робеет. Орет, правда, больше, чем руками делает... Но помогает собирать.

— Хоть так, — нерадостно сказал Степан. — Иди унимай потихоньку.

Ларька ушел.

Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов. Но постепенно затихала.

На совет к атаману собрались есаулы.

— Борятинский отходит к Тетюшам.

— Добре. Городок надо брать, — заговорил Степан. — Пока подойдут Урусов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо. Иначе хана нам тут с мужиками... Взять городок, всеми правдами и неправдами. Борятинский больше не сунется.

— Обождать бы, батька. А ну — хитрит Борятинский? — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет.

— Не хитрит. Знает теперь: одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже: пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?

— Были! — откликнулись из группы есаулов. — Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут.

— Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку — подожгем. Лестницы вяжите... Не давайте людям охлаждаться. Там отдышемся. Взять надо городок! Возьмем — сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань — Федька Шелудяк приведет своих, на Дону ишо разок кликнем... Тада и вылезть можно. Но городок надо взять!

6

Наступила ночь.

В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и с вала по ним выстрелили холостыми зарядами; разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно: посад сдадут без боя. Дело в основном городке, где решительно заперлись.

Части войска Степан велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки (на случай, если Борятинский вздумает вернуться и помешать штурму), остальных бросил на стены городка, которые хоть тоже деревянные, но и прочней, и выше посадских.

Начался штурм.

Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами... Несколько раз в городке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное. Новые и новые сотни казаков упорно лезли по шатким лестницам... В них стреляли, лили смолу, кипяток. Зловещие зарева огней то здесь, то там выхватывали копошащиеся толпы штурмующих.

Разин сам дважды лазил на стену. Оба раза его сбивали оттуда. Он полез в третий раз... Ступил уже на стену, схватился с двумя стрельцами на саблях. Один изловчился и хватил его саблей по голове. Шапка заслонила удар, но удар все-таки достался сильный, атаман как будто обо что запнулся, поослабла на миг его неукротимая воля, ослаб порыв... Тоскливо стало, тошно, ничего не надо.

Ларька и на этот раз выхватил его из беды.

Рану наскоро перевязали. Степан очухался. Скоро он снова был на ногах и опять остервенело бросал на стены новых и новых бойцов.

Урон разинцы несли огромный.

— Городок надо взять! — твердил исступленно Степан.

Беспрерывно гремели пушки; светящиеся ядра, описывая кривые дуги, падали в городке. Точно так же летели туда горящие поленья и туры (пучки соломы с сухой драниной внутри). Со стены тоже, не смолкая, гремели пушки, ружья... Гул не обрывался и не слабел.

Под стены городка подвозили возы сена, зажигали. Со стен лили воду, огонь чах, горький смрад окутывал людей.

— Ларька, береги казаков! — кричал Разин. — Посылай вперед мужиков на стену.

— Всех сшибают! — отозвался Ларька. — Очертенели, гады. Не взять нам его...

— Надо взять!

К Степану привели переметчика из города.

— Ну? — спросил Степан. — Чего?

— Хочут струги ваши отбить... Чтоб вы без стругов остались... — переметчик показал на городок: — Там уговариваются...

— А?! — переспросил Степан: не то не расслышал, не то не поверил.

— Хочут струги отбить!! — повторил перебежчик. — Вылазкой!.. С той стороны, с реки!

Степан оскалил стиснутые зубы, огляделся...

— Ларька! Мишка! Кто есть?!..

— Мишку убили! — откликнулся подбежавший сотник. — Чего, батька?

— К стружкам! — велел ему Степан. — Бери сотню, и к стружкам! Бегом! Отплывите на середку... Не отдавай стружки! Не отдавай!.. Ради бога, стружки!..

В это время со спины разинцев, от Свияги-реки, послышался громкий шум и стрельба. И сразу со всех сторон закричали казаки, которые больше знали про военные подвохи и больше стереглись; мужики, те всецело были озабочены стеной.

— Обошли, батька! Долгорукий с Урусовым идут!.. А эти из городка счас выйдут! Окружут!.. Беда, батька!..

— Ларька! — закричал Степан.

— Здесь, батька! — Ларька вмиг очутился рядом.

— Собери казаков... Не ори только. К Волге — в стружки. Без гама! Останови сотню — я послал отогнать стружки: не отгоняйте, садитесь в их. Выходите не все сразу... И тихо. Тихо!

— Чую, батька, — сказал смекалистый Ларька.

— Найдите Матвея, — велел Степан.

Матвея скоро нашли. Тот как прибежал с пожара: в саже, местами опален...

— Стойте здесь, Матвей, — сказал Степан. — Я пойду с казаками стретить пришлых... Слышишь, Урусов с Долгоруким подошли. Ждали-то когда их, а они — вот они, собаки.

— Как же, Степан?! Ты что?! — оторопел Матвей. — Какой там тебе Урусов — они ночью не сунутся... Это Мишка Осипов пришел.

— Стой здесь! — Степан был бледен и слабо держался на ногах. Но говорил твердо. И неотступно смотрел на Матвея.

Матвей понял, что их оставляют одних.

— Степан... Батька!.. Это Мишка Осипов!..

— Молчи! — Степан толкнул Матвея. — Откуда у Мишки пушки да ружья?.. Ты слышишь?!..

— Мужики!!! — заполошно заорал Матвей и бросился было к стене, к мужикам, но Ларька догнал его, сшиб с ног, хотел зарубить. Степан остановил. Матвею сунули кляп в рот и понесли к берегу.

На стену всё лезли и лезли... Но оттуда упорно били и били. Под стеной кишмя кишело народу, рев и грохот не слабели.

Скоро казаков никого почти у стены не было.

Штурм продолжался. Он длился всю ночь. Город устоял. Шум с тыла штурмующих был ложный. Борятинский, не рискуя пойти на разинцев в лоб, но чтобы хоть как-то помешать им и сбить с толку, завел от Свияги один полк и ве-

лел открыть стрельбу. Он достиг цели. Когда рассвело, осажденные и стрельцы увидели, что перед ними — только мужики с оглоблями да с теплыми пушками, из которых нечем было стрелять.

7

Матвей очнулся в струге.

Светало.

Сотни четыре казаков молча, изо всех сил гребли вниз по Волге. Разин был с ними. Он сидел в том же стружке, что и Матвей, сидел, склонив голову и прикрыв глаза; голова его чуть качалась взад-вперед от гребков.

Матвей огляделся... И все вспомнил. И все понял. И заплакал. Тихо, всхлипами...

— Не скули, — сказал Степан негромко, не открывая глаз и не поднимая головы.

— Ссади меня, — попросил Матвей.

— Я ссажу тебя!.. На дно вон, — Степан посмотрел мутным взглядом на Матвея.

— Ссади, Степан, — плакал тот и просил.

— Молчи, — устало сказал Степан.

Матвей умолк.

И все тоже молчали.

— Придем в Самару — станем на ноги, — сказал Степан, подняв голову, но ни к кому не обращаясь. — Через две недели нас опять много тыщ станет... Не травите себя, — Степану было тяжко и совестно говорить, он говорил через великую муку и боль.

— Сколько их там легло-о! — как-то с подвывом протянул Матвей. — Сколько их полегло, сердешных!.. Господи, госпо-ди-и... Как жить-то теперь?.. Ка-ак?

— Ихняя кровь отольется, — сказал Степан.

— Кому?! — закричал ему в лицо Матвей.

— Скоро отольется... Не казнись — так вышло.

— Да кому?! Кому она отольется?! Пролилась она, а не отольется! Рекой пролилась... в Волгу! — Матвей плакал. — Понадеялись на молодцов-атаманов... Поверили! Эх!.. Заступники...

— Молчи!

— Не буду я молчать! Не буду!.. Будьте вы прокляты!

Ларька выхватил саблю и замахнулся на Матвея:

— Молчи, собака!

Степан оглянулся на всех, пристально посмотрел на Матвея... Сглотнул слюну.

— Кто виноватый, Матвей? — спросил тихо.

— Ты, Степан. Ты виноватый, ты.

Степан побледнел еще больше, с трудом поднялся, пошел к Матвею.

— Кто виноватый?

— Ты!

Степан подошел вплотную к истерзанному горем Матвею.

— Ты говорил: я не буду виноватый...

— Зачем мы бежим?! Их там режут, колют счас, как баранов!.. Зачем бросил их! Ваське пенял, что он мужиков бросил... Сам бросил! Бросил!.. Воины, мать вашу!..

Степан ударил его. Матвей упал на дно стружка, поднялся, вытер кровь с лица. Сел на лавку. Степан сел рядом с ним.

— Они пока одолели нас, Матвей, — с мольбой заговорил атаман. — Дай с силами собраться... Кто сказал тебе, что конец? Что ты? Счас прибежим в Самару, соберемся... Нет, это не конец. Что ты! Верь мне...

— Все изверилось у меня, вся кровь из сердца вытекла. Сколько их там!.. Милые...

— Больше будет. Астраханцы придут... Васька с Федькой, самарцы, царицынцы... На Дон пошлем. Алешку Протокина найдем. К Ивану Серку напишем... — Степан говорил как будто сам с собой. Как будто он и себя хотел убедить тоже. Он очень устал — много потерял крови, рана болела.

— Не пойдут они теперь за тобой, твои Алешки да Федьки. Они везучих атаманов любют. А тебя сбили... Не пойдут теперь.

— Врешь!

— Не пойдут, Степан, не тешь себя. Под нещастной звездой ты родился, — Матвей вытер разбитое лицо, ополоснул руку за бортом, опять приложил мокрую ладонь к лицу. — Кинулись мы на тебя, как мотыли на огонь... И обожглись. Да и сам ты сорвался теперь, а сгореть — это скоро. Один след и останется... яркый.

— Вымойся, — велел Степан. — И не каркай.

— Спробуй. Приди в Самару — там поймешь. Кто сам перестал верить, тому тоже не верют. Не могли мы погибнуть по-доброму — со всеми вместе. Кто же нам теперь верить станет! Не я каркаю, Степан, над нами над всеми каркают... Подыми голову-то, оглядись: они уж свет заслонили — каркают.

8

Стали выше Самары.

Степан послал Ларьку с казаками в город — проведать. Сам ушел подальше от стругов, сел на берегу.

Это было то самое место, где совсем недавно последний раз пировало его войско. Еще всюду видны были следы стоянки лагеря, еще зола кострищ не потемнела, не развеял ее ветер степной.

Мрачно и пристально смотрел Степан на могучую реку.

Вдали на воде показались какие-то странные высокие предметы. Они приближались. Когда они подплыли ближе, Степан догадался, что́ это... И страх объял его мужественную душу.

Это были плоты с виселицами. На каждом плоту торчмя укреплено бревно с большой крестовиной наверху. И на этих крестовинах гроздьями — по двадцать-тридцать — висели трупы. Плотов было много. И плыли они медленно и торжественно.

Степан не отрываясь смотрел на них.

Подошел Матвей, тоже сел. И тоже стал смотреть на плоты. Лица обоих были бледны, в глазах — боль. Долго смотрели.

— Считай, — тихо сказал Степан. — За каждую здесь — пятерых вешать буду. Клянусь. Теперь — клянусь, другой раз клянусь. Господи, услышь меня, дай подняться, дай ишо раз подняться...

Матвей грустно, согласно вроде, кивнул головой.

— Когда ты, бабушка, ворожить стала? Когда хлеба не стало.

— Нет уж... теперь я не так буду.

— Будешь, будешь.

— Ты знай считай! Я в долгу аккуратный, — дрогнувший было голос Степана вновь обрел крепость.

— Кого же считать?! — тихо и горько воскликнул Матвей. — Вся Русь тут, — он помолчал и повернулся к атаману: — Только не на Дону наше спасение, Степан. Нет, не на Дону.

— Где же?

— Там, — Матвей показал на плоты. — Там, откуда они плывут. Можеть, там наше спасение, больше нигде.

Подскакал на коне Ларька.

— Не пускает Самара, — спрыгнув с коня, сказал он.

— Как?! — Степан вскочил. — Как? Ты что?

— Закрылись...

— Взять!!! Раскатать по бревну, спалить дотла!.. Зачем ты уехал оттуда? На распыл всю Самару!.. Поедем туда. Счас навяжу вот таких же плотов, и вперед этих по воде пустим, — Степан кинулся было к лодке.

Матвей молчал. Смотрел на плоты. Ларька тоже не двинулся с места.

— Поедем Самару брать! — крикнул Степан. И остановился.

— С кем возьмешь-то? — спросил Ларька. — Взять. Перевернулось там все... Побили наших...

Степан растерянно оглянулся кругом... На воду. И опустил голову. Сказал тихо:

— Самара... А-а!.. Пока обойдем. Потом вернемся.

* * *

Уже только сотни две казаков скакали верхами приволжской степью. Скакали молча. Впереди Разин, Ларька Тимофеев, дед Любим, несколько сотников. Полторы сотни казаков на резвых татарских конях Степан послал в Астрахань — подымать в поход всех, кто там остался. Если потребуется — если там спились с круга и забыли войну — жестоко карать и гнать силой. А полсотни конных стрельцов ушли ночью со стоянки — сбежали. Догонять не стали — не догонишь.

Все понимали беду... Беда стояла в глазах у всех. Ничего впереди не ждали, но еще жались друг к другу... Да и не все

жались-то: стрельцы уходили ночами. А кто оставался, с атаманом во главе, скакали и скакали, точно была еще одна надежда — уйти от беды, отъехать.

Еще город на пути — Саратов.

Степан опять послал Ларьку. И опять ждал...

Вернулся Ларька, сказал:

— Не открыли.

— В Царицын, — велел Степан. — Там Пронька. Саратов потом сожгем. И Самару!.. И Синбирск! Все выжгем! — он крутнулся на месте, стал хватать ртом воздух. — Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду!.. Не меня!.. — он сорвал шапку, с силой бросил ее к ногам. — Не меня змей сосать будет! Сам змей буду — сто лет кровь лить буду!.. Клянусь!.. Вот — клятву несу! — Степан брякнулся на колени, дрожащими пальцами хотел захватить горсть земли.

Ларька и Матвей подняли его за руки. Он уронил голову на грудь, долго стоял так. Вздохнул глубоко, посмотрел на товарищей своих — в глазах слезы. Он их не устыдился. Сказал тихо:

— В Царицын.

— Плохой ты, батька... Отдохнуть бы, — с жалостью сказал Матвей.

— Там отдохнем. Там нет изменников.

— Есть, Степан. Там будет так же. Не тешь себя...

— Откуда они узнают нашу беду? — с ужасом почти спросил Степан. — Ведь и едем скоро...

— Э-э... Вороны каркают — смерть чуют.

* * *

Теперь уж полторы сотни скакало осенней сухой степью.

Степан, правда, очень плох, ослаб очень.

На перегоне, вечерней порой, у него закружилась голова, он, теряя память, упал с коня.

И в тот-то момент, когда он летел с коня, раздался в ушах опять знакомый звон... И, утратив вовсе сознание, увидел Степан на короткое время: Москва... В ясный-ясный голубой день — престольная, праздничная. Что же это за праздник такой?

Звон колокольный и гул... Сотни колоколов гудят. Все звонницы Москвы, все сорок сороков шлют небесам могу-

чую, благодарную песнь за добрые и славные дела, ниспосланные на землю справедливой вселенской силой.

Народ ликует. Да что же за праздник?

Москва встречает атамана Стеньку Разина.

Едет Стенька на белом коне, в окружении любимых атаманов и есаулов. А сзади — все его войско.

Со Степаном: Сергей Кривой, Иван Черноярец, Стырь, дед Любим, Ларька Тимофеев, Мишка Ярославов, брат Фрол, Федор Сукнин, Федор Шелудяк, Василий Ус, маленький сын Афонька, Прон Шумливый — все, все. Все нарядные и веселые.

Народ московский приветствует батюшку-атамана, кланяется. Степан тоже кланяется с коня, улыбается. Натерпелись люди...

Так хорошо видел Степан: проехали кривыми улочками Москвы... И улочки-то знакомые! Выехали на Красную площадь. Проехали мимо лобного места, направляясь к Спасским воротам. Степан слез с коня и вошел в Кремль. Вот те и Кремль — Кремль как Кремль... А вот и палаты царские.

В царских палатах — царь и бояре.

Степан вошел, как он вошел когда-то в домашнюю церковку митрополита астраханского: с ватагой, хозяйским шагом.

— На карачки! — велел боярам. — Все! Разом!..

Бояре разом, послушно стали на карачки; на сердце у атамана отлегло. Он, не останавливаясь, прошел к трону, где восседал царь, взял его за бороду и сдернул с трона. И долго возил по каменным белым плитам, приговаривая:

— Вот тебе, великый! Вот как мы его, великого! Вот он у нас какой, великый!.. Где он, великый-то? — затычки делать из таких великых, бочки затыкать. Дурь наша великая сидит тут... расселась, — Степан пнул напоследок царя, распрямился, посмотрел на него сверху. — Вот он и весь... великый... Тьфу!

Потом он примерился сесть на трон... Посидел маленько — не поглянулось, делать нечего.

— Стырь! — позвал он любимого старика.

— Тут, батька!

— Иди садись. В царя игрывал — садись: всех выше теперь будешь.

— А чего я там буду?.. Негоже соколу на воронье место.

— Иди, не упирайся, старый!

— Да что я там?! Дерьма-то — царем. Я и не хотел сроду... Я так — зубоскалил. Неохота мне там... Да и чего делать-то?

— Сидеть! Не робей, тут мягко, хорошо.

Стырь подошел, тоже пнул лежачего царя, взобрался на трон.

— Кварту сиухи! — велел он. — А чего с боярами будем делать, батька?

— Всех повесить и — вниз по Волге. Всех! — закричал Степан.

9

Очнулся Степан в незнакомом курене. Лежит он на широкой лежанке с перевязанной головой. Никого нет рядом, хотел оглядеться — голову повернуть больно. Хотел позвать кого-нибудь... и застонал.

К нему подошел Матвей Иванов.

— Ну, слава те господи! С того света...

— Где мы? — спросил Степан.

— На Дону на твоем родимом, — Матвей присел на лежанку. — Ну силы у тебя!.. На трех коней. Господи, господи... вернул человека... Слава тебе господи!

— Ну? — спросил Степан, требовательно глядя на Матвея. — Долго я так?..

— Э-э!.. Я поседел, наверно. Долго, — Матвей оглянулся на дверь и заговорил, понизив голос, как если бы он таился кого-то: — А Волга-то, Степушка, горит. Горит, родимая! Там уж, сказывают, не тридцать, а триста тыщ поднялось. Во как! А атаманушка тут — без войска. А они там, милые, без атамана. Я опять бога любить стал: молил его, чтоб вернул тебя. Вот — послушал. Ах, хорошо, Степушка!.. Славно! А то они понаставили там своих атаманов: много и без толку. Широко разлилось-то, а мелко.

— А ты чего так — вроде крадисся от кого?

— На Дон тебя будут звать... — Матвей опять оглянулся на дверь. — Жена тут твоя, да Любим, да брат с Ларькой наезжают...

— Они где?

— В Кагальнике сидят. Хотели тебя туда такого, мы с дедкой не дали. Отстал от тебя Дон — и плюнь на его. Ишо выдадут. На Волгу, батька!.. Собери всех там в кучу — зашатается Москва. Вишь, говорил я тебе: там спасение. Не верил ты все мужику-то, а он вон как поднялся!.. Э-э, теперь его нелегко сбороть. Теперь он долго не уймется... раз уж кол выломил.

— А на Дону что?

— Корней твой одолел. Кагальник-то хотели боем взять — не дались. Бери счас всех оттуда — и...

— Много в Кагальнике? — допрашивал Степан.

— С три сотни.

— А в Астрахани?

— Васька помер, царство небесное. Митрополита убили, знаешь. Зря. И ты с церквой зря ругался — проклянут они тебя: грозятся. Это промашка твоя. Дон-то все... расшиперился — я так и знал. Но мужик, он... Слушай, Степан, пока тебе другого не насказали: мужик теперь в силе. Не гляди, што его колотют, он сам обозлел...

Вошел дед Любим.

— Мать пресвятая!..

— Пришел попроведать нас с того света, — сказал счастливый Матвей. — Вот как бывает — не чаяли, не гадали.

— Что на Дону, дед? — спросил и Любима Степан.

— Плохо, атаман. Корней да Мишка Самаренин верх взяли. Кто и хотел ворохнуться — присмирели. А они взяли да ишо слух пустили, Корней-то: срубили тебя...

— Степушка, — не унимался со своей радостью Матвей, — вот теперь скажу тебе... Ишо когда от Синбирска бежали, думал, на тебя глядючи, но плохой ты был — не стал уж говорить. Ты про Исуса-то знаешь?

— Ну? Как это?.. Знаю.

— Как он сгинул-то, знаешь? Рассказывал, поди, поп?.. Хорошо знал: ему же там — гибель, в Ирусалиме-то, а шел туда. Я досе не могу понять: зачем же идти-то было туда, еслив наперед все знаешь? Неужто так можно? А глядел на тебя и думал: можно. Вы что, в смерть не верите, что ли? Ну, тот — сын божий, он знал, что воскреснет... А ты-то? То ли вы думаете: любют вас все, — стало, никакого конца не будет. Так, что ли? Ясно видит: сгинет — нет, идет. Или уж и жить, что ли, неохота становится — наступает пора. Прет на

свою гибель, удержу нет. Мне это охота понять. А сам не могу. Обдумай теперь все, хорошо обдумай... Я тебе не зря это рассказал, с Христом-то.

Степан хотел вдуматься в слова Матвея, но сложно это, трудно, не теперь. Еще слабость великая в теле... Еще кулак не сожмешь туго — такая слабость. Он прикрыл глаза и долго лежал, пытаясь припомнить, как все случилось с ним... Правда, что ли, в стычке какой рубнули? Или — как?

— А казаки что? — опять спросил он Любима.

— А казаки что?! Я ж и говорю: нет тебя — они в разные стороны. Корней владычит...

— И наплевать на их! — с силой сказал Матвей.

Дед Любим посмотрел на него с усмешкой, пожаловался Степану:

— Загрыз меня тут совсем. Я уж не рад стал, что и казак-то.

Степан встал было с лежака, но его шатнуло вбок. Он сел опять, потрогал голову.

— Лежи уж!.. Куда ты? — сказал Матвей.

Но Степан привыкал к новому состоянию. Силы потихоньку возвращались к нему.

— Когда Ларька с Фролом приедут? — спросил.

— Седня пожалуют, — ответил Любим.

— Алена с имя?

— Алена здесь. Счас покличу, — Матвей вышел из куреня.

— Правда на Волге-то?.. — спросил Степан старика. — Или прибавляет?

Дед Любим подумал.

— Не знаю, как тебе сказать. Поднялось много. С Осиповым, с Васькой Федоровым, Харитонов — эти вроде войском держутся, остальные — кто в лес, кто куда... Разлилось широко, а мелко, это он верно говорит. Туда зовет?

Степан опять в волнении встал. И устоял.

— Глубоко будет. Корнея с Мишкой надо убить. Это мой промах: я их жить оставил. Завтра... Мы где?

— В Качалинском.

— Завтра в Кагальник поедем. Вот вам и конец! — воскликнул Степан, неведомо к кому обращаясь. — Начало только, а вы — конец!

В душу Степана наливалась сила, а с силой вместе — вера. Раз он поднялся, то какой же это конец! Муть в голове и

слабость пройдет, живая радость загудела в крови, уже он начал всего себя хорошо слышать и чувствовать.

— Окрепни сперва. Не торопись, — посоветовал Любим.

— Окрепну.

— Конешно, появись ты теперь на Волге...

— Надо с казаками появиться.

— Казаки-то...

Вбежала Алена.

— Родимый ты мой!.. Степушка!.. — повисла на шее мужа. — Да царица ты небесная, матушка-а!..

— Ну, ну, только не выть, — предупредил Степан.

Дед Любим поднялся, сказал сам себе:

— Пойду приму сиухи. Во здравие. Можеть, принесть кварту?

— Не надо, — отказался Степан.

Любим ушел. Пошел искать Матвея, чтобы с ним выпить. Знал, что Матвей пить не станет — не пьет, но про Исуса доскажет. За время долгой болезни атамана, выхаживая его, старый казак сдружился с умным Матвеем, любил его рассказы.

Обо всем успели поговорить Степан с женой. Осталось главное: что делать дальше? Алена знала, что делать, — ей подсказал Корней Яковлев. Она тайком виделась с ним.

— Степушка, родимый, согласися. Пошто ты его врагом-то зовешь? Он вон как об тебе печалится...

— Дура! — Степан встал с кровати, заходил по куреню. Алена осталась сидеть. — Ах, дура!.. Приголубили ее. Он — лиса, я его знаю. Чего он говорит?

— Поедем, говорит, с им вместе, он повинится царю — царь помилует. Было так — винились...

— Зачем же он с войной на Кагальник приходил?

— Они тебя опять сбивать станут, смутьяны... Он хотел их переимать, твоих...

— Тьфу!.. — Степан долго ходил туда-сюда в сильном раздражении. — И ты мне говоришь такое!

— Кто же тебе говорить будет? Смутьяны твои? Они ждут не дождутся, когда ты на ноги станешь. Им опять уж не терпится, руки чешутся — скорей воевать надо, чтоб их черт побрал. Согласись, Степушка!.. Съезди к царю, склони голову, хватит уж тебе. Слава богу, живой остался. Молебен царице небесной отслужим да и станем жить как все добрые

люди. Чего тебе надо ишо? Всю голь не пригреешь — ее на Руси много.

— Сам он к царю ездил? После Мишки-то...

— Иван Аверкиев с казаками. В двенадцать. А царь, слышно, заслал их в Холмогоры — не верит. Раз, мол, присылали, а толку...

— Собака, — с сердцем сказал Степан, думая о своем. — Помутил Дон. Я его живого сожгу!.. И всю старшину, всех домовитых!.. Не говори мне больше такие слова, не зли — я ишо слабый. К Корнею я приду в гости. Я к им приду! Пусть заранье в Москву бегут.

Алена заплакала:

— Не обманывает он тебя, Степушка!.. Поверь ты. Не с одной мной говорил, с Матреной тоже, с Фролом...

— Он знает, с кем говорить.

— Он говорил: Ермака миловал царь, тебя тоже помилует. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех такой толкнули... Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, не чужой...

— Хватит. Вытри слезы. Афонька как?

— Ничо. С бабкой Матреной там... Она прихворнула. Повинись, Степушка, родной мой...

— Тут кони есть? — спросил Степан.

— Есть.

— Покличь деда с Матвеем. Сама тоже собирайся.

— Слабый ты ишо. Куда?

— Иди покличь. Не сердись на меня, но... с такими разговорами больше не лезь.

— Господи, господи!.. — горько воскликнула Алена. — Не видать мне, видно, счастья, на роду, видно, проклятая... — она заплакала.

— Что ж ты воешь-то, Алена! Радоваться надо — поднялся, а ты воешь.

— Я бы радовалась, если б ты унялся теперь. А то заране сердце обмирает. Уймись, Степан... Корней не лиходей тебе.

— Уймусь. Как ни одного боярина на Руси не станет, так уймусь. Потерпи маленько. Иди покличь деда. И не реви...

Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос.

— Степан, ты послушай-ка про Исуса-то... — начал было Любим, но Степан не дал ему.

— Завтра в Кагальник поедем, — сказал он. — Собирайтесь.

Но в Кагальник они приехали только через неделю: пять дней еще Степан отлеживался.

10

В Кагальник прибыли, когда уж день стал гаснуть.

Казаки — триста самых отпетых и преданных — встретили атамана с радостью великой, неподдельной.

— Батька! Со здравием тебя!.. — орали.

— Поднялся! Мы Зосиму молили тут...

— Здоров, батюшка!

Высыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. Степан тоже улыбался, оглядывал всех... Похоже, можно начинать все сначала. Никакой тут беды нет, она тут не ночевала.

«Матвей, Матвей... не знаешь ты казаков, — думал он. — Мужик, он, может, и обозлился, и махает там оглоблей, на Волге-то, но где ты таких соколов беззаветных найдешь, таких ловкачей вертких, где еще есть такие головушки буйные?..»

Степан подавал всем руку, а кого и обнимал.

— Здорово, братцы! Как вы тут?

— Заждались тебя!

— Ну, добре. Радый и я вас всех видеть... Слава богу! Все хорошо будет.

Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол...

— Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходили! — издали еще весело известил Ларька.

— Что ж ты радуисся? — спросил Степан, отдавая коня в чьи-то руки. — Горевать надо... Или — как? — поздоровался с есаулом, с сотниками, с братом.

— Клали мы на их — горевать, — откликнулся Ларька.

Степан устал за дорогу. Прошли в землянку.

Матрена, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке.

— Прилетел, сокол... Долетели мои молитвы.

Степан неумело приласкал старуху.

— Что эт ты? Завалилась-то?

— Вот — завалилась, дура старая...

Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим.

— Афонька!.. Ух, какой большой стал! Здоров! — поднял мальчика, потискал. — Вот гостинцев, брат, у меня на этот раз нету — не обессудь. Самого, вишь, угостили... насилу очухался.

Не терпелось Степану начать разговор деловой — главный.

— Ларька, говори: какие дела? Как Корнея приняли?

— Ничего... Хорошо. Больше зарекся, видать, — нету.

— Много с им приходило?

— Четыре сотни. К царю они послали. Ивана Аверкиева...

— Вот тут ему и конец, старому. Я его миловал сдуру... А он додумался — бояр на Дон звать. Чего тут без меня делали?

— В Астрахань послали, к Серку писали, к ногаям...

— Казаки как?

— На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, что провинились перед царем...

— Через три дня пойдем в Черкасск. Передохну вот...

— Братцы мои, люди добрые, — заговорил Матвей, молитвенно сложа на груди руки, — опять ведь вы не то думаете. Опять вас Дон затянул. Ведь война-то идет! Ведь горит Волга-то!.. Ведь там враг-то наш — на Волге! А вы опять про Корнея свово: послал он к царю, не послал он к царю... Зачем в Черкасск ехать?

— Запел! — с нескрываемой злостью сказал Ларька. — Чего ты суесся в чужие дела?

— Какие же они мне чужие?! Мужики-то на плотах — рази они мне чужие?

Тяжелое это было воспоминание — мужики на плотах. Не по себе стало казакам: и тяжело, и больно.

— Помолчи, Матвей! — с досадой сказал Степан. — Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся туда в три сотни! Ни себе, ни людям...

— Пошто так?

— Дон поднять надо. Думаешь, правда остыли казаки? Раззудить некому... Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу явимся. Но не в триста же!

— Опять за свой Дон!.. Да там триста тыщ поднялось!.. — Матвей искренне не мог понять атамана и казаков: что за сила держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он этого понять, страдал. — Триста тыщ, Степан!..

Горе Матвея было настоящее, казаки это видели.

— Знаю я их, эти триста тыщ! Седни триста, завтра — ни одного, — как можно мягче, но и стараясь, чтоб правда тоже бы дошла до Матвея, сказал Степан. — И как воюют твои мужики, тоже видали...

— Опять за свое! — воскликнул Матвей. — Вот глухари-то!.. Да вы вон какие искусники, а все же побежали-то вы, а не...

— Выдь с куреня! — приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея.

— Выдь сам! — неожиданно повысил голос и Матвей. — Атаман нашелся. Степан... да рази ж ты не понимаешь, куда тебе счас надо? Ведь что выходит-то: ты без войска, а войско без тебя. Да заявись ты туда — что будет-то! Все долгорукие да борятинские навострят лыжи. Одумайся, Степан...

— Мне нечего одумываться! — совсем тоже зло отрезал Степан. — Чего ты меня, как дите малое, уговариваешь. Нет войска без казаков! Иди сам воюй с мужиками с одними.

— Эхх!.. — только и сказал Матвей.

— Все конные? — вернулся Степан к прерванному разговору.

— Почесть все.

— Три дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею. Матвей... как тебе растолковать... К мужикам явиться, надо... радость им привезть. Одно дело — я один, другое — я с казаками. Все ихное войско без казаков — не войско. Сам подумай! А мне надо ишо тут одну зловредную голову с плеч срубить — надежней за свою будет. Мой промах, я и выправлю.

* * *

Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька.

— Спишь? — спросил он тихо.

— Нет, — откликнулся Матвей и сел на лежанке. — Какой тут сон... Тут вся душа скоро кровью истекет. Горе, Лазарь, какое горе... не понимаете вы, никак вы не поймете, где вам теперь быть надо. Да вразуми вас господь!.. Вы же с малолетства на войнах — как вы не поймете-то? А?

— Собирайся, пойдем: батька зовет, — сказал Ларька.

Матвей удивился и обеспокоился:

— Опять худо ему?

— Нет, погутарить хочет... Пошли.

— Чего это?.. Ночью-то?

— Не знаю, — Ларька нервничал, и Матвей уловил это. Он вздул с помощью кресала малый огонек и внимательно посмотрел на есаула... И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось, еще противились разум и сердце.

— Ты что, Ларька?..

— Что? — Ларька злился и хуже нервничал. — Пошли, говорят!

— Зачем я ему понадобился ночью?

— Не знаю, — Ларька упорно смотрел на крохотный огонек, а не на Матвея.

— Не надо, Лазарь... Грех-то какой берешь на душу. Я лучше так уйду...

— Одевайся! — крикнул Ларька.

— Не шуми. Приготовлюсь по-людски... Эхх...

Матвей встал с лежанки, прошел со свечкой в угол, молча склонился к сундучку, который повсюду возил с собой. Достал из него свежую полотняную рубаху, надел... Опять склонился к сундучку. Там — кое-какое барахлишко: пара свежего холстяного белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток — он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество... Не мог подняться с колен.

— Ну! — позвал Ларька.

Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Плечи его вздрагивали. Он плакал.

— Пошли, — Матвей вытер слезы, встал с колен... — Прости вас господь! — сказал он с волнением. — Обманули людей... Можеть, и не хотели того. Но мно-ого на вас невинной крови... — Он повернулся было к Ларьке, но тот сильно толкнул его к выходу.

— Шагай!

Утром Ларька сказал Степану:

— Этой ночью... Матвей утек.

— Как? — поразился Степан. — Куда утек?

— Утек. Кинулись — нигде нету. К мужикам, видно, своим — на Волгу. Куда звал, туда и утизенил.

Степан пристально посмотрел на верного есаула... И все понял. И так больно стало, так нестерпимо больно, как бывает больно от невозвратимой дорогой утраты.

— Гад ты подколодный, — сказал он, помолчав, негромко. — Ох, какой же ты гад... Мешал он тебе?

— Мешал, — твердо сказал Ларька. — Умный шибко!.. Чего ни сделаешь, все не так, все не по его...

— А мы с тобой?! — закричал Степан, белея. — Мы всегда с тобой умные?!

— Ну, и... так тоже... к такой-то матери все, все дела, все на свете! — Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана. — Кончай и меня тогда, раз он тебе милее нас. Мне с им тоже не ходить. Меня всего тряской трясти начинает, как он только поглядит, — опять не так делаем. Живи и оглядывайся на его!..

— Тряской его трясет... — Степан долго, мрачно молчал, глядя в пол. И сказал с грустью: — Нет у меня есаулов... Один остался, и тот живодер. А выхода... тоже нет. Поганец! Уйди с глаз долой!

Ларька ушел.

11

Через два дня три с лишним сотни казаков во главе с Разиным скакали правым берегом Дона — вниз, к Черкасску. В «гости» к Корнею.

Опять — движение, кони, казаки, оружие... Резковатый, пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабости. И крепка рука. И близок враг — свой, «родной», знакомый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мольбе и злобе предсмертной...

Ну, что же это, как не начало?

Но, может, это после хвори осталась тревога на душе? Никак не поймешь: отчего она? Все же ведь хорошо. Все хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность, что-то тревожит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков — и шевельнется в груди тревога, прямо как страх. И никак от этой тревоги не избавишься — не обгонишь ее на коне, не оставишь позади. Что за тревога такая?

Черкасск закрылся.

Заплясали на конях под стенами.

— В три господа бога мать! — ругался Степан. Но сделать уже ничего не сделаешь — слишком малы силы, чтобы про-

бовать взять хорошо укрепленный теперь городок приступом.

Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе.

— Скажи, Ларька: мы никакого худа не сделаем. Надо же нам повидаться! Что они, с ума посходили? Своих не пускают...

Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался. И привозил ответ:

— Нет.

— Скажи, — накалялся Степан, — еслив они будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим! Всех в Дон посажу! А Корнея на крюк за ребро повешу. Живого закопаю! Пусть они там не слухают его, он первый изменник казакам, он продает их боярам. Рази же они совсем одурели, что не понимают!

Ларька подъезжал опять к стене и опять толковал с казаками, которые были на стене. И привозил ответ:

— Нет. Ишо сулятся стрельбу открыть. Одолел Корней.

— Скажи, — велел в последний раз Степан, — мы ишо придем. Мы придем! Плохо им будет! Кровью плакать будут за лукавые слова Корнеевы. Скажи: они все уж там проданы с потрохами! И еслив хоть одна курва в штанах назовет там себя казаком, то пусть у того глаза на лоб вылезут. Пусть над имя дети малые смеются, — Степан устал. — И дети ихные проданы. Скажи: все они там, с Корнеем в голове, прокляты от нас. Еслив их давить всех придут, мы не придем заступиться. Мы им теперь не заступники.

Ехали обратно. Не радовала степь вольная, не тревожил сердце родной, знакомый с детства милый простор.

Нет, это, кажется, конец. Это тоска смертная, а не тревога.

12

Астрахань не слала гонцов. Серко молчал. Алешка Протокин затерялся где-то в степях Малого Ногая.

Степан бросился в верховые станицы поднимать казаков, заметался, как раненый волк в облаве. Стремительность опять набрали нечеловеческую, меняли запаленных коней.

Станица за станицей, хутор за хутором...

По обыкновению Степан велел созывать казаков на майдан и держал короткую речь:

— Атаманы-молодцы! Вольный Дон, где отцы наши кровь проливали и в этой самой земле лежат, его теперь наша старшина с Корнеем Яковлевым и Мишкой Самарениным продают: называют суда бояр. Так что лишают нас вольностей, какие нам при отцах и дедах наших были! Нам бы теперь не стерпеть такого позора и всем стать заодно! Нам бы теперь своей казачьей славы и храбрости не утратить и помочь нашим русским и другим братам, которых бьют на Волге. А кто пойдет на попятный, пускай скажет здесь прямо и пускай потом на себя пеняет!

Таких не было, которые бы заявили «прямо» о своем нежелании поддержать разинцев и помочь «русским и другим братам» на Волге, но к утру многих казаков не оказывалось в станице.

Степан зверел.

— Где другие?! — орал он тем десяти-пятнадцати, которые являлись поутру на майдан. — Где кони ваши?! Пошто неоружные?!

Угрюмое молчание было ответом.

Уводили глаза в сторону...

— Ну, казаки!.. Наплачетесь. Ох, наплачетесь! — недобро сулил Разин.

...В другом месте Степан откровенно соблазнял:

— Атаманы-молодцы! Охотники вольные!.. Кто хочет погулять с нами по чисту полю, красно походить, сладко попить, на добрых конях поездить — пошли со мной! Силы со мной — видимо-невидимо: она на Волге, там ждут нас! Ну, молодцы!.. Не забыли же вы, как вольные казаки живут. Стрепенитесь!

Поутру — то же: десять-двенадцать молодых казаков, два-три деда, которые слышали про атамана «много доброго». И все. А никогда не говорил атаман так много, цветасто — аж самого коробило. Но он больше не знал, как всколыхнуть мертвую воду, гладь ее, незыблемость ее — ужасала.

Тоска овладела Степаном. Он не умел ее скрывать.

Однажды у них с Ларькой вышел такой разговор. Они были одни в курене. Степан выпил вина, сплюнул, сказал прямо и просто:

— Не пьется, Ларька. Мутно на душе. Конец это.

— Какой конец? Ты что? — удивился Ларька; может, притворился, что удивлен, — даже и это противно знать: все врут теперь или нет?

— Конец... Смерть чую.

— Брось! Пошли в Астрахань... Уймем там усобицуихную. Можеть, в Персию опять двинем... — Ларька вроде говорил искренне.

— Нет, туда теперь путь заказан. Там два псаря сразу обложут: царь с шахом. Они теперь спелися.

— Ну, на Волгу пошли! — нет, Ларька еще предан душой. Но это не радует, а только гнетет: где другие, где они, с преданными душами-то?

— С кем? Сколь нас!..

— Сколь есть... Мужиками обрастем: вошкаются же они там...

— Мужики — это камень на шею. Когда-нибудь да он утянет на дно. Вся надежа на Дон была... Вот он — Дон! — Степан надолго задумался. Потом с силой пристукнул кулаком в столешницу. — На кой я Корнея жить оставил?! Где голова была!.. Рази ж не знал я его? Знал — не станет он тут прохлаждаться: всех путами спутал, а концы... Москва держит. Не седня-завтра суда бояры с войском явются.

Ларька выпил. Помолчал и сказал:

— Не вышло, видно, у Ивана. Пропал где-то.

— Про кого ты? — не понял Степан.

— Ванька Томилин... Посылал я его в Черкасск Корнея извести. Пропал, видно, казак. Можеть, перекинулся...

— Когда же?

— До того ишо, как нам к Черкасску ходить. Ни слуху ни духу... У меня зельишко было, мордвин один дал: с ноготка насыпать в рюмку... А можеть, мордвин надул.

— Пропал. Корнея кто обведет, тот сам дня не проживет.

— Пропал... Можеть, не сумел. Но там... чего там, поди, суметь-то!

— Можеть, изменил. За кого теперь можно заручиться? Надо было нам раньше думать, Ларька. Как я-то?! Где голова была!

— Нет. Я его знаю, Ваньку... Чего-то, видно, не вышло.

— Ну, пропал.

— Пропал. Жалко, казак добрый, — вздохнул Ларька.

Степан надолго замолк.

* * *

В одной станице, в курене богатого казака, вышел с хозяином спор.

— Пропало твое дело, Степан Тимофеич, — заявил хозяин напрямки. — Не пойдут больше за тобой.

— Пошто? — спросил Степан.

— Пропало... Не пойдут больше.

— Откуда ты взял?! — хотел серьезно понять Степан. — Как это: я вам говорю — не пропало, а вы — пропало. Я лучше знаю или вы?

— Видим... не слепые. За тобой кто шел-то? Голутьба наша да москали, которых голод суда согнал. Увел ты их, слава богу, рассеял по городам, сгубил которых — теперь все, не обижайся. Не пойдут больше за тобой. И не мани, и не сули горы златые... Смешно даже слушать-то. Не зови никого и сам уймись. Хватит.

— А ты, к примеру, пошто послужить не хоть?

— Кому? — казак прищурил глаза в усмешке. — В разбойниках не хаживал, не привел господь бог... С царем мне делить нечего — мы с им одной веры. Он меня поит-кормит, одевает...

— А мужиков... — Степан уже пристально смотрел на казака. — Братов таких же, русских, одной с тобой веры — бьют их... У тебя рази душа не болит?

— Нет. Сами они на свой хребет наскребли. И ты, Степан, не жилец на свете. От тебя смертью пахнет.

Степан и Ларька уставились на казака.

— Смертью пахнет, — пояснил тот. — Как вроде травой лежалой. Я чую, когда от человека так пахнет. Значит, не жилец.

— А от тебя не пахнет? — спросил Степан.

— От себя не учуешь. А вот у нас в станице — кто бы ни помирал — я наперед знаю. Подойдешь — даже лихотит, до того воняет. Скажешь человеку — не верит, пройдет время, глядишь: отдал богу душу. Или на войне срубют, или своей смертью помрет. Я — такой. Меня даже боятся. А от тебя счас крепко несет. Срубют тебя, Степан, на бою. Оно бы и лучше — збаламутил ты всех... Царя лаешь, а царь-то заботится об нас. А счас вот — по твоей милости — без хлебушка сидим. Мы за тебя в ответе оказались. А на кой ты нам? Мы с царем одной веры, ишо раз тебе говорю.

Степан впился немигающим взглядом в казака, одаренного таким странным даром: чуять чужую смерть.

Ларька встал и вышел из куреня, чтоб ничего больше не видеть. Слышал, как Степан сказал казаку:

— Поганая ваша вера, раз она такая...

Больше Ларька не слышал.

Через некоторое время Степан вышел во двор, вытер саблю пучком пакли... Садясь на коня, велел казакам:

— Спалить.

— Не надо бы — у себя-то... — неуверенно сказал Ларька. — Так вовсе никого не подымем.

— Спалить! — крикнул Степан. Стегнул коня и погнал прочь.

Лазарь догнал атамана на выезде из станицы, подравнял своего коня к скоку разинского жеребца, чуть сзади.

— Спалили? — спросил Разин, не оглянувшись.

— Нет, — коротко отозвался Ларька.

Степан оглянулся... Не то что удивился такому непослушанию, а интересно: это бунт, что ли?

— Я же велел...

— Со зла велел. После сам пожалеешь.

Если это не бунт, то и не ватажный угар, когда слова атамана, как искру живую, рвет и носит большой ветер, и куда она упадет, искорка, там горит. Нет, это не гулевой пожар, это похмелье в пасмурное утро, горькое, пустое и мерзкое.

«Это — конец. Конец. Конец». Степан понимал.

Он молча скакал... И захотелось вдруг еще и вот что понять: ну, есть страх? Злость? Боль? Жалость?.. Нет, одно какое-то жгучее нетерпение: уж скорей бы, скорей бы какой-то конец. Какой ни на есть! Надоело. Тошно. Он и сам не верил теперь, что можно поднять Дон. Нет, прав был Матвей Иванов, царство небесное: на леченом коне далеко не ездят. «Битый я — вот отгадка всему. Кто же пойдет за мной, какой дурак! Я б сам первый не пошел...»

Ларька как будто подслушал его мысли. Позвал:

— Степан!

— Ну? — атаман не обернулся.

— Придержи!.. Погутарим.

Степан перевел жеребца с рыси на шаг, но и опять не обернулся.

— Не подымется Дон, Степан... — заговорил Ларька, оглянувшись на казаков, но те были далеко.— Знаешь, чего

мы делаем, мотаемся по станицам? Слабость свою всем в глаза пялим. Когда волка ранют, он, дурак, заместо того чтоб перебрести ручеек да отлежаться где-нибудь в закутке, зализать рану, он заместо этого старается уйти подальше — кровь теряет и след за собой волокет. Так и мы.

— Мы же не уходим, — Степану интересно стало, как думает есаул про все эти дела.

— Мы хуже: на глазах мечемся.

— Все так же думают или один ты... такой умник?

— Все. Не показывают только. Тут дураку все понятно, не надо даже умником быть. У тебя голова, а у нас что, корчаги заместо голов?

Степан оглянулся на есаула:

— Чего ж ты советуешь? — еще сбавил ход жеребцу. — Нет, так: скажи, пошто Дон больше не подымется?

— Степа, мы ж казаки с тобой. Чего греха таить — и ты знаешь, и я знаю: за щастливым атаманом — это мы с радостью великой, хоть на край света... хаживали! И за тобой шли. А теперь ты... запнулся. Тут уж — прости, батюшка атаман, — погожу. Отсижусь пока дома. Ненавижу эту поганую жилку, но сам такой... Никуда не денесся. Вот тебе мой ответ. Плохой ответ, но... какой есть.

— Я не ответ спрашиваю, а совет.

— Совет?.. Тут я пока... дай подумать, — Ларька замолчал.

И Степан молчал.

— Ну, раз спрашиваешь, — заговорил Ларька, — то я скажу... Пойдем в Запороги? Нас там с радостью примут. Вот мой совет добрый. Никуда больше не надо — ни в Астрахань, ни... Там хуже нашего. И на Волге нечего делать: у их там теперь свои атаманы... Там теперь — ихная война пошла.

— Битые-то придем в Запороги?..

— А они что, сроду битые не были? Им тоже попадало.

— Ларька!.. — с грустью и изумлением воскликнул атаман. — Послухал бы ты счас со стороны себя, бесстыдник! Братов наших, товарищей верных в землю поклали, а сами наутек? Эх, есаул... Плачет по тебе моя пуля за такой совет, но... не судья я вам больше. Скажу только, как нам теперь быть: разделим с братами нашими ихную участь. А еслив у тебя эта твоя поганая жилка раньше времени затрепыхалась — отваливай.

Теперь молчал Ларька.

— Что молчишь?

— Нечего сказать, вот и молчу. Это как же ты мне советуешь отвалить-то — ночью? Тайком?

— Ты видишь, как отваливают. Тайком.

— До такого я пока не дошел.

— А не дошел, не советуй всякую дурость.

Некоторое время ехали молча.

Отдохнувшие кони сами собой перешли в рысь. Казаки отпустили их. День был нежаркий. Степь, еще не спаленная огневым солнцем, нежилась, зеленая, в ласковых лучах; кони всласть распинали ее сильными ногами.

— Знаешь, чего хочу? — спросил Степан после долгого молчания.

Ларька, оскорбленный и пристыженный, хотел уклониться от разговора. Буркнул:

— Знаю.

— Нет, не знаешь. Хочу спокоя. Упасть бы в траву... и глядеть в небо. Всю жизнь, как дурак, хочу полежать в траве, цельный день, без всякой заботы... Скрывал только... Но ни разу так и не полежал.

Ларька удивленно посмотрел на Степана. Не думал он, что неукротимый атаман, способный доводить в походах себя и других до исступления... больше всего на свете хотел бы лежать на травке и смотреть в небо. Он не поверил Степану. Он переиначил желанный покой этот на свой лад:

— Скоро будет нам спокой. Только опасаюсь, что головы наши... будут в сторонке от нас. Одни только головушки и будут смотреть в небо. А? — Ларька невесело засмеялся.

Степан улыбнулся тоже.

— Воронье... — сказал он непонятно.

— А?

— Воронье, мол... глаза выклюют — не посмотришь. Нечем смотреть-то будет.

На этом перегоне их догнал верховой.

— За вами не угоняисся. То там, сказывают, видали, то тут...

— Говори дело! — нетерпеливо велел Степан.

Казак ненароком зыркнул глазами на войско атамана, до смешного малое... Разные ходили слухи: то говорили, со Стенькой много, то — мало. Теперь видно: плохо дело атамана, хуже не бывает. И казак не сумел скрыть своего изум-

ления; на его усатом лице промелькнуло что-то вроде ухмылки.

— Ты что? — спросил Ларька, обеспокоенный запинкой казака и его пытливым взглядом. Он и усмешку казака не проглядел.

— Корней в Кагальник нагрянул, — казак спокойно посмотрел в глаза Степану.

Степан, Ларька, сотники молча ждали, что еще скажет гонец. Казака этого никто не знал.

— Ну? — не выдержал Степан. — С войском?

— С войском.

— Сколь? Да рожай ты!.. — заругался Степан. — Тянуть, что ль, из тебя?

— Сот семь, можа, восемь... Сказывает, грамоту тебе от царя привез.

— Какую грамоту?

— Больше молчит. Велел только сказать: милостивая грамота.

Степан долго не думал:

— В Кагальник!

— Степан... я не поеду, — заявил Ларька.

— Как так? — Степан крутнулся в седле, вперился глазами в есаула — в лицо его, в переносицу. — Как ты сказал?

— Подвох это. Какая милостивая грамота! Ты что?

Степан качнул удивленно головой:

— Рази я для того еду, что в грамоту ту верю? Ларька... что ты, бог с тобой! Ты уж вовсе меня за недоумка принимаешь. Грамота, видно, есть, только не милостивая. С какого черта она милостивой-то будет? Мы ему Сибирь не отвоевали...

Теперь Ларька удивился:

— Для чего же? Не возьму, для чего к им ийтить?

— Придем — все разом решим. Раз они сами вылезли — нам грех уклоняться. Не могу больше... Ты видишь — зря мотаемся. Сам же укорял: без толку мотаемся... Поехали — крест поставим и не будем мотаться.

— В триста-то казаков на семьсот! Нет, Степан... ты вояка добрый, но там тоже... не турки, а такие же казаки. Ничего нам не сделать. Какой крест?

— Помрем по-людски...

— Мне ишо рано, — Ларька решительно изготовился в душе; страх он одолел, но все же заговорил громче — чтоб другие слышали.

— Вон ка-ак? — протянул Степан; такого он не ждал.

— А как?.. С тобой на верную гибель? — спросил Ларька. — Зачем?

— Последний раз говорю: едешь? — Степан не угрожал, но никто бы и не поручился, что он сейчас не всадит Ларьке пулю в лоб. Было тихо.

— Нет. Зачем? Я не понимаю: зачем? — Ларька оглянулся на казаков... И опять к Степану: — Зачем, батька?

Степан долго смотрел в глаза верному есаулу. Ларька выдержал взгляд атамана.

Степан отвернулся, некоторое время еще молчал. Потом обратился ко всем:

— Казаки! Вы слыхали: в Кагальник пришел с войском Корней Яковлев. Их больше. Их много. Кто хочет ийтить со мной — пошли, кто хочет с Ларькой остаться — я не неволю. Обиды тоже не таю. Вы были верные мои други, за то вам поклон мой, — Степан поклонился. — Разделитесь и попрощайтесь. Даст бог — свидимся, а нет — не поминайте лихом, — Степан подъехал к Ларьке, обнял его — поцеловались.

— Не помни зла, батька, — сказал Ларька, перемогая слезы. — Не знаю... у тебя своя думка... я не знаю...

— Не тужи. Погуляй за меня. Видно, правду мне казак говорил... близко мой конец.

Ларька не совладал со слезами, заплакал, больно сморщился и ладошкой сердито шаркнул по глазам.

— Прости, батька... Не обессудь.

— Добре... Вы простите тоже.

Степан развернул коня и, не оглядываясь, поскакал в степь. Он слышал топот за собой, но не оглядывался, крепился. Потом оглянулся... Не больше полусотни скакало за ним. Степан подстегнул коня и больше уже не оборачивался. И не давал коню передохнуть — торопился. Полусотня едва поспевала за ним — не у всех были добрые кони. Один раз сзади шумнули Степану, чтоб маленько сморил. Степан не оглянулся и не сбавил бег.

13

Трудно понять, какие чувства овладели Степаном, когда он узнал, что в Кагальнике сидит Корней Яковлев. Он действительно прямиком пошел к гибели. Он не мог не

знать этого. И он шел. Вспомнились слова Матвея про Иисуса... Но вдумываться в них Степан не стал. Да и не понял он тогда, почему — Иисус? А теперь и вовсе не до того — разбираться в чувствах, в предчувствиях, в мыслях путаных... С каждым скоком коня все ближе, ближе, ближе те, кого атаман давно хотел видеть. Теперь — скоро уж — все будет ясно, скоро будет легко. Скоро, скоро уж станет легко. Степан волновался, тискал в руках тонкий ремешок повода... Господи, как охота скорей заглянуть в ненавистные, в глубокие, умные глаза Корнея, Фрола Минаева, Мишки Самаренина... Выстегать бы их вовсе, напрочь — плетью изо лба, чтоб вытекли грязным гноем. Но зачем-то надо было Степану еще раз увидеть эти глаза. Зачем? Не понимал тоже... Затем, может, что охота увидеть — какое в них будет торжество. Будет в них торжество-то? Как они глядеть-то будут?

* * *

К вечеру подъехали к Кагальнику.

Оставив полусотню на берегу Дона (таково было условие сидящих теперь в Кагальнике), он с тремя сотниками переплыл, стоя на конях, на остров. И пошел к своей землянке, где были теперь Корней и старшина — ублюдки, нечисть донская. Степан ничего вокруг не видел, не слышал. Он торопился, хоть изо всех сил не показывал этого, но прямо чуть не бежал.

У входа в землянку его и сотников хотели разоружить. Степан вытащил саблю — как если бы хотел отдать ее — и вдруг с силой замахнулся на караульных. Те отскочили.

И Степан вошел — стремительный, гордый, насмешливый. Вот он, желанный миг желанного покоя. Враги в сборе — ждут. Теперь его слово. Ах, сладкий ты, сладкий, дорогой миг расплаты. Будет слово. Будет слово и дело. Усталая душа атамана взмыла вверх — ничего не хотела принять: ни тревоги, ни опасений.

Корней и старшина сидели за столом. Всего их было человек двенадцать-пятнадцать. Они слышали некий малый шум у входа, и многие держали руки с пистолями под столом. Выбежать на шум не решились — посовестились сво-

их, да и знали, что со Стенькой здесь всего трое, и знали, что Стенька не затеет свару на улице — войдет сюда.

В землянке была Алена. Матрены, брата Фрола и Афоньки не было. Про Алену Степан не знал, что она здесь.

— Здорово, кресный! — приветствовал Степан Корнея.

— Здоров, сынок! — мирно, добрым голосом сказал Корней.

— Чего за пустым столом сидите? Алена!.. Али подать нечего? — Степан даже руками развел — так удивился.

— Есть, Степан, как же так нечего! — встрепенулась Алена, до слез обрадованная миром в землянке.

— Так давай! — Степан отстегнул саблю, бросил ее на лежанку. Пистоль оставил при себе. Сотники его сабель не отстегнули. На них покосились из-за стола, но смолчали.

Степан прошел на хозяйское место — в красный угол. Сел. Оглядел всех, будто хотел еще раз проверить и успокоиться, что все на месте.

Никто не понимал, что происходит. Даже Корней был озадачен, но вида тоже не показывал.

— Чего такие невеселые? — спросил Степан. — А? Сидят как буки... Фрол, чего надулся-то?

— А ты с чего развеселел? — подал голос Емельян Аверкиев, отец Ивана Аверкиева, того, который и теперь еще был где-то в Москве — наушничал царю и боярам на Стеньку.

— А чего мне? Дела веселые, вот и веселюсь.

— Оно видно, что веселые...

— Не рано ли, Степан? Веселиться-то?

— Ну а где ж твое войско, кресник? — спросил Корней.

— На берегу стоит, — Степан все не спускал дурашливого, веселого тона. Все поглядывал на старши́ну — будто наслаждался. Он и наслаждался — видел теперь глаза всех: Фрола Минаева, Корнея, Мишки Самаренина, всех. И ни торжества в этих глазах, ничего — один испуг, даже смешно.

— Там полста только. Все, что ль? А я слыхал, у тебя многие тыщи. Врут? — умный Корней догадался — подхватил беспечную игру. — От люди! — медом не корми, дай приврать. И все ведь добра атаману желают, не по злобе. А невдомек, дуракам, что такими-то слухами только хуже душу бередят атаману. И так-то не сладко, а тут...

— А у тебя сколь? — нетерпеливо прервал его Степан. — Семьсот, я слыхал? Вот — семьсот твоих да полста моих —

это семьсот с полусотней. Вот это и есть пока наше войско. Пока сэстоль... Скоро будут многие тыщи. Говорят, а зря не скажут, кресный, — не отмахывайся. Про вас вовсе вон чего говорят: совсем уж, мол, боярам продались, беглецов отдают... все вольности отдают, даже и бояр с войском зовут, мол... Я тоже не шибко верю, но спросить тоже охота: так ли, нет ли? А? — Степан засмеялся. — Тоже врут небось?

Корней старательно разгладил левой ладошкой усы, промолчал на это.

Алена поставила на стол вино. Из всех тут, в землянке, одна, может быть, Алена только и не понимала, не догадывалась, чем кончится это застолье.

— Разливай, дядя Емельян! — Степан хлопнул по плечу рядом сидящего пожилого, дородного Емельяна Аверкиева. — Вынь руку-то из-под стола, чего ты там? Уж не забыл ли на старости, как креститься надо? Лоб надо крестить-то, лоб, а ты... Грех ведь! Тьфу!

Дядя Емельян дернулся было с рукой... и смутился. Сказал с усмешечкой:

— Да ведь ты, Стенька... ложкой кормишь, а стеблем в глаз норовишь.

— Да что ты, Христос с тобой! — воскликнул Степан. — Я грамотку царскую приехал послушать, грамотку. А вы зачем звали? Мне сказали — грамотка у вас от царя...

Выручил всех Корней. Взял кувшин, разлил вино по чарам. Но опять вышла заминка — надо брать чары. Левой рукой — поганой рукой, не по-христиански. Опять не знали, что делать, сидели, кто ухмылялся в дурацком положении, кто хмурился... Упустить Стеньку из виду, хоть на короткое время занять руки — опасно: неизвестно, кому первому влетит между глаз Стенькина пуля, а сзади — еще трое с саблями и с пистолями.

Степан взял свою чару, поднял...

— Со свиданьем, казаки!

Старши́на сидел в нерешительности.

Степан выложил свой пистоль на стол.

— Кладу — вот. Выкладывайте и вы, не бойтесь. Или вы уж совсем отсырели, в Черкасске сидючи? Нас ведь четверо только!

Казаки поклали пистоли на стол, рядом с собой, взяли чары.

— Я радый, что вы одумались и пришли ко мне, — сказал Степан. — Давно так надо было. Что в Черкасск меня не пус-

тили, за то вам отпускаю вашу вину. Это дурость ваша, неразумность. Выпьем теперь за вольный Дон — чтоб стоял он и не шатался! Чтоб никогда он не знал изменников поганых!

Переглянулись...

Понесли пить...

Когда пили, Корней незаметно мигнул одному казаку. Тот встал и пошел было из землянки. Один из сотников Разина остановил его:

— Посиди.

— Ты с чем приехал, Степан? — прямо спросил Корней.

— Карать изменников! — Степан ногой двинул стол. Трое его сотников рубили уже старшину. Раздались выстрелы... В землянку вбежали. Степан застрелил одного и кинулся к сабле, пробиваясь через свалку кулаком, в котором был зажат пистоль.

— Степан!.. — закричала Алена. — Они же подобру приехали!.. Степушка!.. — она повисла у него на шее. Этим воспользовались, ударили чем-то тяжелым по голове. Удар, видно, пришелся по недавней ране. Степан упал.

И опять звон ошеломил голову. И ночь сомкнулась непроглядная, беспредельная, и Степан полетел в нее. Не чувствовал он, не слышал, как били, пинали, топтали распростертое тело его.

— Не до смерти, ребятушки!.. — заполошно кричал Корней. — Не до смерти! Нам его живого надо!

...И опять, как сознание помутилось, увидел Степан:

Степь... Тишину и теплынь мира прошили сверху, с неба, серебряные ниточки трелей. Покой. И он, Степан, безбородый еще, молодой казак, едет в Соловецкий монастырь помолиться святому Зосиме.

— Далеко ли, казак? — спросил его встречный старый крестьянин.

— В Соловки. Помолиться святому Зосиме, отец.

— Доброе дело, сынок. На-ка, поставь и за меня свечку, — крестьянин достал из-за ошкура тряпицу размотал ее, достал монетку, подал казаку.

— У меня есть, отец. Поставлю.

— Нельзя, сынок. То — ты поставишь, а это — от меня. На-ка. Ты — Зосиме, а от меня — Николе угоднику поставь, это наш.

Степан взял монетку.

— Чего ж тебе попросить?

— Чего себе, то и мне. Они знают, чего нам надо.

— Они-то знают, да я-то не знаю, — засмеялся Степан.

Крестьянин тоже засмеялся:

— Знаешь! Как не знаешь. И мы знаем, и они знают.

Пропал старик, все смешалось и больно скрутилось в голове. Осталось одно мучительное желание: скорей доехать до речки какой-нибудь и вволю напиться воды... Но и это желание — уже нет его, опять только — больно. Господи, больно!.. Душа скорбит.

Но опять — через боль — вспомнилось, что ли, или кажется все это: пришел Степан в Соловецкий монастырь. И вошел в храм.

— Какой Зосима-то? — спросил у монаха.

— А вон!.. Что ж ты, идешь молиться и не знаешь кому. Из казаков?

— Из казаков.

— Вот Зосима.

Степан опустился на колени перед иконой святого. Перекрестился... И вдруг святой загремел на него со стены:

— Вор, изменник, крестопреступник, душегубец!.. Забыл ты святую соборную церковь и православную христианскую веру!..

Больно! Сердце рвется — противится ужасному суду, не хочет принять его. Ужас внушает он, этот суд, ужас и онемение. Лучше смерть, лучше не быть, и все.

Но смерти еще нет. Смерть щадит слабого — приходит сразу, сильный в этом мире узнает все: позор, и муки, и суд над собой, и радость врагов.

14

Вот уж не бред и видения — а так и было: прокляли Степана на Руси. Все злое, мстительное, маленькое поднялось и открестилось от Стеньки Разина, разбойника, изменника, душегубца.

«Великому государю изменил, и многия пакости и кровопролития и убийства во граде Астрахане и в иных низовых градех учинил, и всех купно православных, которые к ево воровству не пристали, побил, со единомышленники своими да будет проклят!..» — так читали. Вот она — бумага-то!..

Господи, господи!.. Кого клянут именем твоим здесь, на земле! Грянь ты оттуда силой праведной, силой страшной — покарай лживых. Уйми их, грех и подлость творят. Зловоние исторгают на прекрасной земле твоей. И голос тут не подай, и руку не подыми на слабых и обездоленных: с проклятиями полезут!.. С бумагами... С именем твоим... А старания-то все, клятвотворцев-то, вера-то вся: есть-пить сладко надо.

«...Страх господа бога вседержителя презревший, и час смертный и день забывший, и воздаяние будущее злотворцем во ничто же вменявший, церковь святую возмутивший и обругавший...»

Слушали люди... Это — из века в век — слушают, слушают, слушают.

«И к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, крестное целование и клятву преступивший, иго работы отвергший...»

Как, однако!.. Как величаво лгут и как поспешно душат всякое живое движение души, а всего-то — чтоб набить брюхо. Тьфу!.. И этого хватает на целую жизнь. Оно бы и хрюкай на здоровье, но ведь хотят еще, чтобы пятки чесали — ублажали. Вот невмоготу-то, господи! Вот с души-то воротит, вот тошно-то.

«Новый вор и изменник донской казак Стенька Разин, зломышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец...»

Ну, что же уж тут... Ничего тут не сделаешь.

— Врете! — сильный, душераздирающий голос женщины. Если бы его тоже могли слышать все.

Это кричала Алена-старица с костра. Ее жгли. Это — там, где еще горел бунт, где огонь его слабел, смертно чадил и гас в крови.

— Врете, изверги! Мучители!.. Это вас, — кричала Алена, объятая пламенем, в лицо царевым людям (стрельцам и воеводам, которые обступили костер со всех сторон), — не вы, мы вас проклинаем! Я, Алена-старица, за всю Русь, за всех людей русских — проклинаю вас! Будьте вы трижды прокляты!!! — Она задохнулась дымом... И стало тихо.

15

Какая бывает на земле тишина! Непостижимая.

Отлогий берег Дона. Низину еще с весны затопило водой, и она так и осталась там, образовав неширокий залив.

Ясную, как лазурь поднебесная, гладь залива не поморщит низовой теплый ветерок, не тронет упавший с дерева легкий лист; вербы стоят по колено в воде и смотрятся в нее светло и чисто.

Станица в две сотни казаков расположилась на берегу залива покормить коней. Везут в Москву Степана Разина с братом. Они еще в своих богатых одеждах; Степан скован по рукам и ногам тяжкой цепью. Фрол гремит цепью послабее, не такой увесистой.

— Доигрался — ишо никого из казаков не проклинали, — горестно сказал Корней крестнику. — Легко ли?

— Ну, так я тебя проклинаю, — молвил Степан спокойно.

— За что бы? Я на церкву руку не подымал, зря не изводил людей, — стараясь тоже говорить спокойно, сказал Корней. — Царю служу, я на то крест целовал. И отец мой служил... И твой тоже.

— Эх, Корней, кресный, — вздохнул Степан. — Вот закованный я по рукам-ногам, и не на пир ты меня везешь, — а жалко тебя.

— Вот как! — искренне изумился Корней.

— Жалко. Червем прожил. Помирать будешь, спомнишь меня. Спомнишь... Я ишо раньше к тебе не раз приду — мертвый.

Они сидели чуть в сторонке от других, ближе к воде; Степан привалился спиной к нетолстой молодой вербе с криулинкой, руки держал промеж ног, чтоб лишний раз не звякать цепью — этот звяк угнетал его.

— Ладно, — согласился Корней, — я — червем, ты — погулял...

— Не в гульбе дело, — оборвал Степан рассуждения войскового. — А то бы я не нашел, где погулять!

— Чего же ты хотел добиться? — спросил тогда Корней.

— Не поймешь.

— Где нам! Где нам за тобой угнаться. Мы люди малые...

— Змей ты ползучий, и поганый вдобавок, — сказал Степан негромко. — Подумай: рази ты человек? Да рази чело-

век будет так, чтоб ему только одному хорошо было? Ты вот торгуешь Доном... Вольностями нашими. После тебя придут — тоже охота урвать кусок пожирней, — тоже к царю поползут... Больше-то чем возьмете? — Степан говорил без злобы, спокойно. — И вот такие лизоблюды... все отдадут. Вот беда-то. Пошто я тебя не пристукнул!.. Можеть, другим бы неповадно было... Гады вы! Бог тебе ум дал, а ты измусолил его — по углам рассовал, всю жизнь, как собака, в глаза хозяину своему заглядывал. А доберись я до того хозяина — он бы сам завыл, как собака.

— Быть было ненастью, да дождь помешал. Смотри, как бы тебе не завыть там. Там умеют... сок жать.

— Не завою. Не порадую царя — не дождетесь.

— Стенька... Скажи напоследок: пошто войсковым не захотел стать? Я же тогда не обманывал тебя, правду говорил. Помнишь? В церкви-то...

— Помню.

— Пошто же?

— У человека душа есть, а рази важно ей — войсковой я или невойсковой. Она небось и не знает-то про эти слова. Был бы я товарищ верный, да была бы... Да был бы я вольный. Вот и все, я и спокойный.

— Ну и спокойный? Столько людей загубил...

— Не за себя губил, за обиженных.

— Фу-ты, какой заступник выискался!

— А кто же за их заступится? Ты? Тебе лишь бы доползти до кормушки... Эх, надо б мне тебя раздавить! Пожалел. Моя промашка, кресный. Каюсь.

— Корней Яковлич! Можно и в путь-дорогу! — шумнули от казаков, где их собралось покучней; которые уж и коней седлали, подпруги подтягивали.

— С богом! — Корней встал и пошел к своей лошади.

За разговором этим наблюдал со стороны Фрол Минаев. За время, пока Степана держали в Черкасске и потом везли пленного, Фрол Минаев держался поодаль, наблюдал, но не подходил. А Степану было не до него. Степан, как пришел в память, все время был спокоен и задумчив. Иногда только подбадривал брата, павшего духом, улыбался и шутил с ним. На всех остальных смотрел с глубоким презрением.

Теперь, пока казаки ловили и седлали коней, Фрол Минаев подошел к Степану, присел рядом. Как когда-то, в степи, когда гнался атаман за другом-врагом, не догнал, упал с

коня, — так же сидели теперь, только Степан был в железах. Оба, видно, вспомнили то свое сидение, глянули друг на друга, помолчали. Близко никого не было; Фрол заговорил:

— Степан...

— Ну? — Степан прищурился на Фрола... Долго смотрел, внимательно. — Что ж ни разу не подошел поговорить?

— А чего говорить? — наигрывая беспечность, но и принахмурившись, откликнулся Фрол. — Без разговоров все понятно. Чего говорить? Хотел я только спросить...

— Тебе — есть чего. Ты упреждал меня — твоя взяла. Вот и скажи, а не спрашивай. Посмейся хоть надо мной. Корней вон выговорил...

— Я не радуюсь, Степан, — искренне сказал Фрол. — Нет. Мне жалко тебя.

— Ну? — удивился Степан. — А кто это угостил меня сзади? В землянке-то?.. Не ты?

— Нет.

— Кто же?

— Не все равно тебе кто?

— Ну, все же.

— Мишка Самаренин.

— А-а. Я, грешным делом, на тебя подумал. Похоже на тебя...

— Степан... — раздумчиво, с глубоким, серьезным интересом повторил Фрол, — дурацкое дело — теперь спрашивать: к чему ты все это затеял?..

— Дурацкое, — согласился Степан. — Надоело. Я ж тебе говорил.

— Ладно, не буду. Скажи только: пошто так легко попался? Сам ведь полез... Знал же: конец там тебе, зачем же лез?

— Э, не так все легко, Фрол, как на словах у тебя. «Конец»... Перебей мы вас тада, в землянке... Не знаю. Не знаю, кто из нас какие слова говорил бы счас.

— Четверо-то — двенадцать?! Ты что?

— Не знаю, не знаю. Одно знаю: вовремя меня Мишка угостил по затылку. Не знаю, куда бы качнулись эти ваши семьсот казаков. Выйди я тада из землянки цел-невредим — поднялась бы у кого рука на меня? А?

— Не знаю, — признался Фрол. — Как-то... не думал так.

— А я знаю. И ты знаешь: не поднялась бы. Опять хитришь. Все хитришь, Фрол... Ты все знаешь: они с вами, пока вы над имя. Убери-ка счас отсуда всю головку старшин-

скую... А? — Степан засмеялся. — Встал бы да и зыкнул, как бывало: братцы!.. — Степан и в самом деле налег на голос, крикнул. Казаки, все как один, враз оглянулись. Кто успел поставить ногу в стремя, оглянулся, стоя на одной ноге, кто седлал лошадь, оглянулся с седлом в руках... Корней Яковлев шел к коню, от возгласа Степана, нежданного, аж споткнулся. Резко оглянулся... Не по-старчески скоро пошел, побежал почти к Степану, невольно сунулся правой рукой к поясу. И никто ничего не сказал, все молчали. Смотрели на Степана...

— А-а, — сказал Степан. — А ты говоришь.

Фрол Минаев махнул рукой Корнею, чтоб не спешил к пленнику, что пленник дурачится. Корней, не поворачивая головы, глянул туда-сюда по сторонам — не видел ли кто, как он чуть не бегом кинулся к скованному по рукам и ногам человеку и даже за пистоль схватился — проверил — и, повернувшись, пошел опять к коню, медленно.

— Змей заполошный, — сказал негромко, себе под нос. — Ажник ноги подсеклись.

Степана истинно развеселила эта всполошка казаков.

— Вот, Фрол... говорят: не выливай помоев, заготовь сперва чистой воды. Правда. Всяко бывает... И так бывает: поехали пир пировать, а пришлось бы горевать.

— Да нет, тебе теперь уж не пировать, — тихо сказал Фрол.

— Как знать... — тоже тихо, глядя на затон, молвил Степан.

— Знаю. Это-то знаю.

— Ну а чего ж ты ишо хочешь узнать, Фролушка? — спросил Степан ласково. — Чего тебе сказать, друг мой любый? — он повернулся к Фролу.

— Зачем в Кагальник-то пришел? Неужель уйтить некуда было? Я прям ушам своим не поверил, когда сказали, что едешь.

Степан ответил не сразу. И ответил неясно:

— Спотычка была у меня в жизни... Горькая одна спотычка, — он посмотрел в далекую даль, и боль явственная проглянула из его глаз, так, что он даже зажмурился. И опять молчал долго. Открыл глаза, глянул на свои руки и ноги, качнул горестно головой. — Вот за то и получил... эти дары, — тряхнул железами, они покорно звякнули.

— Какая спотычка? — Фролу и правда было интересно. — У тебя много спотычек было. Какая же самая... горькая?

— Это я тебе не скажу. Другу сказал бы... Но у меня их не осталось. Вот на том свете свижусь с имя — покаюсь. Повинюсь.

— Жалеешь, что не убил меня? На степи-то? — спросил еще Фрол.

— Нет, — честно сказал Степан. — Нет. Гнался — хотел убить, потом — нет. Не знаю... как-то расхотел. Я тебя ишо один раз мог убить... теплого, в постеле. Был я однова в Черкасске. Ночью. Ты даже не знаешь...

— Знаю, Корней говорил.

— А-а. Ну вот: мог зайти, приткнуть к лежаку... Не стал.

— Ну, а чего ты хотел-то, Степан? Прости меня... не думал спрашивать, а охота. — Фрол жалостливо смотрел на скованного давнего друга. — Я и тогда спрашивал, только не понял...

— Хотел дать людям волю, Фрол. Я не скрытничаю, всем говорил. И тебе говорил, ты только не захотел понять. Мог-то ты мог — не захотел.

— А чего из этого вышло? — вот это, главное, и хотел — не спросить — сказать хотел Фрол.

— А чего вышло? Я дал волю, — убежденно сказал Степан.

— Как это?

— Дал волю... Берите!

— Ты сам в цепях! Волю он дал...

— Дал. Опять не поймешь?

— Не пойму, — Фрол все смотрел на повергнутого атамана с жалостью и пытливо.

— Фрол... — Степан вдруг резко повернулся к нему, один миг смотрел — присматривался, от волнения даже пошевелился и глотнул. — Друг... сбей железы. Пока подбегут — успеешь... — Степан торопился говорить, говорил негромко и неотступно смотрел на Фрола. — Спомни дружбу, Фрол... Мы их одолеем, они сами не полезут... Фрол... милый... вас же обманно зовут на Москву: вас тоже покарают там. Откинут вас, как бревешки обгорелые, — вы ж тоже возле огня лежали. На кой вы им теперь? Сбей, Фрол: улетим, только нас и видали. А? Они, эти-то, не сунутся, Фрол!.. Ослобони

только руки — иди тада, возьми меня! Да они и не сунутся. Фрол, друг... — Степан все смотрел на Фрола... и плакал. Черт знает какая слабая минута одолела, но — плакал. Светлые капли падали с ресниц на щеки, на усы, а с усов, подрожав, срывались. — Век не забуду. Неужель тебе бояры московские дороже? Мы уедем... Куда позовешь, туда уедем. С нами опять сила большая будет!..

— Опять он за силу!.. — Фрол явно растерялся от таких нежданных, напористых, из самого сердца идущих слов Степана. — На кой она тебе?

— Ну, так уедем, — на все соглашался Степан. — Возьмем сотни две охотников — и в Сибирь. Что же за радость тебе, что мне снесут голову? И вам позор, и Дону всему... на веки вечные. Неужель ты спокойно помрешь после этого?! Да и не выпустют вас теперь с Москвы — вы тоже опасные, раз со мной знались. А ты-то... в дружках ходил. Подумай-ка, ты ж не дурак. Чего ж мы... сами лезем туда? Фрол! Сбей — скочим на коней — мы их тут же развеем, они и не рыпнутся. Рази не так, Фрол?

Может, мгновение какое-то Фрол колебался... Или так показалось Степану. Но только он еще раз с мольбой сказал:

— Фрол, друг... спаси: доживем вольными людями. Не страх меня убивает, а совестно так жизнь отдавать. Веришь, нет — загодя от стыда душа обмирает. Это ж — перед всемто народом... Сам теперь жалкую, что поехал тада в Кагальник — стих накатил какой-то. Мы ишо стрепенемся, Фрол!

— Без ума, что ли, бьесся? — сказал Фрол, не глядя на Степана. Встал и пошел прочь грузным шагом.

Степан отвернулся... Резко тряхнул головой, скидывая с ресниц слезы. Сплюнул.

Казаки были уже все верхами. Подъехали сажать на коней Степана и Фрола, они сами не могли сесть из-за цепей.

— Другой раз в казаки крестют нас, брат, — сказал Степан брату. — Первый раз — когда отец малых... Я про себя-то не помню, а с тобой — помню: вокруг церкви отец возил: тоже подсаживал да держал. Теперь тоже — подсаживают и держут, чем не крестины! Вот. А ты закручинился. Казаку, когда его один-то раз в казаки крестили, и то пропасть нелегко, а нас — по другому разу. Не тужи, брат, не пропадем.

Фрол Минаев через день пути сказался хворым и вернулся в Черкасск. Многие поняли: не хочет видеть казни Степана в Москве. Не хочет и близко быть к тому месту, где прольется кровь атамана, бывшего друга его.

Понял это и Степан. Долго после того караулил минуту, когда брат Фрол окажется близко и их не услышат; скараулил, стал наказывать брату тихо, просительно:

— Фрол... потерпи, как пытать станут, пожалей меня... Не кричи, не кайся.

Брат Фрол молчал.

— Потерпи, Фрол, — просил Степан, стараясь найти слова добрые, ласковые. — Что теперь сделаешь? Разок перетерпим, зато ни одну собаку не порадуем. Хоть память... хоть лихом никто не помянет.

— Тебе хорошо — ты погулял вволю, — сказал Фрол.

— Ну!.. — Степан не знал, что на это сказать. — Фролушка, милый ты мой, потерпи: закричишь, все дело смажешь. Ради Христа, прошу... Сам Христос вон какие муки вынес, ты же знаешь. Потерпи, Фрол. Подумай-ка, сколь народу придет смотреть нас!.. А мы вроде обманем их. У нас отец хорошо помер, брат Иван тоже... Ты вот не видал, как Ивана удавили, а я видал — хорошо помер, нам с тобой не совестно за их было. Не надо и нам радовать лиходеев, не надо, Фрол, пожалей меня. Я любил тебя, зря, можеть, затянул с собой, но... теперь чего про это — поздно. Теперь примем все сполна... бог с ей, с жизней. Ладно, Фрол?

Фрол подавленно молчал. Что он мог сказать? — он не знал, как там будет, сможет ли он вытерпеть все.

— Фрол Минаев, смотри, отвалил, — подвел к концу Степан свою просьбу. — Знаешь пошто? Не хочет на наши муки смотреть — совестно. Вишь, ждут — сломаемся. Не надо, брат. Думай все время про ихные усмешки поганые — легче терпеть будешь. Смотри на меня: как я, так и ты. Будем друг на дружку глядеть — не так будет... одиноко. Это хорошо, что нас вместе: они нам, дураки, силы прибавляют.

Лет через десять после того юный Афонька Разин, пасынок Степана, выпив лишка, стал резко и опасно говорить — в присутствии войскового атамана, — что-де он еще «пустит кой-кому кровя» за отчима — отомстит... Все так и ахнули.

Подумали: пропал Афонька, малолеток, дурачок. Но войсковой только глянул на казачка... И, помолчав, грустно промолвил:

— Пусть сперва молоко материно на губах обсохнет. Мститель. Не таких... — и не досказал войсковой. Смолк.

Войсковым тогда был Фрол Минаев.

16

И загудели опять все сорок сороков московских.

Разина ввозили в Москву.

Триста пеших стрельцов с распущенными знаменами шествовали впереди.

Затем ехал Степан на большой телеге с виселицей. Под этой-то виселицей, с перекладины которой свисала петля, был распят грозный атаман — руки, ноги и шея его были прикованы цепями к столбам и к перекладине виселицы. Одет он был в лохмотья, без сапог, в белых чулках. За телегой, прикованный к ней за шею тоже цепью, шел Фрол Разин.

Телегу везли три одномастных (вороных) коня.

За телегой, чуть поодаль, ехали верхами донские казаки во главе с Корнеем и Михайлой Самарениным.

Заключали небывалое шествие тоже стрельцы с ружьями, дулами книзу.

Степан не смотрел по сторонам. Он как будто думал одну какую-то большую думу, и она так занимала его, что не было ни желания, ни времени видеть, что творится вокруг.

Так ввезли их в Кремль и провели в Земской приказ.

И сразу приступили к допросу. Царь не велел мешкать.

— Ну? — мрачно и торжественно молвил думный дьяк. — Рассказывай... Вор, душегубец. Как все затевал?.. С кем сговаривался?

— Пиши, — сказал Степан. — Возьми большой лист и пиши.

— Чего писать? — изготовился дьяк.

— Три буквы. Великие. И неси их скорей великому князю всея-всея.

— Не гневи их, братка! — взмолился Фрол. — К чему ты?

— Что ты! — притворно изумился Степан. — Мы же у царя!.. А с царями надо разговаривать кратко. А то они гневаются. Я знаю.

Братьев свели в подвал.

За первого принялись за Степана.

Подняли на дыбу: связали за спиной руки и свободным концом ремня подтянули к потолку. Ноги тоже связали, между ног просунули бревно, один конец которого закрепили. На другой, свободный, приподнятый над полом, сел один из палачей — тело вытянулось, руки вывернулись из суставов, мускулы на спине напряглись, вздулись.

Кнутовой мастер взял свое орудие, отошел назад, замахнул кнут обеими руками над головой за себя, подбежал, вскрикнул и резко, с вывертом опустил смоленый кнут на спину. Удар лег вдоль спины бурым рубцом, который стал напухать и сочиться кровью. Судорога прошла по телу Степана. Палач опять отошел несколько назад, опять подскочил и вскрикнул — и второй удар рассек кожу рядом с первым. Получилось, будто вырезали ремень из спины. Мастер знал свое дело. Третий, четвертый, пятый удар... Степан молчал. Уже кровь ручейками лилась со спины. Сыромятный конец ремня размяк от крови, перестал рассекать кожу. Палач сменил кнут.

— Будешь говорить? — спрашивал дьяк после каждого удара.

Степан молчал.

Шестой, седьмой, восьмой, девятый — свистящие, влипающие, страшные удары. Упорство Степана раззадорило палача. Умелец он был известный и тут озлобился. Он сменил и второй кнут.

Фрол находился в том же подвале, в углу. Он не смотрел на брата. Слышал удары кнута, всякий раз вздрагивал и крестился. Но он не слышал, чтобы Степан издал хоть один звук.

Двадцать ударов насчитал подручный палача, сидевший на бревне.

— Двадцать. Боевой час, — сказал он. — Дальше... без толку: забьем, и все.

Степан был в забытьи, уронив голову на грудь. На спине не было живого места. Его сняли, окатили водой. Он глубоко вздохнул.

Подняли Фрола.

После трех-четырех ударов Фрол громко застонал.

— Терпи, брат, — серьезно, с тревогой сказал Степан. — Мы славно погуляли — надо потерпеть. Кнут не архангел, душу не вынет. Думай, что не больно. Больно, а ты думай: «А мне не больно». Что это? — блоха укусила, ей-богу! Они бить-то не умеют.

После двенадцати ударов Фрол потерял сознание. Его сняли, бросили на солому, окатили тоже водой.

Стали нажигать в жаровнях уголья. Нажгли, связали Степану руки спереди теперь, просунули сквозь ноги и руки бревно, рассыпали горячие уголья на железный лист и положили на них Степана спиной.

— О-о!.. — воскликнул он. — От эт достает! А ну-ка, присядь-ка на бревно-то — чтоб до костей дошло... Так! Давненько в бане не был — кости прогрелись. О-о... так! Ах, сукины дети, — умеют, правда...

— Где золото зарыл? С кем списывался? — вопрошал дьяк. — Где письма? Откуда писали?..

— Погоди, дьяче, дай погреюсь в охотку! Ах, в гробину вас!.. В три господа бога мать, не знал вперед такой бани — погрел бы кой-кого... Славная баня!

Ничего не дала и эта пытка.

Два палача и сам дьяк принялись бить лежащего Степана по рукам и по ногам железными прутьями.

— Будешь говорить?! — заорал дьяк.

— Июды, — сказал Степан. — Бейте уж до конца... — он и хотел уж, чтоб забили бы насмерть тут, в подвале, — чтобы только не выводили на народ такого... слабого.

— Где добро зарыл?

На это Степан молчал.

— Заговорил? — спросил царь.

— Заговорит, государь! — убежденно сказал думный дьяк, не тот, что был при пытке, а другой, который часто проведывал Разиных в подвале: он истинно веровал в кнут и огонь. — Покамест упорствует.

— Спросить, окромя прочего: о князе Иване Прозоровском и о дьяках. За что побил и какая шуба?

Писец быстро записывал вопросы царя.

— Как пошел на море, по какому случаю в Астрахань ясырь присылал? Кому? По какому умыслу, как вина смертная отдана, хотел их побить и говорил? За что вселенских хотел побить, что они по правде низвергли Никона, и что он к ним приказывал? И старец Сергей от Никона по зиме нынешней прошедшей приезжал ли? Как иттить на Синбирск, жену видал ли?

Степана привязали спиной к столбу, заклячили голову в кляпы, выбрили макушку и стали капать на голое место холодную воду по капле. Этой муки никто не мог вытерпеть.

Когда стали выбривать макушку, Степан слабым уж голосом сказал:

— Все думал... А в попы постригут — не думал. Я грабил, а вы меня — в попы...

Началось истязание водой.

— С крымцами списывался? — спрашивал дьяк.

Степан молчал.

Капают, капают, капают капли... Голова стянута железными обручами — ни пошевелить ею, ни уклониться от муки. Лицо Степана окаменело. Он закрыл глаза. А на голове куют и куют красную подкову; горит все внутри, глаза горят, сердце горит и пухнет... Да уж и остановилось бы оно, лопнуло! Господи, немо молил Степан, да пошли ты смерть!.. Ну, сколько же?.. Зачем уж так?

— Куда девал грабленое? Кого подсылал к Никону?

Волнами из тьмы плещет красный жар; голова колется от оглушительных ударов. Степан стал терять сознание.

— Чего велел сказать Никон? — еще услышал он, последнее.

...Вошел Степан в избу, сидит в избе старуха, качает дите. Поет. Степан стал слушать, прислонившись к косяку. Бабка пела:

Бай, бай, да побай,
Хоть сегодни помирай.
Помирай поскорей —
Хоронить веселей.
Тятька с работки
Гробок принесе,
Баушка у свечки рубашку сошье.
Матка у печки

Блинов напеке.
Бай, бай...
С села понесем
Да святых запоем.
Да с могилы прочь пойдем.
Будем исть-поедать,
Да и Ваню поминать.
Ба-ай...

— Что ж ты ему такую... печальную поешь? — спросил Степан.

— Пошто печальную? — удивилась старуха. — Ему лучше будет. Хорошо будет. Ты не дослушал, дослушай-ка:

Спи, Ванюшка, спи, родной,
Вечный табе упокой:
Твоим ноженькам тепло,
И головушке...

— Хватит! — загремел в былую силу Степан.

...Он почти прошептал этот свой громовой вскрик. Мучители не расслышали, засуетились.

— Что ты? А? — склонился дьяк.

— Кто? — спросил Степан, вылавливая взглядом в горящей тьме лицо дьяка.

— Кого хотел сказать-то? — еще спросил тот.

— Вам? — Степан медленно повел глазами, посмотрел на палачей. — Ну-у... выставились... Вы рады всю Русь продать... Июды. Змеи склизкие. Не страшусь вас...

Его ударили железом каким-то по голове. Опять все покачнулось и стало валиться.

Степан закрыл глаза. И вдруг отчетливо сказал:

— Тяжко... Помоги, братка, дай силы!

...И вдруг, почудилось ему, палачи в ужасе откачнулись, попятились... В подземелье загремел сильный голос:

— Кто смеет мучить братов моих?!

Вниз со ступенек сошел Иван Разин, склонился над Степаном.

— Братка!.. — Степан открыл глаза — палачи на месте, смотрят вопросительно.

— За брата казненного метиться хотел? — спросил дьяк. — Так?

Степан закрыл глаза. Больше он не проронил ни слова. Ни единого стона или вздоха не вырвалось больше из его

уст. Господи, молил и молил он, пока помнил, да пошли ты мне смерти. Ну что же так?.. Так уж и я не могу.

Царю доложили:

— Ничего больше не можно сделать. Все пробовали...

— Молчит?

— Молчит.

Царь гневно затопал ногами, закричал (Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали);

— Чего умеете? Чего умеете?! Ничего не умеете!

— Все пробовали, государь... Из мести уперся, вор. За поимку свою метится. Дальше без толку — дух испустит.

— Ну, и... все, будет, — сказал царь. — Не волыньте.

17

Красная площадь битком набита. Яблоку негде упасть.

Показались братья Разины под усиленной охраной. Площадь замерла.

Степан шел впереди... За ночь он собрал остатки сил и теперь старался идти прямо и гордо глядел вперед. Больше у него ничего не оставалось в последней, смертной борьбе с врагами — стойкость и полное презрение к предстоящей последней муке и к смерти. То и другое он вполне презирал. Он был спокоен и хотел, чтобы все это видели. Его глубоко и больно заботило — как он примет смерть.

Сам, без помощи палачей, взошел он на высокий помост лобного места. Фролу помогли подняться.

Дьяк стал громко вычитывать приговор:

— *«Вор и богоотступник, и изменник донской казак Стенька Разин!*

В прошлом 175-м году, забыв ты страх божий и великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича крестное целование и его государскую милость, ему, великому государю, изменил, и собрався, пошел з Дону для воровства на Волгу. И на Волге многие пакости починил, и патриаршие и монастырские насады, и иные многих промышленных людей насады ж и струги на Волге и под Астраханью погромил и многих людей побил».

Слушал люд московский затаив дыхание.

Слушал и не слушал Степан историю славных своих походов. Он помнил их без приговора. Спокойно его лицо и задумчиво. Он старался изо всех сил стоять прямо.

— *«Ты ж, вор, и в шахове области многое воровство учинил. А на море шаховых торговых людей побивал и животы грабил, и городы шаховы поймал и разорил, и тем у великого государя с шаховым величеством ссору учинил многую».*

Степан посмотрел на царскую башню на Кремлевской стене...

Оттуда смотрел на него царь Алексей Михайлович.

— *«А во 177-м году по посылке из Астрахани боярина и воевод князя Ивана Семеновича Прозоровского стольник и воевода князь Семен Львов и с ним великого государя ратные люди на взморье вас сошли и обступили и хотели побить. И ты, вор Стенька с товарыщи, видя над собой промысл великого государя ратных людей, прислал к нему, князь Семену, двух человек выборных казаков. И те казаки били челом великому государю от всего войска, штоб великий государь пожаловал, велел те ваши вины отдать. А вы за те свои вины ему, великому государю, обещались служить безо всякой измены и меж великим государем и шаховым величеством ссоры и заводов воровских никаких нигде не чинить и впредь для воровства на Волгу и на моря не ходить. И те казаки на том на всем за все войско крест целовали. А к великому государю к Москве прислали о том бить челом великому государю казаков Ларьку и Мишку, с товарыщи, знатно, обманом».*

Вот когда во всю силушку заговорила бумага-то! Вот как она мстила теперь.

— *«А во 178-м году ты ж, вор Стенька с товарыщи, забыв страх божий, отступя от святые соборные и апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на Дону церквей божиих ставить и никакова пения петь не велел, и священников з Дону збил, и велел венчаться около вербы. Ты ж, вор, пошел на Волгу...»*

Волга... Неведомо ей, что славный герой ее, которого она качала на волне своей, слушает сейчас в Москве последние в жизни слова себе.

— *«Ты ж, вор Стенька, пришед под Царицын, говорил царицынским жителям и вместил воровскую лесть, бутто их, царицынских жителей, ратные великого государя люди идут*

сечь. А те ратные люди посланы были на Царицын им же на оборону. И царицынские жители по твоей прелести своровали и город тебе сдали. И ты, вор, воеводу Тимофея Тургенева и царицынских жителей, которые к твоему воровству не пристали, побил и посажал в воду».

Слушал народ московский. Молчал.

— *«Ты ж, вор, сложась в Астрахани с ворами ж, боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского, взяв из соборной церкви, с раскату бросил. И брата его князя Михаила, и дьяков, и дворян, и детей боярских, которые к твоему воровству не пристали, и купецких всяких чинов астраханских жителей, и приезжих торговых людей побил, а иных в воду пометал мучительски, и животы их пограбил». Степан смотрел куда-то далеко-далеко.*

— *«А учиня такое кровопролитие, из Астрахани пришел к Царицыну, а с Царицына к Саратову, и саратовские жители тебе город здали по твоей воровской присылке. А как ты, вор, пришел на Саратов, и ты государеву денежную казну и хлеб и золотые, которые были на Саратове, и дворцового промыслу, все пограбил и воеводу Козьму Лутохина и детей боярских побил.*

А от Самары ты, вор и богоотступник, с товарыщи под Синбирск пришел, с государевыми ратными людьми бился и к городу Синбирску приступал и многие пакости починил. И послал в разные города и места свою братью воров с воровскими прелестными письмами, и писал в воровских письмах, бутто сын великого государя нашего благоверный государь наш царевич и великий князь Алексей Алексеич жив и с тобой идет.

Да ты ж, вор и богоотступник, вмещал всяким людям на прелесть, бутто с тобою Никон монах, и тем прельщал всяких людей. А Никон монах по указу великого государя по суду святейших вселенских патриарх и всего Освещенного престола послан на Белоозеро в Ферапонтов монастырь, и ныне в том монастыре.

А ныне по должности к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу службой и радением войска Донского атамана Корнея Яковлева и всево войска и сами вы и с братом твоим с Фролкой пойманы и привезены к великому государю к Москве.

И за такие ваши злые и мерзкие пред господом богом дела и к великому государю царю и великому князю Алексею Михай-

ловичу за измену и ко всему Московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить злою смертью — четвертовать».

Все так же спокойно, гордо стоял Степан.

Палач взял его за руку... Степан оттолкнул палача, повернулся к храму Василия Блаженного, перекрестился.

Потом поклонился на три стороны народу (минуя Кремль с царем), трижды сказал громко, как мог:

— Прости!

К нему опять подступили... Степан хотел лечь сам, но двое подступивших почему-то решили, что его надо свалить; Степан, обозлившись, собрал остатки сил и оказал сопротивление. Возня была короткая, торопливая; молча сопели. Степана уронили спиной на два бруса — так, что один брус оказался под головой, другой — под ногами... В тишине тупо, коротко тяпнул топор — отпала правая рука по локоть. Степан не издал стона, только удивленно покосился на отрубленную руку. Палач опять взмахнул топором; железное лезвие хищно всплеснуло на горячем солнце белым огнем; смачный, с хрустом, стук — отвалилась левая нога по колено. И опять ни стона, ни вздоха громкого... Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо. Он был бледен, на лбу мелкой росой выступил пот.

Фрол, стоявший в трех шагах от брата, вдруг шагнул к краю помоста и закричал в сторону царя:

— Государево слово и дело!

— Молчи, собака! — жестко, крепко, как в недавние времена, когда надо было сломить чужую волю, сказал Степан. Глотнул слюну и еще сказал — тихо, с мольбой, торопливо: — Потерпи, Фрол... родной... Недолго.

Палач третий раз махнул топором...

Гулко, зевласто охнул колокол. Народ московский дрогнул. Вскрикнула какая-то баба...

Палач рубил еще дважды.

Еще и еще били в большой колокол. И зык его — густой, тяжкий — низко плыл над головами людей...

Публицистика

«МЕНЯ ДАВНО ПРИВЛЕКАЛ ОБРАЗ...»

Меня давно привлекал образ русского национального героя Степана Разина, овеянный народными легендами и преданиями. Последнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, посвященными восстанию Разина, причинам его поражения, страницам сложной и во многом противоречивой жизни Степана. Я поставил перед собой задачу: воссоздать образ Разина таким, каким он был на самом деле.

Сейчас я завершаю работу над сценарием двухсерийного цветного широкоформатного фильма о Степане Разине и готовлю материалы для романа, который думаю завершить к трехсотлетию разинского восстания. А несколько раньше на экраны выйдет фильм, к съемкам готорого я думаю приступить летом 1967 года.

Каким я вижу Разина на экране? По сохранившимся документам и отзывам свидетелей представляю его умным и одаренным — недаром он был послом Войска Донского. Вместе с тем поражают противоречия в его характере. Действительно, когда восстание было на самом подъеме, Разин внезапно оставил свое войско и уехал на Дон — поднимать казаков. Чем было вызвано такое решение? На мой взгляд, трагедия Разина заключалась в том, что у него не было твердой веры в силы восставших.

Мне хочется в новом фильме отразить минувшие события достоверно и реалистично, быть верным во всем — в большом

и малом. Если позволят здоровье и сила, надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина.

СТЕПАН РАЗИН: ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ

Беседа с корреспондентом «Литературной газеты» И.Гуммером

Три с лишним месяца путешествий по северу и югу страны... Вологда, Псков, Кострома... Кирилло-белозерский, Печорский, Ипатьевский, Ферапонтов монастыри... Астрахань, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, берега Дона... И вот творческая группа фильма «Я пришел дать вам волю» («Степан Разин») — в Волгограде. Впрочем, в самом городе застать группу можно было разве что глубокой ночью — с рассветом и дотемна исхаживают в буквальном смысле этого слова окрестности Волгограда, берега Волги, близкие и далекие станицы и села сценарист и постановщик фильма В.Шукшин, оператор А.Заболоцкий, художник П.Пашкевич, директор Г.Шолохов. Ну что же, ночь так ночь.

— Читатель и зритель знают вас, Василий Макарович, как художника, творчество которого связано самым тесным образом с современностью.Как случилось, что Вы вдруг обратились к далекой исторической теме?

— Не вдруг. В «Степане Разине» меня ведет та же тема, которая началась давно и сразу, — российское крестьянство, его судьбы. На одном из исторических изломов нелегкой судьбы русского крестьянства в центре был Степан Разин. Потому — Разин. К истории я уже обращался в романе «Любавины». То была первая попытка, не столь сложная по материалу и не столь далекая по времени: в «Любавиных» речь шла о начале 20-х годов нашего века. Но тема та же, и не случайно: я по происхождению крестьянин.

Как только захочешь всерьез понять процессы, происходящие в русском крестьянстве, так сразу появляется непреодолимое желание посмотреть на них оттуда, издалека. И тогда-то возникает глубинная, нерасторжимая, кровная связь — Степан Разин и российское крестьянство. Движение Разина — не «понизовая вольница», это крестьянское движение, крестьянским соком питавшееся, крестьянскими головами и крестьянской кровью оплаченное. И не случайно все движение названо «второй крестьянской войной».

Не менее глубокой проблемой был для меня и сам Степан Разин. Кто он, что он, какой он — не внешне, а по сути своей, по глубине — на это надо отвечать.

С высоты 300 лет фигура Разина гораздо сложнее, объемнее, противоречивее. В своем неудержимом стремлении к свободе Разин абсолютно современен, созвучен нашим дням. При всем том он остается человеком своего века. И не хочется сглаживать, вытаскивать его оттуда в наше время.

— Как известно, о Разине писали Чапыгин и Злобин, до войны был фильм с Абрикосовым в главной роли...

— Добавьте еще ленту 1908 года «Понизовая вольница» — первый художественный фильм на Руси. Но та, пожалуй, вовсе не в счет. Только обратите внимание: первый художественный фильм — о Разине.

В смысле фактологическом дать что-либо новое о Степане Разине почти невозможно. О нем меньше известно, чем о Болотникове или Пугачеве. Правда, недавно вышел в свет объемистый многолетний труд Академии наук, в котором собраны все документы о Разине. Но и тут, к сожалению, не так много нового. В художественных произведениях неизбежны домыслы. Мои домыслы направлены в сторону связи донцов и крестьянства. Я высоко ценю прежние произведения о Разине, особенно роман Чапыгина, хорошо их знаю и не сразу отважился на собственный сценарий и роман — да, и роман — он будет печататься в журнале «Сибирские огни». Успокаивает и утверждает меня в моем праве вот что: пока народ будет помнить и любить Разина, художники снова и снова будут к нему обращаться, и каждый по-своему будет решать эту необъятную тему. Осмысление этого сложного человека, его дела давно началось и на нас не закончится.

Но есть один художник, который создал свой образ вождя восстания и которого нам — никогда, никому — не перепрыгнуть, — это народ. Тем не менее, каждое время в лице своих писателей, живописцев, кинематографистов, композиторов будет пытаться спорить или соглашаться, прибавлять или запутывать — кто как сможет — тот образ, который создал народ...

— Будут ли использованы в фильме произведения народного творчества?

— Я не пытаюсь тягаться с народным творчеством — невозможно, исключено. Разин — любимый герой народа, и тут ничего нельзя отнять. Тут ничего не могла поделать даже церковь, 250 лет подряд ежегодно проклинавшая Разина. Да я и не собираюсь отнимать, напротив, мне охота прибавить. И все же возникнет неожиданность вот какого плана: в фильме Разин, вопреки народным преданиями, не будет богатырем. Мы идем на это сознательно и продуманно.

Хочется адресоваться не просто к Разину-атаману, а к его разуму человека очень непростого: оторвать бы Разина от (это странно, но только на первый взгляд) стихийности движения, от вольницы. И прежде всего — показать Разина не «царистом», не человеком, ищущим доброго царя, как это трактовалось одно время, а демократом, который был много выше своих современников. Он только играл на «царистских» струнах тех, кто шел за ним, искусно играл. Но из песни слова не выкинешь. Народное творчество о Разине не обойдешь. Как, например, миновать эпизод с княжной? Убрать его из фильма — нам этого не простят. Значит, пусть будет княжна, но решить этот эпизод надо походя — не в нем дело.

— Как вы определяете жанр будущего фильма?

— Прежде всего не одного, а трех фильмов со сквозным героем, а жанр — это трагедия чистой воды, трагедия Разина, который, подняв крестьян на освободительную войну, не понял, что крестьяне и есть сила, могущая привести к победе. После серьезного отпора под Симбирском он оставил

мужиков и кинулся на Дон. Сила осталась без вождя, и она расплылась. И восстание закончилось топором палача. Но величие Разина в том, что он вместе со всеми принял этот удар топора. Вот почему его никогда не забудет народ.

— Что дали вам предварительные поездки и почему, кстати, вы были на севере Родины?

— С Севером связаны герои фильма. В частности, Никон и царь Алексей Михайлович, которые мало, но будут в фильме. Кроме того, мы были на Севере, чтобы напитаться истинной русской речью, которая, конечно же, отличается от XVII века, но хоть как-то сохранилась еще в тех местах. А Дон и Волга — это места непосредственных разинских событий, правда, изменились они так, что ничего даже приблизительного нет,особенно Волга. Придется строить Царицинскую и Симбирскую крепости, поселения, городки. Но все же сами реки, их удивительная судьба, многострадальная, связанная с судьбой народа, уже дает определенный настрой. К примеру, Волгоград. Город на большой дороге России, который никто никогда не обходил, город, столько выдержавший... Вольнолюбивый дух его жителей восходит еще к разинским временам, когда они первыми открыли ворота Разину на его мятежном пути. встретили его хлебом-солью, верой и правдой служили крестьянскому вождю. Вспоминая прошлое Волги и Дона — героическое, большое, широкое, — лучше понимаешь стойкость народа и в минувшую войну, принесшую славу городу на Волге.

— Как скоро, Василий Макарович, зрители увидят фильм?

— Нескоро. Работа предстоит сложная, большая, рассчитанная на три года. Одних только костюмов надо сшить семь тысяч. А сколько еще не выясненных вопросов! Сейчас мы пока выбираем натуру, подбираем иконографический материал — старинные рисунки, документы, описательную часть. Большие надежды возлагаем на помощь населения, специалистов, историков,знатоков старины, работников музеев. Кстати, такую помощь мы уже почувствовали в Астрахани и особенно в Новочеркасском музее истории донского казачества.

— И последний, традиционный вопрос: кто будет исполнять главные роли? Не увидим ли мы вас в одной и них, может быть, самой главной?

— Ничего об исполнителях пока сказать не могу, хотя кого-то мысленно вижу.

НАПИСАНО О РАЗИНЕ МНОГО

Написано о Разине много. Однако все, что мне удалось читать о нем в художественной литературе, по-моему, слабо. Слишком уж легко и привычно шагает он по страницам книг: удалец, душа вольницы, заступник и предводитель голытьбы, гроза бояр, воевод и дворянства. Все так. Только все, наверно, не так просто (сознаю всю ответственность свою после такого заявления. Но — хоть и немного документов о нем, — они есть, и позволяют увидеть Степана иначе).

Он — национальный герой, и об этом, как ни странно, надо «забыть». Надо освободиться от «колдовского» щемящего взора его, который страшит и манит через века. Надо по возможности суметь «отнять» у него прекрасные легенды и оставить человека. Народ не утратит Героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. Натура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другого быть не могло. И вместе с тем — человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый. Стихийность стихийностью... В 17-м веке она на Руси никого не удивляла. Удивляет «удачливость» Разина, столь долго сопутствующая ему (вплоть до Симбирска). Непонятны многие его поступки: то хождение в Соловки на богомолье, то через год — меньше — он самолично ломает через колена руки монахам и хулит церковь. Как понять? Можно, думаю, если утверждать так: он умел владеть толпой (позаимствуем это слово у старинных писателей). Он, сжигаемый одной страстью, — «тряхнуть Москву», шел на все:

таскал за собой в расписных стругах «царевича Алексея Алексеевича» и «патриарха Никона» (один в это время покоился в земле, другой был далеко в изгнании)... Ему нужна была сила, он собирал ее, поднимал и вел. Он был жесток, не щадил врагов и предателей, но он и ласков был, когда надо было. Если он мстил (есть версия, что он мстил за брата Ивана), то мстил широко и страшно, и он был истый борец за Свободу и предводитель умный и дальновидный. Позволю себе некий вольный домысел: задумав главное (вверх, на Москву), ему и Персия понадобилась, чтобы быть к тому времени в глазах народа батюшкой Степаном Тимофеевичем (на Персию и до него случались набеги. И удачные). Цель его была: на Москву; но повести за собой казаков, мужиков, стрельцов должен был свой, батюшка, удачливый, которого «пуля не берет». Он стал таким.

Почему «Конец Разина»? Он весь тут, Степан: его нечеловеческая сила и трагичность, его отчаяние и непоколебимая убежденность, что «тряхнуть Москву» надо. Если бы им двигали только честолюбивые гордые помыслы и кровная месть, его не хватило бы ни до Симбирска, ни до Москвы. Его не хватило бы до лобного места. Он знал, на что шел. Он не обманывался. Иногда только обманывал во имя святого дела Свободы, которую он хотел утвердить на Руси.

Фильм предполагается двухсерийный, широкоэкранный, цветной.*

ТАКИМ ОН ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬСЯ

I Фильм

Конец персидского похода. Искусство Разина — политика и дипломатия в момент, когда он проводит уставшее войско через Астрахань, сохраняет оружие и награбленное богатство. Не доводит дело до ссоры с царем, уходит на Дон, окапывается на острове Кагальнике, сохраняя войско, накапливая силы за счет беглых с Руси, ждет весны. Все пони-

мают, что он поднимается — куда пойдет, никто не знает и сам он сохраняет это в глубокой тайне. Связкой между I и II фильмами служит сложная автономная сцена в Ферапонтовом монастыре с опальным митрополитом Никоном, который письмом предупреждает царя о том, что на Руси, на Юге, собирается грозная сила.

II Фильм

Весна. Начало второго основного похода Степана. Соединение с Усом. Начало восстания. Взятие Царицына, Астрахани. Движение вверх по Волге, Симбирск. Сражение с кн. Барятинским. Ночной штурм Симбирска. Разин отходит. Бросается на Дон, в надежде поднять донцов и более организованно и мощно продолжить начатое дело. Завершить второй фильм трагическим моментом, когда Разин вынужден оставить мужиков в надежде быстро поднять и привести новую силу. Фактически разгром восстания, который так и не дошел до сознания основных действующих лиц (исключая Матвея Иванова).

III Фильм

Наиболее эмоционально насыщенная часть трилогии, где Разин в безуспешных попытках поднять Дон, снова привести в движение силы, на которые он очень надеется, где Разин — особенно дорог, как предводитель восстания, как человек. Именно здесь Разин осознает крах начатого им дела и как герой истинно народный идет разделить участь с теми, кого он повел на справедливую битву. Пленение Разина. Москва. Царь. Попытки сломить вождя восстания. Эшафот. Главный момент в решении образа Разина: на экране человек, не устрашенный предстоящей смертью, а полный любви и сострадания к простым лицам, которых он вынужден оставить...

Таким он должен запомниться.

«НАДО ИМЕТЬ МУЖЕСТВО...»

Мне бы хотелось сказать,* поскольку этот Художественный совет достаточно высокий, о нашей художественной практике, в частности, о той поре короткой сценарной жизни, когда решается вопрос: быть или не быть фильму.

Чтобы быть конкретным, я сошлюсь на свой опыт — пусть это не прозвучит жалобой. Я просто в данном случае смогу быть более точным.

Я знаю и чувствую, что такую пору переживает всякий сценарист и всякий режиссер, если он близко и кровно переживает за эту работу, а не просто относится к нему как к очередной работе.

Когда сценарий написан — его начинают обсуждать. И тут начинается очень горькая пора, потому что я, как сценарист, не могу понять, с кем мне предстоит иметь дело всерьез и достаточно полномочно. Я понимаю, что, если государство дает деньги, тем более большие деньги, оно хочет быть спокойным, что фильм будет интересным и нужным. Но у меня интересы такие же. Если режиссер на Западе имеет дело с продюсером, с одним конкретным человеком, то у нас в данном случае, у меня, государство размножилось на десятки людей. Все принимают участие в сценарии, но человека, который бы решал его судьбу, такого одного человека нет.

Если бы я собрал сведения, которые говорились по поводу моего сценария, то его надо было бы выкинуть и писать новый сценарий. Но я честно говорю — я не понимаю, где тот человек, который оставит меня или посоветует и скажет, чтобы я взялся за такую-то доработку (в том случае, если я ему поверю).

Но вот тот случай, о котором мне хочется говорить, — насколько мы правы и ответственны в отстаивании своей точки зрения. Я об этом говорю и как коммунист.

Написан сценарий, который рецензировался, поскольку он на историческую тему, четырьмя докторами исторических наук. Я не прячусь за них, я понимаю их функцию. Но это от отчаяния получается, когда я говорю, что читали че-

тыре доктора наук, и они говорят, что правильно и хорошо. Мне просто кидаться больше некуда. Когда мне говорят, что это не так, то я невольно за них прячусь, хотя я понимаю, что они от природы кинематографа дальше, чем те люди, с которыми я непосредственно разговариваю. Поэтому я не могу обрести покой, когда встает вопрос об ответственности за большую работу, за большие деньги. Я не могу найти одного человека, потому что их 10—20. Я в отдельном случае понимаю каждого человека, но как мне быть? Что же делать, если я в некоторых вопросах категорически не согласен? Вот, например, по вопросу о жестокости Разина.

Это высокая трибуна, и я тоже хочу мыслить высокими категориями. Я подумал: а в чем же жизнестойкость образа Христа, если он работает столько времени? Это к вопросу о жестокости Образа. Ведь Христос был очень жестокий человек. Когда я впервые прочитал, что он своей матери сказал: а что у нас общего, — то, в сущности, он же оттолкнул ее. Но странным, чудовищным образом это становится ужасно жизненным. Это страшная сила, и это случилось потому, что авторы об этом учителе, пророке вдруг позволили себе так сказать и привнести такие черты в этот образ: когда мать отталкивается даже и по каким-то соображениям высокой миссии. Тем не менее, четыре автора на это пошли. Вот в чем страшная сила искусства, которая работает много веков, если не как бог, то как литературный образ.

А как же Разин? Если этот день свободы на Руси занимался в кровавое утро, то как же отнять у него жестокость? Мы ссылаемся на песню, а ведь в песне поется, какой он сногсшибательный, как он бросил женщину за борт, утопил. Что тут случается с народом, я не берусь говорить, потому что не очень силен в истории. Но ведь что-то же происходит с народом, со слушателями, с исполнителями этой песни, но народ же не может не ощущать, что он бросил за борт женщину неповинную.

И вот мы, художники-коммунисты, должны делать свое искусство так, чтобы оно служило нашим идеям, чтобы оно было убедительным. А мы половиной создаваемых образов не работаем, работаем впустую, потому что они не трогают ни сознания, ни умы, ни души.

Поэтому с точки зрения человечества и нашей коммунистической идеологии я бы хотел говорить ясные вещи: если

мы создаем образ, то он должен быть очень правдивым и действенным. Вот вроде бы сделали и успокоились. Но надо иметь мужество пойти и посмотреть, как этот образ работает, надо посидеть в аудитории, посмотреть и послушать. Нельзя делать картину об истории России и быть равнодушным и спокойным. Я бы, например, делая фильм о Пугачеве, не отнял бы у него особенность, какую он проявил на допросе, когда он выпрашивал милости и сохранения жизни. Тогда был бы не весь Пугачев, этот образ был бы неполным. И надо иметь мужество выходить с этим. Мы же говорим о своем народе, который нас понимает и нам верит, и поэтому не надо его обкрадывать, вот, мол, мы знаем, а вам широко об этом же не скажем. Это ведь понимают и чувствуют.

Мне понятна была тоска Каплера, когда он вчера заговорил о сценаристах.

Писатели боятся кинематографа. Я уговорил двух писателей написать сценарии — Горышина и Белова. Они написали, но не «пробили» их, и они пропали. Что происходит? Сценарий написан. А дальше начинается сложная неожиданная жизнь этого сценария. Про это все знают и этого боятся. Потому что, если я написал роман, я прихожу в редакцию, отдаю рукопись, и мне говорят: месяц на чтение — и скажут «да» или «нет».

Хороший писатель знает, как бывает в кинематографе, и боится. А плохой знает и не боится. Ему тут раздолье. Много людей и нет ни одной ответственной инстанции. И ему легче жить. Честный и талантливый человек не станет бегать. Он менее подвижен. А подвижен тот, кто подвижен... *(Оживление в зале.)*

Я готов говорить про «Разина». Много приходится говорить. Вот я говорю с Герасимовым. Но я знаю, что повыше его есть. А это художественный руководитель объединения, где я работаю. Мне бы остановиться здесь. Но это еще не все. А где все? Этого я не могу ощутить. Где конец этого дела? *(Оживление в зале.)*

В данном случае, Борис Владимирович, что делать мне, если с Вами не согласен? Как тут быть? Не делать фильм? Жалко. Я четыре года потратил на это дело. А свои права я не очень ощущаю. Товарищ Иванов говорил, что Кира

Муратова видит и не видит. А вот соберется другая аудитория, и Кира Муратова то же самое скажет про Вас...

(С.П.Иванов: Может быть.)

Так где же мы соприкасаемся, кто нас сводит и кому мы верим? Мы верим партии все, и я верю.

Но много людей. И неопределенные разговоры. Я стал собирать и выписывать эпизоды, который каждый советует выкинуть. И уж половины сценария нет. А еще не было Художественного совета на киностудии им. Горького. А если все это выкинуть, тогда нет ни сценария, ни фильма.

ЗАСТУПНИК НАЙДЕТСЯ

Что тут сказать. Был я в Астрахани — собирал материал, готовился к фильму о Разине. К сожалению, раззвонил я об этом — о будущем фильме — широко (помогли корреспонденты), а дела пока нет. Пользуюсь случаем, отвечу разом всем, кто пишет лично мне и тоже спрашивает о фильме: нет, пока фильм не делается. Причина? Одна из них такая: у моего кинематографического руководства есть сомнения в правильности решения мной образа Степана Разина в сценарии. А так как постановка такого фильма — это деньги, и немалые, то, значит, и вопрос стоит серьезно. Теперь к письму (поначалу, как взял письмо, у меня даже пальцы слегка задрожали — подумал: уже не известно ли кому о Разине что-то такое, чего никто не знает?). С удовольствием отвечаю Вам.

Мне вспомнилась одна встреча на Дону. Увидел я на пристани в Старочеркасске белобородого старца, и захотелось мне узнать: как он думает про Степана? Спросил. «А чего ты про него вспомнил? Разбойник он... Лихой человек. И вспоминать-то его не надо». Так сказал старик. Я оторопел: чтобы на Дону и так... Но потом, когда спокойно подумал, понял. Работала на Руси и другая сила — и сколько лет работала! — церковь. Она, расторопная, прокляла Разина еще живого и проклинала 250 лет ежегодно, в великий пост. Это

огромная работа. И она-то, эта действительно огромная работа, прямиком наводит на мысль: как же крепка благодарная память народа, что даже такие мощные удары не смогли пошатнуть *ее,* не внесли и смятения в душу народную — и образ Степана Тимофеевича Разина живет в ней — родной и понятной. Что ж, что старичок не хочет вспоминать? Значит, очень уж усердно бился лбом в поклонах — память отшибло. У меня даже досады на него не нашлось. А как подумаешь, что — ничего же не смогли сделать! — помним, так радостно. Конечно, Разин был не агнец с цветком в руке, рука его держала оружие и несла смерть. Но и мы с той поры крепко запомнили: заступник найдется! Предводитель сыщется. И пусть он будет крепким.

Вы, тов. ... спрашиваете: не имеют ли ученые люди рисунка или чертежа стружка, на котором плавал Степан Разин? Мы нашли такие рисунки... Тоже так же вот искали ученые люди и нашли. Я могу выслать чертеж и фотографии рисунков. Я вышлю. Только зудит на языке спросить: а зачем уж так точно-то?

Ну, будет несколько не так, как надо в музее, ну и что? Тут дороже — как самому захотелось, как бог на душу положит. Странный совет, понимаю, но — подумайте. Резон есть. Точно по рисунку да по чертежу — это как-то сухо, казенно. Но все же — музей да историки! Послушайте, как Шаляпин поет «Из-за острова...» — и делайте. Точно будет. А рисунки я Вам вышлю. Желаю удачи! Если потом пришлете фотографию Вашего стружка, буду благодарен. С уважением Шукшин.

ПРЕДЛАГАЮ СТУДИИ...

Предлагаю студии осуществить постановку фильма о Степане Разине.

Вот мои соображения.

Фильм должен быть двухсерийным; охват событий — с момента восстания и до конца, до казни в Москве. События

эти сами показывают и определяют жанр фильма — трагедия. Но трагедия, где главный герой ее не опрокинут нравственно, не раздавлен, что есть и историческая правда. В народной памяти Разин — заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и прекрасная — с этим бессмысленно и безнадежно спорить. Хотелось бы только изгнать из фильма хрестоматийную слащавость и показать Разина в противоречии, в смятении, ему свойственных, не обойти, например, молчанием или уловкой его главной трагической ошибки — что он не поверил мужикам, не понял, что это сила, которую ему и следовало возглавить и повести. Разин — человек своего времени, казак, преданный идеалам казачества, — это обусловило и подготовило его поражение; кроме того, не следует, очевидно, в наше время «сочинять» ему политическую программу которая в его время была чрезвычайно проста: казацкий уклад жизни на Руси. Но стремление к воле, ненависть к постылому боярству — этим всколыхнул он мужицкие тысячи, и этого у Разина не отнять: это вождь, таким следует его показать. Память народа разборчива и безошибочна.

События фильма — от начала восстания до конца — много шире, чем это можно охватить в двух сериях, поэтому напрашивается избирательный способ изложения их. Главную заботу я бы проявил в раскрытии характера самого Разина — темперамент, свободолюбие, безудержная, почти болезненная ненависть к тем, кто способен обидеть беззащитного, — и его ближайшего окружения: казаков и мужицкого посланца Матвея Иванова. Есть смысл найти такое решение в киноромане, которое позволило бы (но не обеднило) делать пропуск в повествовании, избегать излишней постановочности и дороговизны фильма (неоднократные штурмы городов-крепостей, передвижения войска и т. п.), т. е. обнаружить сущность крестьянской войны во главе с Разиным — во многом через образ самого Разина.

Фильм следует запустить в августе 1974 г. Но прежде, чем будет запуск в режиссерский сценарий, есть прямая целесообразность провести — я бы назвал этот период — подготовку к режиссерскому сценарию. На это потребуется 1,5—2 месяца, 10 тыс. рублей и группа: режиссер, оператор,

художники (два), администратор, фотограф. Целесообразность тут вот в чем:

1) Найдены будут места, где без больших достроечных работ можно снять эпизоды фильма;

2) С учетом этих мест (возможно, целого комплекса объектов: крепостные стены, церкви, приказные палаты, внутренние углы кремлей) можно впоследствии писать режиссерский сценарий. Проще говоря, не искать натуру по режиссерскому сценарию, а предварительно найденная натура в комплексе с минимальной достройкой во многом продиктует в будущем режиссерскую разработку фильма. Это много удешевит фильм;

3) Эта работа не нуждается еще в создании большого съемочного коллектива.

Затем (10 месяцев) — режиссерская разработка и подготовительный период. Если бы работа над фильмом началась в августе 74, то в мае 75 г. — начало съемки. Если съемкам будет предшествовать хорошая подготовка, то за лето (а все события восстания — лето, от весны до осени) можно снять натуру для обеих серий. Зимние месяцы (75—76 годов) — павильоны, в 1976 г. есть реальная возможность фильм закончить.

Но чтобы это произошло, я прошу фильм провести в качестве государственного заказа. Необходимость в этом продиктовывается следующими соображениями:

На местах съемок часто и много придется иметь дело с представителями местных властей (помощь людьми для массовок, съемки в монастырях, кремлях, пустующих храмах, у крепостных стен), без наименования «госзаказ» нам будет сложно, а иногда и невозможно получить разрешения на все это.

Фильм следует снимать на обычный экран с последующим переводом в широкий формат. Это даст гибкость, подвижность, маневренность при съемках в естественных интерьерах, т. е. опять-таки удешевит фильм.

Еще предложения:

Учитывая сложность картины, необходимо иметь двух вторых режиссеров, двух художников-постановщиков с оплатой постановочных в полном размере тем и другим. В

связи с этим следует разрешить мне пригласить для работы над фильмом второго режиссера Острейковскую (с киностудии им. Горького), так как она уже проводила со мной подготовительный период по разинскому фильму в качестве второго режиссера (по актерам), и художника-постановщика Игнатьева (с киностудии «Беларусьфильм») как специфически волжского художника (он сам волгарь), большого знатока тех мест.

Фильм я намерен снимать с оператором Заболоцким.

Из рабочих записей

Логика искусства и логика жизни — о, это разные дела. Логика жизни — бесконечна в своих путях, логика искусства ограничена нравственными оценками людей, да еще людей данного времени.

* * *

Вот рассказы, какими они должны быть:
1. Рассказ — судьба.
2. Рассказ — характер.
3. Рассказ — исповедь.

Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот. В каждом рассказе должно быть что-то *настоящее*. Пусть будет брань, пусть будет пьянка, пусть будет наносная ложь, но где-то и в чем-то — в черте характера, в поступке, в чувстве — проговорилось *настоящее*. И тогда, к концу своей писательской жизни, написав 1000 рассказов, я расскажу наконец о *настоящем человеке*.

А если даже в каком-то рассказе нет ничего от *настоящего*, то там есть — тоска по нему; по настоящему. Тогда — рассказ. Тогда судите. Только не шлепайте значительно губами, не стройте из себя девочек, не делайте вид, что вы проглотили тридцать томов Ленина — судите судом человеческим. Важно, чтоб у вас тоже было что-то от *настоящего*.

* * *

Произведение искусства — это когда что-то *случилось:* в стране, с человеком, в твоей судьбе.

* * *

Самые наблюдательные люди — дети. Потом — художники.

* * *

Я — сын, я — брат, я — отец... Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить.

* * *

Форма?.. Форма — она и есть форма: можно отлить золотую штуку; а можно — в ней же — остудить холодец. Не в форме дело.

* * *

Критическое отношение к себе — вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве и в литературе: сознаешь свою долю честно — будет толк.

* * *

Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость.

* * *

— За что человек не жалеет ни сил, ни средств, ни здоровья?
— За удовольствия. Только в молодости он готов за это здоровье отдать, а в старости — отдать удовольствия за здоровье.

* * *

Не теперь, нет.
Важно прорваться в будущую Россию.

* * *

Те, кому я так или иначе помогаю, даже не подозревают, как они-то мне помогают.

* * *

Ничего, болезнь не так уж и страшит: какое-то время можно будет еще идти на карачках.

* * *

Я воинственно берегу свою нежность. А как больше?

* * *

Никак не могу относиться к массовке равнодушно. И тяжело командовать ею — там люди. Там — вглядишься — люди! Что они делают?!! И никогда, видно, не откажусь смотреть им в глаза.

* * *

Надо заколачивать свой гвоздь в плаху истории (ой-ой-ой!).

* * *

И что же — смерть?
А листья зеленые.
(И чернила зеленые.)

* * *

Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения.

* * *

Нет, литература — это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высокого нравственного порядка.

* * *

Я, как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закуриваю, начинаю работать. Это прекрасно.

* * *

60 строчек журнального текста — почти часть фильма.

* * *

Не могу жить в деревне. Но бывать там люблю — сердце обжигает.

* * *

Сюжет? Это — характер. Будет одна и та же ситуация, но будут действовать два разных человека, будет два разных рассказа — один про одно, второй совсем-совсем про другое.

* * *

Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер.

* * *

Всю жизнь свою рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость. Два из этих раунда надо выиграть. Один я уже проиграл.

* * *

Пробовать писать должны тысячи, чтобы один стал писателем.

* * *

Говорят: писатель должен так полно познать жизнь, как губка напитывается водой. В таком случае наши классики должны были в определенную пору своей жизни кричать: «Выжимайте меня!»

* * *

Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и как будто пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей.

* * *

Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Если она была.

* * *

Во всех рецензиях только: «Шукшин любит своих героев... Шукшин с любовью описывает своих героев...» Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или — не умеют. И то и другое, наверно.

* * *

Почему же позор тем, кто подражает? Нет, слава тем, кому подражают, — они работали на будущее.

* * *

Говорят, когда хотят похвалить: «Писатель знает жизнь». Господи, да кто же ее не знает! Ее все знают. Все знают, и потому различают писателей — плохих и хороших. Но только потому: талантлив и менее талантлив. Или вовсе — бездарь. А не потому, что он жизни не знает. Все знают.

* * *

Надо уважать запятую. Союз «и» умаляет то, что следует за ним. Читатель привык, что «и» только слегка усиливает

то, что ему известно до союза. О запятую он спотыкается... и готов воспринимать дальнейшее с новым вниманием. «Было пасмурно и неуютно». «Было пасмурно, неуютно».

* * *

Самые дорогие моменты:

1. Когда я еще ничего не знаю про рассказ — только название или как зовут героя.

2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только — написать. Остальное — работа.

* * *

Заметил, что иногда — не так часто — не поспеваю писать. И тогда — буковки отдельно и крючками.

* * *

Жалеть... Нужно жалеть или не нужно жалеть — так ставят вопрос фальшивые люди. Ты еще найди силы жалеть. Слабый, но притворный выдумывает, что надо — уважать. Жалеть и значит уважать, но еще больше.

* * *

Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах.

* * *

Что такое краткость? Пропусти, но пусть это будет и дураку понятно — что пропущено. Пропущенное и понятое понимается и радует.

* * *

Угнетай себя до гения.

* * *

Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной.

* * *

Да, я б хотел и смеяться, и ненавидеть, и так и делаю. Но ведь и сужу-то я судом высоким, поднебесным — так называемый простой, средний, нормальный положительный человек меня не устраивает. Тошно. Скучно.

* * *

Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим больше не удивишь.

* * *

Грамматические ошибки при красивом почерке — как вши в нейлоновой рубашке.

* * *

...Вслушайтесь — *искус-ство!* Искусство — так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали «спасибо».

* * *

Самые великие слова в русской поэзии:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом жги сердца людей!»

* * *

Жизнь представляется мне бесконечной студенистой массой — теплое желе, пронизанное миллиардами кровеносных переплетений, нервных прожилок... Беспрестанно

вздрагивающее, пульсирующее, колыхающееся. Если художник вырвет кусок этой массы и слепит человечка, человечек будет мертв: порвутся все жилки, пуповинки, нервные окончания съежатся и увязнут. Но если погрузиться всему в эту животворную массу, — немедленно начнешь — с ней вместе — вздрагивать, пульсировать, вспучиваться и переворачиваться. И умрешь там.

* * *

О лысеющем человеке говорят: — У него волос — на одну драку осталось.

О темном человеке: — Это же двенадцать часов ночи.

* * *

Пятьсот страниц огнедышащей прозы.

* * *

Восславим тех, кто перестал врать.

* * *

Они пока держат его на выпасе. Потом — зарежут. И съедят.

* * *

О Разине. Если в понятие интеллигентности входит болезненная совестливость и способность страдать чужим страданием, он был глубоко интеллигентным человеком.

* * *

Одно дело — летопись, другое дело — «Слово о полку Игореве».

* * *

Когда я долго на одном месте, я себя чувствую, как блоха на зеркале.

* * *

Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии — женщины. Это грустно, но так.

* * *

Сложное — просто, а не простое — сложно.

* * *

Пьяный тоже не умеет твердо ходить, как ребенок. Но ни у кого не возникает желания сравнить его с ребенком. Говорят: как свинья.

* * *

Вот — ласточки: стремительный, капризный лет — играют? Они работают: ловят мошек, которые тоже, наверно, умеют увернуться. А мы — про людей, которые протирают штаны в креслах — работают! Кто?!!

* * *

Говорят: «Надо уметь писать! Не хочется — а ты сядь и пиши. Каждый день пиши!» Не понимаю, зачем это нужно? Кому?

* * *

Россия — Микула Селянинович.

* * *

Иногда, когда не пишется, я подолгу марширую по комнате. Особенно это помогает в гостиницах.

* * *

Оппозиция, да. Не осталась бы от всей оппозиции — одна поза.

* * *

Особенно погано ведут себя литературные критики. Эти не ждут — «Чего изволите?». Этим только покажи — «Кого?».

* * *

Вообще говоря, вырисовывается как будто и теорийка: «СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ». Главное (главную мысль, радость, боль, сострадание) — не акцентировать, давать вровень с неглавным. Но — умело давать. Работать под наив.

* * *

Все время живет желание превратить литературу в спортивные состязания: кто короче? Кто длинней? Кто проще? Кто сложней? Кто смелей? А литература есть ПРАВДА. Откровение. И здесь абсолютно все равно — кто смелый, кто сложный, кто «эпопейный», кто — гомосексуалист, алкоголик, трезвенник... Есть правда — есть литература. Ремесло важно в той степени, в какой важно: начищен самовар или тусклый. Был бы чай. Был бы самовар не худой.

* * *

Боюсь ближнего боя.

* * *

Надо, чтоб в рассказе было все понятно, и даже больше.

* * *

Не поворачивайся к людям спиной — укусят.

* * *

История выбирает неудачных исполнителей на роли своих апостолов.

* * *

«Ближе к жизни! Ближе к действительности!» Да ведь это хорошо! Именно!

* * *

Культурный человек... Это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант.

* * *

«Не нам унывать!» — хрюкнула свинья, укладываясь в лужу.

* * *

Нет, ребята, «могучей кучки» не получилось. Жаль.

* * *

Можно бы так сказать: вымечтал у судьбы.

* * *

Вот еще из откровений: «На свете счастья нет, а есть покой и воля».

* * *

К тупому лицу очень идет ученая фраза: «Полное отсутствие информации».

* * *

Общение людей с искусством... Ребенок, когда сосет грудь матери, слегка пристанывает (от удовольствия). Затем,

я заметил, он еще полчаса-час лежит и так же пристанывает — от сладостного ощущения тепла и сытости.

Я думаю, и человек: насосавшись «молока искусства», еще долго пристанывает и чувствует себя хорошо — от общения с подлинным искусством — молоком: тру-ля-ля...

* * *

Когда стану умирать, — скажу: «Фу-у, гадство, устал!» Не надо умирать.

* * *

Хвалят: когда актер вжился в роль, «весь в роли»... Это же плохо! Надо быть — над ролью. Как писателю — над материалом.

* * *

Сел как-то и прочитал уйму молодежных газет. И там много статей — про хулиганов и как с ними бороться. Вай-вай-вай!.. Чего там только нет! И что «надо», и что «должны», и что «обязаны» — бороться. Как бороться? Ну давайте будем трезвыми людьми. Я иду поздно ночью. Навстречу — хулиганы, Я вижу, что — хулиганы. Хуже — кажется, грабители. Сейчас предложат снять часы и костюм. Сейчас я буду делать марафон в трусах. Ну а если я парень не из робких? Если я готов не снести унижения? Если, если... У них ножи и кастеты. Им — «положено». Мне не положено. И я — делаю марафон в трусах. Не полезу же я с голыми руками на ножи! И стыжусь себя, и ненавижу, и ненавижу... милицию. Не за то, что ее в тот момент не было — не ведьма же она, чтоб по всякому зову быть на месте происшествия, — за то, что у меня ничего нет под рукой. Мне так вбили в голову, что всякий, кто положил нож в карман, — преступник. Хулигану, грабителю раздолье! Он знает, что все прохожие перед ним — овцы. Он — с ножом. Ему можно.

Представим другую картину:

Двое идут навстречу одному.

— Снимай часы!

Вместо часов гражданин вынимает из кармана — нож. Хоть неравная борьба, но — справедливая. Попробуйте их взять, эти часы. Часы кусаются. Допустим, борьба закончилась 0:0. Всех трех забрали в милицию.

— Они хотели отнять у меня часы!

— Откуда у вас нож? Почему?

— Взял на всякий случай...

— Вы знаете, что за ношение холодного оружия...

Знаем. Все знаем.

Как же мы искореним хулиганство, если нам нечем от них отбиться?! Получается: кто взял нож, тот и пан.

А что, если бы так: как возымел желание взять нож и встретить на улице запоздалого прохожего, вдруг подумал: «А вдруг у него нож?» Гарантирую: 50 процентов оставили бы эту мысль. Из оставшейся половины — решительных — половина бы унесла ноги в руках.

* * *

Патриарх литературы русской — Лев Толстой. Это — Казбек или что там? — самое высокое. В общем, отец. Пушкин — сын, Лермонтов — внучек, Белинский, Некрасов, Добролюбов, Чернышевский — племянники. Есенин — незаконнорожденный сын. Все, что дальше, — воришки, которые залезли в графский сад за яблоками. Их поймали, высекли, и они стали петь в хоре — на клиросе.

Достоевский и Чехов — мелкопоместные, достаточно самолюбивые соседи.

Были еще: Глеб и Николай Успенские, Решетников, Лесков, Слепцов, Горбунов, Писемский, Писарев — это *разночинцы.*

* * *

Добрый, добрый... Эту медаль носят через одного. Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла!

* * *

Непонятные, дикие, странные причины побуждают людей скрывать правду... И тем-то дороже они, люди, роднее, когда не притворяются, не выдумывают себя, не уползают от правды в сторону, не изворачиваются всю жизнь. Меня такие восхищают. Радуют.

* * *

В дурачке, который ходит у нас по улице, больше времени — эпохи, чем в каком-нибудь министре.

<1962>

* * *

Я со своей драмой питья — это ответ: нужна ли была коллективизация? Я — ВЫРАЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА!

<1966>

* * *

Все никак не могу выбрать время — когда я имею право загулять? Все не имею.

<1966>

* * *

Сто лет с лишним тянули наши титаны лямку Русской литературы. И вдруг канат лопнул; баржу понесло назад. Сколько же сил надо теперь, чтобы остановить ее, побороть течение и наладиться тащить снова. Сколько богатырей потребуется! Хорошо еще, если баржу-то не расшибет совсем о камни.

<1966>

* * *

Истинно великих людей определяет, кроме всего прочего, еще и то, что они терпят рядом с собой инакомыслящих. Гитлер и Сталин по этой статье не проходят туда.

<1966>

* * *

Культура! Уря-я!!! Достижения!!! Достигли, что никак не можем уразуметь: как это так, что в газетах (В ГАЗЕТАХ!) могут, например, писать об одном и том же — разное! Как же быть? Становимся в позу и спрашиваем: «Так как же, все-таки?» И невдомек нам, что эта газета служит человеку и спрашивает его: «Так как же, все-таки?»

<1966>

* * *

Восток и Запад:

Когда у вас День, у нас — Ночь. Не забывайте только, что Новый день к нам приходит раньше и раньше — ночь.

<1966>

* * *

Судя по всему работает только дальнобойная артиллерия (Солженицын). И это хорошо!

<1967>

* * *

Чистых покойничков мы все жалеем и любим, вы полюбите живых и грязных.

<1967>

* * *

Нас похваливают за стихийный талант, не догадываясь, или скрывая, что в нашем лице русский народ обретает своих выразителей, обличителей тупого «культурного» оболванивания.

<1968>

* * *

Армию — не тронь, милицию не тронь, партаппарат не тронь, чиновников министерского ранга не тронь... Ну, а мужика я и сам не буду. В России — все хорошие!

* * *

Редактор — это, как капризная шлюха: сегодня она позволяет, завтра вдруг заявит: «Не могу». Почему? Никто не знает, и она сама. Впрочем, редактор-то знает. Но роль его от этого не возвышается над капризом проститутки.

* * *

В трех случаях особенно отчетливо понимаю, что напрасно трачу время:

1. Когда стою в очереди.
2. Когда читаю чью-нибудь бездарную рукопись.
3. Когда сижу на собрании.

* * *

Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то кому-то — хорошо». Когда нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то — плохо».

<1969>

* * *

Они (братья-писатели) как-то не боятся быть скучными.

* * *

Да, литературы нет. Это ведь даже произнести страшно, а мы — живем!

* * *

Ничего, ничего, вот посмотрите: душа — это и будет сюжет.

* * *

Ложь, ложь, ложь... Ложь — во спасение, ложь — во искупление вины, ложь — достижение цели, ложь — карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой.

<1969>

* * *

В нашем обществе коммуниста-революционера победил чиновник-крючок.

* * *

Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую.

<1970>

* * *

Читайте, братцы, Белинского. Читайте хоть тайно — ночами. Днем высказывайте его мысли, как свои, а ночами читайте его. Из него бы евангелие сделать.

<1970>

* * *

Писать про кино?! Там же сразу увязнешь, ничего же прочного. Все нитки сразу порвутся. Там вмиг прослывешь злопыхателем. Не вижу там ничего дельного, как, впрочем, и в людях, близких литературе. Делать кино еще можно — разговор гулкий.

<1970>

* * *

«А Русь все так же будет жить: плясать и плакать под забором!»

<1970>

* * *

Да, стоим перед лицом опасности. Но только — в военном деле вооружаемся, в искусстве, в литературе — быстро разоружаемся.

<1972>

* * *

Человек стал вполне человеком, как изобрел порох и оружие.

<1972>

* * *

Старшее поколение делится опытом с младшим... Да, но не робостью же делиться!

<1972>

* * *

Черт же возьми! — в родной стране, как на чужбине.

<1972>

* * *

Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству.

<1972>

* * *

Не страшна глупость правителя, ибо он всегда божественно глуп, если не знает другой радости, кроме как политиканствовать и ловчить. Страшно, что люди это терпят.

<1972>

* * *

Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать — объясню.

* * *

Кто мог быть политик по склонностям души у древних? Дурак, который всем мешал охотиться?

<1972>

* * *

А дустом пробовали?

* * *

Новое слово (нехорошее) о женщине — пипетка.

* * *

Чехов-то? Чехов работал страшнее Льва Толстого. Чехов показал несостоятельность чиновника, после чего народ (не сразу; конечно) довольно безболезненно убрал его, чиновника, из общественной жизни. Да и из жизни вообще.

<1974>

* * *

Правда всегда немногословна. Ложь — да.

<1974>

* * *

Государственный деятель с грустным лицом импотента.

* * *

Надо совершенно спокойно — без чванства и высокомерия — сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагиче-

ский, но не безысходный в конце концов. Гордиться нам пока нечем.

* * *

Хочу написать двадцать книг. Чудак! Надо пять — хороших.

<1974>

* * *

Мы с вами распустили нацию. Теперь предстоит тяжелый труд — собрать ее заново. Собрать нацию гораздо сложнее, чем распустить.

(Из высказывания на встрече с М.А. Шолоховым в станице Вешенской)

<1974>

Непросто говорить о Шукшине...

Из воспоминаний Марии Сергеевны Шукшиной

"...Вот о Степане Разине — он, наверное, им родился, всю жизнь о нем мечтал. Он еще ходил в шестой класс. Пришел однажды после уроков и у меня спрашивает: «Мама, а ты о Стеньке Разине песню не знаешь?» Я отвечаю: «Нет, но кто знает, я знаю» — «Мама, сходи, пожалуйста, спиши, мне ее надо!» Я спросила: «Зачем тебе ее надо?» — «А мы, говорит, проходим». Но куда пойду я в ночь-полночь?

Я на другой день зашла к той женщине. Они ужинать садятся, меня садят, я отказалась, говорю: дома дети ждут, вместе надо. Я сказала, зачем пришла, — она ужин отложила, зашла в комнату, списала. Прихожу домой и подаю — он так рад, целует меня: он меня любил. Пока я вечером посидела за шитьем, он ее уже выучил, мелодию я ему подсказала, он мне ее спел.

Вот сейчас и думаю: уж не песню же они проходили. Он его, Степана, изучал крепко. Он мне много о нем рассказывал и фильм так он бы поставил и сыграл. Не хвалюсь, вряд ли кто так может сделать..."

Из воспоминаний Ольги Румянцевой

"Мое интуитивное ощущение, что Степан Разин как-то по особенному дорог Шукшину, неожиданно получило подтверждение.

Был один из первых дней нового, 1961 года. У нас в доме стояла елка, хотя дети мои были уже взрослые. Настроение

у всех было новогоднее: шутили, смеялись, потом стали читать стихи. Каждый читал любимого поэта. Попросили почитать и Васю. Всем хотелось узнать: какие он любит стихи, какого поэта.

Шукшин долго отнекивался, потом вдруг махнул рукой и согласился. Вася сел на краешек дивана и стал читать... «Но что это он читает? — подумалось мне. — Такого поэта я не знаю!». И вдруг меня осенило: ведь это его стихи! Он свои читает!.. По форме они, возможно, и были несовершенны, однако чем дальше читал он, тем все больше захватывал и покорял слушателей.

В стихах говорилось о казацкой вольности, смелой удали, о бунте против тирании, против царя... В голове мелькнуло: да ведь он о Разине читает.

Вася читал долго, забыв, по-видимому, обо всем на свете, целиком отдавшись тому, о чем читал. Когда впоследствии узнала, что Шукшин работает над сценарием о Степане Разине, то нисколько не удивилась. Было уже видно, как захватил его помыслы Разин.

Когда закончил, оказалось, что времени уже три часа ночи. Вася тут же собрался уходить. Но транспорт давно не работал, а жил Вася в общежитии, на окраине города. Мы стали просить его переночевать, но он наотрез отказался.

— А я на такси! — озорно, с веселой улыбкой ответил он. — На такси!

Попросила сына немного проводить Васю и незаметно сунуть деньги в карман. Когда Володя вернулся, он сказал:

— Не удалось! Не взял, ни за что не хотел брать. Рассердился, говорит — деньги у него есть. Даже показать грозился.

И только много лет спустя, когда мы однажды вместе с ним вспоминали тот вечер, Вася признался, что денег у него тогда не было ни копейки, и весь остаток ночи он шел к себе в общежитие пешком через весь город.

Вася редко рассказывал о своей работе, о своих замыслах. Только о Разине мог говорить часами, самозабвенно, вспоминая мельчайшие детали и факты. Однажды, это было 7 ноября 1966 года, Шукшин пришел к нам вместе с женой, которая, как мы знали, деятельно помогала ему собирать материалы о Шукшине. Сперва он сидел молча, и

только когда речь зашла о Разине, оживился и стал рассказывать, как собирает материал, как хочет построить свою вещь строго на документах.

С сердечной болью, изменившись в лице, говорил он о казни Степана, о муках и пытках, которые тот вынес с необыкновенным мужеством. Помню, меня поразило тогда, с какими мельчайшими подробностями знал он все, вплоть до устройства дыбы. А когда говорил, как пытали Степана, слова падали глухо, негромко, и было больно и страшно слушать — казалось, пытали его самого.

Однажды Вася пришел к нам какой-то грустный, рассеянный, по-видимому, был чем-то огорчен. Разговор не клеился, и, чтобы немножко развлечь его, мы предложили послушать пластинку «Голоса русских писателей». Вася охотно согласился, но слушал безучастно, до тех пор, пока не раздался голос Есенина, читавшего монолог Хлопуши из поэмы «Емельян Пугачев». Еще Горький отмечал, что Есенин читал его потрясающе. Сам эпизод, когда в стан Пугачева является каторжник Хлопуша, посланный оренбургским губернатором убить Пугачева, — один из сильнейших и драматичнейших моментов в поэме. Хлопуша не только не поднял на него руки, а, напротив, пришел к нему как друг, примкнул к восставшим.

Голос поэта звучал хрипло, надрывно, и это как нельзя подчеркивало суровые, отчаянные слова Хлопуши:

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Иль исцеленье калекам?
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека...

Шукшин слушал молча, стоя, удивленно глядя на крутящуюся пластинку, точно видел за ней что-то другое...

Когда Есенин кончил читать, Шукшин сел и заплакал.

— Вот ведь оно как... — сказал он растерянно и потрясенно. И тут же собрался уходить. Ни о чем говорить в этот вечер он, видимо, больше не мог.

Но на другой день он пришел снова и прямо с порога попросил: «Пожалуйста, поставьте пластинку...» И вновь напряженно и жадно вслушивался в слова каторжника:

Слава ему! Пусть он даже не Петр!
Чернь его любит за буйство и удаль ..

В этот вечер он несколько раз подряд с неослабевающим вниманием слушал монолог Хлопуши. Только уходя, вдруг сверкнул глазами и весело, даже лихо сказал: «Чернь его любит за буйство и удаль!» Помолчал и, отвечая каким-то своим мыслям, добавил: «И за ум — тоже!. И улыбнувшись, ушел.

— Все время думаю о нем...Разин для меня теперь — вся моя жизнь! — признался он мне однажды.

— Как же получилось, Вася, что вы, можно сказать, сам современность — и вдруг такое увлечение исторической темой? —спросила я.

— Так это не вдруг, — задумчиво, как-то даже сурово проговорил он. — Давно интересуюсь крестьянами. Историю, их судьбы хочу изучить.

— А Разин? — продолжала я расспрашивать. Мне хотелось, чтобы он разговорился, рассказал подробнее о своей работе.

— Разин... — он помолчал. — Народ его любил. Очень. Мимо этого не пройдешь! Он крестьян поднял. Свободу любил без оглядки, без удержу... Думается, этим он и современен.

— Но ведь о Разине писали и Чапыгин, и Злобин, и многие другие. Разве вам не страшно, Вася, вступать в соревнование с ними?

— Страшно, конечно... Что и говорить, — ответил Вася. Он помрачнел, опустил голову. — И все же охота мне всю правду узнать о нем, душу его постичь...

Вскоре я услышала от одного знакомого историка, профессора С.О.Шмидта, что журнал «Искусство кино» прислал ему на отзыв удивительную работу — сценарий Василия Шукшина о Степане Разине и что он прочитал сценарий с огромным интересом. Я попросила показать мне рецензию. С чувством большого удовлетворения узнала я, как высоко, даже восторженно оценил работу Шукшина этот ученый — доктор исторических наук — специалист именно по этому периоду русской истории. Обратил внимание профессор и на язык произведения. Он отмечал, что герои у Шукшина говорят языком своеобразным, во многом близким к старинному, но в то же время вполне понятным нашим современникам. Заканчивалась рецензия словами: *«Сценарий*

Шукшина — это прежде всего мастерское художественное произведение большой мысли и большой силы эмоционального воздействия. Пусть же поскорее замысел В.Шукшина воплотится в кинофильм».

Сценарий Шукшина был напечатан в журнале «Искусство кино» и вскоре получил премию как лучший сценарий года..."

Из воспоминаний Александра Саранцева

"Однажды, в конце 1965 года, мы вновь встретились с Василием. Поехали к нему домой. В дороге впервые услышал от него:

— Решил я на Разина замахнуться.

Когда он это сказал, в моей памяти всплыла старинная песня, не вся, а один куплет. Где и когда ее слышал, убей бог не помню. И пропел:

Ты прости, народ московский,
Ты прости, прощай, Москва!..
И скатилась с плеч казацких
Удалая голова...

У Василия глаза вспыхнули, аж слезой подернулись.

— Откуда эта песня?

— Не помню. Где-то слышал.

— Спой всю...

Спел. А песня просторная, целая баллада. Как его везут по улице, как бежит и мечется народ по площади, как он поднимается и выходит на помост.

— Са-ня... Ведь за этими словами — удар топора!

Он в это время, очевидно, уже собирал материал и жадно впитывал все, что относилось к Разину. Всю дорогу говорили про Разина. Я вдруг вспомнил один эпизод из разинского восстания, о котором я еще в армии слышал, когда в дивизионной школе учился. Эпизод такой: в бою под Симбирском казаки бросили крестьян на произвол судьбы и сплыли вниз по Волге. Вспомнил я об этом и говорю Василию:

— Предатель твой Разин.

Он взглянул на меня удивленно.

— Как так?

— А так. Ты знаешь, что он из-под Симбирска бежал с казаками, а мужиков бросил? Их же, как баранов, резали!

Он крякнул, долго молчал. Конечно, он знал об этом историческом факте, и ничего нового или неизвестного я ему не открыл. Но в этом разговоре, как в любом другом, было свое движение эмоциональное — вот такое. И я молчал, наблюдая за ним. Лицо его было необыкновенным. Уверен, что мне посчастливилось увидеть Шукшина творящим. Вдруг он повернулся ко мне и тихим, взволнованным шепотом сказал, словно задыхаясь:

— Сань... А что если рядом с Разиным будет мужик?

— Ну и что?

— Такой мужик, который все про него знает. Вот как мы сейчас про него все знаем. Вот такой рядом с ним простой мужик.

Не хочу приписывать себе никаких заслуг, но, возможно, наш разговор нашел отражение на страницах романа. И в появлении крестьянского вожака Матвея Иванова, и в картине предательства казаками крестьян в бою под Симбирском, и даже в словах Матвея Иванова, которые он в гневе и отчаянии выкрикнул Разину в лодке: «Их там режут, колют счас, как баранов!..»

У Шукшина начался период неистовый работы над Разиным. У себя дома все книжки убрал из шкафа куда-то, оставил лишь те, в которых говорилось о Разине.

Вначале, по замыслу, из сподвижников Разина один Матвей Иванов остается в живых. Он присутствует на казни Степана Разина в Москве, потом след его теряется где-то на Руси. Матвей Иванов должен был символизировать вечность и бессмертие народа. Но однажды позвонил Василий:

— Приезжай.

Приехал. Вижу: сидит за машинкой мрачный, расстроенный. Спрашиваю, в чем дело. Он вдруг как заплачет самыми настоящими слезами!

— Са-ня... Я Матвея Иванова убил...

И протягивает отпечатанные листы. Прочел сцену гибели Матвея Иванова и тоже заплакал... Заглянула в комнату Лида и только головой покачала. Два здоровых мужика плачут!..”

Из воспоминаний Лидии Новак

“В память о времени, когда я как зам. директора музея истории донского казачества консультировала Василия Макаровича в его работе над романом и киносценарием, у меня остались книги, подаренные писателем. На титуле журнала «Сибирские огни», где был впервые опубликован роман «Я пришел дать вам волю», Шукшин написал: *«Лидии Александровне с глубоким уважением и признательностью за помощь. Василий Шукшин»* а на книге рассказов «Земляки» осталась запись: *«Лидии Александровне на добрую память. Спасибо за помощь — даст бог, заговорит наш Стенька... Василий Шукшин»*.

Такая присказка была у Василия Макаровича — «даст бог». Помню, говорил мне, когда возвращались из поездки в станицу Кочетовскую к Виталию Александровичу Закруткину:

— Даст бог, осилю этот фильм, за Пугачева примусь.

Я обрадовалась:

— Вот было бы замечательно! Ведь это такой человек был, что Огарев мечтал пойти в адъютанты к новому Пугачеву, появись только он.

Лицо Шукшина сразу стало серьезным и даже как-то посуровело:

— Как вы сказали? В адъютанты?

И задумался Василий Макарович, замолчал. Как бы отстранился. Но я уже привыкла к этой его особенности...

Впервые Шукшин приехал на Дон весной 1966 года. Позади уже было путешествие по Волге — от Ульяновска до Астрахани, а впереди — поездка на Соловецкие острова, где молодой Степан побывал на богомолье...

В станице Старочеркасской, насчитывающей от роду 400 лет и когда-то звавшейся городом Черкасском, Шукшина интересовало все, что роднит эту деревню, столицу донских казаков, со Степаном Тимофеевичем. Это и предполагаемое место тогдашнего майдана, и Воскресенский собор, разумеется, и песни, оставшиеся от прадедов.

Я рассказывала Шукшину одну легенду за другой... О цепях, в которые был закован Разин домовитыми казаками перед тем, как отправить его на казнь в Москву. О том, будто

Степан Тимофеевич, томясь в старочеркасской колокольне, сумел порвать цепи, нарисовав перед этим на стене лодку, и как он уплыл на ней неведомо куда... А еще до сих пор живет на Дону поверье, что гремят по ночам цепи Степана. Может быть, именно тогда рождалось у Шукшина образное видение того, что станет эпизодом в будущем киносценарии, главой в романе? Кто знает...

Вернувшись в Новочеркасск, Шукшин снова и снова ходил по залам нашего музея, подолгу стоял перед экспонатами, характеризующими разинское время. Я хорошо изучила ту эпоху, не раз выезжала на раскопки Кагальницкого казачьего городка под Константиновском, где, как предполагают некоторые историки, Степан Разин обосновался со своими сторонниками после персидского похода. Сюда стекался голодный люд в его войско, здесь он и нашел себе недолгое пристанище после поражения у крепостных стен Симбирска.

Я подготовила Василию Макаровичу длинный список литературы. Я уже поняла, что ни одного названия в этом списке Шукшин при его дотошности не пропустит. Так и оказалось. С крестьянской основательностью, добросовестностью ученого исследовал Шукшин далекую эпоху Разина, и мы, сотрудники музея, были прямо-таки покорены этими качествами Шукшина и даже просили его кое-чем поделиться с музеем после окончания работы над фильмом.

Вот отрывки из письма, которое Василий Макарович отправил мне в октябре 1968 года:

«Получил Ваше письмо. Отвечаю из больницы (воспаление легких), поэтому не смогу быть обстоятельным в ответах, как хотелось бы. Дела наши (зная Вас как активного «разинца») — в общем, хорошие. По весне должно быть, «поднимемся». Материалы интересные для Вашего музея, конечно, будут (они уже есть). И, конечно же, все наиболее ценное мы сможем потом передать в Ваше распоряжение.

Есть возможность заинтересовать кинодокументалистов — снять документальный фильм «По местам Разина», «Степан Разин» или как еще (к юбилею). Как только буду немного свободен, так займусь этим. С Вашего позволения буду говорить, что работники Музея истории донского казачества помогут тем, кто займется этой работой. Вообще, если бы

страна более широкого отметила 300-летие восстания, мы бы имели право считать, что внесли в это доброе дело посильный вклад...

Об авторе того письма.

Разыскивал его... и нашел где-то на Северном Урале. Всю историю с находкой, конечно, выдумал (но выдумал поразительно точно!). На прямые вопросы об этом вилял («Што-то такое помню...»), вразумительного, конечно, сказать ничего не мог. Черт!

С уважением Василий Шукшин».

Дело в том, что музей в Новочеркасске постоянно получает письма от людей, искренне полагающих, что знают «страшную» тайну — то место, где будто бы Разин схоронил клады. Написал об этом и упомянутый Шукшиным человек (назовем его начальной буквой фамилии — М). В его письме, хранящемся в специальной музейной папке «Переписка», довольно складно излагается такая история: как-то в районе станицы Раздорской М. спрятал в ближайшей балке то, что ему удалось наворовать. Наутро, придя за своей «добычей», раскопал глубокую яму и увидел в ней кованый сундучок. Без особых усилий сняв крышку, пишет М., он обнаружил в сундучке кувшин с какими-то бумагами и золотыми монетами. Была там и сабля. Чуть притронулся к ней М. — рукоять отпала. Ну, а бумаги были ему совсем непонятны, только слово «Разин» бросилось в глаза.

Когда Василий Макарович услышал от меня про все это, он сразу воскликнул:

— Слушайте, я этому человеку верю! Мог он что-то такое чрезвычайное найти.

— Вряд ли, у нас в музее таких писем сколько угодно... — ответила я.

— Нет, нет, — горячо возражал Шукшин, — тут что-то есть.

И он сказал мне, что работая в Архиве древних актов над «прелестными» (призывными) письмами Разина, Шукшин заметил: в тексте этих писем слово «Разин» выделено, словно бы специально...

Признаюсь, я не могла не увлечься верой Василия Макаровича в счастливую случайность. Мне удалось добиться разрешения на встречу с автором письма, но когда я к нему приехала, его уже перевели в другое место. Тогда за поиски

взялся Василий Макарович, и вот — нашли этого человека, а он ничего не захотел рассказать. Или на самом деле выдумал.

Осенью 1971 года Шукшин снова появился в Новочеркасске. Была создана съемочная группа будущего фильма, и вместе с Василием Макаровичем приехали его ближайшие помощники. Шукшин, готовясь сыграть главную роль, отрастил окладистую бороду. Ему не терпелось поскорее приступить к выбору натуры, хотя, как обычно, он опять увлекся редкими книгами по донской истории,

Поездка по Дону началась со Старочеркасской. Василий Макарович, только ступив на землю, названную когда-то Николаем Погодиным «станом Степана Разина», преобразился. Он вдруг стал щурить глаза точно так, как это описано в книге голландца Стрюйса, парусного мастера, встречавшегося с мятежным атаманом на Волге. Походка Шукшина сразу отяжелела — словно походка высокого, могучего человека, каким был Разин. Я с удивлением смотрела, на это преображение, а художник Петр Исидорович Пашкевич шепнул мне:

— Лидия Александровна, он уже не с нами, он уже Разина играет. Ему только и не хватило для полного счастья одного — ступить на исконно донскую землю.

В Кагальницкий казачий городок мы приехали поздновато, уже легкие сумерки были... Василий Макарович вышел из машины и прямо-таки влился в донское раздолье. И в самом деле, хорошее место выбрал Степан Разин для своего укрепленного городка! Хочу еще раз напомнить, что не все историки и археологи считают, что именно здесь располагался его лагерь... Но — какое место! Дон виден отовсюду, как на ладони, появись вражеское судно — сразу заметно, а сам лагерь защищен ериками, бутрами... Вижу, Шукшин сияет, очень доволен:

— Лучшего места мне не надо, — и сразу же: — Ладно, приедем сюда, а где я размещу войско Степана Тимофеевича? Как кормить и где кормить такую ораву?

Я предложила ему:

— Мы тут почти ежегодно ведем раскопки от музея, живем в палатках. И работа, и отдых...

Шукшин согласился:

— Да, это мысль. А кормить войско будем по-походному, по-военному.

Вот такие воспоминания сохранились в моей памяти о Василии Макаровиче Шукшине..."

*Из воспоминаний Анатолия Заболоцкого**

"...И вот пришла весть: Макарыч просил появиться в Москве. Запускают «Разина».

Студия скрипит. Пошла организационная канитель, говорения. Идут недели хождений по кабинетам кадровым, плановым, редакторским. Поскольку подготовительные работы предстояло вести много месяцев и не был известен план производства, в один прекрасный день из группы уехал на съемки совместного с Венгрией фильма оператор Валерий Гинзбург. Ушел и директор фильма Яков Звонков, а нашу съемочную группу возглавил директор Г.Е.Шолохов. Как показало время, то был тактический маневр. На студии тогда решили фильм заморозить, но постепенно. Уезжая в Венгрию Гинзбург знал — никаких съемок «Разина» не будет. Ведущий экономист Краковский ошеломил студию сметой — десять миллионов рублей. Мы вначале обрадовались «деньжищам» — любой флот построить можно.

В этой обстановке издан приказ директором студии Т.В.Бритиковым: «Приступить к подготовительным работам по фильму "Степан Разин"». Директором назначен Г.Шолохов, художником-постановщиком П.Пашкевич, операторами В.Гинзбург и А.Заболоцкий, постановщиком В.Шукшин.

Мы начали поездки по местам разинских походов. Изрядно утомившись, «прошли» Саратов, Симбирск, Казань, Свияжск. В Казани добылся нам такой документальный сюжетец: почти в черте города, недалеко от железной дороги, на островке, стоит обелиск на холмике, в холме дверь. Обелиск поставлен в честь покорения Казани войском Ивана Грозного. Старушка рассказывала, что памятник сей не раз подвергался осквернению татарским населением. Однажды появился у него добровольный хранитель. Он держал лод-

* Из книги «Шукшин в кадре и за кадром», изданной на пожертвования В.А.Хотина и А.М.Борщенко

ку, следил за островком, травку подсаживал, а во время ледостава оставался на острове, пока лед не устоится. Снять бы все это, начиная с появления заберегов, потом льда, а потом и снега — и смотритель в комнате подземной, буржуйка подымливает. Мимо острова через четыре — десять минут тяжелые составы... «Вот и сними этот сюжет, — предлагал Макарыч. — Накопи материал; подумаем, как развить или переработать в разинском замысле». Вот такие поиски в подготовительном периоде предполагал вести Василий Макарович.

В разгаре лета появились мы в Астрахани. Был июль 1970 года. Астрахань встретила нас невыносимой жарищей, не было спасения даже в башнях кремля (реставрация, проводившаяся там, еще была далека от завершения, но мы решили достраивать декорации и снимать в Астраханском кремле).

Нам осталось побывать в дельте великой реки и на берегу одного из рукавов Балды. Утром катер в назначенное время не появился. А вскоре по местному радио объявили карантин на неопределенное время в связи со случаями заболевания холерой. Зачастили машины «Скорой помощи» с сиренами. На домах стали появляться крепко наклеенные листовки с черепом, красной полосой, внизу подпись: «Не входить. Холера». Поредели на улицах прохожие, больше появилось военных. И только жара была неизменной. Кинулись в аэропорт — закрыт. И никакой информации. Междугородные телефоны не работают. Неделя неизвестности. В эти дни всякое приходило в голову, а ко всему — занедужил животом наш художник Петр Пашкевич, увезли в изолятор. Макарыч переселился к нам из гостиницы в цирковое общежитие. Жара угнетала даже ночью — за 30 градусов. Воду хлорировали до предела. Открылся прием телеграмм рекомендованного содержания: «Задерживаюсь по работе, высылайте деньги. Жив. Здоров». Всякое отклонение приемщица вычеркивала у тебя на глазах. Через неделю стали мы проникать в парк имени Карла Маркса, а вскоре и на пристань. На якорях стояло несколько круизных пароходов, застрявшие на них туристы гудели, подогреваемые духотой. Над рекой слышались голоса, проклинающие светлое будущее, по набережной ходили патрули с автоматами. Истерики как возникали, так и утихали...

Василий Макарович, насмотревшись жизни в устье великой русской реки, которая смыкалась с мечтой Некрасова — «Суда-красавцы побегут по вольной реке», засел «перелопачивать» (как он выражался) «Степана Разина». Все мы были свидетелями его трудолюбия. Весь световой день просиживал он у стола. Когда ни зайдешь. Всегда он склонен к столу. Пользуясь передышкой, пьет кофе и опять за свое: «Последний раз перелопачу и отдам в печать, печатный вариант поможет быстрее двинуться к фильму». За время «сидения» в Астрахани он продвинулся по роману до момента пленения и смерти Степана. «В этой жаре душа надорвется. Дома допишу финал»...

Через месяц и девять дней, пройдя неуютную процедуру недельного изолятора, по дезинфицированной ковровой дорожке вошли мы в автобус, доставивший нашу группу к трапу самолета, следующего в Москву.

В Саратове, Астрахани, в изоляторе Шукшин спрашивал многих: «Сколько поколений своей фамилии ты помнишь?» Выходило, вся наша история заканчивается на бабушке. Нет у нас ни одной крестьянской фамилии, прослеженной хотя бы до десятого колена, то есть два века. О разрушении фамилии, рода, семьи крестьянской он копил материал к повести «Ненависть».

За время подготовки к «Разину» в поисках подлинных предметов эпохи мы побывали во множестве музеев, особенно провинциальных. Шукшин находил свой интерес без сопровождения специалистов. Но почти везде, узнав о его присутствии, работники музеев обращались к нему за помощью — уберечь фонды от разорения центральными или местными в астями. Одни шепотом рассказывали, как местные власти требуют сдать в банк драгоценные музейные экспонаты, а, мол краеведческий хлам и унесут — восполним. Другие просили помочь вернуть не возвращаемые столичными музеями произведения после участия в выставках или забранные под предлогом отсутствия условий хранения. В Саратове власти музей закрыли, не оповестив даже почему. Мы прошлись по заросшему двору. Запущенное красивое здание, а ведь Художественный музей Саратова старше Русского музея...

Студийное сопротивление Шукшин ощущал. Директор студии избегал разговора, был неискренен. У Шукшина ос-

тавался последний козырь. Помню, получая как-то звание или награду, он добился личной встречи с председателем Совета Министров РСФСР Г.И.Вороновым и получил реальную поддержку — сценарий был принят в Госкино. Выговорил он и повторную встречу в случае необходимости. Макарыч уверовал в эту личность (правда, к моменту закрытия фильма Воронов уж был отодвинут со своего поста)...

Осень 1970 года. Сильные миры киностудии имени Горького в лице редакторов и членов художественного совета прекратили проведение подготовительных работ по фильму «Степан Разин». Особо речистой запомнилась Кира Парамонова, только что вернувшаяся из Югославии, где отсмотрела фильм о народном восстании. Она взволнованно задала тон, убеждая аудиторию: «Ничего, кроме насилия, не будет, судя по сценарию, и в “Степане Разине”». Ведущий экономист Краковский очередной раз всплыл с убийственной сметой — десять миллионов рублей (и трех-то миллионов в Госкино не собирались давать). Худсовет был единодушный и недолгий, за фильм вступился лишь Паша Арсенов, но на него зашикали. Решение: закрыть на неопределенный срок до лучших времен.

В утешение Госкино позволило Шукшину запуститься со сценарием «Печки-лавочки», ранее отвергнутым для постановки. Возглавил этот фильм директор Яков Звонков. Спустя много лет, я встретил гуляющего с собачкой пенсионера Звонкова у северных ворот ВДНХ, разговорились. Глядя на памятный изгиб студийного здания, я упомянул с жалостью о давней неудаче с попыткой съемок «Разина». Ведь оставалось только снимать — столько подготовки, надежд, да и Шукшин, глядишь, сохранился бы. Звонков «утешил» меня: «Эх, Толя, ничего не могло выйти. Все знали — зря вы дергались! И ваш директор Шолохов, и Пашкевич знали». — «Неужели Геннадий Евгеньевич Шолохов знал?» — переспросил я. «Как он мог не знать, если я, не будучи вашим директором, знал?». — «Ну а почему вы Макарычу, хотя бы шепотом бы, не объявили? Вы же, сколько я видел, уважали его?» — «Эх, милый, если бы я ему об этом сказал, он побежал бы в дирекцию, мне и до пенсии бы не доработать. Вы не знали силы студийные, вот и колотились попусту. Шукшин надеялся силушку ту сломить. Да где там. Мне его бы-

ло жалко, а что я мог для него сделать?» — закончил наш разговор Звонков. На том и разошлись...

Сразу по окончании съемок «Печек-лавочек», чтобы запустить «Разина», Шукшин стучался в двери многих кабинетов Госкино и «Мосфильма». Недавно «Литературная газета» ловко опубликовала его письмо в ЦК, опустив подробности. По публикации виновниками получались Демичев и Баскаков, а в те давние уже дни Шукшин кружился в догадках о существе дела: «С кем ни говорю о Разине, хоть в Госкино, хоть в «Советском писателе», смотрят в глаза и говорят вокруг да около — написал письмо в ЦК, а его, видимо, им же и отфутболили. И председатель Госкино и директор издательства чего-то не договаривают и только Баскаков оказался почестнее, сослался на закрытые рецензии Юренева, Блеймана, Юткевича. Выходит, бьют-то меня не в ЦК, а сами кинодеятели и литераторы и среди них — даже Владимир Цыбин».

Из воспоминаний Бориса Рясенцева

“Меня заинтересовало и показалось неожиданным, что писатель и кинематографист, воплощающий образы людей сегодняшних, исследующий остро социальные и нравственно-психологические проблемы наших дней, лишь однажды «удалившийся» в начало советской эпохи («Любавины»), вдруг увлекся событиями трехсотлетней давности. И еще поразило меня сначала, откровенно говоря, то, что он сам собирается воплотить разинский образ.

По первому «пункту» я услышал, что ничегошеньки удивительного здесь нет — «все растем из прошлого». Но когда я шутливо спросил, считает ли режиссер Шукшин, что актер Шукшин, так сказать, «накладывается» по внешним данным на представимый образ реального атамана, он ответил таким тоном, что я пожалел о своей не очень тактичной шутке:

— А-а, вот вы о чем. Не первый вы про это... Привыкли судить о внешнем облике Степана только по Сурикову. Та, дескать, у тебя фактура? Рост не тот. Вообще, фигура не богатырская, не могутная, что ли, — он взял уже не первую си-

гарету, закурил и, помахивая спичкой, поднялся, подошел к открытой форточке. — Обкуриваю вас тут, некурящего-то. Фактура... А я его другим вижу. Самое простое крестьянское лицо. Крепкий, упористый. Не прет из него сила физическая. Спружиненная она у него. Внутри. Кулаком такой повернет — не поздоровится. Но не совсем уж — косая сажень в плечах. А я его чувствую! Самое-то важное что? Дух его передать, характер. Нерв — вернее так определить. И показать, что у него вот тут, — рукой с сигаретой он коснулся лба, — ворочается. Вообще — чем дышит. Без этого ни черта не получится! А я верю... Должно получится-то... Должно...»".

Из воспоминаний Евгения Лебедева

"Я не раз задумывался над тем, что такое для Василия Шукшина Разин и почему он отдал ему столько лет жизни. Одержимость идеей воплотить образ Разина на экране он пронес через все свое творчество. Быть может, у каждого художника должна быть такая главная несыгранная роль, «фанатическая идея».

Если проанализировать все написанное и снятое Шукшиным, то мы увидим, что нет ни одного произведения, в котором бы не присутствовал Разин — прямо или косвенно. Мятежный атаман — герой одной из новелл в фильме «Странные люди», в «Калине красной» старик Байкалов поминает Стеньку, когда хочет «срезать» Егора, умерить его демагогический пыл.

Шукшин не раз повторял, что Степан — любимый народный герой, его образ — заступника, «батюшки» — живет в сердце народном, о нем складывают легенды и сказки, поют песни. Недаром А.Пушкин называл Разина самой поэтической фигурой в истории российской. И Шукшин, поистине народный художник, я думаю, не мог не обратиться к теме народного крестьянского бунта, к теме освобождения не только от внешних оков, но и к проблеме внутренней свободы Человека. В чем-то загадочный, противоречивый, удивительно национальный характер Степана Разина словно заворожил Шукшина, и этому образу в своем творчестве он оставался верен всю жизнь. Вольнолюбие, способность

к самоотречению, чувство справедливости, совестливости — черты, которые носил в сердце Василий Макарович, и определили, видимо, кровное родство, ту «пуповину», которая соединяла писателя и героя.

Мне кажется, что если бы Шукшин снял своего Разина, то он не мог бы быть удовлетворен результатом и возвращался бы к этому образу еще и еще раз. Если бы Шукшин сыграл эту роль, то, как это ни парадоксально, он ощутил бы колоссальную потерю, лишился бы того творческого возбудителя, который жил в нем все это время. Ведь постоянное движение к своей «главной роли», ее брожение внутри художника дает возможность глубже и глубже проникать в суть явления.

Я помню, как Шукшин говорил, когда был написан сценарий: «Надо пересмотреть его, чтобы вывести в нем минимум людей и через эту небольшую группу показать огромное движение, шедшее за Степаном Разиным».

Я думаю, что все препятствия, сопутствующие этой работе, вызывали эмоциональный импульс, колоссальной силы напор, которые Шукшин и вложил в Разина.

— Что о нем известно — все неправда. Степан Разин таким не был. Это совсем другой человек. Ты знаешь, что он по-персидски говорил?.. Только народу нужно — уйма.

Однажды он спросил:

— Не читал моего «Степана Разина»? Прочти, — и дал сценарий.

Я прочитал, вещь меня захватила. Я подумал, что неспроста Шукшин все время заводит разговор о Разине: чем дальше, тем больше казалось, что именно во мне он ищет черты своего героя и хочет, чтобы Степана сыграл я. Да и сам я в себе находил все то, что нужно было для шукшинского Разина... Тридцать с лишним лет работаю в театре и никогда роли себе не просил. А здесь черт меня дернул, вдруг сказал:

— Давай попробуем: я буду делать Степана в твоей картине. Вот как ты рассказываешь о нем, так и сделаем: всегда играют его героем, как монумент, а мы его человеком сделаем.

Ничего он мне на это не ответил. Сразу посмотрел настороженно, но — промолчал. Только зубы сжал так. Что желваки на скулах заиграли.

Прошло недели две, вдруг Шукшин говорит:

— Знаешь что? Все по-другому будет. Не надо такой массы — все пройдет через крупных людей... Ты должен сделать Стыря — самого близкого человека у Степана. Самого озорного. Попа-расстригу. А Степана я сам буду играть.

Тут-то я понял, что писал он Разина для себя. Как понял — уже потом, — что в каждой следующей его роли — и в «Печках-лавочках», и в «Калине красной», и в «Они сражались за Родину» — есть хотя бы маленькая часть той огромной темы, какую вынашивал Шукшин.

Скажи любому артисту: «Дай я сыграю твою роль!» — понравится ли ему? Как он на тебя посмотрит?.. Может, предложив сыграть Разина, я сделал больно Шукшину. Даже наверняка — так. Но он этого не показал и не стал относиться ко мне хуже. Больше того: на «Странных людях» мы подружились...

Из воспоминаний Михаила Ульянова

«Наконец пришла золотая для Шукшина пора, когда он начал готовиться к съемкам «Степана Разина». Году в 1968-м или 69-м мне позвонили со студии и попросили приехать на встречу с Василием Макаровичем. Я приехал.

Шукшин предложил мне в новом фильме пробоваться на Фрола Минаева. Здесь уже состоялся более детальный разговор, и это был совсем другой человек. Вероятно, будучи легко ранимым, он обычно окружал себя чем-то вроде панциря, но, когда увлекался, забывал обо всем и, словно улитка, выползал из своей раковины. Увлекся он и на сей раз.

Шукшин рассказал о Степане Разине, о его взаимоотношениях с Фролом, о сцене, которую, хотел попробовать: Фрол бежит, Степан догоняет, идет бешеная гонка по степи, когда два врага, так сказать, выясняют отношения в седле. Вероятно, эту вот сцену Василий Макарович создал в воображении и очень тщательно продумал. Она записана в романе, и огромный (для кино) диалог — две печатные страницы— весь должен был проходить во время скачки. Ему рисовалась какая-то языческая картина: по половецкой степи, освещенной заходящим солнцем, два безумных человека летят на лошадях. Он был очень увлечен сценой.

А еще говорил, что трудно приходится: сценарий сложный, сил много потребует и денег — надо все строить...

Среди актеров не очень принято величаться, поэтому мы были на «ты». В конце разговора я спросил:

— Вася, а как же ты все потянешь? И сниматься будешь и снимать? Ведь трудно...

Он ответил не — буквально, а приблизительно — так:

— Ну и черт с ним — вытяну! Ну, не могу оставить. Другого выхода для меня нет.

Он был столь захлестнут или томим (любимое его слово) этой темой, характером, образом Разина, что «тема Стеньки» не только периодически возникала в некоторых его рассказах, но и долгие годы не отпускала ни на час и не давала покоя.

Когда я сам работал над сценическим воплощением кинoромана, мне стало ясно, что Шукшину в его постижении России нужен был именно Степан Разин как высшее и лучшее выражение русского мужика — фигуры противоречивой, путаной и страшной, но вместе с тем прекрасной. Мужика в его поисках, в его свободолюбии, в его все-таки где-то рабьем, веками воспитанном преклонении перед царем и богом, во всем том, через что Разин хочет прорваться, а прорваться не всегда может.

Потому-то Степан и был для него личностью невиданной сложности, кроваво-угловатой, в чем-то неправой и во многом прекрасной.

Короче говоря, Степан Разин был для Василия Макаровича олицетворением того мужика, на ком держалась Русь. Притом он его не приукрашивал и не воспевал, не создавал о нем песнь, он создавал плач, я бы сказал...

Когда я прочел роман «Я пришел дать вам волю», у меня дрогнуло сердце от неясного и робкого желания попробовать перенести его на сцену. Не сразу хватило духу взяться за такую громадную работу. И трудности пугали, а главное, сознание, что этот образ был для самого Шукшина чем-то большим, чем просто желанная роль. Степан Разин! Сколько лет, сколько сил, сколько крови и жизни отдал ему Василий Макарович. Этот образ «томил» его, как он, бывало, говорил. А выхода практического не было... Разин был для Шукшина не только и не столько исторической фигурой,

сколько нравственно-целостной личностью, через которую Шукшин хотел понять что-то самое главное, самое существенное в русском мужике — главном герое всего своего творчества.

Шукшин оглядывал Разина не глазами умного, но стороннего современного человека, которому с высоты истории все ясно и понятно, а горячими глазами самого Разина. Которого разрывают противоречия. «Хотелось бы снять хрестоматийный глянец с образа Разина. Показать противоречивого человека с его победами и ошибками», — говорил Шукшин.

Это какое-то безумное метание барса, какие-то опыты мощи, несознательной, но страшной, удаль, дерзость, отвага — вот как писал о Разине Герцен.

Таким же видел его Шукшин.

Мука мученическая играть такого Степана Разина. И счастье редкое, ибо это Русь, это жизнь, пусть страшная, пусть запутанная, пусть пугающая своей жестокостью, но жизнь, а не историческая схема, ловко сконструированная и приспособленная к требованиям своего времени..."

«Разин. Шукшин. Вахтанговцы»

(Из рецензии Льва Аннинского на спектакль «Степан Разин»)

"От трех соблазнов надо отрешиться, идя на «Степана Разина» к вахтанговцам.

Первое: не искать в этом спектакле реального Разина.

Реальный Разин — человек твердый, трезвый и опытный. Последовательный казачий идеолог и дальновидный полководец, выдержавший четырехлетнюю войну с Московском государством, — остался в XVII веке. Кто интересуется историческим Разиным, может прочитать Костомарова. Или трехтомник документов о разинской войне, изданный у нас в 50-е годы. Или «Записки иностранцев» на ту же тему. Материалов хватает. Подлинный Разин — там.

Другой соблазн — сличать сценического Разина с тем легендарным образом, который создан народным сознанием. Старые преданья о последнем сыне вольности, когда-то потрясшие Пушкина, а теперь Шукшина, за три века бытования в народной памяти стали безусловной реальностью на-

шей духовной жизни, но вряд ли эти предания нуждаются в театральном дублировании. Его и нет здесь.

Наконец, надо, пожалуй, отрешиться и от того, что перед нами — сценический эквивалент романа Василия Шукшина, хотя и имя Шукшина и слово «инсценировка» стоят в афишах. Из спектакля убрана, в частности, вся линия взаимодействия Разина с царем Алексеем Михайловичем. А в ней концентрировался нелегкий для Шукшина выход мысли от первоначальной апологии бунтаря и мстителя к пониманию того, что с двух сторон покачнули старую Русь, вышатнули ее из оцепенения: Стенька Разин и Алексей Михайлович. Последний был, впрочем, слишком слаб для этой задачи, — считал Шукшин, — великому сыну его Петру она оказалась по плечу. И опять-таки: кто хочет понять Шукшина, должен читать Шукшина; что же до спектакля, то дело даже не в том, что в него физически не втиснешь книгу, но, прежде всего, в том, что один крупный художник никогда не повторяет другого крупного художника. Михаил Ульянов интересен не там, где он идет в шукшинском фарватере, а там, где, отталкиваясь от Шукшина (впрочем, не только от Шукшина, но кое-где и от исторических реалий и от «старых преданий» тоже), он дает свою образную версию великой темы, и эта версия говорит о нас с вами, о наших раздумьях.

Да, здесь бесспорно надо размышлять о версии художника, потому что перед нами — спектакль, пронизанный единым мироощущением на всех уровнях. Соавтором инсценировки является у М.Ульянова А.Ремез, соавтором режиссуры — Г.Черняховский, но и текст и режиссура выверено работают на центральную фигуру спектакля: на Ульянова-актера, который кружится в центре этого вихря, вписываясь в него, вибрируя с ним, держа на себе и подкрепляя собой все действие. На «традиционного» Разина он не похож. Рост у него не исполинский, голос неожиданно высокий, и какая-то «расщепленность» в психических реакциях. Но и стремительная подвижность его, и эта нервная, импульсивная и не умеющая остановиться страстность — весь облик ульяновского Разина прекрасно взаимодействует со сценическим целым спектакля, с его ритмом, рисунком, тоном. С багровыми бликами света, прыгающими по черной бездне сцены. С качающимися, балансирующими, встаю-

щими дыбом балками декораций. И с толпой скоморохов, то и дело рвущей действие гиканьем, свистом, пением, весельем, юродством... И наконец с самим действием — бесконечным, запальчивым, задыхающимся спором о гордости и холопстве, об унижении и мести, о крови и силе, об оглядке и безоглядности. Какие темы главенствуют в этих диалогах? «Дурость». «Воля». И еще вот это: «на карачках»...

— Не сидят они на земле! — кричит Разин защитнику крестьян Матвею Иванову. — Они на карачках стоят!

А что, правильно. Мысленно принимая этот посыл, я думаю о том, что действительно «на карачках» стоят мужики. Ну, хоть бы перед «поместником». Думаю дальше. «Поместники», в свою очередь, стоят «на карачках» перед царем. Хорошо, а царь? И он ведь, в известном смысле, «на карачках». Истоки тогдашней нашей государственности были, как мы знаем, византийские, а византийская традиция состоит в том, что и могущественнейший из смертных время от времени символически ползает «на карачках» перед народом — отсюда и юродство Ивана Грозного, и самоуничижение его сына Федора, и осторожность Бориса Годунова, и хитрая тихость «тишайшего». А хитрость здесь та, что выстроилось общество при условии, что некоторым образом все перед всеми иногда ощущают себя «на карачках». Или все вместе же перед некоей неощутимостью, имя которой: бог. Вне иерархии ничего не выстроишь. И потом, пока «на карачках» стоят, ведь не дерутся. Не убивают друг друга, а это тоже кое-что. К тому же мужик землю обрабатывает в основном «на карачках». Иначе она не родит.

Альтернатива?

Воля.

«Я пришел дать вам волю».

Дать — прекрасно. Но как ее взять? Как удержать — конкретно исторически? Тут опять давайте не смешивать сценического героя, который ведет с нами сегодня нравственный диалог, и того реального Разина, который действовал в истории. Исторический Разин в освобожденных от царя городах не рай учреждал, а весьма жесткий казачий образ правления: атаманы. Старшины, войсковой круг, военная дисциплина... Очень жизнеспособный образ правления — для людей, живущих войной. Казачество войной и жило, оно хлеба не выращивало, хлебом его Русь кормила, Матвей

Иванов кормил; вопрос уже был в том, чтобы направлять эту военную силу на внешних противников. Образ жизни казачества был реальнейшей альтернативой для своего времени; даже в середине XIX века этот образ жизни пленил Льва Толстого... но ненадолго. Потому что в XIX веке уж точно надо было не за зипунами ходить, а хлеб сеять и кормить огромный народ. А решался этот вопрос как раз в XVII веке. И решился жестко. Разинская война была как последний всплеск казачьей вольницы на русских просторах, которыми уже овладевала русская же регулярная государственность. Реальный Разин мыслил реалистично — просто история решила иначе. Легендарный же Разин завещал народному сознанию великую тему «воли» как духовную задачу и проблему; этой темой наполнился разинский фольклор; этой темой был заражен и Шукшин; эту тему взял у Шукшина Михаил Ульянов.

А эмоционально «воля» — понятие безбрежное, безграничное. Волен холоп вспороть брюхо барину, волен и барин засечь холопа до смерти, «Воля» — того же корня в русской речи, что и «повелеваю», что и «произвол». По традиции русская философская мысль сопоставляет безбрежность русской «воли» («волюшки») с соразмерностью и трезвой дозированностью той версии, которую эта тема получила в философии европейской: со скупой ограниченностью хорошо взвешенной «свободы». В сущности, этот эмоциональный спор и кипит вокруг фигуры ульяновского Разина. И в этом контексте решающими сценическими оппонентами Разина являются не Прозоровский и Фрол Минаев. Не Корней Яковлев и прочие государственные люди с *доводами,* а та самая толпа скоморохов, которая время от времени врывается на сцену, сметая с нее историческое действие. Прыгают, скачут эти охальники, выжиги, блаженные, кликуши, дудари, и есть какая-то раздражающая, захватывающая сила в ритме их самозабвенного радения. Я упирался и протестовал почти все первое действие; думал, вот еще: миманс с мюзиклом! Мало было «народных сцен» в оперном духе — теперь еще и в опереточном... Прожгло меня пониманием в сцене у тела мертвого Стыря, когда велел Разин у трупа плясать. И скоморохи сначала робко, а потом смелей, и быстрей, и яростней закричали, запели, забились, словно в падучей, и втянулось все в эту тряску, и заполнилась ликую-

щим воплем вся черная бездна сцены. Только три точки недвижных, оцепенелых оставались вне хаоса: справа — в длинной белой крестьянской рубахе Матвей Иванов. Слева — маленький, серенький, ухмыляющийся мужичок с топором. Третья же точка была — замерший зрительный зал, и я в нем. Я вспомнил: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят». Не устоять против этого втягивающего вихря ни Разину, ни самому Матвею Иванову. Боже, какая неуправляемая сила! Как отделить в ней высокую неожиданность творчества от «дури», которой она грозит обернуться? Не потому ли и летает по сцене это слово: «дурь» (Минаев — Разину, Разин — Минаеву), что бурлящая, беснующаяся сила не может найти себе правильного выхода, что должна будет эта буря самосмириться, и самосмирение будет еще страшней? И вот уже из тех самых уст, которые только что сулили «волю» и клялись «гумаги подрать, приказы погромить», слетают такие *приказы*, когда слово поперек — и сразу пуля, и уже перед разинской волей надо гнуться, и сам он, мечтавший всех «с карачек» поднять, — кричит окружающим: «всех на карачки поставлю!»

Надо видеть глаза Ульянова при этом. Он ведь вообще не «характер» играет. Не «перевоплощается». Вахтанговская сцена — особые традиции. Есть тут тончайший просвет между актером и образом. Острая, нервная вибрация: актер словно проваливается в экстатическое состояние, выходит из него, снова проваливается и слова выходит. И когда выходит, я успеваю увидеть горестные глаза человека, который все понимает: и праведность бунта, и обреченность его, и гибельность этой клокочущей лавы. И гибнущие там творческие силы.

Внутренняя тема спектакля, внутреннее задание его: пережить это взрывное, экстатическое состояние, взять его в руки, в ладони, переключить, перенаправить, понять — найти ему оправдание и смысл... Знаете, находясь под впечатлением ульяновской работы, я вспоминал не шукшинского Разина. Не злобинского, не чапыгинского и даже не костомаровского. Вообще не Разина вспоминал я. А сыгранного когда-то Ульяновым председателя колхоза Егора Трубникова, который, собрав себя в кулак, матерится перед колхозниками, чтобы перешибить их в дерзости. А кепочка скомо-

рошьи надвинута, и оттуда, из-под кепочки, из тени зорко глядят выжидающие глаза.

Вот такие же глаза — в центре и этого вихря, посреди багрового, прыгающего хоровода. Под черным небом, где недвижно высятся московские купола, а на них пляшут красные отблески.

И — глаза оппонентов Разина, резко выделенных из массы... Частокол: все варианты и степени рассудительности застыли в их глазах — стабильные точки по краям действия.

В середине же — кипяток. Лава.

— Ты оглянись — кто за тобой идет-то? Рванина — пограбить да погулять... Куда ты с имя?

Что ответить на эту логику? Логикой на нее не ответишь. Вернее, на эту логику отвечает в спектакле вахтанговцев другая. Да, логикой соотношения сил Разин обречен. «Сила гнет силу». Но, сознавая неизбежность его гибели, мы, зрители, сознаем и другую неизбежность: неизбежность вот этого бурлящего, встающего во весь рост, бунтующего, безоглядного духа. При всем том, что формы он принимает страшные.

... Кипит скоморошный праздник. Этот — с цветком в зубах, тот — с фляжкой в кулаке, третий — ногами кверху: «лай, хохот, пение, свист и хлоп...». Фантастическая, реальная, проломная, пробойная сила. Соединение дури и красоты, юродства и грозной мощи. И великолепно решено мимически, пластически, хореографически: чувствуется, что мастер ставил эти сцены, — М.Лиепа. Никакой «мелодии», но в ритме и тоне шума — чертовская, бесовская, втягивающая музыка, секрет которой известен композитору В.Гаврилину, а мы только отвечаем заложенной тут тревоге. Тревожное, опасное, пророческое: «Клубок дальше, дальше, дальше, нитка тоньше, тоньше, тоньше...» Ждешь: вот порвется...

Да порвется ли?

Какая артистическая мощь — в этом карнавальном действе! Сколько во всем этом пружинной, взрывной энергии! Как молоды артисты, как счастливы, и как бьет через край эта их молодость, их темперамент, их вера в свои силы. Ах, ты, думаю, какая непредсказуемая, играющая, самозабвенная сила... Она бездну перешла и не оглядывается. Что ей «старые преданья». И что ей «кровь из-под земли»? — когда

это такая силища. Здесь она — малой каплей, на малой площади, в берегах кулис. Но это она, она...

И от внезапной этой догадки дух замирает во мне".

Из воспоминаний Георгия Буркова

"Последнее время Шукшин болел Степаном Разиным. Казалось, его разорвет от той могучей силы энергии души, таланта, которая копилась и готова выплеснуться наружу, воплотиться в фильм. Был наполнен радостью, что не за горами суждено мечте сбыться.

Лида Федосеева рассказывала: когда Шукшин заканчивал роман, то последнюю главу ночью писал. «Просыпаюсь, четыре утра. Слышу, где-то ребенок рыдает. Я на кухню, гляжу — плачет. Спрашиваю, что случилось? "Такого мужика загубили, сволочи"».

Любовь к Разину раздирала сердце. Как тонко ведет его Шукшин в романе, обходя все рифы, зверства, которые могли бы скомпрометировать Разина, и выводит на главное, центральное место. И тут впервые в романе звучит голос автора. Мучается Степан, не может выговорить, физическое ощущение удушливости сковывает разум. И мужики не могут внятно осознать: «Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что за сила такая могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять...». Тут-то Шукшин и вступает: «Та сила, которую мужики не могли осознать, назвать словом, называлась ГОСУДАРСТВО» — и выделяет, подчеркивает. Государство и воля — вот две антитезы — смысл, суть романа...

Шукшин долго мучился, обдумывая, как снимать казнь Разина, потом сказал: «Нет, я это снимать не буду. Этого я физически не переживу, умру». Потом он обдумывал другой конец. Страннику, который направляется в Соловки помолиться, Степан Разин наказывает: «помолись и за меня» и дает серый мешок с чем-то тяжелым. Приходит странник в монастырь — вот, мол, пришел помолиться за себя и за Степана Тимофеевича Разина. И дар от него принес...

— Какой дар? Его самого уже в живых нет... Казнен...

— Долго же я шел, — удивился странник и достал из мешка дар, и поднял его над головой — огромный золотой поднос переливался, как солнце»...”

Из воспоминаний Юрия Никулина

«Последние дни съемок вспоминаются как в тумане. В ночь с первого на второе октября неожиданно оборвалась жизнь Василия Макаровича Шукшина. Накануне он был веселый, жизнерадостный, вместе со всеми смотрел вечером по телевидению матч наших хоккеистов с канадцами, потом все разошлись по своим каютам. А утром, когда пришли Шукшина будить, он лежал холодный.

Смерть настигла его во сне. Сердечная недостаточность, сказали врачи.

Помню, за день до смерти Шукшин сидел в гримерной, ждал совей очереди. Взял булавку, обмакнул в баночку с красным гримом и стал рисовать что-то штрихами на пачке сигарет. Сидевший рядом Бурков спросил:

— Чего ты рисуешь?

— Да вот, видишь, — ответил Шукшин показывая, — горы, небо, дождь... Ну, в общем, похороны...

Бурков обругал его, вырвал коробку и спрятал в карман.

Из воспоминаний Валерия Золотухина

«Не бросил я горсть земли на гроб моего партнера и друга. Я был занят тем, что сцепившись локтями с другими организаторами похорон, сдерживал толпу, рвущуюся к гробу. А когда двинулся к могиле сам, теми же локтями всех расталкивая, на месте ямы вырос холм, придавленный горой из цветов и венков. Я не успел.

Другая боль, в которой и признаться стыдно, — я обокрал себя, пропустив в свое время явление Шукшина. Пропустил почти сознательно, следя за ним издалека, на расстоянии, уши мои да не слышали, хотя наши села друг от друга в семидесяти верстах. Я не удосужился познакомиться с Василием Макаровичем, хотя мы однажды гримировались в одной уборной на «Мосфильме» и, как коллеги, здоровались

врасплох, столкнувшись в дверях. А я стеснялся к нему подойти, таким он мне казался серьезным, сердитым, к себе не подпускающим. Я робел его живым и был «гордыней обуянный» по молодости. Ждал, когда сам сделаю что-нибудь путное, чтобы прийти к нему на знакомство не с пустыми руками. И опоздал...

«Земляки — это почти родня, если другой родни нет», — говорит народ. Если это так, то Василий Макарович самый богатый на родню человек, потому что читатели и зрители у нас и за пределами наших земель стали его «земляками», освоили его Алтай. В этом я убедился воочию на Бикет-горе в июле 1979 года на Шукшинских чтениях в год юбилея писателя. И опять же земляки меня на то сподобили. Сам-то я, глядишь, и не оторвался бы от своего корыта, дел, семьи и съемок.

В самый разгар сезона, в январе, спектакль играть начинать, а мне говорят: «Вас на выходе родня ждет, шестнадцать человек». Что за шутки? Иду, гляжу... Стоят, прильнув к стенке, пятнадцать ребятишек — мальчишек и девчонок, моих алтайцев, девятиклассников из села Павилиха. Их не с кем не спутаешь. Их привезла в Москву, привела в театр классный руководитель. «Вот ребята... победители... лучший класс... на заработанные в колхозе деньги... куда... к земляку... в театр... днем у Шукшина были... на Новодевичьем... сказали, что много священных могил,.. но нам надо нашу, родную... знаем, ему будет приятно, а нам полезно, поверьте нам... сначала не пускали... строго, но все же пустили...»

С трудом уговорили тогда директора театра разместить ребят. После спектакля еще долго с ним был: пел, читал, рассказывал про театр и, конечно, разговор о Шукшине. Шел год его пятидесятилетия, они собирались в июле пройти в Сростки пешком на чтения и зовут меня.

На Шукшинских чтениях побывал. Спел песню о славном и неустрашимом гордом соколе. Песню времен Степана Разина...

Вот какие земляки у нас с Василием Макаровичем растут...”

«Кто последним видел Шукшина»
(документальный рассказ Тамары Пономаревой)

“Софья Ивановна Фенько собирала все, что публиковалось в периодике о Василии Макаровиче. И все время хотелось написать ему письмо, подробное, исповедальное, как на духу, вес рассказать о себе, о том, как Василий Макарович скрасил ее одиночество, какое потепление произошло в ее женской судьбе.

А тут — бах! — умер. Умер Шукшин. Гром грянул среди ясного неба. Из газет вычитала — был под Волгоградом, умер на теплоходе, в каюте.

На панихиду в Дом кино отпросилась с работы безболезненно, потому что сослуживцы, благодаря Софье Ивановне, были горячими поклонниками Шукшина. Они и поручили ей возложить прощальный венок от их коллектива.

Отстояла часовую очередь. Но перед самым носом вход в Дом кино перекрыли, а венок велели положить на грузовую машину, где лежала гора таких же.

На такси помчалась на Новодевичье кладбище.

Ни разу не видела Софья Ивановна этого человека живым и дала себе слово любой ценой увидеть Шукшина хотя бы в гробу, положить на грудь кисти калины, за которыми съездила в осенний подмосковный лес.

Море людей теснилось у Дома кино, не меньше и на кладбище — протолкнуться было нельзя. Какой ценой прорвалась Софья Ивановна к красному гробу, одному богу известно.

— А кто его последним видел, не знаете? — тихонько спросила Софья Ивановна у соседа с надеждой узнать что-нибудь.

— Не знаю, спросите на киностудии, — одними губами ответил человек, смахнув слезы, и отвернулся от женщины, отрешенно и угрюмо глядя поверх голов.

— Сердешный ты наш! — вздохнула судорожно Софья Ивановна, провожая взглядом плывущий над толпой гроб.

Другой сосед, наоборот, был нервно возбужден, не переставая, болтал, и, прислушиваясь, Софья Ивановна уловила — рассказывает не о чем-то постороннем, про Шукшина.

— В холерный год это было. Помнишь, арбузы, помидоры и другие овощи горами на юге жгли. А Василий Макарович под Астраханью натуру выбирал для Стеньки. Разин-то с монахами местными был в дружбе. Жил Шукшин в гостинице, забыл уж ее название. Сам знаешь, ездить мне приходится много, всего не упомнишь. А тут в Астрахани какое-то областное совещание в здании напротив. Машины туда одна за другой подъезжают. Люди всякие важные собираются. А Шукшин в домашних тапочках на босу ногу сидит на краю канавы и наблюдает все это.

— Что он в этой канаве делал? — спросил угрюмый товарищ.

— Отдыхал... А что, нельзя? Там ведь асфальта нет, земля в канаве-то. А Василь Макарыч без нее не мог. Ноги болели, оттого и носил тапочки в свободное от работы время, а во время труда — сапоги. И вот сидит он так на краю канавы, а мимо люди, машины! И никто на него никакого внимания! А все кого-то ждут. Толпятся и в здание не заходят.

— «Внимания!» — рассердился не на шутку угрюмый, просто закипел весь. — Много ему было внимания-то? У нас ведь оно — чаще после смерти.

— Да погоди ты!.. Сидит это он так, а тут бежит какой-то заполошный человек. Прыг через канаву, запнулся за ноги Шукшина, побежал дальше, а Василь Макарыч: «Погодь! Вернись!» А тот в ответ: «Да иди ты! Мы тут Шукшина ждем, должен быть на вечере профсоюзных деятелей и как сквозь землю провалился... Не видел, случаем?» — «Вот и вернись, — говорит Василь Макарыч, — ты об ноги Шукшина запнулся...» И захихикал, довольно заозиравшись по сторонам.

— Балаболка! — коротко отреагировал угрюмый. — У вас все такие на киностудии?

— Не все. Есть и такие, как Шукшин, — обиделся рассказчик.

И решилась Софья Ивановна устроиться на эту самую киностудию, чтобы разузнать побольше о Василии Макаровиче. Быстро рассчиталась с работы и явилась в отдел кадров киностудии «Мосфильм».

— Знакомые кто есть? — первый вопрос, который ей задали в отделе.

— Где? — не поняла Софья Ивановна.

— Да на студии-то?

— Нет.

Кадровичка смерила Софью Ивановну с ног до головы таким взглядом, что просительнице все стало ясно.

Помогла ей устроиться молоденькая кастелянша, которой надо было уходить в декрет, а замены себе никак не могла найти.

Вживалась новенькая сложно в незнакомый коллектив: все было странным, причудливым. Исподволь Софья Ивановна все время пыталась выяснить, кто же последним видел Шукшина. Говорили разное: кто — Бурков, кто — Тихонов, кто Бондарчук. Ничего нельзя было понять. Однажды, участвуя в массовой сцене снимавшегося фильма «Тиль Уленшпигель» — не хватало людей, всех подряд подбирали — выяснила, что один из участников массовки был в то время на теплоходе и знает подробности.

И до этого человека Софья Ивановна добралась потихоньку.

— Да, я видел Шукшина последним.

— Говорят, Василий Макарович погиб из-за тромба в ноге, которую распарил перед этим а бане?

— Какой тромб? — вытаращил глаза собеседник. — И какая баня? Было жарко, как в бане. Осень-то какая стояла! Устал он шибко, Василий Макарович, ведь все годы работал на износ, а тут в ответ: у нас план, график горит, сдача на носу! Он мог ведь махнуть и уехать, а вот остался. Именно эти два дня и доконали человека. Ночью крик, Светка, помреж, завопила. Кстати, она тоже видела последней Шукшина. Вбежали мы в каюту, а он лежит, бедолага, рубаха чуть распахнута на груди, и рукой за сердце держится. Словно просит: «Погоди, дружище, останавливаться, я еще много не успел сказать!»

— Вы заслуженный артист РСФСР или СССР? — осторожно поинтересовалась Софья Ивановна, невольно проникаясь симпатией к этому отзывчивому человеку.

— Я почетный артист всех самых грандиозных киношных массовок, начиная с «Броненосца Потемкина» и кончая «Уленшпигелем»... Сами знаете, даже мизгирь, пока доберется до потолка, не раз соскользнет со стены и упадет. Так и Шукшин, пока добрался до потолка своего, сердце изно-

сил до основания. Оно ведь у него было, как у столетнего старика. Анатомы сказали, что и умереть он должен был не в сорок пять, а в сорок. На чем держался пять лет, никто не ответит. Да тут еще постоянно: «Куда прешь в кирзовых сапогах?» И барьер очередной-то перед грудью. Брал он, брал эти барьеры-то да и надорвался.

Ровно десять лет следила Софья Ивановна за творчеством Шукшина, ровно столько же она внутренне писала ему письмо. И все не находила нужных слов. А тут присела в уголок, за какую-то крашеную бочку, и слова сами полились.

«Уважаемый Василий Макарович! Сынок наш дорогой! Долго ты шел к сердцу народному, и времени у тебя было мало, и отдыхать тебе не давали, и барьеры на пути ставили: «Мол, куда ты в кирзовых сапогах!», но об эти ноги-то и споткнулись, да и носом в землю. Ткнулись когда в нее, поняли, чем пахнет родная наша кормилица. Низкий поклон тебе от осиротевшей земли. Она тебя помнит и чтит».

А утром поехала на Новодевичье кладбище, положила свое послание среди цветов, которые не убывали и зимой на этой дорогой и священной могиле...»

Фе Ли Ни

... Проходили пробы к фильму «Вам и не снилось»...

— А как вы относитесь к Шукшиной? — спросил И.А.Фрэз. — Если предложить ей роль Веры?

Я уже знала: всякая актерская проба — для меня мука. Лучше не знать, не видеть. Мне хочется, чтобы играли все. Даже те, у кого совсем не получается. Этих даже хочется больше. От желания никому не сделать больно, никого не обидеть у меня свойство уверяться в том, чего нет. Мне — все таланты. Реакция «на Шукшину» шла отсюда. А если ей откажут? Ей, актрисе Шукшина?

И я стала говорить сразу, до проклятых проб, что она нам не подходит. Физически. Наша, мол, героиня хоть и полная дама, но все-таки ленинградка, городская косточка. Шукшина же — деревенская красавица, от сохи, от коровы, одним словом, из другой оперы. А значит, разломает она нашу исключительно школьно-любовную городскую историю, будет ей в ней тесно и неудобно.

Должно быть...

Все это я выпалила из-за жестокости проб, хотя ничего против актрисы не имела. Более того, робела перед ней — вдовой Шукшина.

Но слова — словами, а мысленно, в душе, я уже потихоньку примеряла на нее роль.

Мне то нравилось, то нет. Например, смущала красота. Моя Вера — женщина тусклая, эта же... С такими, не любя, не живут. Однажды вдруг успокоилась. Чего маюсь? Актриса не дура, ни за что на отрицательную роль не согласится. Так ясно услышался ее отказ, что просто легко стало. Она и не подходит, и откажется, и никто никого не обидит.

Шукшина же, к моему удивлению. Просто вцепилась в сценарий. Она сказала так:

— Все, хватит! Я «передоила всех коров Советского Союза» и хочу в кино совсем другого. В конце концов, почему все время деревня? Я ведь ленинградка, городская косточка!

Это потом я назову этот ее период «третьим периодом творчества». Тогда же она для всех еще оставалась во втором, шукшинском, деревенском. Хотя уже были знаки судьбы... Знаки, показывающие, что актриса, видимо, хочет разрушить привычный, как теперь говорят, имидж. Берется играть невесть что. Эмму Павловну, например, в «Ключе без права передачи».

... Милое, глупое лицо в кудрявом парике. Ах, какая разница, как и кем работать! Не школа, так аптека. Нет, действительно, люди. Какая разница? Смотрит так обескураживающе тупо школьная учительница, что просто невозможно на нее обижаться. Никто, в сущности, и не обижается, потому что таких эмм павловн столько в нашей школе, что начни обижаться, школы закрывать надо. А так, какую никакую, но формулу хотя бы воды она на доске нарисует. Лучезарно глупая Эмма... Просто так сложилась жизнь. Попала в школу. Да ради бога! Она же готова в аптеку! Хоть завтра...

«Товарищ Асанова, — получила Динара письмо, — *вы нарушили правила игры! Как вы могли пригласить такую положительную актрису, как Лидия Федосеева-Шукшина, на такую отрицательную роль, как Эмма Павловна? Я категорически заявляю, что это не ее роль! С уважением. П. С.».*

Тогда эта роль Шукшиной — яркая, выбивающаяся из ее амплуа, запомнилась, мелькнув, но «имидж» не затмила. Она казалась скорей забавной случайностью в ее судьбе. Русская красавица, мадонна. Можно сказать, шалит... Показывает нам шутя играючи, какую способна выкинуть штучку.

А теперь, значит, Вера? Горе-женщина с ненормальным материнством. Настоянным на страхе рахита, трамваев и плохих мальчиков из соседнего подъезда. Женщина из «недоинтеллигентной среды» — выморочной, изначально запу-

ганной, в себя самое свернувшейся. Ну, хорошо... Пусть... А куда она, Шукшина, денет свои глаза — открытые, прямые, сочувствующие? Куда денет свою стать, свою поступь? Нет. Думалось, не ее эта роль, не ее! Хотелось чего-то привычного.

Шукшина же так страстно держалась за роль, что уже стало страшно: рыхлая аморфная Вера, а тут такая заинтересованная сила.

Силой будет играться слабость?

Но уже что-то началось...

Еще до всего, до проб, от одного горячего голоса Шукшиной по телефону стало интересно. В группе фильма — так мне во всяком случае казалось — возникло электрическое напряжение, у автора тряслись руки, у режиссера дрожал голос. Ни метра пленки не снято, а уже ощущение то ли успеха, то ли провала, то ли поражения, то ли победы. Поди разберись. Ведь со стороны это выглядит почти одинаково.

И вот первая проба. Какой-то наспех сочиненный павильон с наспех подобранными случайными предметами. На дверце шкафа в целлофановом пакете мужской костюм. Его каждый раз приносят и уносят. Это «играющий костюм».

— Чего он тут висит? — слышу я сердитый непонимающий голос.

Ловлю себя на идиотском движении — пойти и снять этот костюм, раз он мешает. И только ответ актера Филозова приводит меня в чувство: это уже идет проба. Это произносятся слова моего текста.

—Чего он тут висит? — слышу я потом во второй раз, и в третий. И каждый раз — каждый! — внутренне сжимаюсь от желания его снять.

Что за чушь со мной происходит? Я ведь не несу воду, когда «по роли» кто-то просит пить? Почему же я рвусь снять этот дешевый румынский костюм, который исполняет у нас роль костюма дорогого?

Потом, уже после фильма «Взятка», замечали:

— Она так берет взятку, будто всю жизнь только этим и занималась, — и подозрительно: — Откуда она знает, что это делается именно так?

— Берет взятки, — смеялась я.

— А я даже ни разу не давала, — говорит актриса. — Мама моя всю жизнь — в коммуналке. Но я не ходила по инстанциям, не просила... Потому что знала: надо дать, но как это, как? Стыд какой...

Знаю людей, которых эта самая феноменальная естественность смущает. Она вроде бы как не от искусства. Должен же быть какой-то шовчик между ролью и жизнью, чтоб пальцем по нему провести или хотя бы глазами увидеть. Нету шовчика... Вот она спрашивает, зачем висит костюм, и я приподнимаюсь, чтобы его снять.

Ну, пусть это моя, скажем, ненормальная реакция на начало первого в жизни моего фильма. Отбросим ее и забудем. Но как она сразу взяла ту высоту, которая потом определит всю роль? Я же видела, как пробуются другие. Очень многие делают это не всерьез. Никого за это не виню, не смею, потому что часто это защитная реакция на возможный отказ. Я не нужен? А вы мне тоже... Шукшина не шептала, не берегла эмоции, она с ходу взяла самую высокую планку. Еще ничего не началось, так, туда-сюда — шла легкая примерка. Актриса же — бух, вниз головой, с максимальной высоты.

Ведь с этого пресловутого костюма начинает раскручиваться в моей расплывчатой Вере энергия разрушения. И актриса на первой же пробе показала краешек бездны, в которую она потянет всех, потянет с такой фанатической силой, что вам и не снилось.

Клянусь, я не помню больше ни одной актрисы, пробующейся на роль Веры. Были ли они? Видимо, были... Но я продолжаю слышать этот голос, в котором уже набухала трагедия, хотя он еще был привычен для всех.

Теперь я знаю: Лида идет к роли интуитивно. Она убеждена, что никакого такого смысла «костюму» не придавала, просто чувствовала: ее героиня почему-то заводится.

— Все с пустяков и начинается, — говорит Лида. — Мелочь, мелочь, мелочь... А потом выясняется — это уже весь человек... Вся его суть... Мелочь — поверь! — виднее...

Она любит играть вот такие выразительные пустяки, которые и есть суть.

После «Вам и не снилось» очень хотелось написать для нее роль. Хотелось, чтоб в этой роли ее обаяние и женственность были напрочь стесаны жизнью. Чтоб была сдержанная, холодная, приобретенная в борьбе за существование маска, которой человек невероятно гордится. Маска — это вернее. Маска — это спокойней. Маска — броня. Маска — не воспринимаемая как маска, а уже как «правильное лицо».

Было предвкушение этого тройного актерского превращения — через естество, через имидж — к маске, потом разрушение маски и крах, потому что дорога назад, к естеству, утеряна. Маска приобреталась навсегда. Она была выверена, она была подогнана. В ней было удобно, тепло, не дуло. То, что стесывалось. Стесывалось без жалости.

Как это говорится? Ломать — не строить. Считалось доблестью — ломать. Целое поколение (или уже два-три?) выросло на цитатах из Рахметова—Базарова, из горячих строчек, что гвозди делать из людей — это хорошо. Вот и представлялась такая женщина-гвоздь, которую жизнь потом вколачивает в стену.

Я много с печалью размышляла о неудаче фильма «Личное дело судьи Ивановой», который, как точно сказал Сергей Шакуров, им даже двойной тягой с замечательной Натальей Гундаревой вытащить не удалось. И это правда. В критике были достаточно суровые слова о сценарии, но никто, никто не знает, что писался он на Шукшину, для Шукшиной, что она читала его во всех вариантах, что она ждала его, планировала его в своей жизни... Не вышло... Потом «не вышел» фильм.

В чем тут дело? Гундарева — актриса милостью божьей. Она ничего не способна испортить. Но ей было неудобно в роли судьи Ивановой, неудобно в тексте. Я видела, как она раздражается, я мучалась, хотела что-то поправить и внутренним ухом слышала, как звучат эти неудобные для Наташи слова у Лиды. Конечно, как говорится, уже не проверишь... Но... Из смысла фильма выпал... замысел. А выпал он сразу, когда стало ясно, что не будет Шукшиной. Господи, да я счастлива была бы писать для Гундаревой! Но моя судья — она вся ткалась из расчета на Лиду, на *ее* перевертыши. Вот она «победчица» из коммуналки, у которой все сегодня тип-топ. Вот она уверенная в силе и праве судить и

не быть судимой. Вот ее остолбенение от нарушения незыблемого порядка и естественное, как дыхание, убеждение — значит, надо держать, не пущать. Не может она ошибаться!

Фильм, который видели зрители, не про это. Все осталось в тех черновиках, которые вдохновляла Лида, все проклятые вопросы остались там.

Почему бегут из дома «смирные», «ручные» мужики? Почему плохо, если все хорошо? Куда деваться, если деваться некуда? А главное... Что делать с этим завоеванным в жизненной драке «правильным лицом», которое обязательно захочет заплакать как неправильное?

Я несу полную ответственность за фильм. И нечего оправдываться. Надо делать выводы. Я их сделала. Не писать для определенного актера, если нет уверенности, что именно он будет сниматься. А если уж написать, то стоять на своем. В столе лежат «Лидины роли». Уходит время. Жаль... Но для меня это меньшие потери...

Еще два слова, прежде чем попрощаемся окончательно с судьей Ивановой. Два слова о ее происхождении. Эта тема тоже шла от Шукшиной. Назовем ее «коммунальным отсчетом счастья».

Какого рожна человеку надо, если хлеб вольный? Какого рожна, если в индивидуальном туалете прыскает дезодорант? Какого рожна, если все, как у людей? Эти простые вопросы — самые обескураживающие. Вот и знаешь, что не хлебом единым жив человек, а теряешься. Потому как вроде начинаешь смущаться, что не единым хлебом живешь...

Для Лиды эти вопросы непростые. Когда к ней ехала в гости мама, она умоляла ее ехать в хорошем вагоне. Мама брала билет в сидячий, общий. За восемь рублей. Когда мама срочно начинала собираться обратно, — значит, пришла ее очередь мыть места общего пользования. Это соблюдалось свято и неукоснительно. Ничего нельзя сделать с этой одновременно с нами текущей жизнью бедноты или, скажем мягче, жизнью людей, не сумевших за всю жизнь добиться человеческих условий жизни.

Шукшина невероятной прочности пуповиной связана со своим голодным детством. Все у нее сейчас другое и все — то же. Тот же родительский дом с длинными коридорами и

многочисленными соседями. Тот же центр Ленинграда. Тут, в Ленинграде, все так: если есть небесная красота, то где-то рядом обязательно будет трущоба. Может, чтобы жить и выжить, надо не замечать ни того, ни другого?

Лида Федосеева замечала. Вообще у нее глаз зоркий. Она все видит, всей ей в глаз (и сейчас тоже), даже то, что видеть не надо. Вот она сегодняшняя. Вошла, обежала взором. Ни на чем не остановилась. Чуть прикрыла глаза, чтоб тут же их открыть, вся приветливость и добродушие. На что она на секунду закрыла глаза? Та девчонка, что ходила в школу в послевоенном Ленинграде, искусством закрывать глаза не обладала. Это жизнь ее била-била, учила-учила, пока она не научилась то глаза прикрывать, то очки напяливать, натягивать шапку до самого рта. Не себя прячет, глаз свой зоркий, лучше б не видел, если *так* все видит (потом поговорим о ее слепоте).

Детство было нищим. Но тут не скажешь — все жили плохо. Семья Федосеевых жила хуже плохого. Один кормилец, четверо иждивенцев. У кормильца сумасшедшие деньги — 700 старыми. Кормилец выпивал. Надо было сводить концы с концами — они не сводились. Мама, Зинаида Дмитриевна, могла все нехватки заменить только одним — добротой да лаской. Да еще верой, что все когда-то образуется. Маленькую Лиду лепил коммунальный демократизм, в котором всеобщее, но и все чужое тоже. Причем границы своего и чужого невидимые, по воздуху проходящие границы, а попробуй их перешагни. Два кухонных столика, как два государства со всеми законами суверенитета.

А с другой стороны, коммуналка — это сразу театр и зрители. И не надо права на дебют — бери его сам. Наверное, артистизм в ней от отца, который привез из Германии кучу пластинок Штрауса, любил петь, был заводилой во всех компаниях. От мамы — другое. Житейская трезвость, а в чем-то и робость. То, что от папы, проявилось сразу, то, что от мамы, проявлялось постепенно и проявляется до сих пор.

Во всяком случае, ее с детства звали артисткой. Не было в этом редкости. Тут я могу вспомнить и свое послевоенное детство. Каждая вторая из нас хотела быть артисткой. Это была самая сладкая мечта. Потому что лучше всего на свете было быть Целиковской — это для моих сверстниц. «Ларионовой», — поправит Лида. Она моложе и лучше помнит «Ан-

ну на шее» и «Садко», чем «Сердца четырех». Но это — детали. Главное же было в том, что все бедные девочки всех времен и народов, а мы после войны были беднее бедных, мысленно играют в сказку превращений, и это помогает им выжить.

Недавно у одного нашего замечательного публициста прочла другое наблюдение. Красочные послевоенные фильмы развили в нем, мальчишке, комплекс неполноценности. Фильмы не вдохновляли его — парализовали. Думалось о третьесортности собственной жизни, близко не похожей на кино. Он молодец, что это вспомнил и это сказал. Это точно. Просто у девочек это чуть иначе, сказка «Золушка» — она ведь все-таки про девочек.

Когда старшеклассник из Лидиной школы, красавец Миша Козаков хотел поставить спектакль «Золушка», шестиклассница Лида не задумывалась. Она дунула в чернильницу, чтобы не могло быть сомнений, что Золушка — это она, забрызганное до корней волос существо. Козаков таких рвущих душу подробностей не знает, а Лида до сих пор помнит вкус тех чернил.

Она играла во всех кружках, какие можно было захватить. Она пела, танцевала. Читала стихи, подделывала оценки в дневниках, чтоб из кружков не выгнали. Она наступала на свою мечту по всему фронту и не допускала мысли о провале.

Правда, иногда Лида предавала свою мечту. Она представляла себя студенткой горного института. Форма с иголочки, шинелька, обувочка... Золотые отбойные молоточки на чистом сукне. Если чуть подколоть волосы вверх, а низ волос чуть завить... Как это говорят сегодня — полный отпад.

Тогда так же думали...

Лида готова была предать актерство ради одежды сразу. Значит, прав, прав известный публицист! Разъедала нас всех ржавчина неполноценности. Одеться бы хоть!

Почему-то, по городской темноте, думалось, что горный институт — это там, где изучают горы. А горы — они где? Они далеко. Следовательно, соблазн возрастал. К отбойным молоточкам (да не знала она, что они отбойные, просто кра-

сивенькие) прибавлялось путешествие в горы. Трам-тарам ра-рам... куда-то там...

Но это мы очень убежали вперед. Ведь по времени мы еще пока дуем в чернильницу, рассчитывая на то, что Миша Козаков положит глаз на малолетку.

Не положил...

Да и как он мог обратить внимание на эту плебейку, красивый писательский мальчик?

Тут надо сказать, что отношения Лиды с литературой и ее миром — я имею в виду не в большом, глобальном смысле, не в смысле, что почитать, — начались в детстве весьма прозаически и начались плохо. Миша Козаков, сам того не ведая, добавил гирьку к существующему отношению.

Рядом с Лидиным домом был дом, где жили писатели. Хочется сейчас представить это в полном объеме, как тогда девочка видеть и понимать не могла. Представить степень расслоения людей в это, не к ночи будь помянуто, сталинско-ждановское время. Ах, как мы тогда пели хором и ходили строем! Ах!.. Но... Жила полуголодная девочка... Жили писатели и их дети... Это был совсем другой уровень жизни... Как жизнь в Америке или учеба в горном институте... И где-то рядом жили изгои — Ахматова и Зощенко. Кто знает, может, когда-то они видели эту девочку, а девочка видела их. Но она понятия о них не имела.

Почему мне важно это сказать? Почему важно подчеркнуть, что нас воспитывает не только видимое и слышимое, а и то, что разлито в воздухе? В воздухе трагического Ленинграда Ахматовой и Зощенко было тогда хуже всех. Девочка об этом не ведает. Она не ведает, что можно убить все, даже надежду. Она мечтает. Она верует. Она считает мир справедливым.

Удивительно, из чего мы ухитрялись и ухитряемся черпать веру! Просто мы лучшие черпальщики веры из ничего. Жизнь под ногами для нас может не иметь никакого значения. Мы — народ-идеалист.

... В класс приносили еду. Дети из приличных семей приходили с бутербродами с икрой, колбасой, хорошей рыбкой. Они были добрые дети и делились с учителями. Не то чтобы там откусить давали, но отламывать — отламывали. И учи-

тельница третьего класса принимала эти пожертвования с благодарностью. Так казалось Лиде. А, может, со страхом, думаю я теперь? Чьи это были дети, хорошо подкармливаемые? Или это сегодняшние мысли?..

Лида видела удовольствие жующей учительницы и мечтала доставить ей такое же удовольствие (кстати, это у нее до сих пор: «Нравится? Правда? Возьми!»). И однажды она угостила своим бутербродом с картошкой учительницу.

Что, по-вашему, сделала учительница третьего класса в 49-м году?

— Она бросила его в меня, — говорит Лида не своим голосом.

Мы тихо сидим с ней и беззвучно воем обе. А ведь по сегодняшнему нашему знанию о горе детей тех времен этот брошенный бутерброд такая малость, ласка, можно сказать. Но мы воем. Можно выть по совокупности? За тех детей и уже за своих? За степень нашего падения... И ведь еще не остановились — падаем... Падаем... Падаем... Падаем...

Какой-нибудь Мориак написал бы об этом целый роман. Они там любят писать о детских трагедиях. «Наше счастливое детство», начертанное на красном, прочно оградило литературу от темы страдания детей. Так, кое-где, кое-что с тысячью оговорок, да и то обязательно появится добрый человек с «билетом партии», как пишет Платонов, в кармане. Спасет! Сплошь и рядом никто никого не спасал. И Лиду, в которую бросили бутербродом, никто не спас, не защитил. Она сама себя спасла. Был в девочке такой запас жизни, энергии, такой настрой на будущее, что не стала она ни неврастеничкой, ни человеконенавистником, ни неудачницей... Пожалуй, Мориаку у нас нечего было бы делать. Это наши российские дела, российские способы выживания. Например, такой...

...Ее позвала к себе одноклассница. Уже не помнится, зачем. И с Лидой случилось — скажем так — Ошеломление. Пусть будет с большой буквы. То состояние было поистине великим. Оказывается, точно такую квартиру, как у них, в которой живет шесть семей, может занимать одна семья из трех человек. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

«Мы все добудем, поймем и откроем...» Она почувствовала, как летит в нее опять и снова бутерброд с картошкой. Я теперь думаю: идея об осуществившемся социальном равенстве легче всего утверждалась в коммуналках. Она была спасительна и примирительна, эта идея. Существующее же на самом деле неравенство было как бы за некоей кисеей, в некоем тумане, — близоруким не увидеть.

Лида никогда не была близорукой. Ей все бросилось в глаза сразу. Существование «простора этой квартиры», возможность свежего воздуха. Зеркало, натертый пол, небрежно лежащие детские красные перчатки. Нереальный мир. Его хотелось потрогать руками. Она взяла перчатки.

Я их украла. Вот украла —и все, — рассказывает она, и два горячих пятна вспыхивают на ее щеках. — Ну, не знаю, зачем. Не знаю... У меня перед этим украли шубку. Единственную приличную вещь... Сняли прямо на улице. Спасибо, хоть не убили... И такое было. Ходила ни в чем... Хуже всех... Когда в школе случались кражи, я просто чувствовала, как меня обнюхивают. Я была самая подходящая кандидатура для воровки... Когда увидела эти перчатки, поняла, что сейчас я их возьму... Возьму — и все!

Она призналась сразу в том, что взяла перчатки, что украла.

Представляю, с каким ликованием это встретили те, кто давно ее подозревал. У них же сложился пасьянс! Это ж редкая удача! Действительно, редкая для времени, когда сплошь и рядом подозреваемый и близко преступником не был. А тут — на тебе!

Ее так и не приняли в школе в комсомол.

Потом. Уже в институте, секретарем комсомольской организации будет Вася Шукшин, и она шарахнется от него. Откуда было ей знать, молоденькой, что ничего не могло быть общего у этого парня с теми, кто ее не принимал в школе. Что он был из «ее команды». Но внешняя суровость и занимаемая должность сделали свое дело.

— Я его терпеть не могла!

Она поступила во ВГИК. Она доказала, что может быть артисткой. В своем единственном школьном платьице она не затерялась, не сробела.

Сробела потом, когда уже стали учиться. Вдруг почувствовала себя скованной, тяжелой, неумелой. Это был рост. Совершался переход, но она этого не знала, мучалась.

На курсе «пропадала» красавица. Запросто могла пропасть совсем. Ведь еще ничего не было нажито, ничего не было так уж пережито... Была только красота в своем максимальном проявлении. В конце концов, тоже кое-что...

Режиссер В.Ордынский пригласил Лиду в фильм «Сверстницы» на самую положительную роль. Наверное, он не знал, что она не комсомолка, не знал, что она воровала перчатки. Он увидел такие глаза!.. Таких глаз у нее сейчас уже нет. Они есть у дочери. Что в них было главное? Доверие к миру и людям. Уму непостижимо, с какой стати. Но оно у нее было, и оно у нее есть. Сто раз битая, руганная, испытавшая такие потери, что хватило бы на десять полноценных мизантропов, Лида предельно открыта людям. Сколько ей от них досталось!.. Но ведь кто, кроме них, и спасал? Так что доверие — всегда, только теперь в глазах еще что-то — ироническая печаль, что ли? Что-то вроде: «Ну, да, да, я тебе верю, но ведь выкинешь какое-нибудь свинство. Нет?»

Мальчишки все хотели стащить брезент с машины. Раз, другой, третий... ну что, милицию звать? Позвала к себе. «Господи, сыночки!» Они потом пришли к ней с цветами.

После «Сверстниц» на нее, естественно, обратили внимание. И, естественно, это еще ничего не значило. Она еще не знала, что у нее пойдет черная полоса, что жизнь начнет ее ломать и испытывать по всему кругу. Бесславная работа на студии Довженко вместо учебы во ВГИКе. Неудачное, мучительное замужество. Все маленькое, мелкое, все по какому-то унизительному счету. Это был дошукшинский черный период ее жизни. Играли и выигрывали те, кто считал: никакая она не артистка. Так, девчонка с улицы, ворующая перчатки.

Подымалось в душе нечто. Сила не сила, гнев не гнев... Только надо было что-то делать, съезжать с этой убогой дорожки, по которой ее катило, катило... В сущности — в никуда.

Восстановилась в институте, на курсе Герасимова. Ничего не могла, жила, как деревянная. Все было не то, все было

не так... Однажды выдала в басне Бобриху. Как раньше, в самодеятельности, безоглядно, с уверенностью, что все может. «Оказывается, актриса, — удивленно сказал Сергей Аполлинариевич. — Ну, ну...»

Ну, она-то сама про это всегда знала!

Рубежным годом стал шестьдесят четвертый. Ее пригласили сниматься в фильме «Какое оно, море?». Уже перед самым отъездом на съемку узнала, что будет играть в паре с Шукшиным. Передернулась. Нет, конечно, были уже «Два Федора» и «Живет такой парень», но было и то воспоминание, институтское, от его секретарской должности. Не тот он был человек, чтоб она могла ему обрадоваться.

Вечером группой сбились в купе, пели, смеялись. Шукшин пришел к ним из вагона СВ. Он был уже на другом уровне кинематографического существования.

— Что-нибудь почувствовала?

— Абсолютно ничего! Он опаздывал на поезд и бежал по перрону совершенно дурацки... Он вообще бегал смешно... Ему это не шло... Посмотрела — мужик бежит не по-людски, а в кармане зубная щетка. Мне все ясно... Потом пришел в купе... Мы пели... Он сел и замер... А когда я запела...

— Ты?

— А что?

— Ты ведь только во «Взятке» поешь... Там от твоей поющей Оловянниковой мурашки...

— Здрасте! Хорошо же ты меня знаешь! Я все время пою... Я просто без этого не могу. И Вася внутренне фильм начинал песней. В купе я пела «Калина красная, калина вызрела...».

— «Я у залеточки характер вызнала...». Раздирающую душу история...

— Тогда была модная... Вася ее любил...

— Это ты ему понравилась. Поющая...

— Не без того... Всю ночь про оворили. Вернее, я говорила, а он слушал. Все до мелочей расспросил...

Тут все сошлось. Его просто уникальный интерес к человеку, к его душе, ее «невыговоренность» — некому было. У каждого за плечами было много чего наворочено. А прильнул бы Шукшин к дистиллированной барышне? А расска-

зала бы Лида другому все в подробностях, вплоть до «я тебя ненавидела»?

Первую книжку свою он подпишет ей так: «За то, что ты меня невзлюбила, вот тебе беспомощная моя работа».

Никакая не беспомощная. Уже был Шукшин, талант, который она увидела сразу.

— Очень понравилось! Очень! Я до этого какой-то рассказ его прочла... Батюшки, думаю! Как хорошо!

В ней какое-то фантастическое чутье на истинное. Именно чутье, потому что образования там, или культуры, скажем, в избытке не было. Откуда?

— Читала мало. Дома не было ни одной книги. Только то, что в библиотеке. Девчонки говорили: «Мопассан!» Я бежала искать. «Есенин!» Снова бежала. С этого и начинался интерес. С чужого голоса. Но важно же начать. Правда?

Через десять лет она будет везти на саночках через всю Москву купленного в букинистическом академического Толстого. И если спросить ее сейчас, что ей в ее доме дороже всего, она скажет: «Книги». А потом возмутится: «А ты думала, что?»

Какой она пришла к Шукшину? Абсолютно неустроенной. Быт, профессия, состояние души — все было на нуле. И вниз катиться было легче и привычней. Он ей сказал: «Ну, все... Возьми деньги, купи, что там надо и оставайся». Она пошла и купила матрац, подушку, белье. Он ведь был почти богач. Имел кооперативную квартиру в Свиблово. Спали молодые на полу. Но какое это имело значение?

«С подушки» начался самый прекрасный период в ее жизни, самый наполненный, самый щедрый... Но это из сегодняшнего дня, озирая и анализируя. Ее же убивала и неуверенность в обретенной крыше — жили-то «не венчанные». И то, что работы так и не было... И то, что Вася тогда еще пил. Она знала, что это такое. У нее пил отец. Вроде получалась повторяемость жизни, от которой ни-ку-да! Но уже понимала — ночью на кухне работает талант, убить хотелось дружков, которые гремели в прихожей бутылками. Жизнь шла комковатая, неоформленная.

Через три года кто-то из однокурсников при случайной встрече задаст ей простодушный вопрос:

— Ба! Это ты? Разве ты не умерла?

Она не умерла. Она родила двух девчонок. Она «влезла» в Васину работу. Она стала другая — внешне. Куда делась тоненькая девочка с косой? Это была сильная, ловкая женщина, на руках которой была семья, в которой все трое нуждались в ее помощи и поддержке. Где-то в глубине души зрела простая и необидная мысль: она готова исполнять это всю жизнь.

Сейчас я ее спрашиваю:

— А что будешь делать, если перестанут приглашать сниматься?

Не задумываясь:

— Не перестанут. Я буду работать всегда — играть бабушек-прабабушек...

Тогда же, двадцать с лишним лет тому, когда ей и тридцати не было, она допускала возможность какой-то другой жизни. Могу только высказать предположение. Возникло какое никакое благополучие — дети, любимый муж, уже трезвый, талантливый, добрый, крыша над головой... Господи. Не спугнуть бы счастье!

Главное же, думаю, не в этом. Рядом с ней жил воистину большой писатель. И прекрасный режиссер. И божьей милостью актер. Этого было уже слишком много для одной семьи. И она готова была сама отступить. Уйти в тень. Стать помощницей. Ничего обидного, ничего! Артисткой она уже побыла... Что хорошего-то?

Дома, конечно, можно попридуряться. Показать Васе Чаплина. Вот смеху-то! И все. И точка. И хватит. Марью и Ольгу за шиворот и — гулять!

Смотрите, люди, я иду! У меня красивые дети, талантливый муж, я здорова! Все хорошо, люди, все хорошо! Не умерла я! Нет!

Она так увлеклась этим своим образом, что случилось смешное. Когда она появилась в шукшинском фильме «Странные люди», кинокритик Инна Левшина приняла ее за непрофессионалку: «Я поняла, что, видимо, Шукшин решил сделать из своей милой жены драматическую актрису».

«Ее героиня с достоверностью и безыскуственностью непрофессионального актера жила на экране...» — так писала Левшина.

Все точно. Насчет безыскусственности. И насчет непрофессиональности тоже. Все начиналось сначала. Как в первый раз. Она робко, как в холодную воду, вступала в свой второй актерский период.

—Вася ведь, в сущности, и не знал, что я могу, а чего не могу. Я на пробах к «Печкам-лавочкам» так волновалась, что у меня от сжатых пальцев на ладонях остались синяки. Я показала Васе, а он смеется: «Дурочка! Ну, все же хорошо!»

Лида — шукшинская актриса — была совсем новой актрисой в нашем кино. В ней как-то все было сразу: и характерность, и лиризм, и четко видимая социальность. Эта крупная, сильная, красивая женщина убеждала нас с экрана, что мы не пропадем совсем, что есть надежда спастись и выжить, если такие женщины ходят по земле и к ним припадают мужчины. Хаос, бардак, безразличие, пьянство — да! — но есть и Люба Байкалова. И пока у нее хватает сил плакать и оплакивать, и снова в нас верить, есть надежда на спасение.

«Господи! Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?»

Василий Макарович одним из первых, если не первый, спросил: «Почему вы такие есть-то?»

Слова эти мучительные достались Лидии Николаевне, разделявшей боль автора не по обязательности роли, а по внутренней вере, что с нами со всеми действительно не все в порядке.

Все самые дорогие шукшинские мысли читались ею с горячего пера. Свойство же ее природы таково, что она пропускала все сквозь себя. Она первая на земле понимала, восхищалась его прозой. И это надо было ему и гонимому из редакций, и отвергаемому по разным «объективным» причинам, нужно, как хлеб, как воздух. Она продлевала его короткую жизнь.

Она фантастически образовывалась и развилась за это время.

«Фе Ли Ни», — написал ей в шутку Василий Макарович на книжке.

Как ей потом это все пригодится, понадобится! Мудрая жизнь будто знала, что ей надо иметь запас и любви, и по-

хвал, и знаний, что придет трагедия. И покажется, что кончилась жизнь, что ничего, ничего уже не может быть в будущем.

Сказал бы ей кто, что истинная актриса, с многообразием красок, интонаций, не боящаяся ни эксцентрики, ни изображения уродства, пробующая в профессии все, начнется у нее завтра — «в глаза бы плюнула». Что завтра? Какое может быть завтра? Где оно — завтра?

«Лежала, как мертвая», — вспоминала ее мама о том страшном октябре 1974 года.

— Не как, а мертвая, — твердо говорит Лида. — Все было кончено. Я даже думала о монастыре.

Спасение — как спасение это осозналось много позже, потом, — пришло прозаически в образе бывшего однокурсника Сергея Никоненко. Сергей собирался снимать фильм «Трын-трава» и считал, что никому, кроме Шукшиной, не сыграть героиню. Он пришел падать ей в ноги.

— Я ему до смерти буду благодарна. Но сначала я решила, что он спятил. Какая роль? Какая съемка? Про что он говорит? А он, как панфиловец, стоит — и ни шагу назад. Был разговор двух ненормальных...

Думаю, что лучшей роли, чем заторможенно-ледяная северная красавица для Лиды тогда и не существовало. Ей нужен был переход — от смерти к жизни — это была именно такая роль. Вся в цветах, лучах солнечного света, эта молодая женщина была не от мира сего. Она жила в какой-то другой реальности, и нас, грешных, принимала едва-едва... Только там, где по жилам начинало течь добро и сострадание, она с нами пересекалась. Все остальное она как не слышала, как не видела.

А на каких еще жилах нам выжить? Нам всем?

На этих жилах и Лида вернулась из смерти. Надо было подымать девчонок, зарабатывать деньги, надо было хлопотать о Васиных книгах, одним словом, надо было впрягаться в повозку.

До сих пор она с благодарностью вспоминает ту группу фильма. Сережу, оператора Мишу Аграновича, с которым ее свяжут долгие годы сначала преданной и нежной дружбы, а потом и любви.

— Может, про это не надо? — спрашиваю.

Задумалась. Нахмурилась.

— Но ведь это правда? Правда! Так как он мне помог, так никто не помог. И с девчонками, и в смысле ума... Он меня вернул с того света. Совсем, — гордо. С достоинством. — Из своей жизни ничего нельзя выбрасывать. Это нечестно. Что было — то было. Хорошее — тем более. А что скажут — пусть скажут. Но Миша — это Миша. Это кусок жизни. Я ему за все-все вовек благодарна буду. Тем более что уже и отговорили. Обсудили-осудили. Только что не камнями... Ну, что там у нас дальше?

Дальше была работа. Огромное количество.

Уровень ее последних шукшинских работ был весьма высок, поэтому недостатка в предложениях не было. Не надо было до синяков сжимать кулаки — пришла уверенность, что она может то, что может... Выяснилось, что она уже не боится проб, уже не обижается, если потом не берут. Вокруг у всех такие страсти, такие муки, такие страдания, интриги, а тут такое спок-о-ойствие. Даже в чем-то неприлично величавое.

— Это суетиться неприлично. Все хватать, дергаться, как на веревочке... А то еще речи научились говорить. Ну, наше ли это дело, актерское? Да не по делу, а так, чтоб видели на трибуне, запомнили, что есть, существую. Я — никогда. Не умею! Не хочу! Не буду!

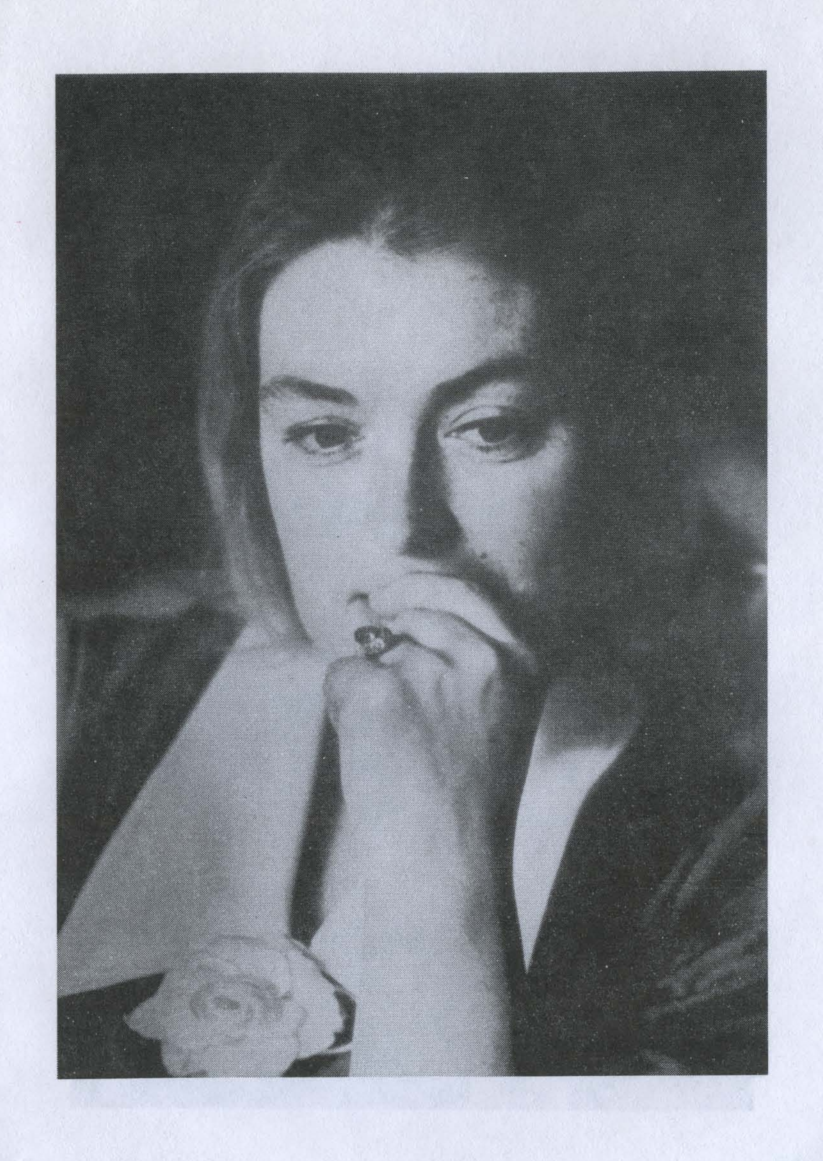
Такая страстная в этот момент, что я легко ее представляю именно на трибуне. Как она выйдет, как встанет, а потом вдруг увидит, что трибуна просто никакая, фанерная, изнутри просто собачья будка, как это ее развеселит, как она колупнет пальцем фанеру и засмеется освобожденно и весело. «Господи! Да почему вы такие есть-то?»

В ответ на это «почему» сформировался ответ.

— Я же не могу в жизни отвечать за других. Да и права такого нет. Я могу только о себе и за себя. Свою вину в жизни человек обязан знать. Какая она —неважно. Маленькая, большая... Перед соседом или перед державой, спаси господи! Но знать непременно, в чем я виновата. И покаяться...

О своем покаянии она говорила задолго до того, как «покаяние» стало состоянием души народа, поднявшегося к выздоровлению. И дорога к Храму для нее существовала всегда. Это от мамы, Зинаиды Дмитриевны.

— Мне этого никогда не постичь. И тебе тоже. Ты знаешь, как она читала Библию? Всегда как в первый раз и все-






4-60ИК











гда с новым смыслом. Когда я вижу в руках эту вечную книгу с чистейшим носовым платочком, заложенным между страниц, я начинаю думать, что сама читать не умею. Мы не вникаем в слово, нас этому не учили. Мы плоские, поверхностные. Верхогляды... Это кошмар какой-то. Что детям-то скажем?

Это важный, больной, мучительный для нее вопрос. Не потому, что выросли свои девчонки, которым подчас не знаем, что сказать, как остановить, как предостеречь... Она в кино так часто была матерью, так по-разному себя вела, столько пропустила через себя чужих слов и мыслей, то относительно единственного правильного ответа на все случаи воспитания говорит так:

— Его нет!

Вот она Вера в фильме «Вам и не снилось». О таких говорят «квочка». Не случайно в одном из дублей, не вошедших в фильм, она поступила точно в соответствии с этим определением. Вошла в кадр и... закудахтала. Шапочка на ней была из перьев, «блеск»-шапочка. И сама под шапочкой рохля-танк. Шапочку ей оставили, кудахтанье убрали. Это было слишком впрямую. Слишком... Но все остальное тоже было впрямую. Вера—Шукшина безоглядно играла безоглядность материнской любви. Потом она назовет эту роль отрицательной. Но ведь сама-то играла положительность такой любви! Мама знает как, мама знает что... Мама — она мама. Она же родила. Или кто? Актриса доводила святое чувство материнства до его противоположности, до уродства. Дочери скажут ей:

— Ты зачем это играла? Теперь все думают, что ты такая...

Она совсем не такая. Посмотрите фильм «Позови меня в даль светлую». Это вообще прекрасный фильм, так сказать, со всех сторон. Шукшина же в нем отмечена какой-то удивительно нежной гранью совсем другого материнства. Мудрого, несуетного, какого-то дружественного материнства.

— А лучшую мою мать никто не видел! — говорит она сердито.

Лидия Николаевна снялась в польском восьмисерийном фильме «Баллада о Янушике». Снялась, как говорится, из кадра в кадр.

В основе фильма, видимо, хороший роман С.Лубенского — во всяком случае. Сценарий Ежи Яницкого хорош, безусловно. Это трагическая история матери и сына. В фильме весь комплект извечных вопросов: как нам любить своих детей, в какой момент остановиться и сказать: «Хватит. Ты взрослый, я сделала все, что смогла. Извини, но дальше ты сам...» Фильм о безграничности сыновней неблагодарности. О зверином чувстве молодости, требующем уступить дорогу, освободить место, готовность растоптать даже мать... Не пересказать все. Фильм острый, социальный, в нем боли больше, чем радости, а может, радости и нет вовсе?.. Только, наверное, есть. Она должна идти от Шукшиной, которая играет мать. Видела фотографии. Прекрасное лицо вопрошает: «Почему вы такие есть-то?»

«Баллада» — это сегодняшний день актрисы, ее сегодняшний уровень, а хочется вернуться назад.

Вдруг, неожиданно, просто как снег на голову, в 1976 году она сыграла мадам Грицацуеву в телефильме М.Захарова «Двенадцать стульев». Роскошная брюнетка томно закидывала полные руки на шею почти вздрагивающего от силы страсти Бендера—Миронова и смотрела так восторженно глупо, что у Бендера что-то в глаза появлялось... Сочувствие, что ли? Хороший ведь, в сущности, мужик. Ну, скажем точнее, не самый плохой по тем временам...

Поклонники русской красавицы кино. Хранители и ревнители «имиджа» тогда возмутились в первый раз. Что она себе такое позволяет? Да пристало ли ей? Вицмундирная администрация искусства была оскорблена по соображениям чуть ли не государственным. Положительная героиня! Вдова такого человека! И такое себе позволяет танго...

Вечно живо оказывалось в нас время, когда актерам, играющим Сталина, просто изначально, априори полагалась первая премия, что совершенно было недопустимо в отношении актеров, играющих, к примеру, Гитлера. Эта дичь до сих пор сидит в простом человеке, который пишет протесты, если любимый актер играет отрицательного героя. Простой человек не виноват. Ему это долго внушали.

Роль Грицацуевой, встреченная кое-кем неодобрительно, получила тогда хитроумную оценку: мол, актрисе это не «идет».

А ей шло! Она мечтала о характерности, гротеске, безоглядной игре в перевертыши. Хотелось ей и шапочку из перьев, и мушку покрупнее. И что-нибудь эдакое...

...Именно тогда Динара Асанова увидела сон.

Будто бы... Будто... Идет она, а навстречу ей покойный Василий Макарович. И говорит ей Василий Макарович: «Слушай, Динара, сними-ка Лиду в роли Эммы Павловны».

Динара потом писала об этом. Как она удивилась сну, как неожиданно для самой себя поверила ему и послушалась. Вызвала в Ленинград Лидию Николаевну.

Потом она скажет:

— Я постараюсь снять ее в каждом своем фильме. Пусть в эпизоде, но непременно. Это — актриса.

Слово свое она сдержала. Только вот в «Пацанах» нет Шукшиной. А была...

Дома у нее висит ужасающая фотография. Из тех, которые прячут. Страшно тупое, наглое, веселое, пьяное лицо. Фотопроба.

Когда актриса ее увидела — себя не узнала. Но известно доподлинно, как на это прореагировала.

— Какая прелесть!

— Какой ужас!

— Вот бы мои девочки видели, страсть-то какая, господи!

— А хорошо бы вот здесь тонкий шрамчик...

Очень хорошо представляю себе этот не попавший эпизод в «Пацанах», знаю ему место. Жалею, что его нет. Роль-то минутная, но ведь как тянуло их друг к другу — аскетичную, жесткую, не приемлющую никакого «псевдо» Динару и широкую, горячую, подчас неуправляемую в желании найти «тонкий шрамчик» актрису. Казалось бы — совсем разные. У одной все как бы документ, а у другой уж точно спектакль... Лицедейство...

— Кстати, в театре не хотелось работать?

Я, в общем-то, знаю ответ.

— Нет. Вернее, не так... Какие-то роли хотела бы сыграть... Отдельные... У меня другая природа.

Но как же она любит хорошие театральные работы, как им радуется!

— Иди смотри Быкову в «Улице Шолом-Алейхема».

— Иди смотри Тенякову...

— Иди смотри Неелову...

Радуется, будто сыграла сама. Вот это я ценю в ней бесконечно — независтливость. Даже то, что намечтала себе, у другого актера судит честно, объективно.

— Прочла сценарий Миндадзе «Слово для защиты». Господи! Моя же роль... Это я! Это я открываю газовую конфорку. Это я люблю и ненавижу... Прямо тряслась от желания. Взяли Неелову. Представляешь? Я и Неелова. Это значит, у режиссера мысли обо мне и близко не лежала... Я ему на дух не нужна! Посмотрела фильм. Ну, что я тебе скажу? Неелова — это Неелова. Это лучше всех. У меня было бы так... Не в смысле лучше — хуже... Не так. Ну и пусть. У нее — так! Прекрасно так...

Я обещала сказать о слепоте актрисы. Ее нет в ее жизни, в отношении к людям, но порой она бывает абсолютно незрячей в отношении к тем ролям, которые собирается играть. Стоит ей влюбиться, увлечься — и все. Не видит. Не слышит. А то и не понимает. Эта безоглядность сродни любви к человеку, а потому спрашивать, за что любила, бесполезно. И уж тем более казнить себя потом. Она знает это за собой, иногда на всякий случай осторожничает... Но если ее что-то задело — не остановить. И ввязывается, и злится потом. И дает слово... Но приходит очередной сценарий.

— Что тебя способно сразу привлечь в сценарии?

— Первая фраза...

Вот ведь как! Литературный подход. Не киношный...

— Первая фраза на душу ляжет, потом уж не важно, большая роль или маленькая... Нет, конечно, лучше большая...

В фильме Тодоровского «По главной улице с оркестром» героиня Шукшиной, тоже Лида, печально говорит:

— Талант не кормит.

Эта сцена мне кажется, одной из лучших в фильме. Не потому, что там Шукшина, а потому что в ней, в этой сцене, для меня сгусток печали-боли о жизни, судьбе, о том, свою ли жизнь мы проживаем или чужую, случайную?

Так вот, о сути слов: кормит ли талант?

Надо видеть, как это произносит Шукшина. Не кормит, не кормит! Не придуряйтесь, что ему, таланту, все пути открыты. Ничего подобного. Ничего! «Господи, да почему мы такие все?»

Фильм потом будет про другое. Он пойдет каким-то своим путем, а слова останутся: не кормит талант в наше время. Другие пути к куску хлеба как-то ближе...

— Она какая, твоя героиня, в этом фильме?

— Хорошая...

— А если подумать?..

— Ты как в школе. Если подумать — очень хорошая. Помнишь, как она говорит о детдоме? Я даже подозреваю, нет, точно думаю, что и моя Оловянникова в знаменитой «Взятке» тоже хорошая. Как тебе эта мысль? Не она придумала безвыходный мир, в котором, извини, дорогая, но взятка какой никакой — выход. Сидит она, лапочка, в президиуме и думает: «Ну, какие же бессовестные рядом со мной люди. Этот три тыщи берет, а этот вообще пять, а я на восемьсот семьдесят соглашаюсь... Страдаю от своей доброты...» Мы все никудышные... Потому что все научились видеть свинство от какого-то определенного количества этого свинства. А взятки даем всем. Слесарю суем? Суем! Таксисту даем? Врачу? Ну, и все... Бедная моя Оловянникова! Так и делай людям добро...

Смеется.

— Не правда, что ли?

Конечно, правда! Давно живем в перевернутом мире — где верх, где низ, где зло, где добро... Все зависит от места существования-положения, в котором находишься. Истины вроде бы как и нет...

— Поэтому на любую роль в классике побегу. Там это есть — *понятие*. Понятие, кто есть кто, кто есть что... Там все до кристаллика. Никаких допусков, никаких отсчетов от одной раз и навсегда проведенной прямой. Слева — наши, справа — белые... В классике — истина, она от Бога. От чего-то высшего, независимого и постоянного. Нельзя убивать, и все тут, а у нас, если враг не сдается, что ему — бедняге — остается? Вот так... А жалость у нас что делает? Вот так... А жалость у нас что делает? Унижает... А я люблю в человеке жалость... И сама стараюсь жалеть и люблю, когда жалеют...

В классике ее снимал Швейцер в «Маленьких трагедиях», в «Мертвых душах», в «Крейцеровой сонате». Она хороша в костюмах тех времен, в тех прическах. Похожа на ца-

рицу. Так и видишь в ее руках скипетр, державу... Она даже снялась в роли Анны Иоанновны, не видела, но хорошо себе представляю. Кстати, Бироном был Михаил Козаков. Встретились-таки...

Но откуда? Откуда эта пулеметная речь у стянутой корсетом дамы? Весь кусок фильма «Мертвые души», где беседуют дамы просто Приятная и Приятная во всех отношениях — Шукшина и Чурикова, — я смотрю, не успевая выдохнуть. До сих пор не пойму, как это можно одной, такой большой шумной, играть предельную скорость, а другой, тонкой и шелестящей, полное замедление? И как им при этом удается сосуществовать в одной точке в одно время?

Шукшина произносит удивительный монолог-залп.

— Как так сумела? Расскажи...

— От Инны Чуриковой. Она та-а-к смотрела и слушала, что я должна была так говорить.

Она удивительно любит партнеров. Признается, без этого не могла бы работать. Скажем, даже неразборчиво любит. Ценит в них неожиданность, непредсказуемость. Этим ее можно сразу купить. Откликается на все мгновенно, тут же, с пол-оборота. Зная это ее свойство, не перестаю жалеть, что прискорбно мало у нее ролей комических, фантасмогорических, что уже для многого упущено время.

Старается наверстывать, где может. В фильме «Карантин» придумала себе картавость, возликовала, когда узнала, что по роли в новом фильме играет на аккордеоне. В ней такое количество неистраченной характерности, что иногда звонит по телефону не своим голосом. Подурачит, подурачит, а потом без перехода: « Ну что, не узнаешь, что ли? Ничего себе!»

опять же выручает классика. Опять же Гоголь. «Иван Федорович Шпонька». Она и Табаков. Как-то мимо, мимо критики все эти ее роли. Какое-то просто остервенелое стремление оставить ей одно амплуа — русской бабы. А в природе ее дарования столько юмора, иронии, насмешки, что хватило бы и на графинь, и княгинь, и на какую-нибудь заморскую штучку. Когда нет роли, она чудит.

Про нее рассказывают такую историю.

Ехала на машине по выгвазданной подмосковной дороге. Трясся впереди груженный капустой грузовик. Один ви-

лок возьми и свались прямо на дорогу. И тогда народная артистка выскочила из машины, прямо в лужу, схватила грязнущую капусту, прижала к себе, как родную, и гордо поехала дальше — удовлетворенная охотница.

— Идиотка! — сказали ей. — Ну, ладно, десять копеек сэкономила... Но ведь могла и под машину... А позор? Ну и скупердяйка, скажут, эта артистка! Ничего не упустит.

Она действительно такая — три копейки посчитает и тут же сто рублей выкинет.

Шукшина слушает, что про нее рассказывают, и смеется. Я знаю, о чем она думает: при чем тут капуста? Мысленно вижу этот «этюд» и печалюсь о том, что у нее, играющей много, еще больше неистраченных сил. Она носит в себе роли, а когда их нет — инстинктивно проигрывает их с родными и близкими. Просто так. «Ну? Не ясно?» Я люблю за ней наблюдать в такие минуты, когда она — не она. Почти без перехода, секундно, она вдруг как будто поменяла шкуру, покрутилась в ней, пообмялась — и снова сама собой. Когда она говорит о том, что легко переходит на съемочной площадке в рабочее состояние, эта легкость подготовлена постоянной готовностью играть.

Какого рода ее дарование? Наверное, это неправильный вопрос. Талант настолько всегда сам по себе, зачем ему искать род? И все-таки. Если поразмышлять без правил. Куда, к какому ряду отнести Шукшину? С кем сравнить?

Вопрос вызывает у нее смешливый гнев.

— Знаешь, Нонна Мордюкова, когда кто-то заметил: «Актриса типа Мордюковой», — сказала: «Нет такого типа. Я одна, жива — и все тут...» Вот и я одна, жива — и все тут... Сравни меня с Нееловой...

Нет, Неелова ее явно волнует. Не первый раз называем мы ее в нашем разговоре. Для меня это объясняется одним: сравнение по принципу «совсем другая». Шукшина, видимо, с этим не согласна. Нет, конечно, совсем другая. Но...

Есть в этом обращении к актрисе, скажем, совсем другого рода некая ее тайна, которую хочет понять. Ее занимает филигрань Нееловой, но ведь она сама работает иначе. Дыхание той в роли едва слышно, так все хрупко, нежно. Лида же будто без полутонов. Иногда намеренно без них. «Не надо, не надо, — будто говорит она вам, — разводить всякие

фигли-мигли. Вот перед вами я. Видите, не хитрю, не ломаюсь, не выкручиваюсь, не надо меня разгадывать, положительная или отрицательная. Я вся тут. Ну? Какая я?»

И при всей такой откровенной пропагандируемой открытости — вся внимание, когда перед ней нечто совсем другое.

Она вспоминает такой эпизод. Сидела на приемных во ВГИКе. Сидела, сидела и... задремала.

— И тут, понимаешь, как что-то кольнуло. Девушка читает Достоевского, читает так, что прямо хоть умирай... Господи, кто же это? Читаю в списке — Лена Соловей... Какой голос! Какая интонация! Такое горе сразу, что ком в горле.

Потом они будут сниматься вместе в «Вам и не снилось». Будет у них там дуэт. Вера—Шукшина счастливым голосом будет говорить о том, что ложь — замечательный, можно сказать, лучший способ спасения сына. «Спасибо потом скажет!» Ольга Николаевна—Соловей тусклым голосом ей ответит, что ложь — это плохо. Безнравственно. И обнаруживается безнадежность поисков правды, безнадежность жизни не во лжи, потому что упоительно здоров, могуч, всесилен будет в этой сцене конформизм и слаба, худосочна, бессильна жизнь по правде.

Шел восьмидесятый год, и мы очень-очень «дозировали» возможность «слов до конца». Но тут все было естественно, как дыхание. Торжество лжи большой, маленькой, домашней, школьной, лжи для всех и для узкого круга было обиходом и проявлялось ярко и вольно. Другого ничего не было. Шукшина играла социальную трагедию вскормленного и вскармливающего обманом человека как нормальность. Она так победно улыбалась, она была так уверена в силе лжи, что делалось страшно. А тут еще такая рядом подбитая, неуверенная в себе учительская правда. Говорит какие-то жалкие слова, пыжится, а сама *ни во что не верит,* — столь же точно сыгранная Е.Соловей.

И начинаешь понимать, что никакая Вера не рохля. Танк она, танк. Ну, не хотите так, скажите иначе. Коня на скаку... В горящую избу... Вилок капусты на ходу из-под колес. Ей, женщине нашей, все давно нипочем. Шукшина любит играть эту умелость от безысходности, притерпелось к невозможным обстоятельствам. Ей ведь, женщине, кто достает-

ся? То бывший вор, то трепач-правдолюбец, то зануда, то алкаш, а то все вместе ввалятся. С ними и выпей, и песню попой. Трудно вообразить лучшее трио, чем Шукшина, Ульянов, Любшин в фильме «Позови меня в даль светлую».

Такой точный, такой русский фильм. В нем — опять же без шовчика — переливается в героях беда-радость, — только-только обрадуешься, а оказывается, уже плакать надо. Так и живем. Куем себе счастье из подручных средств. Позови меня в даль светлую... За одно «позови» спасибо скажу. Но уже давно никто никуда не зовет. Уже и ноги прикопали.

Если представлять себе будущее актрисы, то, наверное, именно в море социальных типов ей и плавать. Гротеск, комедия — это соблазнительно, но — скажем — не факт. Пригласят ли? А вот «кино про жизнь» без нее не обойдется.

Звонит:

— Ой, какой смешной сценарий!.. Я просто влюбилась!

Перед этим говорила:

— Все. Отдыхаю. Хватит. Сил нет. Давление скачет.

Но она уже влюбилась. Захлебываясь, рассказывает сюжет. Что правда, что она по ходу сама сочиняет, не знаю. Да она и сама не знает. В ней уже по своим законам начинает разматываться чужая история, будоражить, ходить по жилам.

Гордо так: «Буду играть на аккордеоне».

— Скажи — вот уже середину жизни перемахнула — состоялась она, твоя жизнь?

— О да! О да! О да! Слава тебе, господи... Все сбылось. Все!

— Так уж и все?

Хмурится. Твердо:

— Все. Я актриса. У меня был Вася. Дочки. Мама. Знаешь, конечно, если совсем честно... Мне не хватает образования... Я мало знаю... — начинает заводиться: — Вот это плохо. Ужасно! Просто никуда не годится! Вот этого я стыжусь. Незнания...

Она преувеличивает. Может, хитрит. Чисто по-женски. Пусть думает, что я не знаю, а я знаю... Это же лучше, чем наоборот... Она много читает. Главное, она старается понять

то, что вполне могла бы не понимать. Обошлась бы, так сказать.

Наше время родило еще одного замечательного урода — нестыдливость. Может, в иерархии пороков это и не самый большой грех, но то, что он заметный, — это точно. Заметили, как нестыдливо теперь совершается хамство? Ошеломляешься и не знаешь, чем. Хамством ли или вот этой самой упоенно проявленной нестыдливостью?

А уж не стыдиться незнания? Зачем оно — знание? Что на него купишь? Теперь, когда мы видели фильм «Жизнь Клима Самгина» и знаем, что Лидия Николаевна в нем не играла, могу рассказать, как уносила она от меня четыре тома Горького, когда ей предлагали в этом фильме крохотную роль.

Могла не читать, тем более что ей был дан сценарий? Могла. Она же читала. К книгам у нее отношение священное.

Она читает много, в оценках своих не уверена, путается. Первое время мне это было непонятно. Потом поняла. Она, лихая в ловле капусты, стесняется проявить «незнанья жалкую вину». Ее оценки инстинктивно всегда точны, но ведь они сплошь и рядом не совпадают с тем, что звучит вслух и громко. Вот она любит смоленскую писательницу Нину Семенову, ценит ее, чтит. Нашла же, прочла же... Теперь будет ходить и всем рассказывать, что есть на свете Нина Семенова.

Тут у нее целая теория:

— Если бы Васю хоть кто-нибудь похвалил чуть раньше, он бы дольше прожил. Людям надо говорить хорошие слова... Людей надо хвалить. Как нас, ничего не умеющих, хвалил Герасимов. И мы — точно, точно! — делались лучше. Талантливей... Нет, объясни мне, почему сейчас все друг друга ненавидят? Все злые? Жизнь такая? Какая такая? Плохая, жестокая? Так она еще сколько будет такая? Передушим друг друга? Передушим... Дураки! Конечно, добро — это трудно. Но зла-то, зла можно не делать? Это не я. Это Вася говорил. Правильно говорил.

— Он еще говорил: «Что я — идиот, всех подряд любить? Или блаженный?»

Задумалась.

— Любить, конечно, всех, может, и не надо, — с вызовом: — Думаешь, я всех люблю? Прямо-таки! Но... Жалеть надо всех... Неправых, может, даже больше... Они не ведают, что творят...

— Ведают. Ведают! Не заблуждайся. Не так все просто...

— Все не просто. А человека простого вообще нет. Это амебы простые. В человеке обязательно есть хорошее. Каждый день, каждый час человек делает выбор, с какой ноги ему ступить... С хорошей или плохой... Раньше религия, бог все время человека остерегал от плохого. Это было правильно! Нельзя же молиться — помоги мне убить, дай напакостить! Даже сказать это невозможно. Человек, молясь, обращался к себе, хорошему. Сейчас «молитва» одна: пошли вы все! Поэтому моя мама, которая читает Библию, пока лучший человек на земле из всех, кого знаю... У нее нет зла даже в помысле...

Давным-давно, когда Лидии Николаевне присвоили звание заслуженной артистки, мама вроде бы как расстроилась. Это папа вовсю хвастался, а мама...

— Ну, раз уж дали, доченька, должна играть лучше... Но знай — это не главное...

Мама именно такая. У нее свой, — думается, истинный — счет доблестей. Звания, награды... Ерунда какая, господи! Суета...

Младшая дочь, Ольга, учится «на артистку». Прибежала, увлеченно рассказывает, что в каком-то очередном спектакле-капустнике будет изображать Марину Влади в роли знаменитой Колдуньи.

— Буду, — показывает, — в та-а-ком платье... Волосы — вот так... Но босиком не пойду.

— А я пошла бы! — мечтательно говорит мать. — Пошла бы.

Слежу за ее выражением лица. Вот сейчас, на секунду, случилось чудо, и посмотрела на меня тоненькая большеглазая колдунья, пробежавшая по лесу босиком.

Шукшина смеется:

— Смешно? Смешно... Я — и колдунья. Но, моя дорогая! Я такая, какая есть, и другой быть не хочу. На диете не сижу, аэробикой и йогой не занимаюсь, косметикой не пользуюсь... Ну, и что? Я тебе уже меньше нравлюсь? Но не за-

будь написать, что у меня есть чувство юмора. И я вижу себя со стороны... Видишь, у меня растет щель между зубами? Надо что-то делать... Я уже начинаю стесняться смеяться... Это конец света, если возникает стеснение, зажатость... уже я — не я. Мне должно быть в роли удобно, широко, вольно, иначе я не могу... А если я думаю о дурацкой щели между зубами, все, кто на меня будет смотреть, скажут: какая у нее дурацкая щель между зубами. Вообще, зритель видит все. Ты задумываешься — он задумается. Ты заплачешь — он за тобой. Засмеешься — тоже. Вот какие мы нужные народу люди...

— Другой бы спорил...

— А ты поспорь... Потому что я сказала глупость... Все совсем не так однозначно. Отношения со зрителем куда сложнее, чем я сказала. Вот взять «Парад планет». Думаешь, я, как зритель, все там поняла? Ничего подобного! Я — человек темный... Но как интересно мне было *не понимать!*

— Это первый шаг к открытию...

— Ну, не знаю... К чему там шаг... Интересное само по себе дорогого стоит. «Парад планет» — фильм небанальный... Вообще надоело заниматься чепухой. Напиши мне роль, чтоб все ахнули!

Надо для правды сказать, что попытки такие — в виде заявки — делались. В столе лежат три штуки, которые с каждой минутой стареют. Конечно, обидно. Конечно, жаль... Но было бы хуже, если б их не было. Трижды в жизни, сочиняя для нее, я будто подпитывалась силой ее энергии, ее природы. Горячая, неуправляемая. Она разламывала мне сюжетные конструкции, опрокидывала на лопатки «главную мысль», она творила со мной, что хотела, и это было замечательное кино для двоих. Мне — писать, ей — читать. Если уж правда, то и другим, читающим тоже иногда нравилось. Но кто-то сильней нас сказал, что это — мелкотемье. Кто-то прямой добавил, что мы с ней не на магистрали. Однажды был предложен по телефону вариант: «А если не Шукшина?» Я сказала, что заявка в столе хлеба не просит... Уже было «Личное дело...», и я знала, как губительно даже невольное предательство. Вскормленные Лидиной энергией героини другим в руки не давались... Пожалуй, что-то в ней от колдуньи есть на самом деле.

И все-таки во всем этом печаль. Время для актера уходяще... Вроде ничего не изменилось, а уже к этой роли не

приглядывайся. Не будет тебе ее. А потом к этой... И еще... И еще...

Конечно, впереди все бабушки и прабабушки мира, а ведь любви так еще и не сыграно. Ей, знающей и испытавшей в ней почти все. И трагедию, и всеобщее осуждение за то, что не того любит, и полную растворенность в деле любимого, и муку и страдание от его слабости, и трагедию потери...

жизнь продолжается. Ее по-прежнему трудно застать дома, она много снимается, много ездит по белу свету.

— Не надоело?

— Нет, это я люблю.

Она легка на подъем. Она бесконечно открыта новому. Мне всегда было интересно ее какое-то детское увлечение. Африкой.

— Что это в тебе?

— А вот что: в Китае, оказывается, все китайцы. Во кака диковина! Я думаю, что это во мне чисто русское потрясение тем, что на тебя не похоже. Мы так долго были закрытой страной, что еще чуть, и стали бы верить в людей с песьими головами. Я езжу и удивляюсь. В Африке — все черные, в Китае — все китайцы, но, боже мой, люди же, люди! Страдают, плачут, смеются на одной малюсенькой земле все вместе. Будут кретинами, все вместе и помрут...

— Что про тебя еще сказать?

— Скажи, что я хочу вступить в кооператив. Мне это дело по душе. Деньги в оборот. Машка скоро родит... Ой, как хочется посмотреть! Девки мои красивые, правда? Нет, ты посмотри, посмотри... Какая лучше? Ты гадаешь на кофейной гуще? Нет? Зря. Я верю в гущу... Все будет хорошо... Вот увидишь!

Я давно мечтала о театре-студии имени Васи. Чтоб не только его играли, но все то, что и он бы любил, будь жив... Нашу русскую беду, нашу радость... Наше неумение ничего путем делать и наш же природный талант, до которого никому нет дела... Так мечтала, так мечтала! И пожалуйста. Сбылось. Жора Бурков расстарался. Лучше его организатора этого дела не найти. Видишь, как хорошо!

... Когда-то давным-давно маленькая девочка из бедной ленинградской семьи попала на филармонический концерт.

Торжественная прекрасная музыка приподняла ее плохо одетую над красивым полом и унесла далеко-далеко. Где не имело значения ее никудышное платье, ее постоянное желание что-нибудь съесть, ее подделанные в дневнике оценки.

С тех пор девочку пускали в филармонию без билета. Там, шумная, буйная, она боялась дышать, чтоб не спугнуть это чудо, когда ты — не ты, когда можно летать, когда хочется плакать и смеяться сразу.

Шукшина хорошо знает, что такое счастье-несчастье в жизни. Знает она и это ощущение полета и невесомости, которое дарит искусство. Не будем врать, что это ощущение присутствует всегда в ее собственной работе. Может, за всю жизнь таких блаженных секунд было несколько. Но они были. Они — как идеал, как планка, которая всегда выше головы, но каждый раз разбегаешься... И была — не была!

Смотрю материал одного из последних ее фильмов. Пока черновик. Пока прикидка. Но сразу набело получаются у нее слова: «Что с нами делается, люди?» Это ей не надо репетировать. Это главная ее тема и ее боль...

Что-то будет завтра...

Вернее, послезавтра...

Завтрашние ее фильмы уже где-то там копируются, озвучиваются и так далее...

Послезавтра, послезавтра...

Пусть она успеет сыграть то, что ей хочется. Пусть ей не помешает время.

Примечания

«МЕНЯ ДАВНО ПРИВЛЕКАЛ ОБРАЗ...»

Опубликовано в газете «Молодежь Алтая» 1 января 1967 г.

СТЕПАН РАЗИН: ЛЕГЕНДЫ И БЫЛЬ

Интервью с корреспондентом «Литературной газеты» И.Гуммером напечатано 4 ноября 1970 года.

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ. Роман

Известно, что по ходу работы над разинской темой у В.М.Шукшина крепло ощущение прямой, почти, так сказать, потомственной связи с участниками крестьянской войны: связи эти он прослеживает, начиная даже не с Алтая, а именно — от разинских мест: *«Завидую моим далеким предкам»*, — пишет В.М.Шукшин в 1973 году, — *их упорству, силе огромной. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай...»*

Архивные разыскания показывают, что В.М.Шукшин имел для такой генеалогии реальные основания. По сообщению В.Гришаева («Несколько слов в биографию Шукшина». — «Сибирские огни», 1983, № 4), прадед Василия Макаровича, Павел Павлович Шукшин, переселился в Сростки в 1867 году из Самарской губернии, и из Самарской же губернии тридцать лет спустя, в 1897 году, переселился в Сростки дед — Сергей Федорович Попов, отец Марии Сергеевны.

Таким образом подтверждается поволжское происхождение автора, на которое есть намек в романе «Я пришел дать вам волю»: «— Ты родом-то откуда?.. — А вот почесть мои родные места, там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша...»

Однако осознание прямого преемства с разинцами и причастности к разинской эпопее приходит к В.М.Шукшину не сразу и возникает лишь на определенном этапе.

Как предмет любви Степан Разин входит в жизнь В.М.Шукшина со школьных лет: с момента, когда он впервые слышит песню «Из-за острова на стрежень...» и слова Д.Н.Садовникова воспринимает в качестве народных. Разин, народный заступник, становится для В.М.Шукшина самой

притягательной фигурой мировой истории; как уже говорилось выше, он сложно совмещается при этом с детскими воспоминаниями об отце.

Как объект писательского осмысления Степан Разин входит в творчество В.М.Шукшина с начала 60-х годов; в 1962 году опубликован рассказ «Стенька Разин»; с тех пор имя Разина лейтмотивом проходит через творчество писателя: через прозу, драматургию и публицистику его — как символ выстраданной народной совести и мстящей силы.

Как герой специально посвященного ему обширного программного произведения Степан Разин появляется в замыслах и творческих планах В.М.Шукшина в середине 60-х годов — с завершением первой книги «Любавиных».

Задумав написать роман, В.М.Шукшин углубляется в специальную литературу, собирает целую библиотеку по Разину. Сохранившийся в архиве писателя список литературы насчитывает 60 названий; материалы он пополнял с помощью музейных работников Астрахани, Волгограда, Загорска, не говоря уже о московских хранилищах.

Фундаментальная осведомленность В.М.Шукшина в предмете будет оценена историками, но сам он исходит в своей концепции не только из эмпирического материала истории — он взаимодействует с образом, живущим в народной памяти. Этот образ не совпадает с историческим; попытка соединить эти две стороны имеет для шукшинской концепции крестьянского вождя решающее значение; ведет его в этом выборе собственная внутренняя тема — дума о крестьянстве.

Первоначально оформляется замысел фильма. В марте 1966 года В.М.Шукшин пишет заявку на литературный сценарий «Конец Разина» (см. статью «Написано о Разине много»). Это первый по времени документ, зафиксировавший работу писателя над образом Степана Разина.

Тогда же В.М.Шукшин пишет в «Автобиографии»:

«Сейчас работаю над образом Степана Разина. Это будет фильм. Если будет. Трудно и страшно... Гениальное произведение о Стеньке Разине создал гоподин Народ — песни, предания, легенды. С таким автором не поспоришь. Но не делать тоже не могу. Буду делать».

Очевидное противоречие этой записи и упомянутой выше заявки раскрывает внутреннюю драматичность шукшинского замысла: он одновременно и прикован к народным легендам, и хочет вопреки этим легендам восстановить трагедию Разина-человека, и от дерзкого замысла ему «трудно и страшно».

Роман о Разине, который В.М.Шукшин решил написать после сценария, действительно удалось завершить (как и планировалось) к трехсотлетию разинского восстания. Фильм ему не удалось снять вообще. Сценарий фильма был напечатан в журнале «Искусство кино» в 1968 г. (№№ 5—6). Параллельно писался роман.

Роман завершен в 1969 году. В нем две части. Для первой В.М.Шукшин долго ищет название («Помутился ты, Дон, сверху донизу», «Вольные донские казаки», «Вольные казаки»); вторая часть называется неиз-

менно: «Мститесь, братья!». Третья часть («Казнь») оформляется в окончательной редакции позднее, в 1970 году.

Судьба рукописи наиболее подробно описана биографом Шукшина В.И.Коробовым в его книге «Шукшин. Годы и творчество».

В.И. Коробов пишет:

“Роман «Я пришел дать вам волю» был отдан... журналу «Новый мир»... «Новый мир» тянул с окончательным решением, и это очень беспокоило Шукшина, так как он связывал с публикацией романа его кинематографическую судьбу. В начале мая 1970 года по пути в Сростки Василий Макарович зашел в Новосибирске в редакцию («Сибирских огней». — Ред.) и передал рукопись «Разина» с условием прочитать и решить вопрос о публикации как можно скорее, желательно к его возвращению в Москву...”

Как рассказывал В.И.Коробову Н.Н.Яновский (тогда заместитель главного редактора «Сибирских огней»), Шукшин сразу спросил: не смутят ли редакцию такие обстоятельства — роман лежит в «Новом мире», тема его и материал не сибирские, какая-то часть книги уже была напечатана в виде сценария «Искусством кино»? Яновский заверил его, что не смутит. Роман сибиряками был прочитан быстро, решение было единогласным — публиковать.

На этот раз, сравнительно с прохождением «Любавиных», разногласий между автором и редакцией не возникло.

В 1970 году намечаются две публикации романа: одна — в журнале «Сибирские огни», другая — в издательстве «Советский писатель». В сибирском журнале роман быстро готовят к печати, в московском издательстве не спешат.

Задержка связана с тем, что внутренние рецензенты издательства обнаруживают кардинальные расхождения в оценке текста, причем литераторы сплошь оказываются оппонентами историков. Грубо говоря, литераторы роман отвергают, историки принимают. Второе обстоятельство чрезвычайно любопытно: оценивая исторический роман В.М.Шукшина, именно специалисты-историки становятся на сторону автора. Они отчетливо видят внутреннюю свободу, с которой В.М.Шукшин создает художественный образ Разина, однако единогласно признают, что концепция автора безусловно укладывается в рамки научно подтвержденной исторической истины. Эта поддержка со стороны ученых важна для В.М.Шукшина в его дальнейших усилиях.

Передав роман издателям, автор делает новую попытку продвинуться вперед в работе над фильмом. В.М.Шукшин охотно беседует с корреспондентами газет о планах, представляющихся ему вполне реальными. Некоторые аспекты разговоров с журналистами интересны с точки зрения того, как шлифуется в сознании В.М.Шукшина замысел разинской эпопеи.

С января 1971 года роман о Разине публикуется в «Сибирских огнях». С 1972 года в печати появляются отклики.

Отклики доброжелательны. Высказывается, впрочем, только областная печать, а центральные газеты и журналы — молчат. В некоторых рецензиях подмечена связь противоречий мятущейся натуры Разина с духовными исканиями самого В.М.Шукшина, но этот аспект не углублен: критики воспринимают роман о Разине прежде всего как произведение исторического жанра, рассматривают его не столько в контексте творчества В.М.Шукшина, сколько в контексте других произведений о Разине — прежде всего романов А.Чапыгина и Ст.Злобина. В связи с этим связан несколько «академичный» тон откликов (лучший из них — статья В.Петелина «Степан Разин — личность и образ». Три романа о Степане Разине — журнал «Волга», 1972, № 3).

Журнальная публикация романа благожелательно встречена критикой, а отдельное издание застопорилось.

Между тем В.М.Шукшин продолжает работать над текстом романа. Один из этапов этой работы означен записью, сделанной женой писателя Л.Н.Федосеевой-Шукшиной 11 января 1974 года:

«Последняя ночь... и как будто ушел... Хороший мужик он. Жалко даже» (Архив В.М.Шукшина).

В такие моменты становится ясно, сколь глубоко совпадает у В.М.Шукшина образ Разина с его собственным миром: и с образом отца, и с лирическим «я» писателя.

Весной 1974 года, закончив фильм «Калина красная», В.М.Шукшин возвращается к мысли о разинской киноэпопее. Он подает заявку на имя генерального директора киностудии «Мосфильм» Н.Т.Сизова на постановку фильма (см. «Предлагаю студии...»). Решение о запуске фильма было принято дирекцией «Мосфильма» в сентябре 1974 года. В последних числах сентября В.М.Шукшин узнал о положительном решении студии.

Поздней осенью в издательстве «Советский писатель» роман «Я пришел дать вам волю» вышел отдельной книгой.

На этот раз реакция критики — всеобщая, бурная и яркая. Выход книги совпадает с потрясением, вызванным неожиданной смертью В.М.Шукшина.

Образ Степана Разина, его внутренняя противоречивость, поиски правды и ощущение вины, трагическое чувство бессилия, драма, которая заключалась в отходе казачьей вольницы от векового крестьянского дела, само ощущение горькой неотвратимой беды, которую предвещает раскол народной души, — все это осмысляется теперь в критике не как страница художественной истории XVII века, а как прямая исповедь — свидетельство мучительных исканий самого В.М.Шукшина. Роман о Разине встает в творческую биографию автора как своеобразное завещание.

НАПИСАНО О РАЗИНЕ МНОГО

Написано в марте 1966 года.

* *«Фильм предполагается двухсерийный, широкоэкранный, цветной»* — фильм осуществлен не был. Настоящий текст является заявкой на

литературный сценарий «Конец Разина» и первым по времени документом, зафиксировавшим работу В.М.Шукшина над образом Разина.

Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной. Впервые опубликовано в книге «Вопросы самому себе».

ТАКИМ ОН ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬСЯ

Написано 25 ноября 1970 года на киностудии имени А.М.Горького в Москве. Озаглавлено Л.Н.Федосмеевой-Шукшиной по последней строчке текста. Впервые опубликовано в книге «Вопросы самому себе». Смысл наброска — перестроение задуманного двухсерийного фильма о Разине на три серии.

«НАДО ИМЕТЬ МУЖЕСТВО...»

Выступление В.М.Шукшина на заседании Художественного совета киностудии имени А.М.Горького 11 февраля 1971 года. Стенограмма. Впервые опубликовано в книге «Вопросы самому себе». Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной по одной из фраз в тексте.

* *«Мне хотелось сказать...»* Эта часть выступления была предварительно записана В.М.Шукшиным. Поскольку стенограмму он не выправил, то собственноручный набросок при всей его беглости представляется относительно более точной фиксацией замысла В.М.Шукшина, и мы его приводим:

«Мне бы хотелось сказать здесь — поскольку это Художественный совет, и достаточно высокий, — о нашей художественной практике. В частности, о той поре короткой сценарной жизни, когда он написан и — дальше — должен или не должен превращаться в зрелище. Чтоб быть до конца конкретным, сошлюсь на свой опыт. Пусть это не звучит жалобой.

Я понимаю, отчетливо понимаю, что если государство дает деньги, то оно хочет быть спокойным, что получит фильм интересный. Нужный ему. У советских режиссеров и у меня нет иных — разных — интересов. Но когда на Западе режиссер имеет дело с одним продюсером, я не могу найти того одного человека, который бы авторитетно и правомочно решил судьбу сценария. Я имею дело с десятком людей — и каждый говорит свое. Они правы. Я их понимаю. Но когда же мне остановиться, где я должен понять, что — все. И разумно ли, что здесь много людей и советов.

А что делать, если я не согласен. Мне бы хотелось, всерьез хотелось понять свои-то права. И есть тут критерий?! (...)

Вот если бы был один селовек, я мог бы с ним говорить».

(Архив В.М.Шукшина)

ЗАСТУПНИК НАЙДЕТСЯ

Написано в 1972 году. Впервые опубликовано в книге «Вопросы самому себе». История текста такова. В 1971 году житель поселка «Трудфронт» Икрянского района Астраханской области Г.И.Родыгин прислал в газету «Известия» письмо с просьбой помочь найти ему описание

разинского струга — Г.И.Родыгин, мастер резьбы по дереву, намеревался изготовить макет такого струга в подарок Астраханскому краеведческому музею. Редакция переслала письмо В.М.Шукшину, и он сделал набросок ответа. Озаглавлено Л.Н.Федосеевой-Шукшиной.

ПРЕДЛАГАЮ СТУДИИ...

Написано весной 1974 года в качестве заявки на фильм, поданной на имя генерального директора «Мосфильма» Н.Т.Сизова.

ИЗ РАБОЧИХ ЗАПИСЕЙ

Рабочие записи делались В.М.Шукшиным на полях или отдельных страницах тетрадей, в которых он писал черновые варианты текстов. Дата проставлена под теми записями, время написания которых точно известно.

Фе Ли Ни

Эссе писательницы Галины Щербаковой впервые опубликовано отдельной брошюрой в 1989 году Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр».

Комментарии к произведениям, опубликованным в настоящем собрании сочинений, подготовлены Л.Аннинским, Г.Костровой и Л.Федосеевой-Шукшиной.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА, ВОШЕДШИХ В НАСТОЯЩЕЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Уважаемые читатели!

Коллектив издательства «Надежда», который готовил к печати эти книги, также как и вы с большим почтением относится к творчеству Василия Макаровича Шукшина. Поэтому мы хотели, чтобы это собрание сочинений не только состояло бы из самих произведений писателя, но и рассказало о его богатой и насыщенной жизни.

Кто, как не родные, люди, близкие ему по литературной и кинематографической деятельности, могут многое поведать о его тернистом творческом пути, о постоянных преградах, мешавших спокойно работать, о победах и неудачах да и просто о том, какой он был человек, требовательный и беззащитный, суровый и нежный, вечный искатель правды и справедливости. Вот мы и постарались собрать в рубрике «Непросто говорить о Шукшине...» как можно больше воспоминаний людей, знавших и помнящих его. Тем более, что скоро, 25 января 1999 года, Василию Макаровичу исполнилось бы 70 лет.

Мы благодарим всех тех, кто дал нам возможность чуть-чуть приблизиться к этому человеку, человеку с Большой буквы. Это Л. Аннинский, Г. Бакланов, А. Баталов, В. Белов, С. Бондарчук, М. Борисов, Г. Бурков, А. Ванин, С. Викулов, А. Вознесенский, В. Высоцкий, С. Герасимов, В. Гинзбург, А. Гончаров, В. Гришаев, Е. Евтушенко, А. Заболоцкий, С. Залыгин, В. Золотухин, В. Каверин, А. Каплер, Л. Куравлев, Е. Лебедев, Н. Мордюкова, А. Михалков-Кончаловский, С. Никоненко, Л. Новак, Ю. Никулин, И. Новодережкин, Г. Панфилов, И. Попов, В. Распутина, Р. Рождественский, Б. Рясенцев,

О. Румянцева, И. Рыжов, Н. Сазонова, В. Санаев, А. Саранцев, Ю. Скоп, Ю. Соловьев, Г. Товстоногов, М. Ульянов, О. Фомина, М. Хуциев, П. Чекалов, Г. Чухрай, С. Юрский, журналисты В. Ащеулов и Ю. Егоров, кропотливо собиравших воспоминания близких родственников В. Шукшина, друзей его детства.

Особая благодарность — вдове писателя Л. Н. Федосеевой-Шукшиной. За предоставленные текстовые материалы, выверенные по авторским оригиналам, фотоснимки из семейного архива, за трогательный рассказ о муже и вообще за деятельную помощь издательству в работе над книгами. Слова благодарности и постоянному редактору В. Шукшина Галине Степановне Костровой.

Мы намеренно не стали включать в раздел «Непросто говорить о Шукшине...» литературоведческие и искусствоведческие статьи. Наша цель — не исследование особенностей творческого наследия писателя, кинодраматурга, режиссера, актера, а Василий Макарович Шукшин — как самобытное явление нашей эпохи.

Удалась ли нам задумка — судить вам, дорогой читатель. Коллектив издательства надеется на удачу и рассчитывает на вашу благосклонность к нашей работе.

Всего вам доброго.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Макарович Шукшин

Собрание сочинений в шести книгах

Книга шестая

Я ПРИШЕЛ ДАТЬ ВАМ ВОЛЮ

Роман

Лицензия № 063348 от 13 мая 1994 г.

Подписано в печать 22.06.98. Формат 84×108/32.
Бумага офсетная №1. Печать высокая. Уч.-изд. л. 28,8.
Усл. п. л. 26,88. Тираж 10 000 экз. Заказ 11.

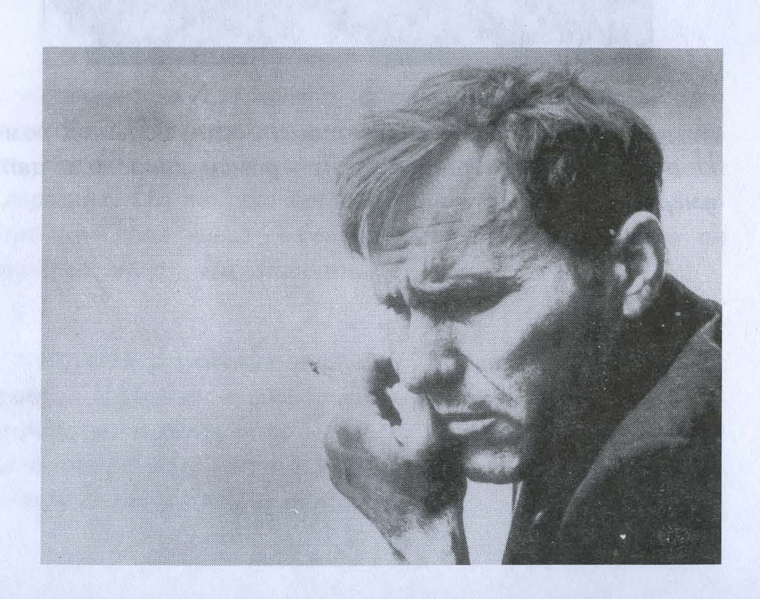
Компьютерный набор и верстка осуществлены
Артуром Сафиулиным.

Издательство «Надежда-1»
129366, г. Москва, ул. Космонавтов, 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8



«Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо — не позволил сшибить себя; плохо — начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения».





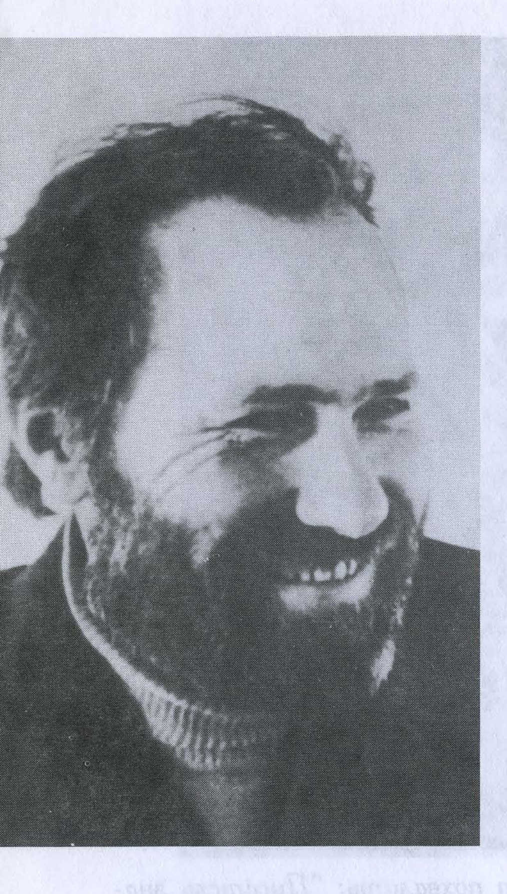
«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер».



«Говорят, когда хотят похвалить: "Писатель знает жизнь". Господи, да кто же ее не знает! Ее все знают. Все знают, и потому различают писателей плохих и хороших. Но только потому: талантлив и менее талантлив. Или вовсе — бездарь. А не потому, что он жизни не знает. Все знают».

* * *

«Во всех рецензиях только: "Шукшин любит своих героев... Шукшин с любовью описывает своих героев..." Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или — не умеют. И то и другое, наверно».

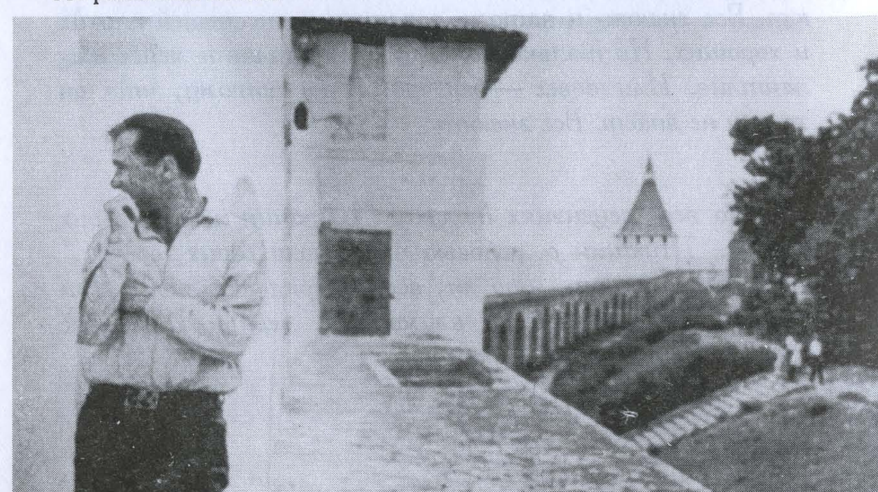


«О Разине. Если в понятие интеллигентности входит болезненная совестливость и способность страдать чужим страданием, он был глубоко интеллигентным человеком».

* * *

«...явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — "подпеть" могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса "что есть правда?", гордость... И — сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. И если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность — не самоцель».

По разинским местам



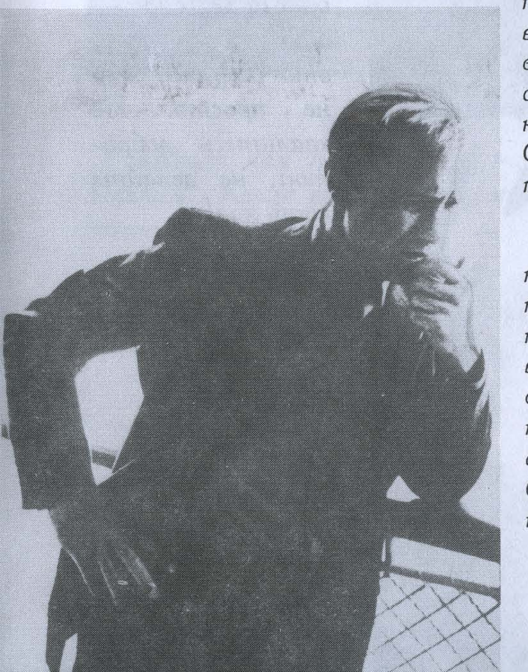
«Кто мог быть политик по склонностям души у древних? Дурак, который всем мешал охотиться?»

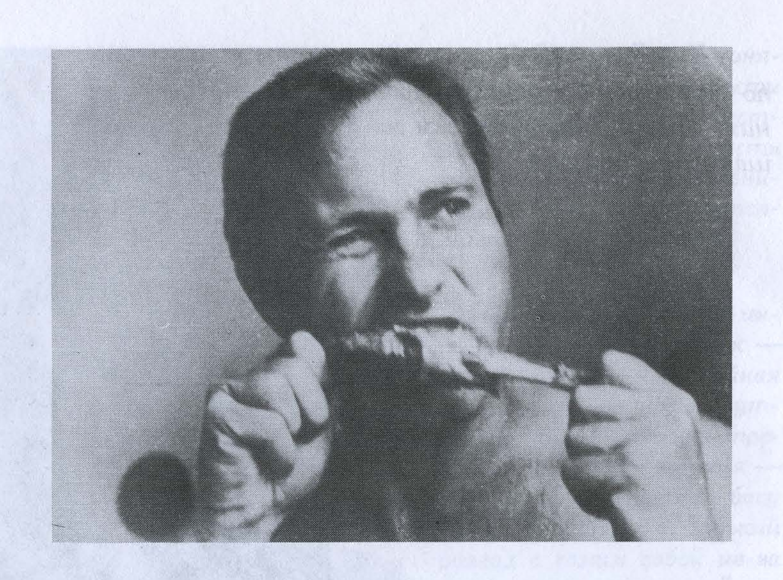


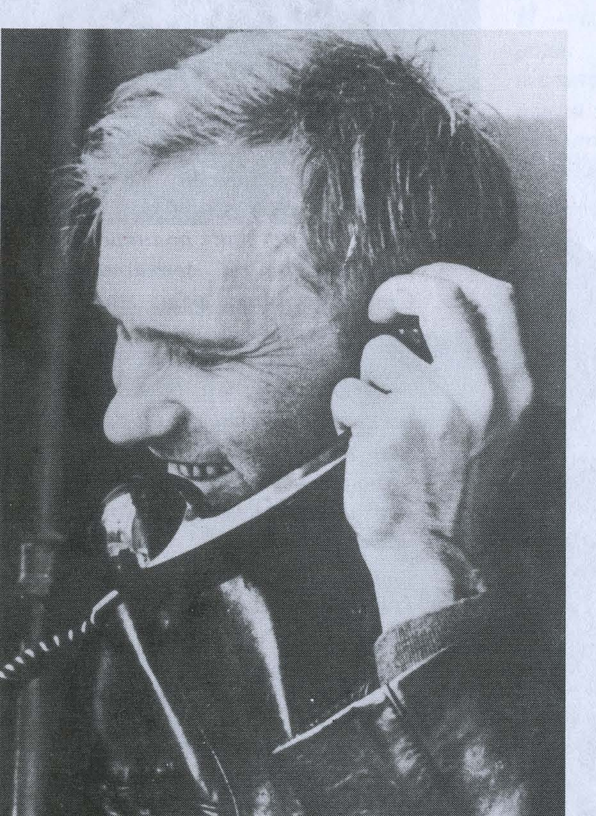
«Не страшна глупость правителя, ибо он всегда божественно глуп, если не знает другой радости, кроме как политиканствовать и ловчить. Страшно, что люди это терпят».

* * *

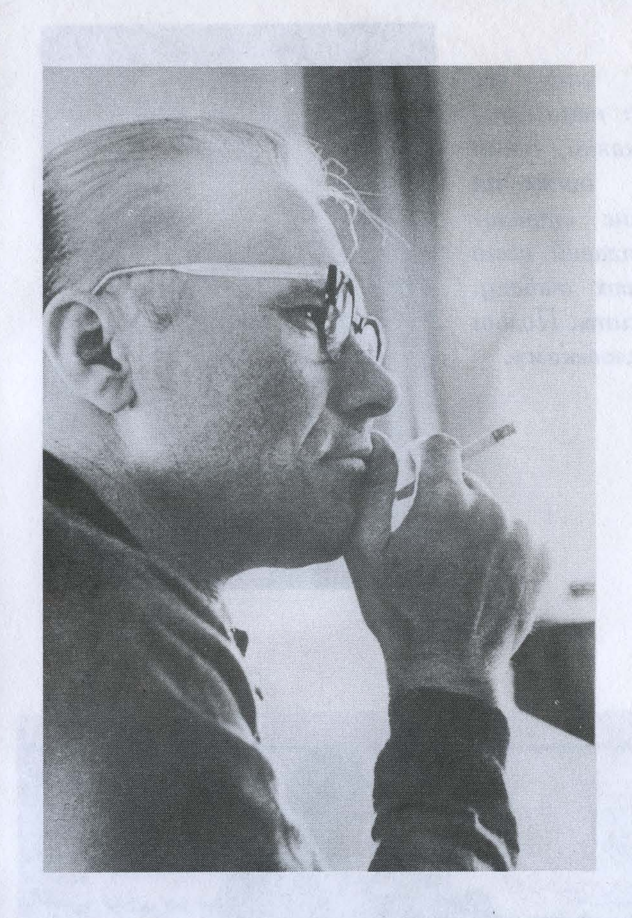
«Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение — при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству».







«Добрый, добрый... Эту медаль носят через одного. Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла!»

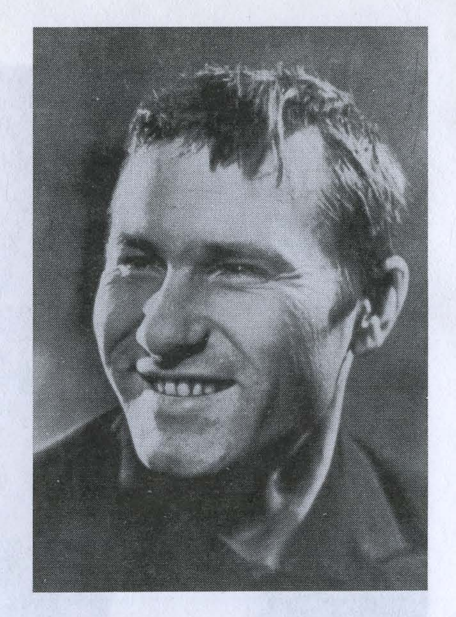


«Когда нам плохо, мы думаем: "А где-то кому-то хорошо". Когда нам хорошо, мы редко думаем: "Где-то кому-то — плохо"».

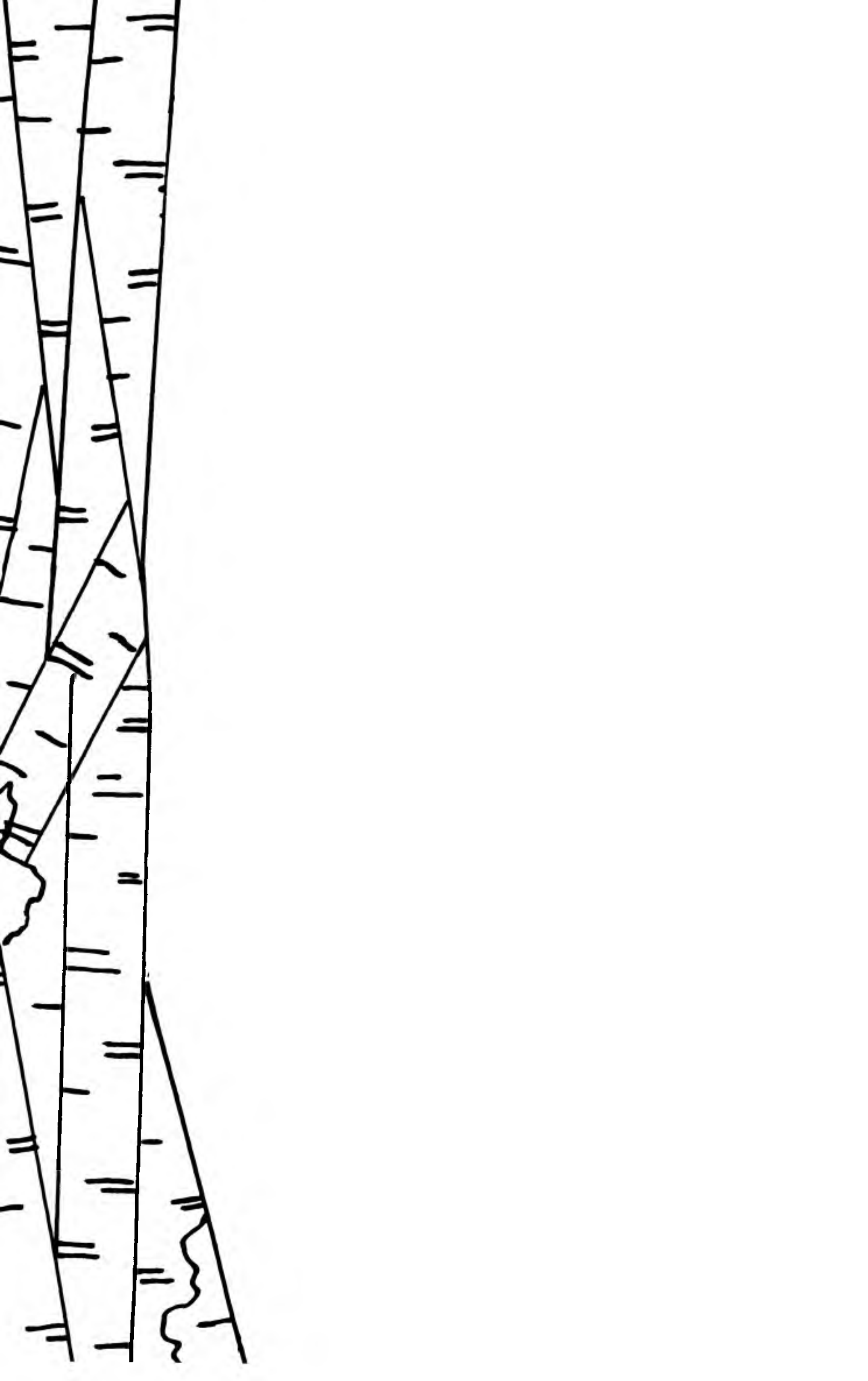
* * *

«Культурный человек... Это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант».

«Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего себя за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».



«Все, ребята, конец!»



Сибирь — в осеннем золоте,
В Москве — шум шин...
В Москве, в Сибири,
в Вологде
Дрожит и рвется в проводе:
«Шукшин... Шукшин...»
Под всхлипы трубки
брошенной
Теряю твердь.
Да как она, да что ж она
Ослепла, смерть?
Что долго вкруг да около
Кружила — врет!
Взяла такого сокола,
Сразила влет!
(Достала тайным
ножиком,
Как те — в кино,
Где жил и умер тоже он
Не так давно...)
Ему — ничто,
припавшему
К теплу земли,
Но что же мы,
но как же мы
Не сберегли?
Свидетели и зрители,
Нас сотни сот! —
Не думали, не видели,
На что идет,
Взваливший наши
тяжести
На свой хребет...
Поклажистый?
Поклажистей
Другого
Нет.

Ольга Фокина